ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Леонид Гроссман

ПУШКИН



Л. Гроссман




ЖЗЛ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

Основана в 1933 году М. ГОРЬКИМ

МОСКВА, 1960

ЛЕОНИД ГРОССМАН

ПУШКИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

Второе издание, совершенно переработанное, вышло в серии «ЖЗЛ» в 1958 году (№ 6 (253))



А. Пушкинъ

ОТ АВТОРА

Настоящая книга представляет собою третье издание биографии Пушкина, вышедшей в 1939 и 1958 гг. в серии «Жизнь замечательных людей». Как и в первых публикациях этой работы, жизнеописание великого поэта строится здесь в плане биографической хроники на основе политической летописи и литературной истории его времени.

Но в отличие от первоначальной редакции мы значительно расширили во втором издании изучение творчества Пушкина. Всем его крупнейшим произведениям уделены специальные главы. История жизни великого писателя рассматривается в непосредственной и неотрывной связи с его художественной деятельностью, как живая основа его литературного наследия, заслужившего всемирное признание. Все это сохранено и в настоящем издании, которое отличается от предыдущего исправлением опечаток и незначительными добавлениями.

Жизнь поэта возвещает его искусство и раскрывает в личности художника истоки его поэзии. По верному наблюдению Чернышевского, причина энтузиазма, возбужденного южными поэмами, заключалась в том, что «Пушкин согревал их теплотою собственной жизни». Задача ученого, биографа, учителя — вскрыть эти источники тепла и света в великих пушкинских созданиях, неизменно озаряющих путь каждому новому поколению русских людей. Необходима дружная и непрерывная работа, чтоб рас-

крыть до конца эти истоки великого творчества — ту смену битв, которую вел поэт с угнетателями своего народа, и тот титанический труд, какой он осуществил во имя торжества свободы, разума и муз. Наша книга — посильная попытка принять участие в этой коллективной работе.

Сам Пушкин признавал главным материалом для биографии поэта его мысль и слово: именно так хотел он строить жизнеописание своего любимого друга Дельвига — на «изложении его мнений», на «разборе его стихов». Такому указанию самого поэта его будущим биографам мы и старались следовать в нашем труде.

Мы считали бы поставленную задачу относительно выполненной, если бы нам удалось хотя бы в некоторой доле выразить ту безграничную любовь, какую зажгла гармоническая личность благородного поэта в его могучем народе, вступившем в новую историческую эру. Только наша эпоха полностью осознала и выразила то исключительное значение гениального художника для его родины, которое отдаленно лишь ощущалось лучшими из его современников. «Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями, — писал декабрист Якушкин, — и вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России». Величайший выразитель исторических судеб и культуры своего народа в бессмертных образах искусства, искупивший трагической судьбой свой высокий жребий русского писателя, — таким выступает Пушкин из документов своего времени, таким он предстает перед взором нашей эпохи и таким стремится изобразить его и предлагаемая читателю биография.



„РОД ПУШКИНЫХ МЯТЕЖНЫЙ"

1


Если с главных проездов современной Москвы, ведущих от почетной доски колхозов к пятиконечному зданию театра Советской Армии, мы свернем в боковую сеть переулков, извивающихся вдоль Екатерининского парка, перед нами раскроется живописный участок одной старинной городской усадьбы.

В наши дни сюда уже решительно шагнул новый город. Здесь со звоном проходит трамвай, проносятся «Волги» и «Победы», высятся многоэтажные корпуса. И лишь местами уцелевшие густые сады за деревянными домиками напоминают о том, что перед нами особая, «допушкинская» Москва, еще не изученная ни исследователями поэта, ни историками великого города, но все же связанная с биографией Пушкина и представляющая поэтому несомненное историческое значение.

На месте этих оживленных улиц раскинулось при Петре Великом большое земельное владение, каких было не мало в древнем Московском посаде. Оно тянулось от Божедомки к Самотеке по теперешней Делегатской улице с прилегающими к ней многочисленными переулками и спусками.

Это боярское урочище перешло в 1718 году по наследству от дальнего бобыля-родственника к преображенскому лейб-гвардейцу Александру Петровичу Пушкину (прадеду поэта). В середине XVIII века этим обширным угодьем уже владел его сын, офицер гвардейской артиллерии Лев Александрович Пушкин, «человек пылкий и жестокий», как отозвался о нем его знаменитый внук.

Своим крутым и властным нравом этот елизаветинский капрал преемственно продолжал суровое племя своих исторических предков. В боковых линиях рода Пушкиных исстари выделялись стойкие и волевые деятели, нередко занимавшие видные государственные посты. Их родоначальник, правнук легендарного Радши, древнерусский витязь Гаврило Олексич был сподвижником Александра Невского в его победе над шведами 15 июля 1240 года. Правнук этого участника Невской битвы носил имя Григория Пушки. Двое из его сыновей стали называться Пушкиными.

Героическое начало этой родословной предопределило всю ее позднейшую историю. На протяжении нескольких столетий представители рода Пушкиных неизменно проявляли смелость, энергию, творческую одаренность в различных областях русской жизни. Они отличались в Куликовской битве, в сражениях Ивана Грозного, участвовали в походах на крымцев, шведов и турок, обороняли Москву от польского королевича, заседали в Земском соборе 1642 года, служили воеводами в передовых полках, наместниками, послами. Их выдающимися дипломатическими дарованиями объясняется поручение им переговоров с такими историческими фигурами, как Стефан Баторий, Антоний Поссевин или Густав-Адольф. Среди русских государственных деятелей XVII века прославился

знаменитый боярин Григорий Гаврилович Пушкин, блестяще разрешавший важнейшие международные вопросы в Швеции и Польше, где он полномочно представлял Москву. Ему в высокой степени было свойственно твердое умение отстаивать честь и достоинство своей страны. Именно он убедил польского короля Яна-Казимира сжечь на площади все порочащие Россию книги и «постановил с ним договор» о суровом наказании сочинителей антирусских памфлетов.

Но, несмотря на свои заслуги перед государством, потомки Григория Пушки не принадлежали к высшей феодальной знати. Не обладавшие титулами и не возводившие своей генеалогии к Рюрику, они стояли ближе к сословию служилых людей, чем к горделивым «наследникам варяга». В рядах боярства Московской Руси они оставались обычно в стороне от именитой знати, сохраняя в силу этого некоторую независимость. Во время опричнины Пушкины принадлежали к людям земским и были в опале у Грозного почти до конца его царствования. При Борисе Годунове они перешли на сторону недовольных, от имени которых обращался к московскому народу Гаврила Григорьевич Пушкин. Через триста лет гениальный потомок этого воина и дипломата увековечит его имя в исторической трагедии и сравнит в своих письмах фигуру этого властного политика с образами проконсулов Национального конвента.

Но оппозиционный дух, свойственный членам этой семьи, подчас отбрасывал их в сторону от передовых движений времени. В эпоху петровских реформ Пушкины оказываются в русле обратного и гибельного течения — «хованщины». Они втягиваются в орбиту стрелецких и староверческих кругов, объединившихся для борьбы с нетерпимыми для них новшествами. Представитель передовой фамилии примыкает к реакционному заговору, направленному против попыток Петра цивилизовать современную ему Россию.

Но на этот раз споры с властью заканчиваются для представителей своенравного рода трагически.

Сын видного и властного приверженца «последней Руси», то есть боярской старины, Матвея Пушкина, молодой стольник Федор был казнен 4 марта 1697 года вместе с двумя другими заговорщиками — стрелецким полковником Циклером и старовером окольничим Алексеем Соковниным. На полстолетия имя представителей «неукротимой» фамилии сходит с памятных страниц российской истории.

Эта смутная пора в родовой летописи Пушкина особенно волновала его воображение. В одном из своих интереснейших замыслов он намеревался показать стрелецкие бунты сквозь образы семейной хроники Пушкиных. Целый ряд неосуществленных планов свидетельствует, как настойчиво привлекала поэта-историка эта политическая трагедия XVII века, воплощенная позже двумя другими русскими гениями — Мусоргским и Суриковым.

Только в середине XVIII века имя Пушкиных снова приобретает политическую известность. Дед поэта прославился своим противодействием знаменитому дворцовому перевороту 1762 года. В день, когда Екатерине II принесли присягу гвардейские полки, сенат, синод, петербургский гарнизон, все население столицы и даже морские силы Кронштадта, командир бомбардирской роты Лев Пушкин пытался удержать преображенцев на стороне Петра III. Попытка оказалась неудачной. Через несколько дней свергнутый император, охрана которого была поручена знаменитому кулачному бойцу Алексею Орлову, скоропостижно скончался «от прежестокой колики», а гвардейский артиллерист Пушкин был признан государственным преступником и заключен в крепостной каземат.

Это памятное событие ввело его имя в историю. В старинных иностранных описаниях «русской революции 1762 года» упоминается своенравный майор гвардии Пушкин. Внук-поэт хранил эти исторические сочинения в своей библиотеке, ссылался на них в своих записях и прославил звучной строфой незаметного участника громкого династического кризиса:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

Верность сумасбродному и слабоумному Петру III, заслужившему печальную память своим беспримерным низкопоклонством перед Фридрихом Прусским, не была историческим подвигом. Но знаменитая строфа «Моей родословной» интересна своим достоверным изображением дальнейшей судьбы дома Пушкиных. Политическая кара, обрушившаяся на представителя фамилии, явилась не только личным поражением, но знаменовала и весьма тягостный удар по младшей ветви пушкинского рода. Разгневанной Екатерине суждено было царствовать до самого конца XVIII века, а семейству строптивого Льва Пушкина незаметно нисходить к обычному среднему состоянию, далекому от государственных дел и придворных отличий. В поколениях семьи сохранилась неприязнь к императрице-узурпаторше и установился некоторый культ верного своей присяге Льва Александровича: чертами его политической биографии не без сочувствия отмечены деятели 1762 года в «Дубровском» и «Капитанской дочке».

Личная жизнь этого стойкого гвардейца была столь же драматична, как и его служебная карьера. «Первая жена его, — рассказывает в своей автобиографии Пушкин, — урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем ее сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе».

Этот потрясающий случай лишь отчасти подтверждается сохранившимися документами. Казнь гувернера сводится, по старинному формуляру Льва Пушкина, лишь к «непорядочным побоям», нанесенным им «венецианину Харлампию Меркадию». Рассказ о мученической смерти первой жены Льва

Александровича не поддается проверке; нам известно лишь, что в молодости он действительно женился на Марии Матвеевне Воейковой, от которой имел трех сыновей. Скончалась она в пятидесятых годах, накануне крушения военной карьеры своего мужа.

Придворный переворот не сразу отразился на материальном благосостоянии Пушкиных. Льву Александровичу принадлежали крупные наследственные владения — ряд деревень и пустошей, большие участки земли в Москве по Божедомке и Самотеке и нижегородская вотчина — село Болдино — «под большим мордовским черным лесом». Это значительное родовое имущество Лев Пушкин сохранил и после постигшей его невзгоды. Вскоре после освобождения из крепости он женился вторым браком на дочери гвардейского полковника Ольге Васильевне Чичериной, род которой восходил к одному из телохранителей невесты Ивана III Софии Палеолог.

Знатности соответствовало и состояние. Вместе с поместьями и крепостными Лев Александрович получил в приданое еще изрядное количество драгоценностей и «мягкой рухляди» (как называли в то время дорогие меха). Неудивительно, что бабушка знаменитого поэта ездила в гости, по его известному рассказу, «вся разряженная и в бриллиантах» и даже в таком убранстве однажды родила. Произошло ли это в карете, как о том повествуют семейные предания, установить теперь трудно, но совершенно точно известно, что Ольга Васильевна принесла своему мужу четверых детей: двух дочерей и двух сыновей — Василия и Сергея, имена которых вошли в историю русской литературы.

2

Новая семья создавалась в трудное время. В селе Болдине, где, по преданию, самовластный помещик собирался «весьма феодально» вздернуть на ворота усадьбы гувернера, появились в 1773 году передовые разъезды Пугачева, требовавшие виселиц для самих

феодалов. Движение, уже сдавленное с флангов, не могло здесь развернуться, и масса восставших вскоре отхлынула. Тогда-то по всей Нижегородской губернии появились виселицы, «колеса и глаголи» для устрашения недовольных и подавления новых вспышек. Орудия казни были поставлены местными властями и в Болдине «за преклонность крестьян к приехавшим злодеям и за просьбу тех злодеев, чтоб приказчика повесить».

Долгие годы сохранялись в семействе Пушкиных и передавались младшему поколению предания о могучих предках, принимавших участие в бурных событиях отечественного прошлого и неизменно отличавшихся «в войске и совете».

Но сыновья Льва Пушкина избрали для своей деятельности иное поприще. В их лице старинный род воинов и наместников впервые обращается к искусству. Фрондирующая оппозиция Екатерине и «новым» людям, пришедшим на смену Пушкиным служить государству после 1762 года, обращает энергию молодых представителей фамилии к чисто культурным и творческим начинаниям. Записанные с детства в гвардию, они не испытывают никакого желания служить и отличаться в походах и сражениях. Их привлекают иные битвы и победы — в поэтических кружках, в литературных салонах, на любительских сценах. Это стихотворцы, чтецы, импровизаторы, остроумные собеседники, актеры и режиссеры домашних спектаклей. Это прежде всего «любословы», как называли тогда таких вольных артистов речи, распространявших в пробуждающемся русском обществе новые формы европейской поэзии.

Стихотворное искусство очень рано стало излюбленным занятием молодых Пушкиных. Василий Львович понемногу превратился в настоящего литератора, неизменно причастного к виднейшим изданиям и знаменитым журнальным битвам своей эпохи. Младший брат, Сергей Львович, до глубокой старости писал стихи, всю жизнь сохраняя, однако, позицию бескорыстного служителя муз, равнодушного

к печати и славе. Ни один из них не проявил высоких дарований, но оба создали вокруг себя ту атмосферу тонкой словесной культуры, которая могла послужить превосходной воспитательной средой юному поэтическому гению.

Биографическая традиция без достаточного основания изображает старших Пушкиных закоренелыми галломанами. Внимательное изучение вопроса приводит к заключению, что полученное ими французское воспитание нисколько не сделало их чужеземцами в родной стране. Напротив того, они стали видными представителями передовой дворянской интеллигенции на рубеже двух столетий, заметными участниками московской общественной жизни, превыше всего дорожившими развитием своей родной литературы. Иронически относившийся к ним П. В. Анненков должен был все же признать, что «никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности»; мы действительно находим этому немало подтверждений в мемуарных свидетельствах эпохи.

Родовые москвичи Василий и Сергей Пушкины росли в оживленной литературной атмосфере Москвы восьмидесятых годов XVIII века. Это было так называемое «новиковское» десятилетие с беспримерным расцветом русского книжного дела, журналистики, философских лекций и вольных кружков. «Дружеское ученое общество» и «Типографическая компания» бурно оживили молодую русскую культуру. Борьба с жестокостями крепостного строя, с невежеством поместного дворянства, с внешней цивилизацией столичного барства, проникнутого низкопоклонством перед Францией и пренебрежением ко всему отечественному, привела выдающегося публициста к смелой и новой постановке темы родины и свободы. Новиков открывал своим читателям ценности старорусской образованности, живые предания национальной истории и одновременно звал к всеобщему разумному воспитанию для выработки независимой и сильной личности нового гражданина. Как все великие просветители, он стремился ши-

роко развернуть новейшую, освободительную литературу для коренной перестройки рабовладельческого общества. Нападая на придворную знать и «титлоносных» аристократов, он обращался к людям третьего сословия, приближая к ним и низшее обедневшее дворянство. «В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом», — выразительно писал В. О. Ключевский. В своих изданиях неутомимый публицист освещает в передовом духе великие мировые события и смело откликается на борьбу народов за республиканскую свободу. «Покоящийся Трудолюбец» развертывает гневную критику крепостного барства, уже предвещающую сатиру Грибоедова.

По этим столбцам и страницам, проникающим и на старую Самотеку в усадьбу Льва Пушкина, знакомится с жизнью и современностью подрастающее поколение. Дух просвещения, политического равноправия, освободительной идеологии незаметно воспитывает и молодых Пушкиных. Отсюда независимость их убеждений и деятельности, полное безразличие к «завидной» придворной карьере, исключительная преданность искусству и его передовым запросам. В литературных кругах Москвы они привыкли почитать имя Новикова и отвращаться от официозных идеологов. Вот почему Чернышевский с его обычной зоркостью и причислил Василия Львовича к ранним русским просветителям. В рядах культурного слоя России, выдвигавшего в то время полезных общественных деятелей, занимают свое скромное место отец и дядя А. С. Пушкина. В барской Москве XVIII века, где кипели пьяные пиры, где насмерть сражались кулачные бойцы, где кровавые гусиные и петушьи состязания развлекали скучающих тунеядцев, — в этой разгульной и жестокой дворянской столице сыновья самовластного помещика-самодура полюбили исключительно литературу и решили отдать ей свою жизнь.

3

Новиковскую Москву сменяет радищевский Петербург. Верные семейным традициям, братья Пушкины на исходе юности вступают в гвардию. Они оказались довольно нерадивыми офицерами, но зато оба вступили в литературный мир столицы. Новая глава их официальной карьеры отмечала и важный этап их культурного роста.

В атмосфере радищевских идей слагалась передовая петербургская журналистика конца XVIII века. Опыты Василия Львовича печатались в изданиях Крылова и А. И. Клушина; оба издателя входили в кружок известного вольнодумца И. Г. Рахманинова, близкого к Радищеву.

«Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий» были первыми органами «людей третьего чина», как называли в XVIII веке ранних разночинцев, отстаивавших в противовес галломанствующей аристократии идеи самобытной национальной культуры. Такая программа, уже наметившаяся в новиковской Москве, определит и литературную позицию братьев Пушкиных. Возросшие на классицизме, они переживают на исходе своей юности некоторую революцию стиля:

Во вкусе час настал великих перемен·
Явились Карамзин и Дмитрев—Лафонтен[1] —

писал Василий Львович в своем послании к Жуковскому.

В возникших и разразившихся затем двадцатилетних литературных битвах за выразительную речь и обновленный стих братья Пушкины остались непоколебимыми приверженцами реформы слога.

Одним из их первых знакомых был здесь друг и родственник Карамзина, ближайший его сотрудник в борьбе за новый слог, молодой семеновский офицер Дмитриев, баснописец и песенник. Особенным успехом пользовался его шутливый рассказ в стихах «Модная жена». При всей легкости сюжета эта повесть свидетельствовала о новом литературном на-

правлении: главное в поэзии не вдохновенное парение или восторженная беспорядочность, а точность выражения, чувство меры, изящество формы, художественный вкус. Эти начала и легли в основу по этики наших молодых стихотворцев.

Через Дмитриева они познакомились с Державиным, Богдановичем, переводчиком Апулея и Оссиана Е. И. Костровым, замечательным знатоком искусств и древностей А. Н. Олениным. Все это, несомненно, расширяет их кругозор и повышает поэтическую культуру.

Это были годы, когда правительственная реакция, напуганная французской революцией, решает дать генеральный бой тому независимому «литераторскому» сословию, которое Пушкин впоследствии признавал русским «средним состоянием» и даже называл «передовой дружиной просвещения». Борьба царской власти с оппозиционной интеллигенцией принимает беспощадный характер. Сама «просвещенная» императрица руководит разгромом нового трудового слоя с его «якобинской» идеологией и писательской профессией. Осенью 1790 года Радищев, приговоренный к отсечению головы за свое «Путешествие из Петербурга в Москву», был сослан в Сибирь. Весною 1792 года брошен в Шлиссельбургскую крепость Новиков, заслуживший, по заявлению Екатерины, «тягчайшую и нещадную казнь». Происходит публичное сожжение трагедии Княжнина «Вадим Новгородский», герой которой признан республиканцем. Грозный верховный следователь, или «кнутобоец», Шешковский лично допрашивает поэта-сенатора Державина о его обращении к библейским царям: «И вы подобно нам падете, как с древ увядший лист падет...» Принимаются особые меры против «французской заразы», то есть революционной идеологии, подвергаются разгрому издательства, закрываются типографии. Неосторожные книгопродавцы поставлены под угрозу кнута, плетей, каторги и вырывания ноздрей.

Но, несмотря на такой беспримерный разгром печати, братья Пушкины остаются в литературной

среде и, каждый по-своему, «культивируют поэзию»: старший в качестве профессионала-литератора, младший — как любитель-дилетант.

В середине девяностых годов устраивается и личная судьба Сергея Львовича.

В Петербурге он посещает свою дальнюю родственницу Марию Алексеевну Ганнибал и знакомится с ее красавицей дочерью Надеждой Осиповной. Девушка отличалась своеобразной красотой — несколько удлиненный разрез глаз, орлиный профиль, легкая смугловатость кожи. Прозвище «прекрасная креолка» было присвоено Надежде Осиповне как некий постоянный эпитет, хотя и без достаточного основания: креолами назывались потомки европейцев, рожденные в колониях. Надежда Осиповна никогда не скрывала, что она внучка абиссинца, а ее утонченная внешность носила еле уловимые следы этого происхождения.

Сергей Львович был, видимо, увлечен с первого взгляда и вскоре предложил этой девушке с наружностью квартеронки и фамилией африканского завоевателя разделить с ним жизненный путь.

II

ИНЖЕНЕРЫ И МОРЕХОДЫ

Брак Сергея Львовича, с точки зрения его родных, был малоподходящим. Надежда Осиповна не была богата, над репутацией ее семьи тяготела память о скандальном процессе двоеженца-отца, род Ганнибалов не отличался ни древностью, ни знатностью. Питомцы петровской школы, деятели императорского периода русской истории, они были известны в России XVIII века как военные инженеры, руководители работ по обороне государства, артиллеристы и полководцы. Это были строители крепостей на дальних окраинах и водители флотов под южными широтами. Такой активностью определялись их тревожные и авантюрные биографии:

когда Пушкины оказывались виновными перед правительством, их заключали в казематы; Ганнибалов в таких случаях сажали на военные корабли и отправляли воевать в Средиземное море. И они выполняли приказы и добывали трофеи, ибо были людьми напряженного и стремительного действия. Это были крупные и своеобразные личности, наделенные большой энергией и сильными страстями, умевшие строить свою жизнь, бороться с противными течениями и побеждать обстоятельства. Эти люди с властными характерами и героическими судьбами не оставили своих записок потомству, но они завещали свои исторические образы как драгоценное достояние будущему правнуку-поэту.

Дед Надежды Осиповны, абиссинец Ибрагим, ставший в России генерал-аншефом Абрамом Петровичем Ганнибалом, прожил жизнь беспримерную по фантастическим переломам и счастливой игре случайностей. Судьба бросала его с африканских плоскогорий в забайкальские степи, с побережий Босфора в Москву, из новорожденного Петербурга во французские военные академии, из пышного Парижа Людовика XV на театр войны. Он успел проявить себя как царский секретарь, как участник знаменитых сражений, как военный математик, придворный педагог, строитель крепостей и директор каналов. Его выдающийся ум, познания и общая одаренность не подлежат сомнению.

Начало его жизни окутано легендой. Из документов елизаветинской герольдии явствует, что Ибрагим родился в северной Абиссинии, где отец его владел двумя или тремя городами на правом берегу Мареба, на границе между Хамасеном и Сараэ, в Логоне.

В конце XVII века северо-восток Африки стал ареной усобиц с Турцией, которая вывозила в Константинополь военные трофеи, добычу, пленников, рабынь и заложников. Таким «аманатом» оказался и маленький африканец из Логона. С моментом его увоза связана поэтическая легенда о том, как старшая сестра Ибрагима, девочка Лагань, долго плыла

за кораблем, увозившим ее любимого брата, и погибла в морской пучине.

Эпоха Возрождения возобновила античную моду на чернокожих слуг. Обычай этот из европейских дворов перешел в XVII веке в Россию. Арапы прислуживали обычно и Петру. На одном гравюрном портрете 1704 года он весьма декоративно изображен рядом с юным негром, охраняющим императорские регалии. Около 1706 года русский резидент при турецком «диване» получил приказ Петра выслать ему нескольких арапчат для украшения двора. Есть указания, что Ибрагим был выкраден из неприступного султанского сераля при содействии самого визиря.

В 1707 году маленький африканец был доставлен из Стамбула в северную столицу. Отныне он неотлучно состоит при царе и понемногу становится свидетелем крупнейших событий русской и европейской истории. За обнаруженные им «в походах и баталиях» прекрасные способности Петр отправляет юношу во Францию для обучения инженерному делу.

Несмотря на нужду в Париже и тяжелое ранение на войне, Ганнибал проходит курс артиллерийской школы в Меце и возвращается в Петербург профессором математики и фортификации. Он вывез из Парижа в Россию обширную французскую библиотеку в четыреста томов, составленную из книг не только по его специальности, но также по географии, истории, философии и литературе. В этом книжном собрании имелись сочинения Расина, Корнеля, Сирано де Бержерака, письма Фонтенеля, «Князь» Макиавелли, мемуары Брантома, философские трактаты Мальбранша, «Всемирная история» Боссюэ. Особенно широко были представлены работы по математике и военному делу.

Сам Ганнибал написал книгу об инженерном искусстве и составил мемуары на французском языке. Умирая, он оставил не только поместья, крепостных и формуляр с высокими чинами, но и многотомное книгохранилище, ценное собрание физических и механических инструментов, а главное — благо-

дарную память о своей научной деятельности: известный мемуарист XVIII века Болотов отметил в своих записках «прекрасную геометрию и фортификацию Ганнибала». Это имя, очевидно, приобрело авторитетную репутацию не только в правительственных и военных кругах, но и в среде молодого поколения, стремящегося к знанию.

Жестокая школа жизни, пройденная Ибрагимом, сообщила некоторую суровость его характеру. Это в полной мере сказалось в его семейном быту.

В конце 1730 года в Петербурге Ганнибал встретился с красавицей девушкой, как полагают, гречанкой, дочерью капитана галерного флота Евдокией Андреевной Диопер. Ганнибал попросил ее руки и настоял на браке, несмотря на протесты красавицы. Обвенчавшись в начале 1731 года, он увез жену в маленький порт Пернов (в бухте Рижского залива). Вскоре он обвинил молодую женщину в намерении отравить его и «смертельными побоями и пытками» принудил ее дать об этом официальное показание. Несчастную заключили в тюрьму, а властный абиссинец сошелся с дочерью местного капитана Христиной-Региной Шеберг, от которой имел нескольких детей. Когда пришла пора отдавать их в учение, Ганнибал обвенчался с Христиной и, пользуясь своими связями, добился убийственного приговора для первой жены, все еще томившейся в заключении: «Гонять прелюбодеицу по городу лозами, а прогнавши отослать на прядильный двор на работу вечно». Пожизненное заключение ее могло бы узаконить второй брак Ганнибала. Но Евдокии Андреевне каким-то чудом удается вырваться в Петербург и подать челобитную в синод. Ее освобождают на поруки, а дело поступает на новое рассмотрение. Затравленная женщина, живя в Петербурге, сходится с подмастерьем Академии наук и рождает дочь Агриппину; она послужила источником легенды о белом ребенке, рожденном женою Ибрагима, за что преступная мать была замучена в монастыре, — предание, волновавшее творческое воображение правнука. «Часто думал я об этом ужасном семей-

ственном романе», — писал Пушкин в наброске предисловия к «Арапу Петра Великого».

Появление ребенка дает Ганнибалу основание ходатайствовать перед петербургской консисторией, чтобы «оная прелюбодеица долее не называлась его женой». 9 сентября 1753 года Евдокия была признана разведенной со своим мужем и осуждена на заточение в дальний монастырь, где и скончалась. Сам Ганнибал отделался епитимьей и денежным штрафом за двоеженство; брак его с Христиной Шеберг был утвержден.

Такой благоприятный для него исход процесса объясняется тем, что в царствование Елизаветы Петровны любимец ее отца вошел в силу, пользовался большим влиянием и был щедро обласкан императрицей. Он получил звание генерал-майора, должность ревельского коменданта, пятьсот душ в Псковской губернии Опочецкого уезда, в «Михайловской губе», где его потомство долгое время хранило родовые земли и память о «прадеде-арапе».

С окончанием бракоразводного процесса сыновья Ганнибала получили, наконец, возможность поступить в дворянские корпуса и служить в гвардии и флоте. Старший — Иван Абрамович — стал историческим героем и заслужил от своего внучатного племянника хвалебный стих: «Вот Наваринский Ганнибал!» В 1770 году, после большой десантной операции и пятнадцатидневной осады, Иван Ганнибал взял в Архипелаге крепость Наварин. Во время битвы в Хиосском заливе, 24 июня 1770 года, он командовал артиллерией эскадры и взорвал весь турецкий флот, укрывшийся в Чесменской бухте. Вскоре он доказал, что может не только истреблять фрегаты, но и сооружать цитадели. В 1778 году ему было поручено построить крепость Херсон на месте устаревшего небольшого укрепления Александр-Шанца. Через три года на месте глухой «фортеции» аннинского времени раскинулся большой город с военной гаванью, адмиралтейством, верфью и арсеналом.

Но далеко не всем Ганнибалам удалось проявить такую героическую активность. Младший брат победоносного «бригадира», получивший от отца имя Януария, а от матери — Иосифа, вошел в историю лишь в качестве родного деда знаменитого поэта.

Этот Иосиф-Януарий, или в просторечии Осип Абрамович Ганнибал, отличался пылким и своенравным характером. Его считали «сорвиголовой» и «ужасом семьи». В 1773 году в чине майора морской артиллерии он был послан в Липецк осмотреть чугунные заводы, устроенные Петром I для отливки пушек Черноморскому флоту. В двух десятках верст от Липецка находилось село Покровское, имение капитана в отставке Алексея Федоровича Пушкина и его жены Софьи Юрьевны, рожденной Ржевской. Осип Абрамович стал бывать у покровских помещиков, посватался к их восемнадцатилетней дочери Марии Алексеевне и вскоре женился на ней.

Ярославское имение новобрачной пошло целиком на уплату долгов мужа, после чего Марии Алексеевне пришлось добиваться примирения своего грозного свекра с его блудным сыном. Вскоре молодые поселились в поместье Абрама Петровича, на мызе Суйде, под Петербургом. В 1775 году у них родилась дочь Надежда. Осип Абрамович надолго уезжал из дома, нисколько не заботясь о семье; молодой матери приходилось всячески влиять на супруга. Он решил сразу положить конец докучным домогательствам и навсегда оставил Суйду, увезя с собой в виде меры воздействия крошечную Надю. Затея удалась: Мария Алексеевна пошла на все уступки, лишь бы возвратить ребенка.

Сохранилось ее письмо к мужу. Впоследствии поэт Дельвиг восхищался живым русским языком писем Марии Алексеевны; об этом свидетельствует и приводимое нами письмо. Но еще более волнует оно той глубокой драмой, которая с такой сдержанной простотой выражена в нем.

«Государь мой, Осип Абрамович!

Несчастливые как мои, так и ваши обстоятельства принудили меня сим с вами изъясниться: когда уже

нелюбовь ваша ко мне так увеличилась, что вы жить со мною не желаете, то уже я решилась более вам своею особою тягости не делать, а расстаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободна, только с тем, чтобы дочь наша мне отдана была, дабы воспитание сего младенца было под присмотром моим. Что же касается до содержания как для нашей дочери, так и для меня — от вас и от наследников ваших ничего никак требовать не буду, и с тем остаюсь с достойным для вас почтением ваша, государь мой, покорная услужница Мария Ганнибалова».

Получив нужную гарантию, Осип Абрамович с готовностью возвратил дочь при весьма колком письме, в котором желал жене пользоваться «златою вольностью»; «...а я, — заканчивал он свое послание, — в последние называюсь муж ваш Иосиф Ганнибал».

Действительно, к семье своей он больше не вернулся. Отношения с женой Осип Абрамович считал настолько конченными, что в 1779 году снова женился на вдове Устинье Толстой, представив духовным властям «своеручное» письмо, свидетельствующее о его вдовстве. Мария Алексеевна в это время благополучно здравствовала в Москве. Узнав о своей «смерти» и о новой женитьбе мужа, она направила в соответственные инстанции документы, изобличавшие «вдового» Ганнибала в двоеженстве. Незаконный брак был расторгнут, а двоеженец послан на кораблях в Северное море. Четвертая часть его недвижимого имущества назначалась «на содержание малолетней Осипа Ганнибала дочери». С этой целью у него была отобрана деревня Кобрино Софийского уезда Петербургской губернии, где Мария Алексеевна и поселилась с подрастающей дочерью. Шурин ее, владелец соседнего поместья Суйды, чесменский герой Иван Абрамович Ганнибал, оберегал интересы своей крестницы.

Горестный опыт неудачного брака со всеми его тягостными материальными последствиями развил в Марии Алексеевне предусмотрительность, осторож-

ность, практическое чутье и хозяйственные способности. В управлении своим скромным поместьем она тщательно наблюдала, «чтобы ни одна сила не пропадала даром». Только такая неусыпная энергия дала возможность Марии Алексеевне собрать средства для приобретения собственного домика в Петербурге, в Преображенском полку, где с середины восьмидесятых годов она живет с дочерью.

Надежда Осиповна получает первоклассное, по воззрениям того времени, светское воспитание. Она овладела в совершенстве французским языком и приобрела репутацию достойной ученицы мадам де Севинье в искусстве дружеского письма. Сохранившаяся корреспонденция Надежды Осиповны действительно свидетельствует о живости и литературности ее эпистолярного стиля.

Неудивительно, что молодой поэт-гвардеец Сергей Пушкин произвел на эту образованную девушку наилучшее впечатление. Летом 1796 года он уже был ее женихом, а в конце сентября в родовом владении невесты, в деревянной церковке мызы Суйды, они были обвенчаны. Никто из присутствующих не догадывался, что на их глазах слагается семья, которой суждено получить неумирающее значение не только в роду исторических Пушкиных, но и во всей истории мировой поэзии.

III

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

1

Вскоре после венчания молодых Пушкиных произошло крупное событие — смерть Екатерины II. Утром 5 ноября императрицу разбил апоплексический удар, а к концу следующего дня она скончалась. В ночь на 7 ноября Сергей Львович с братом, срочно вызванные в измайловские казармы, принесли присягу на верность новому царю.

Наутро Пушкины стояли на вахтпараде у своих частей в новом одеянии гатчинского «модельного

войска», форма которого при Екатерине была строжайше запрещена к ношению. Туго затянутые в мундиры и узкие штиблеты, в перчатках с раструбами братья Пушкины салютовали новому императору. Маленький бледный человек с лицом, напоминавшим маску смерти, впервые гарцевал перед своими оцепенелыми полками. Всем была известна его угроза править «железною лозою».

Тревожное и сумасбродное царствование вскоре в полной мере сказалось на личной жизни молодых супругов. В течение целых пяти лет, до самой смерти Павла I, Пушкины никак не могут прочно где-либо обосноваться и не перестают переезжать из одной столицы в другую. Только в начале 1798 года Сергей Львович подает в отставку и вслед за старшим братом уезжает в родную Москву.

Пушкины поселяются в Немецкой слободе. По своему благоустройству это был в те времена лучший квартал города, заселенный иностранцами, вельможами и учеными. Здесь жили семьи знакомых и приятелей Пушкиных: известного библиофила Бутурлина, видного ученого публикатора Мусина-Пушкина (издавшего «Русскую правду» и «Слово о полку Игореве»), Воронцовых, Разумовских, Булгаковых и других представителей московского общества, к которому с детства принадлежал Сергей Львович и с мнением которого он всемерно считался. Нам поэтому представляется сомнительным, чтобы в мае 1799 года, накануне родов Надежды Осиповны, семья Пушкиных перебралась в домишко с провалившейся крышей, ветхий и полуразрушенный, где, согласно довольно распространенной версии, родился великий поэт. Все, что мы можем утверждать об этом, сводится к очень немногим данным. В Москве на Немецкой улице (ныне улица Баумана), в части, примыкающей к Елоховой, в никому не известном, давно снесенном строении, в четверг 26 мая 1799 года у Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных родился сын. Ему дали звучное историческое имя — Александр.

Он появился на свет в тяжелую и смутную эпоху. Год рождения Пушкина был богат большими полити-

ческими событиями. В 1799 году эскадра адмирала Ушакова победоносно огибает Ионические острова и берет неприступный Корфу. В этом же году русская армия с легендарным Суворовым во главе одерживает блестящие победы при Адде, Треббии, Нови и совершает беспримерный переход по обледенелым кручам Сен-Готарда, спасая от окружения войска Римского-Корсакова по ту сторону Альп. Наконец, 9 ноября 1799 года генерал Бонапарт свергает директорию и становится полновластным повелителем Франции. Царизм упорно продолжает начатую Екатериной политику удушения революции, но русский народ уже проявляет на далеких полях сражений свою неустрашимость перед величайшей опасностью и непобедимость в исторических битвах, руководимых гением его вождей. Все это на исходе столетия уже возвещает стремительный ход мировой истории в ближайшие десятилетия XIX века, когда судьбы наполеоновской Европы будут решены в Москве.

Крепостные нянюшки окружали колыбель младенца. Одна из них, нянчившая его сестру Ольгу, обратила на себя внимание Пушкиных своим метким языком. Ее образные словечки навсегда остались в преданиях семьи, а замечательный дар народной сказочницы определил ей службу при детях. Крепостную няню звали Ариной Родионовной.

Это была сорокалетняя женщина, хорошо помнившая времена Чесменской победы и Пугачевского восстания. Она родилась 10 апреля 1758 года в вотчине графов Апраксиных — мызе Суйде, то есть в старинной Ижорской земле, захваченной в XVII веке шведами, но снова отвоеванной Петром. Этот многострадальный край хранил кровавые воспоминания о вековой борьбе за берега Балтийского моря и запомнил отголоски старинных битв в устной поэзии новгородцев, финнов и великорусских крестьян, переселенных сюда в начале XVIII века.

В этой среде и родилась крепостная девка Арина. Годовалым младенцем она стала «рабыней» знаменитого генерал-аншефа Абрама Петровича Ганнибала и оставалась его собственностью в течение двадцати

двух лет, то есть до самой его кончины в 1781 году. Она хорошо помнила своего грозного барина и могла многое рассказать о «царском арапе» по своим личным впечатлениям от его необычайной фигуры и неукротимого нрава.

От знаменитого питомца Петра Великого молодая песельница перешла по наследству к его третьему сыну — Осипу Абрамовичу Ганнибалу, имение которого уже в 1784 году было предоставлено правительством покинутой им семье — Марье Алексеевне Ганнибал с малолетней дочерью Надеждой. А через тринадцать лет овдовевшая «крестьянская женка» Арина Родионовна становится нянькой в семье своей бывшей барышни, где ей и суждено было навсегда обессмертить «дивным даром песен» свое безвестное имя.

Вскоре после рождения сына Пушкины уезжают на некоторое время в село Михайловское к Осипу Абрамовичу Ганнибалу, а оттуда в Петербург, где они пробыли около года.

Павловский режим шел полным ходом к своей гибели. Охваченный манией борьбы с революцией, Павел I продолжал утверждать свое «царство ужаса»: полновластно действовала тайная полиция, цензура беспощадно душила печать, частные типографии были закрыты, литература замерла.

Неумолимый и мелочный этикет совершенно сковал жизнь Петербурга. Во дворце мужчины и женщины одинаково преклоняли перед императором колено и целовали ему руку. На улицах все проезжающие выходили из экипажей и отвешивали поклоны царю. Малейшее нарушение этих правил вызывало грозные гонения и взыскания. Вот почему появление Павла I на улице считалось сигналом к всеобщему исчезновению. Царя приветствовали паническим бегством.

Только таким уличным церемониалом можно объяснить курьезный эпизод ранней биографии Пушкина. Павел I лично сделал выговор его няньке за то, что та не успела при приближении императора вовремя снять головной убор с годовалого ребенка. Случай этот мог бы сойти за анекдот, но в атмосфере павловской регламентации уличных приветствий он

становится понятным. Сам Пушкин изложил впоследствии это странное происшествие в своих письмах, придавая ему значение некоторого предвестия своих будущих распрей с царями. Поклонами он действительно не баловал венценосцев до самого конца своей жизни.

2

В начале 1801 года Сергей Львович возвращается в Москву и селится «на Чистом пруде» — между воротами Покровскими и Мясницкими, где Меньшикова башня.

Конец павловской эпохи возвещал и возрождение русской литературы. С весны 1801 года вновь раздались голоса поэтов. «Возникли юные блистательные таланты, — писал Греч, — Жуковский, Батюшков, кн. Вяземский, Гнедич». Снова заговорил Крылов; «появились журналы, альманахи, критика и полемика». Братья Пушкины вернулись к своей любимой поэтической деятельности, и у Сергея Львовича открылись литературные вечера.

В эти годы семья часто меняет квартиры, но обычно проживает в том же участке старой Москвы, то есть в Немецкой слободе и Огородниках (где преимущественно селились литераторы и ученые).

С этими северо-восточными кварталами города связано раннее детство Пушкина. Он играл ребенком у Чистых прудов, любовался стрижеными кущами юсуповской «Версали», развлекался уличными сценами у Покровских и Мясницких ворот. Многих иностранцев поражал ежегодный весенний праздник освобождения птиц. В этот день московский «серенький люд» — дворовые, крепостные, слуги, крестьяне — толпами устремляется на площади, где каждый покупает клетку с птичкой, чтобы дать пернатой узнице свободу при радостных возгласах окружающей толпы. Есть в этом обычае, замечает один мемуарист, нечто трогательное и одновременно грустное. Это символическое празднество кажется почти оскорблением, нанесенным несчастным людям, пребывающим в состоянии рабства. Пушкин с детства полюбил этот

«родной обычай старины», дарующий свободу «хоть одному творению».

Вокруг расстилалась Москва — «большое село с барскими усадьбами», пестрый, разбросанный, людный город с бревенчатыми и вовсе немощеными улицами, с питейными домами, харчевнями и хлебными избами, с колымажными дворами, монастырями, «воксалами» и дворцами.

Маленького Александра водил гулять по городу его дядька — молодой дворовый Пушкиных из болдинских крепостных Никита Тимофеевич Козлов. Он навсегда останется спутником поэта по всем дорогам его жизни и даже будет увековечен впоследствии беглым пушкинским стихом. Незаметно и скромно он займет свое место в ряду близких Пушкину людей, его родных и друзей. Если он и не был стихотворцем (как «импровизировал» вопреки всем источникам Л. Павлищев), он замечательно владел русской речью и широко пользовался ее яркими образами и богатыми сравнениями. Он поразил впоследствии одного из приятелей Пушкина, заявив ему, что барин, живя на даче, показывается в городе лишь на мгновение, «как огонь из огнива». Язык будущего великого организатора русской речи, несомненно, воспринял живую характерность этого картинного народного слога.

Художественное воспитание ребенка Никита выполнял и в своих прогулках с ним по городу. Он впервые познакомил мальчика с пейзажной и архитектурной красотой родной Москвы, не раз воспетой впоследствии в знаменитых строфах:

И ты, Москва, страны родной
Глава, сияющая златом, —

писал Пушкин в набросках к своей последней поэме.

Есть свидетельства о том, что мальчик любил взбираться на колокольню Ивана Великого (она действительно упомянута в его первой поэме). Отсюда расстилался широкий вид на поля и рощи, сторожевые заставы земляного вала, трубы «мануфактур», раскинутых по Китай-городу, Варварке и Мясницкой,

Стройно возносились колоннады новых зданий: университета, построенного Казаковым, и «Пашкова дома», воздвигнутого Баженовым (ныне Библиотека имени Ленина). Река Неглинная обтекала Кремль. На месте снесенных стен Белого города начинали зеленеть молодые бульвары. Так раскидывалась Москва XVIII века в разноцветной мозаике своих сверкающих крыш, просторная и живописная, трудовая и праздничная, — древняя столица государства, великий русский посад, перекресток всех дорог бескрайной родины, «Москва моя!», как воскликнет восхищенно автор «Онегина». Он навсегда запомнил колоритный быт старой столицы с ее знатными чудаками и богатыми проказниками, окруженными толпами дворовых, арапов, егерей и скороходов, сопровождавших торжественные выезды своих бар в каретах из кованого серебра.

Такие впечатления молчаливо и сосредоточенно вбирал в себя мальчик Александр, смущавший подчас свою мать некоторой неповоротливостью и задумчивостью. Так складывались скрытые внутренние процессы раннего поэтического мышления. «Страсть к поэзии появилась в нем с первыми понятиями», — свидетельствовал брат Пушкина. Сам поэт не раз отмечал такое раннее пробуждение своего творчества; таковы его стихи о музе: «В младенчестве моем она меня любила...», «И меж пелен оставила свирель...»

И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью...

Пробуждению фантазии ребенка широко способствовало знакомство с увлекательным миром народной сказки.

«...Некоторый царь задумал жениться... Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит тридцать три сына. Царь женился на меньшой...»

Так рассказывает Арина Родионовна.

Она неистощима в своих песнях, побасенках и сказаниях. В молодости крепостная самого арапа, теперь вольноотпущенная, она не пожелала воспользоваться вольной и осталась в семье нянчить маленьких Пушкиных. В родном селе Кобрино, в имениях Ганнибалов, она наслушалась сказок о царе Султане, о Марье-царевне, о работнике Балде, перехитрившем бесенка. Ее память подлинной сказительницы удержала во всех живописных подробностях песни, пословицы, присказки, поговорки. С глубокой музыкальностью, столь органически свойственной русскому народу, она протяжно поет грустные песни:

За морем синичка не пышно жила...

Заунывные напевы сменяются неожиданной веселой плясовой мелодией. В ней слышится неистребимая внутренняя сила многострадального крестьянства, которое пронесло сквозь невиданный гнет векового закрепощения свою неугасимую одаренность.

И в детской Пушкиных звенит и разливается веселый и задорный мотив о том, как по широкой столбовой дороге «шла девица за водой, за водою ключевой»...

Об этом песенном репертуаре няни свидетельствует знаменитая строфа Пушкина:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла..

В доме есть еще одна рассказчица — бабушка Ганнибал. Она происходила по матери из старинного рода Ржевских и, по свидетельству ее внучки, «дорожила этим родством и часто любила вспоминать былые времена». От нее маленький Пушкин услышал первые исторические анекдоты о XVIII веке, которые впоследствии так любил записывать. Она была близка и к обоим историческим Ганнибалам, пыталась даже смягчить суровый нрав Абрама Петровича и навсегда сохранила благодарную память о его старшем сыне — наваринском победителе.

С. Л. Пушкин,
отец поэта.
Рис. Карла Гампельна (1824 г.)





Н. О. Пушкина,
мать поэта.
С миниатюры Ксавье де Местра.

Н. М. Карамзин.
С портрета
В. А. Тропинина.





В. Л. Пушкин,
дядя поэта.
С гравюры
С. Галактионова.

Русская история целого столетия, военные события, интимный быт царей, Петр и императрицы, искатели и сподвижники — все проходило в ее рассказах сквозь события семейной хроники и биографии ближайших родственников.

В раннем детстве Пушкин учился у своей бабки русскому языку. Происходя из обедневшей дворянской семьи и не получив аристократического воспитания, она любила свою родную речь и научилась литературно владеть ею.

В конце 1804 года бабушка Ганнибал приобрела под Москвой, в Звенигородском округе, сельцо Захарово. Оно находилось всего в двух верстах от большого поместья Вяземы, богатого историческими воспоминаниями и старинными памятниками. Это была вотчина Бориса Годунова, а затем и загородный дворец Лжедмитрия, где останавливалась Марина Мнишек Здесь задерживались послы и путешественники-иностранцы, следовавшие большой дорогой из Смоленска в Москву, сюда приезжал к своему воспитателю Борису Голицыну Петр I. Это оставило свой след в местных преданиях и народных песнях.

Пушкин-ребенок полюбил клены, тополя, водную гладь и тенистую рощу Захарова. Пейзаж средней полосы России здесь разнообразен и живописен. Именно в этих местах, по старой Можайской дороге, вскоре после Пушкина рос другой великий русский писатель — Герцен, оставивший восторженное воспоминание о лужайках и рощах западного Подмосковья «Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью. успокоительно хороши, в нашей стелющейся природе что-то мирное, доверчивое, раскрытое.. что-то такое, что поется в русской песне, что кровно отзывается в русском сердце».

Именно так воспринимал и Пушкин эти родные картины. Он любовно описал захаровский пейзаж в одном из своих лицейских посланий, а в 1819 году, находясь в Михайловском, выразил чудесными стихами свою глубокую любовь к русской природе, зародившуюся впервые в его любимом звенигородском селении.

Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью

Но не все дышало идиллией в сельце Захарове. Здесь Пушкин впервые увидел крепостное крестьянство, которое навсегда осталось предметом его встревоженных и возмущенных раздумий о тягостной судьбе «измученных рабов».

3

В эти ранние годы уже шло незаметно и первое литературное воспитание Пушкина. Он рос в доме, где господствовал всеобщий интерес к художественному слову, где поэзия считалась самым важным жизненным делом. «Если ты в родню, так ты литератор», — писал Пушкин в 1821 году своему брату. И сам он с первых лет увлекается песнями, сказками, стихами. «С таким же любопытством внимал он чтению басен и других стихотворений Дмитриева и родного дяди своего Василия Львовича Пушкина, — сообщал впоследствии Сергей Львович, — затвердил некоторые наизусть и радовал тем почтенного родственника, который советовал ему заниматься чтением наших поэтов, приятным для ума и сердца». Александр последовал этому совету.

В раннем детстве он проникается и совершенно необычным в этом возрасте интересом к личности писателя. В 1804 году Сергея Львовича посетил Карамзин, незадолго перед тем назначенный «историографом». В то время только начинала разгораться борьба с противниками его реформы русского языка. Только в 1803 году вышло столь нашумевшее сочинение адмирала А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», в котором карамзинской литературной ориентации, якобы исходящей из симпатий к французской революции, противопоставлялась традиция церковнославянского языка, выражающего идеи православной церкви и самодержавной власти. Филологическая проблема принимала острый полити-

ческий характер, а возникающая литературная борьба «славянороссов» с карамзинистами получала выдающееся общественное значение.

Эта бурная лингвистическая дискуссия выдвинула Василия Львовича на передовые позиции боя. «Борьба карамзинской школы с шишковскою принадлежит к числу интереснейших движений в нашей литературе начала нынешнего века», — писал Н. Г. Чернышевский. «...справедливость была на стороне партии Карамзина; и В. Л. Пушкиным, одним из ревностных приверженцев карамзинского направления, были сделаны две или три счастливые вылазки в стан противников».

Таким образом, тем для беседы Карамзина с Сергеем Львовичем было не мало. Поднимаясь с кресел, выпрямляясь во весь свой крупный рост, историк ораторствовал

С подъятыми перстами,
Со пламенем в очах, —

как описывал его Жуковский.

Это было необыкновенное зрелище, особенно для пятилетнего мальчика, безмолвно притаившегося в углу дивана, впившегося глазами в «живого писателя» и жадно вбиравшего в себя непонятные и чудесные речи. Быть может, взрослые уже успели шепнуть ему, это этот высокий человек с гулким голосом сложил певучую сказку об Илье Муромце, которую так полюбил этот маленький слушатель поэтов.

И вот снова лился поток слов, раздавались странные имена, звучали стихи. Раскрывался особый мир — не отроков с серебряными ножками и царевен со звездой во лбу, а замечательных живых людей, слагающих стихи и пишущих книги. Откуда-то возникало тревожное и смутное желание стать со временем таким же слагателем «красных вымыслов»...

Об этом сообщил нам Сергей Львович Пушкин, описав вечерний визит к нему Карамзина в 1804 году: «...во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз...»

Таковы были светлые впечатления Пушкина-ребенка: няня, бабушка, Никита, Кремль, Захарово,

басни и песни, дворовые и поэты — все это питало его раннюю впечатлительность и незаметно подготовляло его будущее творчество.

Не будем преувеличивать горестей пушкинского детства. Сам поэт оставил нам неопровержимые свидетельства об отрадных явлениях своих ранних лет:

С какою тихою красою
Минуты детства протекли, —

писал он по свежим воспоминаниям в 1817 году.

Но не будем скрывать и подлинных огорчений ребенка. Долгое время он не был любим своими родителями, не понимавшими задумчивой сосредоточенности их старшего сына. Надежда Осиповна не чувствовала призвания к домашним обязанностям и охотно перелагала их на свою хозяйственную мать. Как и муж ее, она отличалась пылким нравом и пристрастием к светской жизни. Но вопреки своей репутации экзотической красавицы мать Пушкина была настоящей русской женщиной. По деду своему она тоже принадлежала к историческому роду Пушкиных, по бабке — к боярской фамилии Ржевских, по отцу — к совершенно обрусевшему поколению Ганнибалов, служивших и отличавшихся в российской армии, флоте и администрации. Воспитателем ее был знаменитый победитель Порты, соратник славных русских полководцев и адмиралов XVIII века. Она никогда не разлучалась со своей матерью, столь любившей национальную старину и так мастерски владевшей простонародной русской речью. Она росла со своим двоюродным братом Александром Юрьевичем Пушкиным, воспитанником сухопутного шляхетного корпуса, который рассказывал ей о славных военных преданиях России. Светское воспитание, сообщившее устному и эпистолярному стилю Надежды Осиповны модный налет французского классицизма, не оторвало ее от родной природы и русских людей, которыми она была окружена в деревне и столицах. Она любила подолгу жить в селе Михайловском. Разделяя литературные вкусы и занятия своего мужа, она постоянно общалась с первоклас-

сными русскими писателями. Достойная хозяйка в литературном салоне Сергея Львовича, она любила вечера, домашние спектакли, декламацию, театр, общество музыкантов и художников. К этому кругу принадлежал и писатель Ксавье де Местр, который хорошо владел кистью и написал известный портрет Надежды Осиповны в модном жанре миниатюры — акварелью на слоновой кости, передав с замечательной живостью ее тонкие черты и умные глаза.

Но такая рассеянная светская жизнь, захватывая целиком молодую женщину, совершенно отрывала ее от детей и отнимала у них поэзию и счастье материнской ласки. Больше других это чувствовал нелюбимый Александр. Молчаливым укором памяти Надежды Осиповны остается отсутствие темы материнства в поэзии ее сына.

Но следует все же отметить и одну заслугу Надежды Осиповны в воспитании детей: по свидетельству ее дочери, страсть к французской литературе развивал в них не только отец, который «мастерски читывал им Мольера», но и мать, читавшая вслух Александру и Ольге занимательные парижские издания.

В детские годы наметилась и та отчужденность мальчика от отца, которой суждено было привести со временем к открытой розни. Молодой Пушкин, ставший поэтом-борцом, соратником и вдохновителем декабристов, настолько перерос камерную поэзию Сергея Львовича, что их взаимное внутреннее непонимание и внешний разрыв стали совершенно неизбежны. Но и в ранние годы неуловимый еще антагонизм гениального подростка с окружавшими его средними и ограниченными людьми должен был вызвать обоюдную настороженность и отчуждение.

Своеобразный характер Сергея Львовича во всех его жизненных противоречиях мало располагал к душевной близости.

Это был человек весьма образованный и обходительный, страстный почитатель и выдающийся знаток французских классиков, едва ли не первый русский «мольерист», но при этом вспыльчивый, раз-

дражительный, деспотичный, чересчур беспечный в делах, хотя и крайне бережливый. Рано возникшие поэтические интересы Сергея Львовича отвели его от официальной России и сблизили с лучшими представителями русской культуры. В молодости он отличался скромностью и застенчивостью, а в зрелые годы избегал шумной известности, предпочитая всему дружбу даровитых людей и занятие поэзией. Двадцати восьми лет, в чине штабс-капитана, Сергей Львович оставляет гвардию и удаляется из Петербурга в Москву, где занимает совершенно незначительный пост в очень скромном ведомстве. Он, несомненно, разделял презрение своего брата к тем бесчисленным российским душевладельцам, которые проводили свой век в курении табака, кормлении собак и сечении крестьян, как сатирически изображенный Василием Пушкиным помещик Перхуров. Широко бытовавший в этой среде безудержный «картеж», доводивший нередко до преступлений, был ему чужд. Он был свободен от крепостнического самодурства, погони за чинами, придворного благочестия. Знаток поэзии и театра, он обладал врожденной способностью писать и даже говорить стихами. Выдающаяся лингвистическая одаренность Сергея Львовича давала ему возможность с одинаковой непринужденностью рифмовать по-русски и по-французски. Он был мастером «стихов на случай» и охотно посвящал их друзьям и знакомым. В альбомах села Тригорского сохранилось множество его позднейших посвящений, посланий, приветствий, написанных нередко русскими стихами. Характерно его описание Михайловского:

Жилище мирное, услада дней моих,
И озеро, и лес, и сад любимый мною...

Сохранилось и его посвящение сыну, при поднесении ему на Новый год чернильницы, в котором автор с благоговением говорит о несравненном даровании и блестящей славе «любимого питомца муз». В 1837 году Сергей Львович подарил П. А. Осиповой портрет своего Александра, сопроводив подно-

шение русскими стихами о своем отцовском горе. Именно он сохранил для потомства библиотеку своего сына и успел сообщить в печати краткие, но весьма ценные воспоминания о нем.

4

Любимейшим родственником подрастающего поэта был, несомненно, его дядя Василий Львович. В отличие от своего младшего брата это был человек исключительной незлобивости. Своего старшего племянника, обделенного родительской любовью, он согрел своим сердечным вниманием и вдумчивым участием к его личности и судьбе. Он оказался первым воспитателем его таланта. Если бабушка Ганнибал учила родной речи, дядя Василий учил русскому стиху. «Парнасский мой отец!» — назовет его лицейский стихотворец, раскрывая почетное участие В. Л. Пушкина в своем творческом развитии.

Заметив одаренность мальчика, этот скромный литератор взял на себя его словесное воспитание и с честью выполнил ответственное задание. Следует признать, что он был вполне подготовлен к нему. Лирик небольшого дарования, он был прилежным работником в области стиха («Твой слог отменно чист, грамматика тебя угодником считает», — писал ему мастер поэтического слова Жуковский). Василий Львович занимался тщательной разработкой разнообразнейших поэтических жанров — посланий к друзьям, басен и сказок, сатирических поэм, эпиграмм, мадригалов, альбомных стихотворений, экспромтов, стихов на заданные рифмы. В ряду характерных бытовых черт старой Москвы Толстой упоминает в «Войне и мире» и «буриме Василия Пушкина». Наконец, как фольклорист, этот тонкий стиховед примыкал к целой плеяде поэтов XVIII века, разрабатывавших национальную старину и славянскую мифологию (Херасков, Державин, Богданович, Радищев).

Всем этим В. Л. Пушкин и был ценен как «профессор поэзии». Он мог служить начинающему стихо-

творцу живым руководством по метрике, художественному синтаксису, теории словесности. Свою поэтику он выразил в стихе: «Я логике учусь и ясным быть желаю». Поклонник краткой, точной и меткой речи, Василий Львович развил в себе подлинное искусство афоризма, столь нужного в басне и в сатире. Он по праву заслужил похвалу «чертенка-племянника» за меткость и силу своего полемического удара. Юный эпиграмматист высоко оценит это поразительное умение своего дяди «лоб угрюмый Шутовского *клеймить единственным стихом!»*.

Несомненную пользу принес он литературному новичку и своим «реалистическим» стилем: чуждый всякой мистике и фантастике, Василий Львович умел изображать жизнь, знал народную речь, был зорок к живописным типам и бойким нравам современной действительности. В «Опасном соседе» дан необыкновенно яркий очерк «низовой» Москвы, удалой тройки, пьяной компании, разгульного Буянова, который впоследствии был даже признан предшественником Ноздрева. Вся поэмка как бы предвещает «Чертогон» Лескова. Замечателен язык ямщика, кухарки, девицы в его простонародной силе или мещанской выделанности. Понятно восхищение этой поэмой Батюшкова и Пушкина.

Такие «натуральные» картинки и были подлинным призванием Василия Львовича, который мог бы широко развернуть свой дар бытописателя в атмосфере физиологических очерков сороковых годов. В начале же столетия ему пришлось идти проторенным путем модных лирических жанров, в которых не могла проявиться его подлинная зоркость к колоритному быту улицы, трактира, притона с их купцами, дьячками, кутилами, с их «чесноком и водкой».

Это было новое слово в поэзии, которое в обстановке «предромантизма» не могло еще утвердиться. Но автор «Монаха» высоко оценил этот смелый ход «дядюшки-поэта» и всегда гордился своим «двоюродным братом» Буяновым, которого вывел даже в своем любимейшем создании среди уездных поклонников Татьяны.

Школа не прошла даром. В своих шутливых поэмах, эпиграммах и посланиях он следует методам и опытам Василия Львовича. Не изменяет юный поэт и вольномыслию своего наставника. Но едва ли не главной заслугой «учителя» была его проповедь четкого, меткого, верного слова, конкретного и «реального» образа, исключающего всякую романтическую туманность или тягу к потустороннему. Школа Василия Львовича оказалась отличным противоядием всему таинственному, чудесному, божественному и сатанинскому, что нес с собою реакционный романтизм германского толка. Никакие соблазны и чары стиха Жуковского, у которого усердно учится юный Пушкин, не в силах заразить его этой «отрешенной» и «неземной» поэзией. Он всегда иронически сопротивляется ей. Поэт пишет о жизни для людей, он должен участвовать своим словом в их треволнениях и быть общепонятным и увлекательным — к этому стремился всегда Василий Львович, и этому он весьма успешно учил своего племянника. Заслуга его до сих пор остается незамеченной, но она поистине значительна. Автор «Опасного соседа» может разделять славу тех безвестных музыкантов-педагогов, из школы которых вышли великие композиторы и виртуозы. Он остается *первым* учителем Пушкина в поэзии — он поставил его голос. Мастера стиха Батюшков и Жуковский оказались неизмеримо сильнее и влиятельнее его, но они пришли позже.

В атмосфере таких разнородных и разноязычных впечатлений, но среди русской природы, архитектуры, басен и песен проходило детство Пушкина.

IV

„В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ“

1

Настала пора подумать о серьезном обучении мальчика. Сергей Львович придавал несомненное значение проблеме воспитания, но разрешал ее не-

сколько своеобразно. К новому поколению он применял принципы полученного им самим изысканного образования дворян екатерининского времени. К этому присоединялся, видимо, и личный опыт светской жизни и постоянных словесных развлечений. Началом и основой школы он считал знание европейских языков, особенно французского, которым владел мастерски и который так свободно подчинял игре своих каламбуров. Знание чужого языка считалось достигнутым лишь при усвоении литературных форм и даже поэтического стиля, почему изучение и строилось на чтении классических образцов — «Сида», «Андромахи», «Тартюфа», «Макбета», «Генриады». Отсюда убеждение, что высшим качеством преподавателя является его причастность к искусству — поэзии, музыке, красноречию, живописи. Достаточно известно, что сам Сергей Львович открыл такое литературное воспитание своих детей чтением им вслух своего любимого Мольера.

К сожалению, практика оказалась ниже намерения. Домашнее воспитание оставило навсегда отвращение к французским вокабулам и арифметике, но сообщило ребенку отличное знание иностранного языка и необычайную начитанность в поэзии. Этим он обязан своим родственникам в не меньшей степени, чем педагогам. Сергей Львович пошел, несомненно, правильным путем, приобщая детей с малолетства к литературе взрослых, широко раскрыв восьмилетнему мальчику свои книжные шкафы и разрешив ему постоянно присутствовать в кабинете и гостиной при беседах писателей. «Малый» поэт, каким был Сергей Львович, создал прекрасную умственную среду для воспитания великого поэта, каким оказался его сын.

Главную школу Пушкин проходил не в детской, а в приемных комнатах отца. Здесь он постоянно слушал стихи и с замечательной легкостью запоминал их. При такой системе воспитания роль педагогов значительно ослабляется. Разноязычные воспитательницы — немки, француженки, англичанки — особенного значения для его развития не имели. До нас дошли имена мисс Белли и фрау Лорж, преподававших язы-

ки маленьким Пушкиным. Ни английским, ни немецким Александр Сергеевич в детстве не овладел, но в конспекте своей автобиографии он впоследствии записал: «Первые неприятности — гувернантки».

Вскоре от этих докучных воспитательниц подросший Александр переходит на попечение учителя-француза. Первый гувернер Пушкина — граф Монфор, человек светского образования, музыкант и живописец. Его сменяет мосье Русссло, который преподавал мальчику, помимо своего родного языка, еще латынь и отличался, даже в семье Пушкиных, своими стихотворческими способностями. Очевидно, педагоги, приглашенные Сергеем Львовичем, не принадлежали к разряду случайных учителей, которых нередко поставляла в помещичьи семьи французская эмиграция.

Отечественную словесность преподавал подросткам Пушкиным священник Беликов. Это не был захудалый дьячок, обучавший грамоте недорослей XVIII века, но, в полном соответствии с общей культурой пушкинского дома, известный проповедник, даже писатель. Помимо родной речи, он преподавал детям арифметику и катехизис. Профессор двух институтов, он хорошо владел французским языком и издал в своем переводе проповеди Массильона.

Подлинная культура слова, так ярко сказавшаяся уже в первых стихах Пушкина, объясняется и его ранними чтениями. «Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой», — сообщал брат Пушкина. Превосходная библиотека Сергея Львовича имела первостепенное значение в умственном развитии его сына. Она состояла «из классиков французских и философов XVIII века», сообщает сестра поэта. Можно заключить, что сюда входили Рабле, Корнель, Расин, Мольер, Лафонтен, Буало, Лесаж, Вольтер, Бомарше, имена которых мы не раз встретим у Пушкина. Как было принято тогдашними библиофилами, Сергей Львович собирал и «моралистов», «публицистов»; мастерами философского жанра считались Гольбах, Гельвеций, Мабли, Монтескье, Дидро, Руссо, которых поэт отчасти назовет в своем послании «К вельможе»:

Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет...

В репертуаре чтений Евгения Онегина он продолжит этот список:

Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля...

В посланиях Василия Львовича, столь связанного с братом личной дружбой и общими вкусами, названы также Кондильяк, автор знаменитого «Трактата об ощущениях», и Делиль («парнасский муравей» по известному стиху «Домика в Коломне»). Следует полагать, что в отцовской библиотеке Пушкин нашел образцы комических поэм и легкой поэзии «старой Франции». В стихах лицейского периода он назовет Лафара, Шолье, Грекура, Вержье. Особое значение имел Эварист Парни, автор «Эротических песен» и «Библейских похождений» Знал Пушкин и Клемана Маро. Из античных авторов, по свидетельству Ольги Сергеевны Павлищевой, брат ее уже девяти лет любил читать Плутарха — этого любимца республиканцев, которым вдохновлялся Шекспир и зачитывался юноша Бетховен. Пушкин увлекался и поэмами Гомера во французском переводе. Его знаменитое двустишие (1830) «На перевод Илиады» («Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...») по истокам своим восходит к его детским чтениям.

Как указал И. И. Пущин, его друг-поэт проводил свои детские годы не только в отцовском доме, но «и у дяди, в кругу литераторов». Это означает, что Пушкин-подросток пользовался знаменитой библиотекой Василия Львовича, вывезенной им в 1803 году из чужих краев и, несомненно, пополненной обширным русским отделом. Двенадцатилетнего Пушкина влекло и в ценное книгохранилище Бутурлиных, где он любил «разглядывать затылки сафьяновых переплетов», рассматривать редкие гравюры и читать издания, отсутствовавшие в библиотеке его отца.

Наряду с образцами мировой литературы мальчик приобщался здесь и к отечественной классике. Имена

русских поэтов, которые называет в своих посланиях Василий Львович, имеют несомненное значение и для суждения о ранней начитанности его гениального племянника. Это Ломоносов, Державин, Богданович, который воспел любовь в «поэме несравненной», наконец новаторы языка и стиля — Карамзин и Дмитриев:

Вот чем все русские должны гордиться ныне!

Маленький Александр, несомненно, уже в детстве знал великих поэтов своей родины, без чего он не мог бы с такой неподражаемой легкостью овладеть в отроческие годы русским стихом. К детским впечатлениям восходит и его обширная начитанность в русской поэзии XVIII века, которая широко представлена в стихах лицейского периода. Книжные шкафы и литературный кружок Сергея Львовича сыграли первостепенную роль в этом приобщении его сына к ценностям родного слова. В ранних стихах Пушкина мелькают имена Ломоносова, Державина, Фонвизина, Радищева, Крылова, Жуковского, Батюшкова. Примечательно, что товарищи-поэты уже весною 1812 года высоко оценили словесную культуру своего блестящего однокурсника, который жил «между лучшими стихотворцами и приобрел в поэзии много знаний и вкуса».

Но эрудиция его была гораздо шире. В лицей, на тринадцатом году жизни, он принес не только познания в мировой литературе, но и сложившиеся навыки мысли, перекликающейся с революционными и атеистическими течениями философии Просвещения. По отзывам благонамеренных лицейских педагогов, Пушкин был безнадежно «испорчен» домашним воспитанием. Закаленная смелой критической мыслью, его натура упорно сопротивлялась их религиозно-монархическим воздействиям.

2

Но над всеми антологиями и альманахами в доме Пушкиных не переставали звучать живые голоса поэтов. Здесь всегда раздавались стихи, то восхищав-

шие классической законченностью своих знаменитых изречений, то волнующие необычайной музыкальностью своих новых элегических ритмов. К поре отрочества Пушкина относится появление в литературной гостиной Сергея Львовича двух крупнейших поэтов молодого поколения: это были Жуковский и Батюшков. Вскоре поэт-лицеист признает их своими учителями.

В кругу молодых писателей Батюшков выделялся своим упорным трудом над стихом XVIII века, которому стремился придать новые, живые интонации. Предпринятый им труднейший опыт начинал давать поразительные результаты. Слагался новый лирический стих с гибким и сильным ритмом, замечательно соответствующий обширным и глубоким задачам, стоящим перед национальной литературой. Уже первые стихи Батюшкова, по замечанию Белинского, «должны были поразить общее внимание, как предвестье скорого переворота в русской поэзии. Это еще не пушкинские стихи, но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских».

И вот они начинают звучать, эти первые пушкинские стихи, еще произнесенные детским голосом, но уже возвещающие будущую устремленность своего полета.

Три особенности поражают нас в первых опытах Пушкина: необыкновенно раннее пробуждение его творческого дара, исключительное разнообразие жанров, в которых «певец-ребенок» пробовал свои силы, уверенность и законченность его первых опытов. Вскоре сказалась еще одна черта, определившая все дальнейшее развитие его поэзии: неуклонное влечение к передовым воззрениям и ведущим политическим идеям эпохи. Но к этому Пушкин пришел уже в отроческие годы.

Его поэтическое сознание пробудилось на грани младенчества и детства «с первыми понятьями» (по свидетельству родных). Стихотворение 1816 года «Сон», в котором дана по свежей памяти яркая картина детских впечатлений от сказок няни, раскрывает во всей глубине неуловимый внутренний процесс пер-

вого возникновения творческих помыслов ребенка. Волшебные образы вызывают «крылатые мечты», рыцарские подвиги возбуждают желание славы: «и в вымыслах носился юный ум...»

Рано сказалась и разносторонняя одаренность будущего мастера слова: мальчик вскоре овладевает разнообразными жанрами и размерами, придавая различные интонации своему нарождающемуся стиху.

Одна из первых поэтических форм, прельстивших Пушкина, была, по свидетельству его сестры, басня. На это же указывал, как мы видели, и Сергей Львович. В начале XIX века пользовались известностью басни Дмитриева, который первый придал этому жанру «правильность, красивость и поэзию в слоге». Рядом с ним называли и его последователя В. Л. Пушкина, автора занимательных нравоучительных притч. С особой нежностью юный поэт назовет вскоре «Ванюшу Лафонтена». Он имел в детстве и собственный экземпляр басен Фенелона.

В доме записного театрала Сергея Львовича часто устраивались домашние спектакли. Кресла в гостиной расставлялись рядами, а ширмы превращались в кулисы. Сам хозяин-режиссер исполнял преимущественно роли мольеровского репертуара, в котором мог соперничать с лучшими любителями старой Москвы. Партер друзей не скрывал своего одобрения, дети словно завороженные следили за веселыми шутками сатирической комедии или народного фарса.

Один из первых театральных жанров, прельстивших Пушкина, назван его сестрой «маленькими комедиями». Они импровизировались на французском языке и явно вдохновлялись Мольером. К этому именно виду одноактных пьесок принадлежат «Смешные жеманницы», «Брак поневоле», «Мнимый рогоносец». Характерный признак этих коротеньких пьесок — анекдотичность сюжета, острота интриги, бойкая трактовка темы, радостная развязка. В центре обычно забавный обман или комическое недоразумение, порождающее ряд игривых положений.

Дошедшее до нас заглавие одной из ранних пьесок Пушкина свидетельствует о старинной комедийной традиции. «Escamoteur», собственно, не похититель, а скорее плут, пройдоха. Известно, какую огромную роль в композиции мольеровских комедий играет момент ловкого обмана. Возможно, что в своем раннем опыте маленький автор вдохновлялся «Плутнями Скапена», где эта тема разработана наиболее изобретательно и остро.

Творец «Тартюфа» привлекал пока своими веселыми интригами и комическими типами. Вскоре он будет воспринят как «Мольер-исполин», как поэт и мыслитель, выражающий в легких комедийных формах свою приверженность природе, разуму, освободительным идеям эпохи. Он оказался для Пушкина одной из самых живых связей с бунтарским духом французского Возрождения.

С первой комедией Пушкина связано его обращение к другому жанру — эпиграмме. Как известно, сестра Ольга освистала «Похитителя». Брат, по ее словам, не обиделся и сам на себя написал эпиграмму:

За что, скажи мне, «Ловкий вор»
Освистан зрителем партера?
Увы! за то, что стихотвор
Его похитил у Мольера *.

В первых же сатирических опытах Пушкина, сохранившихся в памяти его сестры, уже ощущается его бесспорное призвание. Фраза слагается естественно, легко и живо, с изумительной сжатостью выражая остроумную мысль и сообщая всей строфе стремительность, точность и блеск. Пушкин-мальчик уже владеет образцовым эпиграмматическим стихом.

Эпические поэмы привлекают его интерес и к новейшей литературе. «Лет десяти, — сообщает сестра поэта, — начитавшись «Генриады» Вольтера, написал он целую герои-комическую поэму в песнях шести под названием «Toliade», которой героем был карла

---

* Позволяем себе передать этот первый блестящий опыт эпиграммы Пушкина русскими стихами. — *Л. Г.*

царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием — война между карлами и карлицами».

Темой своей эпической поэмы Вольтер выбирает время жестоких гражданских боев во Франции в XVI веке. Эта тема дает ему возможность выразить протест против церковной нетерпимости. Описания Варфоломеевской ночи и голода в Париже представляют собою исторические картины исключительной силы. Высокая социальная идейность «Генриады», борьба с религиозным фанатизмом, драматизм исторической темы, блеск и чистота стиля — все это обеспечило поэме широкое признание.

Десятилетний Пушкин мог запомнить классическое обращение Вольтера не к Музе, а к Правде: истина должна сообщить силу и свет его писаниям, приучить к своему голосу уши королей, выражать его пером страдания народа и обличать ошибки властителей.

Но мальчик не ставил себе непосильной задачи — создать творение в таком трудном жанре, как «Генриада». Сестра поэта правильно указывает, что он взялся за написание поэмы герои-комической, то есть принялся за пародию на героический эпос. Следует полагать, что в библиотеке Сергея Львовича среди других шутливых поэм XVIII века имелась и пародия французского поэта Монброна «Перелицованная Генриада» *, которая и послужила маленькому Александру образцом для его «Толиады».

Раннюю поэму Пушкина постигла печальная участь. Гувернантка детей, недовольная тем, что Александр вместо уроков «занимается таким вздором», тайком завладела его тетрадкой и с соответствующей жалобой вручила ее гувернеру Шеделю. Прочитав первые стихи пародийной поэмы, француз бесцеремонно расхохотался.

Начинающий поэт почувствовал себя глубоко оскорбленным: рукопись его тайно похищена, над стихами грубо смеются. «Тогда, — рассказывает Ольга Сергеевна, — маленький автор расплакался

---

* Monbron. Henriade travestie.

и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку». Казалось бы, обычный случай из быта детской, и все же это первый удар в творческой биографии Пушкина: самовольное распоряжение его рукописью, глумление над ней и в результате — сожжение автором заветной тетради в виде протеста против возмутившего его непонимания и насилия.

3

Уже в отчем доме происходит заметный внутренний перелом подростка — смена первоначальных наивных представлений живым и вдумчивым восприятием «всех впечатлений бытия». К 1806 году от неповоротливости и молчаливости ранних лет не остается и следа. По позднейшему свидетельству его отца, мальчик «оказывал большие успехи в науках и языках и, еще в ребячестве, отличался пылким нравом, необыкновенной памятью и, в особенности, наблюдательным не по годам умом».

К этому переломному времени относится и знаменательная запись в автобиографической программе Пушкина: *ранняя любовь.* Об этом событии с теплом и увлечением вспоминал поэт в лицейских стихах 1815 года:

Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая Сушкова?
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый:
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой.

Фамилия в этих стихах проставлена исследователями Пушкина — сам он скрыл ее под тремя звездочками. Но это, несомненно, Софья Николаевна Сушкова, дочь литератора, в семье которого часто бывал «маленький Пушкин». Она родилась в 1800 году (скончалась в 1848). Впечатление от этого детского увлечения вскоре заслонилось другими, более сильными и яркими, породившими знаменитые

элегии и послания. И все же «друг сердца, милая Сушкова» запомнилась навсегда (программа записок составлялась в тридцатые годы); эта московская девочка, о которой мы знаем так мало, была первой вдохновительницей интимной лирики Пушкина, в будущем великого «певца любви, певца своей печали». В душевной биографии Пушкина встреча на детских балах с маленькой Соней Сушковой остается памятной датой.

Новый опыт жизни расширяет духовный горизонт. Чтения и диспуты развивают мысль подростка. Он начинает понимать, что литература не просто мирное сплетение рифм, а непрерывная борьба, столкновение мнений, нападение и защита. Сильные поэтические образы могут вооружать к битве, а меткий стих убивает противника. Об этом говорили друзья Карамзина, с насмешкой и презрением отзываясь о своих антагонистах — Шишкове, Хвостове, Шаховском. Жизнь литературы напоминает войну, и, чтобы победить, необходимо дружно идти в ногу с армией единомышленников, осыпая противника всеми стрелами сатирической полемики.

Из родного дома Пушкин вынес богатые речевые впечатления. Бабка Ганнибал славилась замечательным знанием русского языка, а по сложным обстоятельствам своей личной жизни могла обогащать свои рассказы о прошлом рядом терминов официального слога XVIII века, военного и морского лексикона, особыми словечками провинциального просторечия и вычурным «штилем» старинной приказной волокиты. Нянюшки, дядьки, дворовые, крепостные — все эти суйдинские, кобринские, болдинские, захаровские уроженцы — не переставали рассыпать в своих разговорах, песнях и сказках обильную и драгоценную россыпь живого народного слова. Проповедник Беликов приводил на своих уроках архаические славянские тексты. Рядом с торжественными классическими стихами здесь раздавались напевы Жуковского и Батюшкова. Плавные монологи трагиков, вольные размеры басен, легкие строфы «мимолетной поэзии», прихотливые ритмы

народных песен — все это постоянно звучало и пело в доме, где рос Александр Пушкин. В культурных, в собственно поэтических и чисто словесных впечатлениях у него не было недостатка.

И все же отроческие годы оставили у Пушкина мало отрадных воспоминаний. Недоставало душевного внимания к своеобразной внутренней жизни подростка. До сих пор не выясненные обстоятельства рано вызвали охлаждение родителей к старшему сыну, столь контрастирующее с их обожанием младшего — Льва (родился в 1805 году). Впоследствии хорошо осведомленные о всех обстоятельствах жизни Пушкина, его начальники по Коллегии иностранных дел сообщали в официальном документе: «Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом, не испытывая сожаления. Его сердце, лишенное всякой сыновней привязанности, могло чувствовать одно лишь страстное стремление к независимости...» Есть основание полагать, что этот отзыв был подсказан Карамзиным, пытавшимся в то время смягчить участь ссылаемого поэта. Немного позже знавший членов семьи и личных друзей поэта Анненков уверенно сообщал, что до самого 1815 года родные смотрели подозрительно на творческие занятия Александра: «Поэзия молодого Пушкина казалась шалостью в глазах близких ему людей и встречала постоянное осуждение».

Внимание и оценку он встречал у посторонних, подмечавших в начинающем поэте черты необычайной одаренности. Замечательный педагог Реми Жиле как-то обратил внимание на сына Сергея Львовича, жадно слушавшего салонных поэтов и ораторов: «Чудное дитя! Как он рано все начал понимать».

Такая оценка свидетельствует о том теплом внимании к детской личности, которого Пушкин не встречал со стороны своих родителей. Детство его, как и вся последующая жизнь, не дало ему спокойных и прочных радостей. Рано возникли тревоги и запросы выдающейся творческой натуры, смутно томившие душу и не встречавшие отклика. Непони-

мание и одиночество были его уделом уже в родительском доме.

Но отсюда же он вынес и свои первые влечения к свободе. В отцовской библиотеке он познакомился с лучшими образцами русской и мировой поэзии и незаметно воспринял скептическую мысль старинного «вольнодумства». У старших он не встречал задержек свободному развитию этих новых смелых идей о природе и обществе. Сторонники передового литературного движения, ценители логики и муз, питомцы Просвещения, они создали благоприятную атмосферу для развития начинающего поэта. От них услышал он имена Вольтера и Радищева, навсегда завоевавшие его сердце.

Вот почему из отцовского дома Пушкин вышел свободным от какого-либо преклонения перед «алтарем» и «троном». «Страстное стремление к независимости» уже в детстве становится основной чертой его характера.

V

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕЯ

1

Вопрос об определении Пушкина в учебное заведение выяснился сравнительно поздно, когда будущему поэту шел уже тринадцатый год. Сергей Львович первоначально остановил свое внимание на петербургском коллегиуме иезуитов. Но в начале января 1811 года было опубликовано правительственное постановление о новооткрывающемся учебном заведении — Царскосельском лицее. Это в корне видоизменило воспитательные планы Сергея Львовича.

В своей организации и деятельности лицей отражал основные черты правления и личности Александра I, которого Пушкин впоследствии не раз заклеймит своим сатирическим стихом за его двоедушие, «двуязычье» и «противочувствия». Этот «арлекин», по меткому выражению поэта, то есть шут

в лоскутном и пестром одеянии, всегда стремился в своей политике балансировать на крайностях, пользоваться советниками противоположных убеждений и в результате демонстрировать новейшие передовые идеи при неуклонном усилении своей самодержавной власти. Так строилась и его «просветительная» система, проводившая под покровом либеральных фраз борьбу с «разночинцами и смердами». Все это вызывало глухой протест в передовых кругах русского общества.

Тем эффектнее следовало обставить задуманный при дворе своеобразный династический университет для подрастающих царских братьев (Николая и Константина), где в условиях общей школы великие князья, окруженные знатными сверстниками, слушали бы публичные лекции знаменитых профессоров. Лагарпов «Лицей», или «Курс древних и новых литератур», должен был перевоплотиться в царскосельском павильоне екатерининского дворца в аристократический институт высшего типа.

Учреждение лицея преследовало важные политические цели и ставило себе основной задачей воспитать новое поколение русских людей в духе, враждебном идеям французской революции. Но в обсуждении проекта нового учебного заведения приняли участие, согласно испытанному методу царя, два советника противоположных направлений: один из самых передовых деятелей александровского правительства — Сперанский и мрачнейший реакционер Жозеф де Местр. Первый стремился распространить на лицей постановления учебных уставов 1804 года о всесословности учащихся, равных перед кафедрой учителя. Второй отстаивал в своих письмах к министру народного просвещения Разумовскому принципы иезуитского воспитания, предназначенного для высшей знати и основанного на монашеском послушании и взаимных доносах с целью выработки всепослушного слуги алтаря и трона.

Оба направления скрестились в уставах и программах лицея и вскоре отразились в его пестром быту и эклектическом преподавании. Но любимец

царя Сперанский уже с лета 1811 года находился в фактической опале, а мистицизм царя, укрепившийся летом 1812 года, сказался на усилении религиозно-нравственных и иезуитски-полицейских принципов в управлении лицеем. Равновесие явно нарушилось, но двуликий александровский стиль все же устоял в необычайном сочетании лицейского вольномыслия с теориями «божественного откровения» и тираноборческих призывов политической кафедры со шпионской деятельностью обскурантов-надзирателей.

Скроенный из таких противоречий, лицей мог легко превратиться в реакционнейший монархический институт. Но этого не случилось. Более того, произошло обратное. Жизнь с ее неуклонным стремлением размывать своими бурными «вешними водами» всяческий застой опрокинула этот проект заповедного питомника царских министров. Среди профессоров оказался передовой мыслитель, декабрист по убеждениям, друг Николая Тургенева — Куницын; среди воспитанников — будущий великий поэт, «пророк свободы» Пушкин; а рядом с ним вырастал и его «друг бесценный», вскоре один из отважных борцов на Сенатской площади 14 декабря, приобщивший к революционному движению Рылеева, — Иван Пущин. Эти три имени определили подлинную умственную жизнь лицея. Новые идеи опровергли все предначертания его учредителей и преобразили их мрачный монастырь в вольное братство молодой мысли и освободительных стремлений, из которого вышли лучшие люди поколения, ставшие величайшей честью своей родины.

Так учреждался «пушкинский» лицей. Обнародованное 11 января 1811 года постановление о новой школе ставило ее под особое покровительство царя, в непосредственное ведение министра народного просвещения; задачей нового учреждения объявлялось образование юношества, «особенно предназначенного к важным частям службы государственной». В программах отсутствовало естествознание, но наряду с науками историческими и «нравственными»

видное место уделялось изучению языков и «первоначальным основаниям изящных письмен».

Важнейшим условием для осуществления намеченной программы являлась, естественно, личность директора будущего лицея. На этот пост был выдвинут В. Ф. Малиновский, выполнявший до тех пор скромные обязанности в архивах и консульствах. Он оказался кандидатом влиятельной группы петербургских «мартинистов», занимавших видные государственные должности и пользовавшихся доверием царя. В то время эти высокопоставленные мистики вели активную политику и старались проводить на ответственные посты близких им людей. Сам Малиновский в молодости был причастен к легальному «либерализму», что не мешало ему мечтать об организации в России библейского общества и много писать на «божественные» темы. В 1803 году он издавал еженедельные листки «Осенние вечера», в которых трактовал вопросы политики с религиозной точки зрения, предваряя основы будущего Священного союза. Все это подготовляло особую атмосферу лицейского преподавания, с которой пришлось вскоре вступить в борьбу наиболее передовым воспитанникам.

2

Месяца через полтора после появления публикации о лицее Сергей Львович подает соответствующее прошение министру народного просвещения и вскоре получает извещение о разрешении его сыну подвергнуться вступительным испытаниям.

Как раз к этому моменту обострилась борьба литературных партий, и активные выступления Василия Львовича потребовали его поездки в Петербург. Предстоящее путешествие попутно разрешало и вопрос о доставке на лицейский экзамен Александра. Дядя Василий брал его с собой.

В Петербурге В. Л. Пушкин вошел в литературный кружок прежнего баснописца, а теперь министра юстиции Дмитриева. Василий Львович бывал здесь нередко в сопровождении своего юного пле-

мянника. Здесь выступали «очистители языка» и воинствующие сторонники нового слова Блудов и Дашков. В их увлекательные дискуссии много знаний и метких наблюдений вносил третий завсегдатай Дмитриева — Александр Тургенев, такой же противник шишковской славянщины. По своему служебному положению в министерстве народного просвещения этот старинный друг Сергея Львовича много содействовал поступлению его сына в открывающийся лицей.

12 августа «недоросль Александр Пушкин» был доставлен на Фонтанку в обширный дом министра народного просвещения Разумовского. Пушкин отвечал по русской и французской грамматике, арифметике и физике, истории и географии, получив отметки «очень хорошо», «хорошо» и «имеет сведения»; высшего балла «весьма хорошо» он не удостоился, но зато и не получил отметки «преслабо», как некоторые другие кандидаты.

Открытие лицея состоялось в четверг, 19 октября 1811 года. В полном согласии с правилами де Местра родители учеников не были допущены на торжества, зато были приглашены члены государственного совета и «святейшего синода». Царская семья прибыла во главе с Александром I. Начальство старалось подчеркнуть государственный характер новой школы, ее неразрывную связь с главой верховной власти и высшим органом церковного управления. Весьма знаменательным было отсутствие на торжестве Сперанского и присутствие его соперника Аракчеева, который вскоре начнет оказывать на лицей свое тяжелое давление.

Присутствуя на празднике, Пушкин впервые ощутил тот глубоко чуждый ему казенный штамп, к которому навсегда сохранил самую искреннюю и глубокую неприязнь.

Великолепный и пышный дворец Растрелли соединялся крытой галереей с прекрасным домом простого и строгого стиля, отведенным под лицей. Это был так называемый «новый флигель», отстроенный для внучек Екатерины по проекту архитектора Ильи

Неелова и перестроенный для нужд лицея выдающимся русским зодчим В. П. Стасовым.

После торжественного богослужения открылась в конференц-зале светская часть празднества. Прочитанные здесь официальные документы и приветствия весьма мало соответствовали литературным вкусам Пушкина. Его новые наставники изъясняли свои мысли тем устарелым, напыщенным церковнославянским языком, который был так решительно отвергнут передовой поэтической школой.

Вся церемония, казалось, продолжала церковный обряд. Два адъюнкт-профессора, раскрыв огромный фолиант в золотом глазетовом переплете с царским вензелем и двуглавым орлом, с торжественным видом держали его перед директором департамента министерства народного просвещения Мартыновым, который зачитывал высоким надтреснутым голосом грамоту, дарованную лицею. Пушкину казалось, что здесь намеренно приводят образцы комического старого слога («ныне отверзаем новое святилище наук» и пр.).

Сейчас же после Мартынова выступил директор лицея Малиновский. Этот скромный чиновник, любивший переводить библию и псалтырь, совершенно растерялся, впервые выступая в «высочайшем» присутствии. Прерывающимся от волнения голосом он читал по бумажке написанное кем-то приветствие. Торжественному славянизму стиля вполне соответствовал и верноподданнический тон речи.

Гораздо увереннее выступил конференц-секретарь лицея профессор русской и латинской словесности Кошанский. Он был воспитанником Московского университетского пансиона, окончил два факультета, имел ученые степени «изящных наук магистра и философии доктора». Кошанский переводил греческих поэтов, считался прекрасным декламатором и хорошо владел своим голосом. Именно ему было поручено представить царю всех служащих и воспитанников лицея.

В гулкой тишине конференц-зала из уст Кошанского впервые прозвучало имя Александра Пушкина.

Из группы школьников вышел «живой, курчавый, быстроглазый мальчик» и с установленным поклоном приблизился к столу между двумя колоннами, где расположились высокие гости.

Александр I впервые увидел Пушкина.

Вслед за обрядом представления выступил адъюнкт-профессор Куницын, прочитавший свое «Наставление воспитанникам Царскосельского лицея». После дребезжащего дисканта Мартынова и прерывистого шепота Малиновского «чистый, звучный и внятный голос» нового оратора приковал всеобщее внимание.

Куницын впоследствии сыграл несомненную роль в развитии передовых общественных идей лицеистов, и это послужило возникновению некоторой легенды о его первом выступлении. Следует восстановить подлинную картину. Сохранившийся текст его «Наставления» служит лучшим доказательством того, как стеснен был официальными требованиями молодой ученый и как он был вынужден подчиниться принятому шаблону выступления в «высочайшем присутствии».

Профессор нравственных наук должен был сохранить в своем слове все приемы старинного красноречия с его риторическими вопросами и торжественными возгласами («сие святилище», «се дети ваши, мои возлюбленные чада» и пр.).

Но его молодость, талант и преданность свободе преодолели архаичность казенного славословия и неожиданно прорвались в бодром тоне его речи, призывавшем не к верноподданности и раболепию, а к гражданскому служению родине. Эта окрыляющая интонация речи Куницына, проникнутая высоким патриотизмом передового мыслителя, зачаровала юных слушателей и запомнилась ими навсегда. «Вы помните: когда возник лицей», — взволнованно спрашивал через четверть века Пушкин своих первых товарищей, —

И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Тогда гроза двенадцатого года

Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.

Так запомнилось 19 октября 1811 года. Среди безмолвствующих высокопоставленных посетителей звучит вдохновенный голос молодого ученого, словно возвещающий близкую годину Отечественной войны, раскрывшей всему миру героизм «великого народа».

Речь Куницына оказалась первым событием в жизни лицея. Живое чувство и ораторский дар молодого адъюнкта как бы стерли установленные штампы официального текста и дошли до самого сердца молодой аудитории.

Но в остальном открытие лицея отзывалось церемониальной проповедью и никак не могло увлечь раннего вольнолюбца, уже оценившего прекрасную простоту и силу поэтического слова в его способности выражать искреннюю и свободную мысль.

Празднество продолжалось обедом в присутствии гостей и закончилось иллюминацией. На балконе дворцового флигеля светился транспарант, изображающий вензель «августейшего основателя лицея» среди цветочных гирлянд, лавров и миртов.

От придворного торжества веяло холодом и скукой. Но вокруг расстилались сады, разбитые замечательными мастерами парковой архитектуры. Пушкина влекло в эти рощи, украшенные статуями, к этим озерам, отражающим мраморные обелиски. Его пленял осенний северный пейзаж, несколько матовый и унылый, но оживленный созданиями стройного классического искусства. Пушкин всегда считал, что именно здесь, в этих «садах лицея», к нему впервые стала являться Муза.

3

10 декабря 1811 года Василий Львович впервые посетил своего племянника в лицее. Он нашел его сильно изменившимся. Мальчик был облачен в синий мундир с красным воротником и золотыми пуговицами, придававший ему странно официальный

вид. Недавний беспечный участник детских игр в бутурлинском саду принадлежал теперь к маленькой замкнутой общине с ее особыми нравами и правилами поведения. Он пил за обедом портер, как кембриджский студент, состоял под надзором *туторов*, то есть профессоров, не прекращавших общения с учениками и вне классов, носил по праздникам белый жилет и треуголку, учился фехтовать на эспадронах. Вместо просторной детской в особняке у Яузы он занимал теперь небольшую комнатку на четвертом этаже дворцового флигеля, полуотгороженную от такой же соседней кельи легким простенком с решеткой под потолком. Вырабатывая внутренний распорядок жизни лицея, министр Разумовский, наряду с некоторыми обычаями английских колледжей, ввел порядок католических закрытых школ с их строгой ночной изоляцией воспитанников; на этом особенно настаивал Жозеф де Местр.

В таких одиночных камерах была расселена ватага подростков, принадлежавших не столько к «знатным фамилиям», сколько к среднему служилому дворянству. Несколько аристократов и несколько разночинцев (по своим дедам) не могли видоизменить основную социальную физиономию первого лицейского курса. Среднее дворянство — слой, к которому принадлежали Радищев, Карамзин, Дмитриев, Батюшков, — начинало строить русскую литературу, а в лице некоторых своих представителей и вырабатывать оппозиционные идеи.

Неудивительно, что среди лицеистов оказалось несколько поэтов, открывших между собою литературные соревнования. Юные школьники стали издавать рукописные журналы, печататься в крупнейших изданиях, а несколько позже принимать участие и в некоторых вольных политических кружках. Это была совершенно новая идейная и творческая атмосфера, сильно подвинувшая развитие Пушкина-поэта.

Впоследствии отец его совершенно правильно отмечал: «Нет сомнения, что в лицее, где он в товарищах встретил несколько соперников, соревнование способствовало к развитию огромного его таланта».

Первым из этих соперников был Илличевский. Уже осенью 1811 года он состязается с Пушкиным в написании баллады, вероятно по образцу «Людмилы» или «Громобоя» Жуковского.

Вскоре эти случайные литературные соревнования принимают регулярный характер. В конце 1811 или в самом начале 1812 года состоялось первое открытое состязание лицейских поэтов. Это случилось на уроке профессора русской и латинской словесности Кошанского.

Товарищ Жуковского по Московскому университетскому пансиону и приятель Батюшкова, он был одним из лучших знатоков античной литературы в России. Кошанский переводил древних рапсодов, сам писал стихи, был в курсе современной лирики и нередко читал на своих лекциях новейших поэтов. Влияние его стихотворных переводов сказалось на антологических опытах Батюшкова, а впоследствии и Пушкина.

Приобщение лицеистов к науке и практике стихотворства входило в круг педагогических обязанностей Кошанского, и он с полным вниманием отнесся к этой проблеме. Он дружески работал над первыми рукописями своих слушателей, стремясь возбудить в них интерес к самостоятельному поэтическому творчеству.

Для первого состязания в поэзии Кошанский предложил первокурсникам одну из тем, намеченных в соответственном разделе его «Реторики» (фиалка, лилия в пустыне, роза). Там же были приведены стихи Державина:

Юная роза
Лишь развернула
Алый шипок;
Вдруг от мороза
В лоне уснула,
Свянул цветок.

Вероятно, такого же небольшого стихотворного фрагмента ожидал Кошанский и от своих слушателей.

Бесспорным победителем состязания, по позднейшему свидетельству И. И. Пущина, вышел Пушкин.

Он, видимо, побил рекорд как быстротой исполнения («Пушкин мигом прочел два четверостишья...»), так и высоким качеством своих куплетов («...которые всех нас восхитили»). Кошанский заинтересовался опытом и унес его с собой.

Этот ранний набросок Пушкина не дошел до нас. Но та же тема Кошанского разрабатывается поэтом в 1814—1815 годах в прелестных французских стансах «Avez vous vu la tendre rose...» («Вы нежную видали ль розу...») и в коротеньком лирическом стихотворении «Где наша роза?», в котором нет и тридцати слов и где трактовка образа поражает лиризмом и живописностью.

Дальнейшее свидетельство Пущина — «наши стихи вообще не клеились» — вызывает некоторое сомнение. Ведь среди участников турнира находилось еще несколько даровитых поэтов. Здесь был Илличевский, который рано стал мастером малых жанров — надписей, мадригалов, описаний — и славился именно легкостью своего стихотворчества. В 1815 году в журнале «Кабинет Аспазии» он поместил довольно звучное стихотворение «Роза». В начале курса он даже считался первым поэтом лицея.

В классе Кошанского находился и Дельвиг, написавший в 1814 году стихотворение «Фиалка и роза». Он с малых лет отличался «живописью воображения» и поразил Пушкина своим вымышленным рассказом об участии в походе 1807 года, когда он якобы следовал в обозе за воинской частью своего отца.

Ленивый в классах, Дельвиг тщательно изучал поэтов. «С ним читал я Державина и Жуковского, — вспоминал впоследствии Пушкин, — с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит...» Дельвиг первый выказал подлинное поклонение пушкинскому дарованию, когда оно только возникало, и, видимо, глубоко тронул начинающего поэта этой влюбленностью и беззаветной верой в его гений. Ни к кому из своих литературных друзей Пушкин не относился с такой нежностью, как к Дельвигу, высоко ценя его пленительную личность и благородный стих.

Только «две музы», по его позднейшему выражению, слетали в лицейский круг, только автор «Дориды» представлялся ему родным и подлинным поэтом среди других школьных стихотворцев.

Иначе относится Пушкин к другому лицейскому поэту — Кюхельбекеру Уже в одном из первых рукописных журналов царскосельских воспитанников, «Вестнике», в номере от 3 декабря 1811 года был помещен стихотворный перевод с французского за подписью Кюхельбекера («Страх при звоне меди .»). Странное по форме и содержанию, стихотворение дало обильный материал для насмешек и эпиграмм. В начале курса маленький «Виля», учившийся в Лифляндии, еще не вполне овладел русским стихом ему предстояла длительная и упорная борьба с материалом слова, чтоб со временем выразить свое необычное миросозерцание в сложных строфах особого поэтического стиля, намеренно архаического, но достигающего подчас подлинной поэтической мудрости Эти черты его своеобразного дарования рано стали предметом товарищеских шуток, чему отчасти способствовала рассеянная и нескладная фигура лицейского «мечтателя» Но это не мешало товарищам высоко ценить возвышенный и благородный характер Кюхельбекера, его большую начитанность, культ поэзии, прекрасное знакомство с германской литературой. В ряду лицейских лириков он представлял собой, если не по дарованию, то по характеру и убеждениям, наиболее законченный тип романтического поэта, способного жить исключительно своими вдохновениями и отважно грести против течения

Пушкина отводило от Кюхельбекера и разное направление их творческих исканий; поклонник точного и четкого слова, Пушкин не мог принять архаические опыты в торжественном старинном стиле Отсутствие легкости в писании стихов обращало Кюхельбекера к сложным размерам, в тяжеловесности которых он ощущал некоторое соответствие своей ранней манере мыслить и выражаться К темам современной лирики Кюхельбекер пробовал применять гекзаметр, отстаивая преимущество этого сложного



Уголок парка в Царском Селе (город Пушкин).



Берег у Георгиевского монастыря, где было написано послание к Чаадаеву.
(«К чему холодные сомненья...»)

размера перед легкими, или «простыми», ритмами хорея или ямба, рано полюбившимися Пушкину. По таким вопросам стихосложения происходили, видимо, жаркие споры между сторонниками двух поэтических направлений, свидетельством чему может служить пушкинская эпиграмма 1813 года «Несчастие Клита»:

Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет,
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышит

Она свидетельствует о том, что лицеисты младшего курса спорили о трудных проблемах античной и новой метрики в ее применении к русскому стиху и что в этих спорах Пушкин и Кюхельбекер занимали непримиримые позиции.

Только выйдя из лицея, Кюхельбекер проявил себя полностью и вызвал глубокую симпатию Пушкина мужественным характером и трагической судьбой.

Среди лицеистов были еще два поэта Корсаков и Яковлев; оба оказались и весьма талантливыми музыкантами.

«Трубадур» Корсаков был одним из инициаторов литературного кружка в лицее, издателем первых лицейских газет и журналов; более всего он ценился товарищами как певец, виртуоз на гитаре и композитор. Посвященная ему Пушкиным строфа в «Пирующих студентах» как бы отзывается «гитары тихим звоном».

Еще разностороннее и ярче было артистическое дарование Яковлева Дружеские клички — «паяц», «буффон», «проказник», «музыкант», «песельник» — свидетельствуют о живом актерском даровании этого юноши с подвижным лицом и замечательными мимическими способностями. Он блестяще изображал всех лицейских профессоров, начальников и царскосельских жителей — от министра Разумовского до колченогого дьячка. Искрящаяся веселость Яковлева была по сердцу Пушкину.

Эти лицейские музыканты немало способствовали широкой популяризации стихов своего товарища-поэта. Корсаков положил на музыку начальные строфы стихотворения «О Делия драгая» и стансы к Маше Дельвиг. Яковлев дал музыкальную композицию текста «Дитя харит». Все это распевалось в лицее и в царскосельских домах, где первые строфы Пушкина приобрели известность в форме романсов, написанных его друзьями.

В литературных занятиях принимал также участие «первый ученик» лицея Горчаков. Он пробовал свои силы в прозе, интересуясь преимущественно историческим жанром (впоследствии он пользовался репутацией дипломата, искусно владевшего пером). В том же историческом роде выступал и один из ленивейших лицеистов, проявивший заметную активность лишь в «издании» журналов, — Константин Данзас.

Уже в первый год пребывания в лицее раскрылись вкусы и склонности подростков: Илличевский принес в школу начитанность в старой русской поэзии и некоторый первоначальный опыт в стихотворчестве, Дельвиг — свою любовь к древним мифологическим образам, Кюхельбекер — влюбленность в поэзию эпохи «бури и натиска», Пушкин, вместе с замечательным знанием передовых писателей XVIII века, — их основное стремление освободить человеческую мысль от всех феодальных предрассудков.

Столкновение этих вольных творческих устремлений с цепкой системой казенного ханжества и сыска, процветавшей в лицее, не замедлило сказаться. Неуклонная тенденция начальства подавлять неудержимое стремление подростков к независимости своих воззрений и мышления создавала беспокойную, подчас даже тревожную атмосферу, приводившую к недоразумениям и конфликтам. Впечатлительный и вспыльчивый Пушкин часто испытывал гнетущую тяжесть такой среды и не мог в ней спокойно ужиться. По свидетельству его друга Пущина, поэт-лицеист, совмещавший в своем характере «излишнюю смелость с застенчивостью», нередко «ставил себя в затруднительное положение». В этом сказывалась высокоодаренная

личность, это выпрямлялся открытый характер поэта, идущий вразрез с условностями и правилами казенного общежития, готовый бунтовать против его официального уклада и лицемерных форм благоприличия.

По ночам, когда все засыпали, два друга вполголоса обсуждали сквозь перегородку своих камер какой-нибудь случай протекшего дня, глубоко взволновавший Пушкина и вызывавший в ночном безмолвии его сомнения, сожаления или мучительные вопросы. Уже в лицее Пушкин испытывал, пока еще в начальных формах, то состояние бичующего самоанализа, которое впоследствии с такой исключительной силой он запечатлел в стихотворении «Когда для смертного умолкнет шумный день...».

Эти ночные беседы были исполнены покаянных жалоб и скорбных признаний, облитых горькими слезами. Добрейшему Пущину приходилось изыскивать утешительные аргументы для утоления душевной боли своего друга.

В этих полуночных переговорах одинаково раскрывались характеры двух друзей. Здесь полностью сказывались черты напряженной душевной жизни Пушкина, как и редкие свойства отзывчивости, доброжелательности и участия, свидетельствовавшие о светлом уме и горячем сердце благороднейшего Пущина. Более всех он открыл своему гениальному другу ценность и поэзию дружбы.

От лицейских невзгод Пушкин находил утешение в поэтических занятиях. Вопреки своим высказываниям о «беспечности» и «лености» певцов он уже в лицее трудится не только над собственными опытами, но и над изучением литературных образцов. Слова его о Дельвиге, который «знал почти наизусть» обширнейшую антологию русской поэзии, изданную Жуковским, вероятно, в большей степени применимы к нему самому: феноменальная память Пушкина поражала его товарищей и наставников.

Названный им пятитомный свод русской поэзии от Кантемира до 1810 года чрезвычайно раздвинул пределы ранней начитанности Пушкина и раскрыл ему новые богатства поэтического языка.

Расширяется область его замыслов и планов: в сотрудничестве с веселым шутником Яковлевым он пишет комедию для домашнего театра — «Так водится в свете», самостоятельно начинает роман в прозе «Цыган», комедию в стихах «Философ» и несколько позже повесть «Фатам, или разум человеческий». Все это еще носит характер первых ученических упражнений, не завершенных и вскоре позабытых, но уже незаметно накопляются средства и опыт для более свободного и самобытного творчества.

VI

„ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА“

1

Лицей открылся в напряженный момент международного положения. В те самые дни, когда у министра народного просвещения экзаменовали маленьких кандидатов в новую школу, до Петербурга дошли вести о предстоящем разрыве России с Францией.

Как вскоре выяснилось, на торжественном приеме дипломатического корпуса в день своих именин 3(15) августа 1811 года Наполеон обратился к русскому представителю Куракину с обвинениями и угрозами по поводу военных приготовлений Александра I. Эта беспримерная демонстрация была понята присутствующими послами как негласное объявление войны, которое не замедлит стать открытым и окончательным.

Инцидент в Тюильрийском дворце получил широкий отзвук в русском обществе. Пушкин с поразительной исторической точностью отметил через четверть века, что в тот момент, «когда возник лицей», Наполеон уже грозил Александру I, хотя еще колебался в своем решении ринуться на Россию.

«В конце 1811 года уже поговаривали о войне с Наполеоном», — вспоминал в 1831 году Пушкин. С начала 1812 года неминуемость столкновения становится очевидной для всех. В январе Наполеон заключает военные союзы с Австрией и Пруссией. В февра-

ле французские войска переходят Эльбу и Одер, неуклонно направляясь к русской границе. В марте царский манифест о рекрутском наборе открыто возвещает о военной опасности. В апреле посол Куракин потребовал свой паспорт для отъезда из Франции.

К лету события принимают катастрофическую стремительность. По определению лицейского профессора истории Кайданова, «Наполеон, стремясь к основанию всемирной монархии, предположил сокрушить Россию, как последнюю преграду, предстоящую честолюбию его. И в то время, когда Европа была еще в недоумении и в размышлении о будущей своей участи, миллионы народов, двинутые как бы чародейственною силою, заволновались. Наполеон, подкрепляемый двадцатью своими союзниками и собрав 580 000 войска и множество военных орудий, перешел через Неман и вступил в Россию, увлеченную, как он говорил, своим неизбежным роком...»

16(28) июня Наполеон въезжал в Вильно.

Мальчики, собранные в лицее, не могли, конечно, охватить всех сложных причин начавшейся кампании; но и подросткам, как всему русскому обществу, было ясно, что завоеватель с мировыми притязаниями стремился к национальному порабощению России для создания всемирной монархии под своим безграничным владычеством.

Речь шла о спасении родины от величайшего унижения и гибели. Несмотря на различные мнения в высших дворянских кругах, где имелись свои «бонапартисты», лучшие силы нации объединяются в едином порыве для отражения грозного нашествия.

Это было великим событием в жизни Пушкина: Уже в отроческие годы он почувствовал себя в эпохе и осознал призвание поэта как выражение общенациональной воли.

Большая дорога из Петербурга на юг пересекала Царское Село. Лицеисты провожали гвардейские полки, проходившие мимо здания их школы. Пушкин в 1815 году вспоминал эти восторженные проводы:

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?

Он сохранил навсегда неизгладимое воспоминание об этой грозной и героической поре. Через четверть века он с волнением и гордостью писал:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Юношеские стихи Пушкина полны горячего и искреннего патриотизма, которым до конца будут охвачены его творения: готовность отдать жизнь за родину и русский народ уже звучит господствующей темой в политической лирике лицейского периода. Ранние строки поэта возвещают его будущие знаменитые стихи о «великом дне Бородина».

Затаив дыхание следили в лицее за событиями на фронте.

Бурным темпом развертывались акты великой исторической драмы на западной равнине России. За четыре-пять недель русское командование опрокинуло намерение Наполеона разбить русскую армию у самой границы и принудить Александра I к заключению мира. «Новый Аустерлиц» не удался. Разъединенные в начале войны нелепой прусской тактикой Фуля, обе русские армии соединились 22 июля (3 августа) под Смоленском. Противник был вынужден следовать в глубь страны, так и не получив генерального сражения. За два месяца он продвинулся до Можайска, растянув линию своих коммуникаций на тысячу верст, оставив за собой дымящиеся развалины, с каждым шагом увеличивая опасности наступления и теряя последние шансы на победу.

Но верная тактика отвода армии от численно превосходящих сил Наполеона навлекает на главно-

командующего Барклая де Толли неудовольствие царя, генералитета и высшего дворянства. «Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, — писал впоследствии Пушкин, — казалось вовсе не таковым: не только роптал народ, ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником».

Интерес к этим толкам в среде лицеистов мог углубиться и тем случайным обстоятельством, что Барклай де Толли был родственником Кюхельбекера. В конце августа мать Вильгельма написала сыну письмо, в котором, ссылаясь на факт дальнейшего пребывания Барклая в армии, опровергала порочащие его слухи.

8 августа происходит смена военачальников. Главнокомандующим русской армии по единодушному мнению общества и народа был назначен знаменитый любимец Суворова — Михаил Илларионович Кутузов.

26 августа (7 сентября) на дальних подступах к Москве, под Можайском, на огромной поляне у села Бородина, новый военачальник дает генеральное сражение Наполеону.

Это был один из наиболее кровавых дней в истории человечества (по выражению Е. В. Тарле). То был «свободы ярый бой», как назовет его вскоре Пушкин, рано понявший освободительный смысл Отечественной войны. «И россы пред врагом твердыней грозной стали», — описывает он Бородинский фронт.

Впервые в поэзии Пушкина выступает величественный образ Кутузова, взявшего на себя ответственность за сражение с Наполеоном, а вскоре затем и за спасение русской армии ценою отхода от Москвы:

Не здесь его сразил воитель поседелый;
О Бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы!
Увы! на башнях галл Кремля!..

«Уступкой столицы мы приготовим гибель неприятелю», — уверенно писал Кутузов после военного совета в Филях. Это безошибочное решение выдающе-

гося стратега отразилось вскоре в бодрой солдатской песне: «Пусть Москва в руках французов. Это, право, не беда! Наш фельдмаршал князь Кутузов их на смерть пустил туда!»

Но непоколебимое убеждение главнокомандующего и его армии не разделялось обществом, встревоженным грозным расширением театра войны.

«Не могу не вспомнить горячих слез, которые мы проливали над Бородинскою битвой и над падением Москвы»,— сообщает в своих воспоминаниях Корф. Дельвиг написал свою «Русскую песню», выражавшую патриотическое воодушевление всей лицейской молодежи. Пушкин через два года даст проникновенный очерк событий в торжественной оде, а значительно позже изобразит патриотический подъем 1812 года в «Рославлеве»: героиня повести восхищена подвигами своего народа в его титанической обороне отечества: «О, мне можно гордиться именем россиянки!»

По мере развития хода событий обрисовывались личности русских полководцев 1812 года, тесно связанные с крупнейшими боевыми эпизодами и незабываемыми актами мужества. Так, 11 июля генерал Раевский, в разгаре упорного боя с маршалом Даву за подступы к Могилеву, взял за руки двух своих сыновей-подростков и пошел с ними на неприступную батарею при Салтановке, закричав войскам: «Вперед, ребята!.. Я и дети мои укажем вам дорогу». Войска бросились за ним, и батарея была взята. Пушкин писал об этом в 1829 году в некрологе генералу Раевскому.

Могло запомниться также имя участника суворовского похода в Италию генерала Милорадовича, который принудил французское командование заключить перемирие на 24 часа для вывоза из Москвы обоза и оставшейся артиллерии. А через месяц тот же Милорадович заявлял начальнику французского авангарда Мюрату, что в России война с французами разрослась в народную войну.

Уже к концу сентября стало ясно, что план оборонительной кампании привел к намеченным результатам. «Неприятель, теснимый и вседневно поражаемый

нашими войсками, вынужден был очистить Москву 11(23) октября», — сообщали очередные реляции.

«Россия спасена!» — воскликнул Кутузов.

«Какое взамен слез пошло у нас общее ликование, когда французы двинулись из Москвы!» — записал в своих мемуарах Корф.

Через девять лет, в момент смерти Наполеона, Пушкин увековечит могучими стихами истоки гибели завоевателя, восходящие к осени 1812 года:

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья!
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.

В победе русских Пушкин видит «длань народной Немезиды».

Но уже в 1812 году в сознании подростка слагается представление об идеальном полководце, освобождающем родину от иноземного нашествия. Поднявший на новую высоту боевую славу русского народа, Кутузов навсегда останется в сознании Пушкина национальным героем, образ которого он отчеканит через два десятилетия в победный барельеф неизгладимой четкости и мощи.

2

В осенние месяцы 1812 года на всех путях неприятеля разгоралась партизанская война (начавшаяся еще под Смоленском). Незадолго до Бородина Кутузов дал подполковнику и поэту Денису Давыдову небольшой отряд гусаров и казаков для набегов в тыл врага. Всадники с помощью вооруженных крестьян стали наносить страшные удары французам. Пушкин уже в лицее высоко ценил поэта-партизана за «резкие черты неподражаемого слога» и даже говорил впоследствии, что «в молодости старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил себе его манеру

навсегда». В 1816 году в стихотворении «Наездники» он изображает давыдовских партизан.

Еще 27 октября 1812 года Александр Тургенев писал П. Я. Вяземскому, что зарево Москвы и Смоленска «осветит нам путь к Парижу».

К концу года русская армия уже стояла на всем протяжении своей западной границы. 1(13) января 1813 года она перешла свои рубежи для окончательного сокрушения наполеонова владычества. Открывалась освободительная кампания 1813—1814 годов.

С самого начала Отечественной войны вся литературная жизнь страны преобразилась. За эти тревожные месяцы Пушкин познакомился с образцами незнакомой ему прежде, совершенно особой «словесности». Приказы по армии, реляции, бюллетени, рескрипты, донесения командующих, воззвания к народу, патриотические статьи и проповеди совершенно заполнили русские журналы и газеты. Лицейский профессор А. П. Куницын напечатал в «Сыне отечества» патриотическое воззвание, раскрывавшее освободительный смысл разразившейся войны. Время внезапно и повелительно создало новые виды письменности, которые сразу же приняли первые поэты страны — Жуковский, Батюшков, Крылов. Знаменитые басни о французском нашествии получили широкое распространение в действующей армии, где их читал войскам сам главнокомандующий.

К концу года в «Вестнике Европы» появилась ода Жуковского «Певец во стане русских воинов». Эта восторженная речь певца, сопровождаемая хором воинов, облекла в краткие формулы исторические характеристики героев. Кутузов, Ермолов, Милорадович, Витгенштейн, Платов, Коновницын, Воронцов и особенно Раевский — вся эта плеяда современников получала в стихах Жуковского исторический ореол. Особая хвала звучала партизанам — Денису Давыдову, Сеславину, Фигнеру. Вечная слава провозглашалась павшим в сражениях — Багратиону, Кутайсову, Кульневу. «И ты, и ты, Багратион... Добыча лютой битвы!» Сильное патриотическое впечатление произ-

водили и похвалы героям прошлого — Святославу, Дмитрию Донскому, Суворову, Петру I.

Пушкин, несомненно, был увлечен этим вдохновенным патриотическим дифирамбом. В 1814 году он обращается к Батюшкову:

.. С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.

В 1830 году он назвал «Пэан 12 года Жуковского» среди нескольких произведений, которые «наша словесность с гордостью может выставить перед Европою».

Отголоски «Певца во стане русских воинов» довольно явственно различимы в некоторых «батальных» стихотворениях лицейского периода.

Одним из первых описал разоренную Москву Батюшков в стихотворном послании «К Дашкову» («Мой друг! Я видел море зла...»). Это одно из лучших стихотворений о войне 1812 года по глубине трагического чувства и живой непосредственности его выражения. Образы «бледных матерей», бегущих в отчаянии с грудными младенцами под заревом московского пожара, замечательно выражают ужас нашествия, запечатленный правдивою кистью большого и чуткого писателя. Пушкин высоко оценил это стихотворение и откликнулся на его резкие антитезы в своих негодующих строфах об испепеленном городе. Запомнится ему и декларативный отказ поэта от эпикурейской лирики в годину страданий родины.

19(31) марта 1814 года русские войска вступили в Париж. После сражения под Монмартром (в то время предместье столицы), где снова блеснули имена полководцев 1812 года: Ермолова, Раевского, Барклая, Милорадовича, французская армия отошла с передовых позиций. «Мы увидели Париж со шпагою в руках!»

В Париже росс! — где факел мщенья?
Поникни Галлия, главой.
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой, —

описывал вскоре торжество и миролюбие русской армии Пушкин.

Борьба, казалось, завершилась. 25 марта (6 апреля) Наполеон подписал свое отречение, а через две недели простился с гвардией и отбыл в изгнание на остров Эльба.

Общее настроение лицейского братства в ту пору хорошо уловил и выразил Илличевский в одном из своих писем 1815 года: «Хвала русскому языку и русскому народу! Последняя война доставила ему много славы».

Она вскоре озарила и лицей, эта великая хвала русскому языку и русскому народу, воплощенная в битвах и подвигах незабываемой кампании. Историческое торжество России было подлинным рождением ее великого поэта. Патриотический подъем 1812 года впервые вызвал в Пушкине живое и конкретное представление о героическом народе, к которому он принадлежал и которому был призван служить своим словом. Международная драма обращает Пушкина к творческому осмыслению событий политической современности с позиций великой нации.

Тема родины получает для него новое звучание. Превыше всего уже на школьной скамье он дорожит достоинством и счастьем своего народа. В его стихах уже в 1814 году торжественно и победно начинает звучать огромная тема эпохи — всенародное преодоление иноземного нашествия. «Края Москвы, края родные, — с непосредственной сыновней нежностью обращается к полям величайших битв поэт-подросток. — И вы их видели, врагов моей отчизны! И вас багрила кровь и пламень пожирал!» Возникают первые пушкинские строфы о мировых событиях — пожаре Москвы и взятии Парижа. Впервые ставится и большая тема о призвании поэта в годину народных бедствий:

И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

Так устанавливается уже в отроческие годы Пушкина его неразрывная связь с великой народной страдой.

Исторические события, потрясшие мир в годы учения Пушкина, пробудили его творческий гений. Пройдет всего несколько лет, и поэт даст свое окончательное обобщение огромных событий, надолго преобразивших облик Европы и поднявших на исключительную высоту нравственный авторитет России. Коваными, как оружие, стихами он пророчески возвестит миру, что нашествие Наполеона раскрыло героическую мощь и освободительное призвание его нации — «высокий жребий» русского народа в будущих судьбах человечества.

Когда в июне 1941 года гитлеровские полчища ринулись на Советский Союз, наши патриотические плакаты грозили агрессору стихами юноши Пушкина:

Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря...

Поэт снова возвещал победу своей родине в беспримерной схватке народов. Перо лицеиста сама история приравняла к штыку.

VII

В КЛАССАХ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ

1

Своеобразное сочетание «благочестия» и сыска, положенное в основу лицейской системы, требовало особых служащих. Необходимо было в духе иезуитских правил тщательно наблюдать над помыслами опекаемых и всячески поощрять взаимные доносы.

Для выполнения этих «наблюдательных функций» и непосредственного общения с добровольными фискалами имелись в педагогическом составе лицея, помимо профессоров, еще воспитатели второго ранга — гувернеры и их помощники. Их выбирали из случайных людей — отставных военных, бесчиновных иностранцев, мелких служащих, часто не обладавших никакой воспитательной подготовкой. Лучшие из них совмещали гувернерство с учительством, как самоучка-каллиграф Калинич, бывший придворный певчий,

сумевший все же выработать у своих учеников изящную и легкую скоропись. Выделялся из этой среды и художник-самоучка Чириков, преподававший рисование по эстампам, с гипса и с натуры. Он не был лишен наблюдательности и первый из всех лицейских педагогов отметил уже в 1813 году в своей аттестации Пушкина: «имеет особенную страсть к поэзии». Чириков был автором стихотворной трагедии «Герой севера». Лицеисты любили его и охотно собирались у него на квартире для импровизации повестей, сюжет которых развивали поочередно. Пушкин рассказал здесь историю двенадцати спящих дев по «Громобою» Жуковского.

Но таких дельных классных наставников было немного. Остальные отвечали требованиям бдительного начальства. По выразительной характеристике Корфа, это были «подлые и гнусные глупцы с такими ужасными рожами и манерами, что никакой порядочный трактирщик не взял бы их к себе в половые».

Всей этой группой младших лицейских менторов ведал инспектор и надзиратель по учебной и нравственной части, некий Мартын Пилецкий-Урбанович, которого директор лицея Малиновский называл своей «правой рукой». По новейшим данным, это был агент тайной полиции. Лицеист Корф оставил очень выразительный портрет этого «святоши, мистика и иллюмината», который «непременно сделал бы из нас иезуитов», если бы вовремя не был изгнан из лицея. «Со своею длинною и высохшею фигурой, с горящим всеми огнями фанатизма глазом, с кошачьими походкою и приемами, наконец, с жестокохладнокровною и ироническою, прикрытою видом отцовской нежности, строгостью, он долго жил в нашей памяти как бы какое-нибудь привидение из другого мира».

Как многие святоши, этот «аскет» не мог отказать себе в поклонении женской красоте: он любил высказываться на счет посетительниц лицея в праздничные дни. Эти «ласковые, но несколько фамильярные прозвания родственницам, сестрицам и кузинам, посещавшим в лицее воспитанников», вызвали общее возмущение.

Пушкин стал во главе движения против инспектора. Перед всеми лицеистами и в присутствии гувернеров за общим столом во время обеда он во всеуслышание заговорил об обидах, нанесенных Пилецким родителям некоторых товарищей. Его поддержал Корсаков, а после обеда к ним примкнуло еще несколько человек. Составился целый заговор, в котором принял участие и Кюхельбекер. Несмотря на противодействие начальства, дело закончилось тем, что недовольные, собравшись в конференц-зале, вызвали Пилецкого и предложили ему уйти из лицея, угрожая, в случае отказа, собственным уходом. Видя, что история разрастается, Пилецкий подчинился ультиматуму и променял свой пост лицейского инспектора на должность следственного пристава петербургской полиции.

Пушкин придавал этому событию значение некоторой идеологической победы. Это был поход против столь ненавистного ему мистицизма, «пиэтизма», фанатизма и всякого сектантства. В позднейшей его автобиографии эпизод этот характерно помечен: «Философические мысли. — Мартинизм. — Мы прогоняем Пилецкого». Согласно языку начала века под философией имелись в виду преимущественно идеи Просвещения. Они-то, очевидно, и вступили в борьбу с официальным мистицизмом, который сливался в то время с учением Сен-Мартена. В результате — изгнание «иллюмината» Пилецкого из вольного лицейского братства.

Атмосфера елейности и розыска оказывала на некоторых воспитанников свое действие. К официальному благочестию был причастен Горчаков, еще более Корф, известный в лицее своим пристрастием к чтению церковных книг и пению псалмов. Сильнее всего настроения эти сказались в дневнике Комовского, одного из наименее симпатичных первокурсников лицея, получившего от товарищей прозвание «ябедника и фискала». Дневник этого подростка исполнен удивительного ханжества; он не перестает писать об «ужасном иге» своих грехов, о молитвах и посте.

Но со стороны морально здоровой среды воспитанников мрачные богословские тенденции встречали решительный отпор. «Дельвиг не любил поэзии мистической, — записал впоследствии Пушкин, — он говаривал: «Чем ближе к небу, тем холоднее».

Сильнее всего, конечно, этот протест был выражен Пушкиным. И вскоре это вольномыслие неудержимо прорвалось в первых опытах его раннего творчества. Летом 1813 года была написана первая поэма Пушкина «Монах» — шутливая, вольтерьянская, сатирическая. В основу ее положена средневековая легенда о поездке епископа в Иерусалим верхом на черте:

> Хочу воспеть, как дух нечистый ада
> Оседлан был брадатым стариком...

В первых же строках Пушкин, согласно классической традиции, отдает свой труд под защиту «фернейского старичка» и с восхищением говорит о его «Орлеанской девственнице». По примеру Вольтера Пушкин впервые обращается к пародии на «священные тексты». Сюжет «Монаха» почерпнут из четьи минеи. В характерном стиле антицерковной сатиры описывается обстановка и быт святого старца Панкратия, который готовится к смерти, якобы спасается молитвами, живет в нищете, постится круглый год, а на самом деле предается чревоугодию. Благочестивый житийный мотив получает пародийную разработку в смутившем отшельника видении женской одежды.

Монах Панкратий, изображенный пьяницей, обжорой и сладострастником, явно свидетельствует о традиции, восходящей к Рабле и Боккаччо. Характерно презрение начинающего поэта к плешивым картезианцам Парижа, «богатым кармелитам», жителям Печерской лавры, отвращение к оплоту католицизма — Ватикану с разжиревшими прелатами, которые тешатся «бургонским» и «девками». Эта антиклерикальная струя в творчестве молодого Пушкина восходит через поэтов XVIII века к литературе европейского Возрождения. Критическая

мысль гуманистов приподнимает покров над бытом монастырских келий — невелика заслуга проводить ночи за пением псалмов: «что запели бы они, если б должны были ходить в дождь и бурю за плугом, как крестьяне, босиком и с еле прикрытым телом».

Эти тенденции освобождающейся мысли явственно ощущаются и в первой поэме Пушкина. В этом отношении чрезвычайно знаменательно упоминание в «Монахе» великих живописцев итальянского и нидерландского Возрождения — Рубенса, Тициана, Корреджо.

2

23 марта 1814 года скончался директор лицея Василий Федорович Малиновский. Никакого влияния на Пушкина первый директор лицея не оказал, как и на всю передовую группу лицеистов, развивавшуюся вразрез с религиозно-нравственной программой своего начальника.

Некоторое время после смерти директора лицеем управляла конференция профессоров, а с сентября 1814 года — профессор-германист Маттеус фон Гауэншильд.

Новый начальник вызвал всеобщую антипатию лицеистов, прозвавших его в куплетах своей песни «сатаной с лакрицей за зубами». Другое его прозвище — «австриец» — отмечало связь Гауэншильда с австрийским посольством в Петербурге. Последующая дипломатическая деятельность этого венского академика, уже непосредственно у самого Меттерниха, подтвердила подозрение о весьма тесном и специфическом характере его политических связей в Петербурге.

Едва вступив в управление лицеем, «австриец» донес министру народного просвещения, что Пушкин в компании с Малиновским и Пущиным пытались устроить тайную пирушку и опоили ромом своего товарища Тыркова. Разумовский, только что получивший неофициальную отставку, придал этой шалости несоразмерное значение, сам явился в Царское, вызвал трех виновников для строгого выговора

и передал дело на решение конференции профессоров. Ввиду личного вмешательства министра лицейский синклит определил: ставить провинившихся на колени в течение двух недель во время общих молитв, посадить их на последние места за столом и вписать имена их «в черную книгу».

Таково было первое столкновение Пушкина с представителем верховной власти.

И поэт впервые применил оружие, которое не раз служило ему впоследствии: он написал эпиграмму на Разумовского («Ах, боже мой, какую я слышал весть смешную...»).

В июле 1814 года был заключен мир с Францией. На патриотическое празднество в Павловске 27 июля были допущены лицеисты. Они прошли от дворца к «розовому павильону» мимо триумфальной арки. Она была составлена из невысоких лавровых деревьев, на которых, словно в насмешку над их малыми размерами, красовалась приветственная надпись царю: «Тебя, текуща ныне с бою, врата победны не вместят».

По этому поводу Пушкин набросал пером рисунок, изображающий замешательство, происходившее будто бы у «победных врат»: участники шествия, приближаясь к ним, видят, что триумфальная арка действительно «не вместит» тучного царя, и некоторые из свиты бросаются рубить их. Пушкин блеснул талантом рисовальщика в политической карикатуре.

После представления с участием известнейших артистов начался бал. «Когда царская фамилия удалилась, — сообщает в своих записках Корф, — подъезд наполнился множеством важных лиц в мундирах, в звездах, в пудре, ожидавших своих карет. Вдруг из этой толпы вельмож раздается по нескольку раз зов одного и того же голоса: «Холоп! холоп!! холоп!!!» Как дико и страшно звучал этот клич из времен царей с бородами в сравнении с тем утонченным праздником, которого мы только что были свидетелями...»

Если эта сценка произвела такое впечатление на «благонравного» Корфа, можно представить, какую реакцию она вызвала в таких свидетелях, как Пушкин, Кюхельбекер или Пущин.

Случайный эпизод напоминал об исторической драме. За великими событиями, свершенными русским народом в 1812—1814 годах, раскрывалась его неизменная печальная и бесправная участь. По деревням у народных героев отбиралось оружие, которое не могло оставаться в руках рабов. Вскоре Пушкин назовет в своих стихах имя великого заступника закрепощенного и бесправного крестьянства: он впервые приведет в своих стихах имя русского поэта, чья судьба так взволновала старшее поколение и чье творчество будет до конца вдохновлять его, — Радищева, автора сатирической поэмы «Бова».

В истории творчества и политических воззрений Пушкина это одно из важнейших имен. «Радищев, рабства враг», сопровождает его замыслы с лицейской скамьи до предсмертного «Памятника».

Но «Бова» Пушкина не только простонародная сказка. Молодой автор явно выражает в ней свои политические интересы, обращается к историческим мотивам, к сатире на правителей и государственные учреждения. Здесь все полно намеков и даже явных указаний на большие события недавнего прошлого и протекающей современности.

В атеистическом духе трактуются церковные тексты и сатирически изображаются цари — с ослиными ушами и кровожадными вожделениями. Личность Александра I, которого считали участником убийства Павла I (Пушкин коснется этой темы в оде «Вольность»), ощущается и в этой поэме-сказке:

Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою,
Но убив царя законного,
Бендокира *Слабоумного.*

Затруднения узурпатора Дадона, который заключил в темницу законного наследника королевича Бову и совещается с приближенными о его умерщ-

влении, напоминает в общих чертах отстранение Екатериною законного престолонаследника Павла и ее проекты совсем лишить его престола. Тема дворцовых переворотов 1762 и 1801 годов явственно звучит в этой сатирической сказке.

Примечательна и непосредственная реакция юноши-поэта на новейшие события мировой политики. Прозвище «тирана неусыпного» здесь присвоено и Александру I (Дадону) и его противнику Наполеону, крушение и изгнание которого особо отмечено в поэме. Автор вспоминает воинственного властителя, который «мир крещеный потопил в крови», но сам впал в ничтожество и унижение:

И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы императором...

Сказочные образы нисколько не заслоняют той острой антиправительственной сатиры, какую шутливо и метко начал развертывать автор «Бовы». Можно представить себе, в какую обличительную картину царизма развернулась бы эта эпопея освобожденного народного любимца, поражающего преступного захватчика власти среди его порочного двора и бездарных советников.

В 1814 году была написана самая резкая пародия Пушкина на мистическую литературу. Еще в 1811 году в «Вестнике Европы» была напечатана первая часть поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» — баллада «Громобой». Это был пересказ авантюрного романа, написанного в XVIII веке немецким реакционным сочинителем Шписом, автором многотомных эпопей в духе «ужасов и тайн». У Жуковского получилось, по мнению Белинского, «что-то вроде католической легенды». В ней излагалась история непорочных дев, проданных их преступным отцом сатане, но спасенных заступничеством святого угодника.

Такой «мистериальной» теме пятнадцатилетний Пушкин решил противопоставить свою озорную балладу, в которой с предельной резкостью пародировал душеспасительную легенду Жуковского. Так была написана в 1814 году «Тень Баркова», в которой

изображены любовные похождения одного попа-расстриги. Благочестивые эпизоды церковного сказания обыграны Пушкиным с предельным обнажением эротической тематики и выражены особой, внелитературной речью, неприемлемой для печати. При этом сохранены размер и строфа Жуковского. Но святой Николай, спасающий Громобоя, комически преломлен в образе старинного поэта Баркова, который в духе своей беззастенчивой музы наставляет распутного служителя церкви на его цинические подвиги. Юный Пушкин проявил исключительную смелость, отразив «серафическую» поэзию Жуковского в кривом зеркале такого скабрезного сюжета, оформленного самым «просторечным» слогом. Пародия Пушкина — отчасти подражание «Опасному соседу», но без словесной сдержанности Василия Львовича. Как и поэма о похождениях Буянова, «Тень Баркова» — сатира на «славянороссов»: Шихматов, Хвостов, Бобров фигурируют в ней в качестве «бессмысленных поэтов», «проклятых Аполлоном». Антиклерикальный мотив звучит резче, чем в «Опасном соседе»:

Хвала тебе, расстрига-поп,
Приапа жрец ретивый...

Наряду с шутливой поэмой Пушкин начинает в это время разрабатывать и дидактическое послание. Это жанр многих его любимых поэтов. В России он был широко представлен у классиков XVIII века; мы видели, что именно в этой форме полемизировал со своими литературными врагами Василий Львович.

Стихотворение 1814 года «К другу стихотворцу» свидетельствует о превосходном усвоении Пушкиным сущности жанра. Классические александрийские стихи, законченные афоризмы, забавная притча в заключительной части, придающая анекдотическое заострение финалу, — все это характерные свойства старинного послания. Но в каноническую форму остроумной беседы Пушкин вкладывает большую и печальную тему: это мысль о драматической судьбе поэта в равнодушном и холодном обществе. Уже

в пятнадцатилетнем возрасте будущий автор «Андрея Шенье» проявляет исключительный интерес к литературной биографии (вскоре он отметит в своем лицейском дневнике: «поутру читал жизнь Вольтера»). Разнообразные сведения, собранные им в этой области, открывают ему возможность широко обобщить опыт жизни знаменитых писателей:

Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он...

Светлый поэтический дар превращается в личной жизни его носителей в «проклятое преимущество». Это первое напечатанное произведение Пушкина (появившееся в «Вестнике Европы» 4 июля 1814 года) открывает обширную серию его творений о гонимых и затравленных гениях.

3

На январь 1815 года были назначены публичные переходные экзамены с младшего на старший курс. После трех лет существования лицей давал первый общественный отчет о своей работе. Необходимо было показать, что обещания, данные в момент его открытия, выполнены.

На испытания по словесным наукам ожидали Державина. Нетрудно было подготовить чтение его стихов, разбор его знаменитых текстов. Но не лучше ли было почтить престарелого поэта раскрытием перед ним нового лирического таланта, продолжающего традиции и осуществляющего его творческие заветы? Организовать такое выступление конференция лицея поручила новому преподавателю древней словесности Галичу (заменившему с весны 1814 года заболевшего Кошанского).

Этот адъюнкт-профессор был человек общительного, кроткого, беспечного характера с значительной долей юмора. Лицеисты сразу приметили, что их новый наставник питает мало склонности к латинскому синтаксису, и, по свидетельству биографа Галича,

постарались извлечь из него другое доброе дело — его теплое сочувствие к юношеским светлым интересам жизни.

«Добрый Галич» был одним из немногих педагогов, которых любил Пушкин. Отношения у них установились дружеские, хотя профессор был вдвое старше своего слушателя. Нередко в своей комнате Галич продолжал вести с учениками беседу, начатую в классе, или устраивал литературные чтения за стаканом вина и «гордым пирогом». Любитель поэзии, внимательный к подросткам, Галич, несомненно, высоко оценил развивающийся талант Пушкина. Это облегчило чуткому педагогу осуществление довольно сложной задачи — подготовить первое выступление поэта-лицеиста перед корифеями русской поэзии и науки. Пушкин, как известно, был застенчив и сам, вероятно, никогда не решился бы читать свои стихи перед синклитом академических знаменитостей. По позднейшему свидетельству поэта, Галич «заставил» его пойти на это. Ему удалось убедить Пушкина взяться за разработку чисто «державинской» темы — прославления военных подвигов русской армии на материалах современных политических событий, то есть в духе знаменитых од на взятие Измаила, Очакова, Тавриды, «воспеть» борьбу с Наполеоном. Юному стихотворцу надлежало вскрыть при этом связь настоящего с недавним прошлым и свои впечатления от царскосельских парков, среди которых воздвигнут лицей, отлить в строфы высокой похвалы веку Екатерины, один из сподвижников которой и явится судьей его оды.

Пушкин все же решил по-своему разработать этот старомодный жанр, чрезвычайно скомпрометированный новейшей поэтической школой. В своем «стихотворении на заданную тему» он исходит из непосредственного наблюдения над действительностью, идет характерным для него путем изображения конкретных явлений внешнего мира по личным впечатлениям. Будущий мастер-реалист уже сказывается в самой методике поэтической работы. Первые семь строф «Воспоминаний в Царском Селе» посвящены

описанию парка, дворца и памятников екатерининской резиденции. На фоне «оссиановского» пейзажа выступают «огромные чертоги» и великолепные памятники русских побед.

Можно представить себе, как Пушкин, готовясь к своему первому выступлению, бродил по осеннему парку, наново вбирая в себя впечатления от архитектуры садов, зданий и монументов. В этой творческой прогулке особое внимание привлекает памятник в честь побед на полуострове Морейском — ростральная колонна (то есть украшенная корабельными носами) из синего с белыми прожилками мрамора над самым прудом. Надпись на цоколе в сжатом и торжественном стиле военной реляции возвещала, что «крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск российских было числом шестьсот человек, кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он; в плен турков взято шесть тысяч».

Этот героический, «спартанский» стиль описания военных подвигов словно требует стихотворного размера и как бы диктует строфу. Начинают слагаться стихи о чесменском памятнике:

Он видит: окружен волнами,
Над твердой мшистою скалой
Вознесся памятник ..

Так же величествен в своей простоте синий мраморный обелиск против окон большого дворца в память Кагульской победы Румянцева, обратившего в бегство турецкого визиря Калиль-бея:

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой
О, сколь он для тебя, Кагульский брег, поносен
И славен родине драгой!

Всюду символы побед, атрибуты войны, будящие и волнующие слова, выгравированные на медных досках: из округлого мрамора выступают корабельные носы, над точеными капителями реют орлиные крылья, из массивных пьедесталов выступают тонкие барельефные изображения Хиосской морской битвы,

сожжения турецкого флота при Чесме, взятие острова Митилены — великие события отечественной истории, переплетенные с преданиями семейной хроники Пушкиных и Ганнибалов.

Военное прошлое сменяется животрепещущей темой «Двенадцатого года»; здесь и «бородинские кровавые поля», и московский пожар, и взятие Парижа. События Отечественной войны становятся центральной темой оды. Героем ее выступает «воитель поседелый» Кутузов, сбросивший «надменного галла» с башен Кремля. Предания «славного века» Румянцева и Суворова переходят в патриотический гимн русскому народу, отстоявшему в борьбе с опаснейшим противником честь и независимость своей родины.

Экзамен по словесным наукам состоялся 8 января 1815 года в присутствии видных вельмож и ученых. Верный принципу максимальной торжественности всех актов государственной школы, Разумовский решил придать лицейским испытаниям наивысшую публичность и театральность, дабы восхищенные слухи о них дошли и до находящегося за границей царя.

Почетным гостем считался знаменитый Державин, хотя он уже давно удалился от государственных дел. Ему шел семьдесят третий год; он болел и ждал смерти. Для торжественного случая он нашел нужным облечься в мундир, но подагрические ноги его были обуты в домашние бархатные сапоги. Пушкин запомнил его мутные глаза и старческие обвислые губы.

Перед таким торжественным собранием юноше-поэту предстояло прочесть на память свое большое стихотворение, по размерам почти поэму. В соответствии с темой необходимо было на всем протяжении чтения сохранять высокое напряжение голоса и повышенную воодушевленность тона.

Пушкин был подготовлен к такой декламации целым рядом выдающихся выступлений на московской домашней сцене. Отличный чтец, Кошанский

учил лицеистов, что повышение и понижение голоса должны регулироваться «живым чувством». Пушкин с его повышенной восприимчивостью к поэтическому слову, несомненно, рано усвоил передовые и зрелые принципы классической теории чтения, для которой напевность и выделение ритма при произнесении стиха были совершенно обязательны. Торжественно и напевно прозвучали первые стихи:

Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес...

Но способность передавать голосом музыкальность мерной речи нисколько не снижала его живой и естественной выразительности. «Читал Пушкин с необыкновенным оживлением», — отметил его друг Пущин. Очарование чтения усиливалось сдержанным волнением, с каким молодой автор приветствовал великого певца XVIII века: «Когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...»

Такое напевное чтение было близко вкусам писателя той поры, когда классическая школа декламации была общепризнанной. Ода маленького лицеиста должна была пленить его и своими образами и общим настроением. Поэтика минувшего столетия здесь тонко сочеталась с хвалебным стилем новейшей лирики. Тема воспоминаний была близка старому одописцу, его собственное имя не просто было названо с шаблонными похвалами, как в ответах других лицеистов, но было включено в звенящую и выпуклую строфу, где оно раздавалось трубным звуком среди торжественных метафор. Мастер звукописи, автор знаменитого «Соловья во сне», Державин должен был оценить замечательные приемы звукового изображения в новой оде с ее искусным повтором характерных согласных:

В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,
И брызжет кровь на щит...

В сравнении с державинской одой «Воспоминания» Пушкина представляют более стройную компози-

цию — это не единый сплошной поток четырехстопного ямба, а ряд точных строф с усложненным размером. Традиция Державина ощущается в «оссиановском» пейзаже и торжественной лексике (Беллона, росс, бард, скальд, оливы, перуны). Строфическое же построение военного стихотворения было характерным для новейших поэтов — Жуковского и Батюшкова, которым следовал в своем опыте Пушкин.

Но над всеми образцами, правилами, заимствованиями и традиционными образами господствовал уже поражающий энергией своих ритмов и прелестью звучания неповторимый пушкинский стих. То элегически задумчивый, то победно гремящий, он словно давал себе полную волю в этой условной хвале, развертывая с молодым увлечением свою поразительную гибкость и мощь.

Поражала и беспримерная сила отдельных стихов, открывающих в краткой формуле огромные переживания эпохи. Ощущалась страшная угроза родине, отраженная всенародным порывом беззаветного патриотизма. В лицо дерзкому завоевателю юный поэт бросал ослепительный вызов, как бы раскрывающий все неотразимое одушевление его родины в момент нашествия:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены.

Не приходится сомневаться в искреннем восхищении Державина. Сквозь его старость к нему неслись новые голоса жизни, воспевавшие его молодость и силу. И забытая радость творческого волнения живым голосом запела в утомленном старческом сердце в ответ на звенящий голос отрока, неожиданно облачившего его обветшалое имя торжественной ямбической хвалой.

«Восхищенный Державин встал с своих кресел, наклонил сребристую главу пред юным стихотворцем, хотел обнять его — но Пушкин скрылся».

В тот же день министр Разумовский угощал знатных гостей парадным обедом. Сергей Львович, как

отец столь отличившегося ученика, был в числе приглашенных. Здесь произошла его беседа с Державиным. Около двадцати лет прошло с первых их встреч в Петербурге, когда еще жили Богданович и Костров, а Василий Львович дебютировал в «Санктпетербургском Меркурии». Кажется вчера, и вот промелькнула жизнь, и миру является новый поэт, мальчик Александр Пушкин. И за министерской трапезой высокие гости расхваливают необыкновенный талант и предсказывают ему грядущую славу.

Но в официальном мире поэзия считалась младшей отраслью словесности, государству нужна была проза — важнейшая и полезнейшая ее ветвь. Эту мысль решил высказать министр народного просвещения. «Я бы желал, однако же, образовать сына вашего к прозе», — наставительно заметил Разумовский.

Сергей Львович навсегда запомнил порывистую реплику, прозвучавшую на это чиновничье замечание: *«Оставьте его поэтом!»* — отвечал Державин с жаром, «вдохновенный духом пророчества».

Таким возгласом завершается литературная биография автора «Водопада», одновременно открывая новый творческий путь. Поистине великолепен этот гнев умирающего Державина при мысли, что в Пушкине хотят угасить поэта.

VIII
ЛИЦЕЙСКИЕ ТЕТРАДИ

1

С первых же месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления и замыслы звучными русскими стихами, приобретающими под его пером все бо̀льшую силу, чистоту и законченность. Так вырастает его лицейская лирика — первые опыты растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для широкого полета. Так создается ранний раздел его творчества — юношеская поэзия Пушкина, испол-

ненная непередаваемой свежести чувства, увлекательности мысли и животрепещущей взволнованности слова. Здесь все еще в брожении, в поисках, в становлении, но именно эта возникающая и слагающаяся поэзия раскрывает истоки, а подчас и намечает пути будущего зрелого мастерства.

Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими стихотворениями Пушкина. Отдельные листки, рукописные сборники, каллиграфически выписанные школьные «журналы» и «газеты», автографы или дружеские копии — все это доносит до нас его первые творческие помыслы. Эти дружеские антологии, альбомы и тетради «лицейских трубадуров» широко развертывают картину необычайного роста юного поэта от его детской «Толиады» к мужественной «Вольности». За несколько лет он гигантским шагом прошел все подготовительные фазы поэтического развития и достиг всеобщего признания. Уже в 1814 году «Вестник Европы» В. В. Измайлова публикует пять стихотворений поэта-лицеиста под различными псевдонимами. В 1815 году в русской печати впервые появляется имя: *Александр Пушкин.* Так подписаны «Воспоминания в Царском Селе» в «Российском музеуме», где их сопровождало необычное редакционное примечание о «молодом поэте, талант которого так много обещает». А через год Общество любителей отечественной словесности включает два стихотворения многообещающего автора в свое «Собрание образцовых русских сочинений». Семнадцатилетний Пушкин уже включен в круг отечественных классиков. С 1816 года он готовит для печати сборник своих стихов. Среди них такие жемчужины, как «Лицинию», «Воспоминания в Царском Селе», «Певец».

Раскроем эти старинные тетради. Постараемся вглядеться в этот скрытый и сложный процесс первоначального развития поэта.

Лицейские записи Пушкина еще в большей мере, чем его детские опыты, поражают разнообразием своих тем, идей, образов, жанров, строф и размеров. От эпиграмм и шутливых поэм до элегий и патриотических од здесь испробованы все основные лирические

виды, в том числе и такие своеобразные, как *ноэль, кантата, философическая ода, стансы, экспромт, картины, моя эпитафия, мой портрет, мое завещанье, надпись на стене больницы, надпись к беседке* (как пытается дифференцировать сам автор изумительное жанровое богатство своих ранних созданий). Юноша Пушкин с одинаковой уверенностью владеет легким, подчас игривым и резвым размером («Леда смеется») и гневным, кованым и гремучим стихом («Квириты гордые под иго преклонились»). С короткой и быстрой строкой здесь соседствуют протяженные и плавные «александрийские стихи».

Все это соответствует разнообразию лирической тематики Пушкина. Дружеская шутка и заунывный романс пишутся почти одновременно с гражданским воззванием и военным гимном. Беспечные песенки о «страсти нежной» и «кубке янтарном» сменяются тревожными раздумьями о великих политических событиях, как пожар Москвы или битва под Ватерлоо. В «римской» негодующей сатире звучит протест против царского деспотизма. Сквозь античную мифологию прорывается современная политическая тема, напрягающая юношеский стих и сообщающая ему первый боевой закал.

Это брожение различных поэтических стилей не заслоняет все же основного стремления начинающего автора к жизненной правде, к точному отражению мира, к живописи отчетливой и верной. Ранние упражнения в различных творческих манерах явно уступают место уже в 1814 году непосредственным впечатлениям от людей и событий, закрепленных во всей их конкретности и подлинности. Лицейские стихи Пушкина становятся отзвуками на текущие происшествия, зарисовками близких ему лиц. Стихотворение 1814 года «Пирующие студенты», которое лицеисты прослушали затаив дыхание, представляло собой ряд чудесных по сходству и юмору строф-характеристик, посвященных любимым друзьям. Это замечательный групповой портрет пушкинского кружка во главе с его любимцем и «президентом» Галичем. При всей веселой беззаботности тона эти строфы являются

первым предвестьем будущих «лицейских годовщин» с их новыми, углубленными и часто драматическими изображениями школьных товарищей в их жизненном труде и борьбе.

Пушкин обращается и к легкому жанру дружеского письма, близкого к шутливой болтовне, вольного по тону, разнообразного по темам, проникнутого непосредственными, искренними признаниями. Таковы стихотворения 1814 года «К сестре» и аналогичная, но более пространная эпистола 1815 года «Городок», замечательная по своему списку любимых авторов поэта-лицеиста. Здесь названы крупнейшие классики и современные писатели вместе с «малыми» поэтами Франции XVIII века. Особо отмечены под условными наименованиями русские рукописные стихотворцы Барков и князь Д. П. Горчаков, вольтерьянец и политический сатирик; Пушкин вдохновлялся его «святками» в своих известных ноэлях.

В этих ранних набросках и посвящениях, в посланиях и описательных отрывках перед нами уже выступает зоркий наблюдатель действительности и превосходный рисовальщик с натуры. В первых эскизах лицейского городка, с его удалыми гусарами и очаковскими инвалидами, с его лебединым озером и архитектурным пейзажем, уже ощущается будущий несравненный изобразитель русской природы и русских людей во всем разнообразии климатических поясов и человеческих типов.

Так решительно захвачен реальный мир творческим вниманием начинающего поэта. Не менее существенно и то, что уже на школьной скамье слагаются основные черты его поэтического стиля — одновременно верного действительности и неотразимо пленительного в ее отражении. Сущность пушкинского реализма — в сочетании жизненной правды с облагороженным и очищенным восприятием мира. Жизнь прекрасна на взгляд великого художника, и он передает ее правдиво и восхищенно во всей ее подлинности, во всем очаровании. У Пушкина (как впоследствии у Чехова, по замечанию Л. Н. Толстого) «все прелестно». Самая будничная жанровая картинка ча-

рует изяществом рисунка и ар истичностью об щего впечатления:

Стул ветхой, необит ıй,
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель —
Вот все, что пред собою
Я вижу, пробужден.
Фантазия, тобою
Одной я награжден...

И эта щедрая муза воображения не только уносит «к волшебной Ипокрене», она бросает свой отсвет и на скудную обстановку повседневного быта с этой прелестной «соломенной свирелью». Не таким ли останется до конца и лирический реализм «Евгения Онегина»?

В лицее начинается борьба Пушкина и за новый поэтический язык — простой и звучный. лаконичный и выразительный, «точный» и «гармонический». С самого начала у лицейского стихотворца твердые убеждения по основным вопросам поэтики и стиля (отчасти усвоенные в кругу крупных поэтов, окружавших его в детстве). Он отстаивает ясность, естественность и общепонятность стихового слова:

Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого, —

вот подлинная поэтическая декларация юноши Пушкина. В отличие от Жуковского, который издавал свои стихи «для немногих», он хочет писать для всех «словами истины, свободными, простыми». Ему дорог лишь тот, «кто выражается правдивым языком». Он любит быстрые и сжатые размеры (часто двухстопные) —«меру простую», как заявляет он уже в 1813 году. В самом начале творческого пути он уже находит «свой склад» — живой и разговорный размер — четырехстопный ямб. Он возмущается и «набором громозвучных слов» у присяжных одописцев и «громадою стихов» (типа «Телемахиды»). Он не боится народного просторечья и смело пользуется им в своих «вольных» или «устных» сочинениях. Стих его вместе с четкостью и звонкостью приобретает упоительную

музыкальность: «Томный гул уныль трели Повторял в глуши долин...», «Встречали ль вы в пустынной тьме лесной Певца любви, певца своей печали...», «Доколе музами любимый, Ты Пиэрид горишь огнем...» Весь этот новый поэтический синтаксис и звуковые ходы свидетельствуют о том, что будущий великий реформатор русского языка уже незаметно приступил к осуществлению своего великого призвания.

2

Творческая отзывчивость поэта обращает его от застольных песен к печальным явлениям окружающего быта. На лицейской скамье написан знаменитый романс «Под вечер осенью ненастной», проникнутый глубоким сочувствием поэта к девушке-матери и ребенку-подкидышу. Здесь уже раскрывается живая озабоченность юноши Пушкина социальными драмами современности. Стихи «Закон неправедный, ужасный К страданью осуждает нас» свидетельствуют о знакомстве автора с жесткими постановлениями старинного законодательства о «незаконнорожденных». Противодействуя внебрачному сожительству и отстаивая семейные устои, старорусское право признавало рождение детей вне брака преступлением родителей, лишающим их потомство правоспособности. Подобные узаконения были источником многих бытовых трагедий — детоубийств и самоубийств (мотив этот звучит и в юношеской драме Белинского «Дмитрий Калинин»). Пушкин уже в 1814 году выступает заступником этих незаслуженно заклейменных женщин и их безвинно обездоленных детей. В его жалобе обманутой девушки звучит большая общественная тема и выражен глубокий протест против варварских законов феодального мира. Неудивительно, что это стихотворение, опубликованное лишь в 1827 году, стало любимой темой лубочных картинок и вошло в народные песенники. Из лицейского цикла Пушкина именно оно получило значение всенародной песни.

Уже в юные годы Пушкин много думает о задачах поэзии и законах искусства. Тема творчества и судьба

художника, которая навсегда останется источником его раздумий и вдохновений, возникает уже в посланиях 1814 года и заметно углубляется в стихотворениях последующих лет. Юношу Пушкина увлекают все виды искусств. Монументальное зодчество и классическое ваяние получают такое же отражение в его героических строфах, как живопись екатерининского дворца с ее мифологической тематикой в его стихотворениях о Леде, Венере и Вакхе. Пастушеская цевница мелодически перекликается в этих ранних строфах с голосом поющей девушки у клавира. Питомец московских театралов, Пушкин-лицеист высказывается в стихах и по вопросу о сущности и приемах сценического искусства.

В Царском Селе существовал крепостной театр. Граф Варфоломей Толстой на своей домашней сцене предлагал вниманию зрителей преимущественно камерные оперы. Свои впечатления от «Севильского цирюльника» Паизиелло и отечественного «Мельника» Аблесимова Пушкин отразил в двух ранних стихотворениях, вызванных игрою одной из актрис царскосельского мецената.

Восхищенный сначала исполнением и внешностью этой крепостной примадонны, но вскоре разочарованный ее равнодушием, молодой поэт от хвалебного «Послания к Наталье» перешел к трезвой критике ее исполнения.

В стихотворении «К молодой актрисе» он дает свою первую театральную рецензию. Ссылаясь на высокий образец трагедии — знаменитую Клерон, которую русские театралы XVIII века считали «непогрешительно правильной», — он детально разбирает исполнение крепостной артистки: голос, мимику, жест, манеру пения, интонации, отдельные приемы сценической игры. Беглый и меткий разбор свидетельствует, какое всестороннее понимание законов сценического искусства вынес Пушкин из домашних спектаклей старой Москвы.

В том же 1815 году поэт написал политическую сатиру — стихотворение «Лицинию», одно из наиболее зрелых достижений лицейского периода:

Любимец деспота сенатом слабым правит,
На Рим простер ярем, отечество бесславит...

Впервые в поэзии Пушкина назван «народ несчастный», который останется до конца его главной темой.

В стихотворении остро поставлена проблема порочной власти, разрешенная в духе резкого гражданского протеста: «Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода». Освободительная идея здесь облечена в яркие пластические образы. Гражданскую патетику усиливает и мужественная энергия стиха. Ощущение римского негодующего красноречия достигается не механическим воспроизведением античного размера, а внутренней интонацией речи, сообщающей «александрийцам» XVIII века звучание кованых формул классической латыни.

Необычайный рост поэта-лицеиста привлекает внимание и его литературных учителей. Происходит совершенно необычное в истории поэтических связей явление: к школьнику, в его интернат, откуда сам он не имеет права выезжать, являются крупнейшие современные писатели со словами привета и бодрости. Одним из первых навестил лицеиста Пушкина любимейший поэт его молодости Батюшков.

Еще на младшем курсе Пушкин написал свое первое послание к автору «Моих пенатов», в котором призывал его вернуться к творчеству, оставленному ради военных походов.

Теперь поэт-воин, совершивший всю заграничную кампанию 1813—1814 годов, советовал Пушкину взяться за эпопею, обратиться к героическим темам, писать о войне. В своем втором послании к Батюшкову — «В пещерах Геликона» — Пушкин отказывается от высокого жанра. Он скорее готов следовать за своим учителем по путям веселой литературной сатиры, продолжать традиции «Видения на берегах Леты». В духе этой шутливой поэмы Пушкин вскоре дает свой пародийный обзор современной поэзии — «Тень Фонвизина», представляющий как бы третье послание к Батюшкову.

Серию карикатур на современных стихотворцев юный сатирик завершает восхищенной зарисовкой сво-

его любимого поэта; стихами, полными тепла и красок, он изображает, как нежится на лоне природы «певец пенатов молодой с венчанной розами главой». Этот лирический портрет выдержан в стиле самого Батюшкова.

«Тень Фонвизина» — выдающееся явление лицейского периода. Весьма примечателен живой интерес Пушкина к одному из крупнейших русских гуманистов XVIII века, которого он всегда высоко ценил за его резкое осмеяние крепостнических нравов и смелую борьбу с екатерининским самовластием. Фонвизина, как известно, вскоре признает своим предшественником и декабристская публицистика. Пушкину были, несомненно, близки антицерковные тенденции фонвизинских обличений, как и его борьба за культурный политический строй, основанный на строгой законности. Молодой поэт высоко оценил острые сатирические «маски» знаменитой комедии и беспощадную оппозицию автора «Недоросля» к рабовладельческому строю дворянской империи. «Страшна Фонвизина рука!» — восклицает восхищенный этими полемическими ударами Пушкин. Вот почему именно ему, разоблачителю, памфлетисту, критику, поэт нового поколения поручает верховный суд над современной литературой. Пусть этот «известный русский весельчак», беспощадно бичевавший невежд, произнесет свой приговор над Шаликовым, Хвостовым и Ширинским-Шихматовым. «Тень Фонвизина» — одно из ярких свидетельств приверженности «юноши-мудреца» к большим течениям русской просветительной мысли XVIII века.

Пушкина навестил в лицее и другой корифей новейшей поэзии — Жуковский. «Я сделал еще приятное знакомство, — писал автор «Светланы» Вяземскому 19 сентября 1815 года, — с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Через год в известном посвящении «К Жуковскому» Пушкин вспомнил и вы-

разил значение для него этой дружеской и творческой встречи:

Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела...

В июне 1816 года в лицей приехал старый вельможа и видный поэт Юрий Нелединский-Мелецкий, автор знаменитой песни «Выйду ль я на реченьку». Он получил во дворце повеление написать кантату в честь бракосочетания великой княжны Анны Павловны с принцем Вильгельмом Оранским. Но престарелый лирик, не рассчитывая на свои силы, обратился за помощью к Карамзину, который и направил его в лицей к племяннику Василия Львовича.

Поэт-лицеист искренне любил стихи Нелединского, который считался предшественником Батюшкова и даже числился в почетных членах «Арзамаса». В одном из своих посланий (1815) Пушкин говорит о заветной области любовной поэзии,

Где нежился Шолье с Мелецким и Парни...

И вот этот сладкозвучный лирик склонялся перед молодым дарованием. Можно ли было уклониться от такого предложения?

Нелединский сообщил тему и наметил ее возможное развитие. Приняв предложенную программу, семнадцатилетний поэт сейчас же написал чрезвычайно мужественным и живописным стихом исторические стансы, в которых беглыми штрихами очерчены события наполеоновского эпилога — пожар Москвы, Венский конгресс, «Сто дней», Ватерлоо. Некоторые строфы, выдержанные в условном стиле декоративного батализма XVIII века, великолепны по своим образам и силе стиха:

Грозой он в бранной мгле летел
И разливал блистанье славы.

Пушкин весьма удачно применил здесь прием, который и впоследствии служил ему при вынужденной разработке официальных приветствий: он обращался

к историческим картинам или к портретной живописи, только в заключение сдержанно произнося необходимую хвалу.

3

Рядом с образами наставников и товарищей в лицейской биографии Пушкина мелькают подчас и девичьи облики. Пушкин не был грубо чувствен, как нередко писали о нем современники. При несомненной страстности его порывистой творческой натуры он связывал обычно свои романы с живыми эстетическими впечатлениями. Объекты его юношеской влюбленности были вполне достойны вдохновлять его раннюю любовную лирику.

Увлечение сестрою одного из лицеистов, Екатериной Павловной Бакуниной, вызвало к жизни замечательные лирические произведения Пушкина — целый цикл его любовных стихотворений, в которых глубокий тон неизведанного чувства выражался и в новой для него поэтической форме — элегии. Примечательно, что в дневнике Пушкина 1815 года восхищение Бакуниной переплетается с лирическими стихами Жуковского, тщательно выписанными юным автором в качестве эпиграфа к собственным признаниям:

Он пел любовь, но был печален глас.
Увы! Он знал любви одну лишь муку!

«Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной!»

Но несравненно более украсили «милую Бакунину» первые элегии Пушкина. Мотивы страсти, надежды и отчаяния звучат в небольших стихотворениях, иногда непосредственно посвященных этой девушке, иногда же отдаленно навеянных ее образом, как «Медлительно влекутся дни мои» или знаменитое по своей напевности «Слыхали ль вы за рощей глас ночной», столько раз переложенное на музыку русскими композиторами.

Некоторые юношеские посвящения Пушкина задумчивы и печальны, но многие из них принадлежат к типу просветленных признаний. Адъюнкт по кафедре

Кошанского П. Е. Георгиевский отметил в своем курсе два свойства элегии: печаль и радость при общих чертах «мягкости и нежности», свойственных канцоне. Таков у Пушкина радостный гимн любви «К живописцу», таковы «Осеннее утро», полное ожиданий весны; «Месяц», проникнутый воспоминаниями о наслаждении; «Я думал, что любовь угасла навсегда», охваченное мечтой о свободе; таков и ряд других «жалоб», проникнутых надеждой и счастьем. Элегия Пушкина, получившая «пронзительно унылые» ноты, в беспечные лицейские годы еще часто звучит молодой любовной песней под открытым небом царскосельского парка:

Когда в тени густых аллей
Я слушал клики лебедей,
На воды светлые взирая...

При всем разнообразии этих поэтических записей в них есть одна общая черта — это преклонение молодого поэта перед мыслью, вдохновением, мудростью. Уже в ранних стихах он любит поэтизировать человеческое мышление. «Светильник ума» уже назван в 1815 году в посвящении другу Пущину. В духе передовых писателей XVIII века Пушкин пишет повесть о «разуме человеческом», о «праве естественном». В одном из лучших лицейских стихотворений он выводит мудреца Дамета, ненавидящего рабство и утверждающего культ свободы. Даже заунывная элегия с ее грустью и встревоженностью не отводит автора «Лициния» от того культа знания, поэзии, философии, который был так свойствен Ломоносову, Фонвизину, Радищеву, Державину. Наследие русского просвещения как бы озаряет внутренним светом беглые наброски этих студенческих тетрадей, ставших одною из драгоценностей русской культуры. Это преддверие к великому торжеству Разума в творчестве зрелого Пушкина.

4

В эти годы созревания своего таланта Пушкин начинает противопоставлять показной и внешней лицейской педагогике подлинные ценности современной

поэзии. Если с нескрываемой иронией он неизменно отзывается о «кафедре», «латыни», «фолиантах», «педантах», «холодных мудрецах», то Жуковский и Батюшков становятся в ряд его излюбленных лирических тем. Подлинная культура раскрывается ему не в официальной учености лицейской профессуры, а в свободном творчестве выдающихся русских поэтов.

Когда Пушкин прочел Кошанскому свое «Послание к Галичу» («Где ты, ленивец мой?»), профессор подверг стихотворение довольно серьезной критике. Он отметил недостаточную отделку языка, нежелательную «ходкость» рифм и ряд отступлений от строгой формы. Пушкин решил отразить удар и написал антикритику в стихах «Моему Аристарху».

Разбор Кошанского он признает несправедливым. Молодой поэт отстаивает право на легкую импровизацию, призывает в свидетели беспечных поэтов старого времени, называет себя наследником их «небрежных рифм», произносит хвалу «музе праздности счастливой» в противовес всем дарам «поэзии трудолюбивой». Пушкин, в сущности, отстаивает права легкой поэзии на особые черты живой разговорности и намеренной небрежности, особенно в таких жанрах, как дружеское послание или шутливая поэма. И впоследствии, в полном расцвете своего дарования, он будет ценить прелесть «строф небрежных» и отстаивать значение «рифмы наглагольной».

Спор приводит к постановке большой и сложной проблемы, как бы возвещающей одно из великих созданий зрелого Пушкина: это антитеза вдохновения и труда в искусстве, непосредственности выражения и творческого усилия, беспечности и заботы художника. «Сальеризм» осужден в 1815 году, а светлый образ поэта-безумца, «гуляки праздного» отчетливо выступает из полемических строк этого послания. Нужно отметить, что в своей поэтической практике Пушкин не проводил этого различия и уже в молодости совмещал в себе оба творческих типа. Он и принципиально не раз высказывался за культуру труда в сложном искусстве слова.

Вот почему критику Кошанского нельзя считать предвзятой и необоснованной. Его указания на ценность рифмы редкой и трудной, на чистоту и экономию средств в построении стиха, на устранение лишних строк и на строгость поэтической формы были полезными советами опытного словесника начинающему поэту. Пушкин вскоре в полной мере ощутил уважение к поэтическому труду и проявил всестороннее понимание его сложных законов. «Небрежность» в определенных жанрах получила для него значение не какой-либо легкой доступности средств, а своеобразного стилевого свойства, осуществление которого связано с целым рядом трудностей, ничуть не меньших, чем классическая законченность отделки.

«Послание к Аристарху» не определяет отношения Пушкина к Кошанскому на всем протяжении лицейского шестилетия. Эта полемическая вспышка не характерна для общего интереса молодого поэта к лекциям лицейского эллиниста. Следует отметить, что Пушкин не называл своего критика презренной кличкой *Зоила* и что имя знаменитого комментатора гомеровских поэм Аристарха сохраняло в традициях филологической науки авторитет искусного и добросовестного ценителя поэзии. С наибольшим успехом Пушкин занимался в «литературных» классах, то есть у Кошанского и Будри, у которых только и получал высшие баллы; впоследствии он с большим уважением к своему словеснику отметил, что Дельвиг «Горация изучил в классе под руководством профессора Кошанского».

Это был лучший знаток эстетики в лицее. Кошанский был главным сотрудником «Журнала изящных искусств», издававшегося в начале XIX века известным воспитателем А. С. Грибоедова — московским профессором И. Ф. Буле. Вопросы теории творчества и художественной критики широко разрабатывались в статьях молодого Кошанского: например, о скульпторе Мартосе, как создателе памятника Пожарскому и Минину, или в трактате о призвании «истинного художника». О широкой эрудиции свидетельствует метод Кошанского «сближать все изящные искусства

между собою» и открывать общие законы «в красноречии живописном, словесном и музыкальном». Все это показывает, что в лице Кошанского лицей имел серьезного искусствоведа с обширным литературно-эстетическим опытом и подлинной артистической культурой. Его влияние на Пушкина, уловимое лишь в отдельных фактах, ощущается все же как значительное и плодотворное.

Одно из лучших стихотворений раннего Пушкина (написанное в 1817 году, сейчас же по выходе из лицея) — «Торжество Вакха», — впервые возглашавшее в его поэзии «вакхальны припевы», как начало озаряющего разума и жизнеутверждающей мудрости, восходило к лекциям Кошанского по классической древности. Но оно вдохновлялось и некоторыми образцами современной русской поэзии. Любимец Батюшкова рано умерший поэт Александр Бенитцкий (один из группы «поэтов-радищевцев») в своей «Песне Вакху» прославлял веселого бога как носителя света и борца со злом: «Вакх жезлом своим волшебным усмиряет тигров, львов», — он вносит мир и радость в жизнь. «Славься, славься, сын Семелы!..»

Такое звучное, но традиционное восхваление развертывается у Пушкина в великолепную картину, полную красок и движения и достигающую поразительной пластической силы в описании бега вакханок. Это восторженный гимн юного человечества «в честь Вакха, муз и красоты!». Заключительные стихи уже звучат прелюдией к знаменитой «Вакхической песне».

Неудивительно, что этот ранний пушкинский гимн вдохновил молодого Даргомыжского на лирическую оперу «Торжество Вакха».

К 1821 году относится фрагмент Пушкина «Земля и море», представляющий собой переложение идиллии из «Цветов греческой поэзии» Кошанского. На его уроках Пушкин впервые услышал о древних «метрах», которыми впоследствии пользовался в своем творчестве. Здесь были четко поставлены вопросы поэтики, к которым он неоднократно впоследствии возвращался. Если в садах лицея молодой поэт «Цицерона не

читал», он все же воспринял в классах профессора Кошанского начала античной культуры, питавшие его раннее творчество.

Французских классиков Пушкин охотно перечитывал на уроках Будри. Этот маленький плотный старичок, еще носивший по традиции XVIII века пудреный парик, своим убогим костюмом напоминал якобинца. Такая несогласованность наружного вида отчасти соответствовала и внутреннему его облику. Будри, по словам Пушкина, был ловким придворным, что не мешало ему высказывать на уроках «демократические мысли». Сын итальянца и швейцарки, он с детства жил и учился в Женеве, где поселился его отец доктор медицины и философии Жан Марат. Культурные традиции фамилии сказались на деятельности старшего сына, знаменитого Жана-Поля Марата, одного из виднейших деятелей революционной Франции, известного также своими научными работами по медицине, физике, уголовному и государственному праву. Не отличаясь дарованиями брата, Давид Марат, ставший в екатерининской России Давыдом Ивановичем де Будри проявил себя замечательным педагогом. Лицеист первого выпуска Модест Корф, давший ироническую оценку всем своим профессорам, отзывается о Будри с высокой похвалой как об единственном лицейском наставнике, способствовавшем общему развитию слушателей.

В основу усвоения иностранного языка он полагал живой разговор, а в преподавании ставил себе задачей вскрыть перед слушателями «композицию речи», «изобразительное действие слова». Следует думать, что Будри значительно углубил познания, полученные Пушкиным от Монфора и Руссло, и, может быть, первый вызвал в нем интерес к вопросам построения французской классической прозы.

Будри, видимо, сразу зорко и верно оценил своего лучшего слушателя. Уже в первый лицейский год, когда большинство преподавателей отмечает в Пушкине «слабое прилежание», строгий Будри уверенно сообщает: «Считается между первыми во французском классе; *весьма прилежен;* одарен понятливостью и про-

ницанием». Такой отзыв не только одобрение ученику, но и высокая хвала самому наставнику.

В лицейской среде этот профессор представлял единственную реальную связь с революционной Францией. Он не избегал разговоров с учениками о своем знаменитом брате, называл Робеспьера и другие имена той эпохи.

«Он очень уважал память своего брата», — записал впоследствии Пушкин. Характерно, что смерть Марата упоминается не раз в стихотворениях Пушкина («Кинжал», «Андрей Шенье»). Во всяком случае, личная связь старого педагога с одной из героических фигур 1793 года, при общем демократическом уклоне его мышления, сближала его слушателей с духом великой эпохи и непосредственно знакомила с ее выдающимися деятелями.

Любовь к свободе и традиции «века Просвещения» внушал лицеистам и профессор Куницын. В своих курсах он последовательно проводил учение Руссо о естественном праве, противопоставляя его реакционным государственным теориям. Он решительно опровергал мистическую теорию права с ее обращением к «воле божеской». В основу своего учения он полагал «всеобщий закон свободы», а выражением его считал человеческий разум. Из этого следовал вывод, направленный против самых основ крепостнического государства: «Никто не может приобресть права собственности на другого человека». Такие истины воспринимались с живым волнением молодой вольнолюбивой аудиторией. Этим объясняется и знаменитая хвалебная строфа Пушкина, посвященная впоследствии Куницыну, «воспитавшему пламень» лучших из лицеистов первого выпуска.

Курсы этого передового ученого широко освещали многие вопросы, занимавшие его слушателей. Он провозглашал «право свободно объяснять свои мысли другим». В учении о власти Куницын определял строгие веления права и справедливости: «Властитель подлежит законам, им издаваемым». Это положение стало руководящим для Пушкина в дальнейшем развитии его политических воззрений.

Но если можно считать несомненным широкое и благотворное воздействие Куницына на образование политических воззрений Пушкина, не следует усматривать в юном поэте склонностей к юриспруденции и государствоведению. Картина раннего развития Пушкина дорога нам в своей подлинности, ибо ею определяется и рост его поэтического дарования. Следует поэтому установить наряду с безусловным интересом лицеиста Пушкина к словесности, поэтике, искусствам такое же безразличие его к правоведению и финансам, а вместе с ними и к школьной логике. Сам Пушкин открыто заявлял о своей антипатии к «силлогизмам», «правам и налогам», получал самые низкие баллы по энциклопедии, политической экономии, статистике, считался по классу Куницына «крайне не прилежным». Когда в марте 1816 года Пушкин пишет Вяземскому: «...целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!..» — он явно метит в кафедру политических и нравственных наук.

Следует признать, что отчасти виновна в этом была сама система преподавания. Неразработанность в то время учебных программ приводила к тому, что один Куницын представлял целый юридический факультет, даже с некоторой примесью философского. В обязанность «профессора нравственных наук» входило чтение логики, психологии, этики, права естественного, народного, гражданского, публичного, уголовного, римского, политической экономии и финансов. Неудивительно, что под грузом столь многочисленных дисциплин Куницын очень скоро охладел к своей работе и от широкого воспитания мысли своих слушателей понемногу перешел к простому требованию заучивать наизусть его записки.

Пушкин с его живым умом и проникновенным пониманием всех явлений жизни был всегда решительным противником такого механического усвоения знаний: он с детства ненавидел «вокабулы» (то есть заучивание наизусть иностранных слов) и любил обогащать свой язык в разговорах, чтениях, в толпе, в россказнях дворовых. В учении ему дорого было понимание, живая мысль, непосредственное творческое восприятие.

Господствующий в лицейском преподавании формализм противоречил всему складу его мышления. Явная слабость царскосельской педагогики сказалась в неспособности профессоров увлечь своими занятиями даже такого слушателя, как Пушкин. В сохранившихся отзывах преподавателей неизменно отмечаются его блестящие способности, но при обычных указаниях на лень, невнимание, слабые успехи. Учителя Пушкина не поняли, что их прямой обязанностью было приобщить гениального подростка к увлекательному для него труду, дать прочные знания и методы будущему писателю, призвание которого сказалось так рано и так неоспоримо. Лекторы лицея не сумели возбудить в своем самом живом и восприимчивом слушателе глубокого интереса ни к одному предмету, вне собственной любознательности их ученика, и даже не смогли по-настоящему поддержать его творческие запросы в соответствии с его громадным талантом.

Увлекаясь русским прошлым, задумывая поэмы об Игоре, Ольге, Владимире, начинающий поэт не встретил в лицее достойного наставника, способного правильно направить его живые исторические запросы. Адъюнкт-профессор Кайданов проводил в своих лекциях официальный курс, резко противоречивший слагающимся воззрениям его блестящего слушателя. От воздействия такого ученого юноша Пушкин должен был ревниво оберегать свой внутренний мир и вести с реакционной пропагандой своего профессора непримиримую борьбу. Как будущий великий историк Пушкин в лицее не имел учителя.

В такой воспитательной среде успешно развивались очень немногие — едва ли не единственный Вальховский, который брал приступом все трудности многообразных и сухо излагаемых дисциплин, «спартанскою душой пленяя нас...».

Не испытывая такой самоотверженной стойкости, Пушкин предпочитал отдавать свое время и силы поэтическим занятиям, что неизбежно вело и к накоплению общих знаний. Как и в детстве, он развивался и воспитывался сам, соревнуясь с товарищами-поэтами и принимая от своих учителей лишь то немногое, что

непосредственно относилось к его любимейшему искусству стиха и слова. В этом отношении ему был наиболее полезен знаток литератур и поэт-переводчик Кошанский, к тому же и наилучший педагог среди лицейской профессуры, умевший оживлять и возбуждать свой класс к творческой деятельности.

Но при всем своем опыте и этот магистр изящных наук не поспевал за стремительным взлетом царскосельского орленка. Рост Пушкина перерастал опыт его лучших учителей и бурно обгонял проблематику школьных программ. Он стал величайшим писателем не благодаря лицейским педагогам, а вопреки их незрелой воспитательной системе, поверх которой не переставал подниматься своими замыслами и видениями этот «отрок с огненной печатью, с тайным заревом лучей» (как прекрасно сказал о нем его друг Вяземский).

IX

НА СТАРШЕМ КУРСЕ

1

1 марта 1816 года воспитанники были собраны на беседу со своим новым директором Энгельгардтом. Образованный педагог и опытный администратор, сумевший вскоре наладить патриархально-дружественные отношения со многими из своих воспитанников, он был при этом проникнут религиозно-нравственными воззрениями на задачи воспитания и, как старый царедворец, отличался «суетным стремлением к эффекту». Все это оттолкнуло от него наиболее непосредственных и независимых юношей. Пушкин, Вальховский и Кюхельбекер образовали оппозицию Энгельгардту.

Пушкин со всей решительностью отверг родительскую опеку над собой нового руководителя лицея. На старшем курсе завязалась необычная борьба директора со школьником. Победил в ней Пушкин. С кем же ему пришлось вести этот неравный бой?

Действительный статский советник Георг фон Энгельгардт (именовавшийся в русском обществе Егором Антоновичем) происходил из германского рода, восходившего к рыцарям Тевтонского ордена, которые были разбиты в битве при Грюнвальде в 1410 году.

Воспитанный в благочестивом немецком пансионе, юный Георг начал свою карьеру еще при последних фаворитах Екатерины. Вскоре он стал любимцем самого Павла I, а затем и Александра, пока, наконец, при содействии всесильного Аракчеева не устроился на посту директора Царскосельского лицея. Секретарь Мальтийского ордена, учрежденного в 1798 году для борьбы с революцией, Энгельгардт и в лицее проводил программу церковно-государственного воспитания.

Иезуитские принципы Жозефа де Местра, столь заметно окрасившие образовательную систему и школьный быт лицея при Малиновском, уступили теперь место особой, сентиментальной педагогике старонемецкого типа, которую насаждал здесь Энгельгардт. Сторонник германской «филантропической школы воспитания», он придерживался ее слащавой идилличности в личных отношениях с воспитанниками и глубочайшего благоговения перед «священными» авторитетами в своей идейной программе. Воспитание таких свойств характера, как аккуратность, умеренность, светская благовоспитанность, с целью выработки полезных государственных чиновников были приняты Энгельгардтом в качестве идеалов его педагогики. Из неудавшегося коллегиума иезуитов, о котором мечтал в свое время Разумовский, лицей стал перестраиваться при Энгельгардте в так называемый «Филантропинум» в духе немецкой школы набожности и благонравия.

Обе системы одинаково отталкивали выученика вольнодумцев — Пушкина. Лютеранская добропорядочность Энгельгардта так же претила его мятежному духу, как и воинствующий католицизм Местра. Он решительно уклонился от раскрытия новому директору своего внутреннего мира и отказался поддаться его верноподданной и смиренной морали.

Неспособный разобраться в сложной личности гениального подростка, Энгельгардт проставил самые дурные моральные баллы Пушкину. В своих заметках о воспитанниках лицея он решительно осудил его за «пустое и холодное сердце», оскверненное эротическими произведениями, а главное — за отсутствие религии. Неудержимое стремление молодого ума освободиться от незыблемых авторитетов прошлого, укрепление которых являлось главной задачей директора императорской школы, видимо, вызвало этот разрыв.

По свидетельству В. П. Гаевского, собиравшего сведения о лицее по свежим следам, распре поэта с Энгельгардтом способствовало и увлечение юноши молодой француженкой Марией Смит, жившей в семье директора. Ей посвящена одна из лучших любовных элегий Пушкина-лицеиста — «К молодой вдове». Это стихотворение, охваченное горячим и смелым чувством, как бы свидетельствует о счастливой победе, вероятно воображаемой: молодая женщина недавно лишь овдовела, готовилась стать матерью, принадлежала к пуританскому семейству директора лицея. По-видимому, строки Пушкина о пережитой любви вызваны законами построения такого стихотворного укора молодой вдове, не забывающей и в новой страсти умершего супруга. Пушкин мог слышать в царскосельском театре «Дон-Жуана» Моцарта, написанного как раз на эту тему. В стихотворении встречаются метафоры и уподобления исключительной выразительности, вроде «быстрый обморок любви», и замечательные звуковые ходы, основанные на повторении слов и характерных согласных. По сравнению с элегическими жалобами «бакунинского цикла» оно отличается мужественностью тона и драматической силой: впервые в лирике Пушкина ставится и разрешается трагическая проблема любви и смерти и притом не в смиренном духе традиционных вероучений, а в радостном и безусловном провозглашении прав жизни и страсти.

Мария Смит сначала пожаловалась Энгельгардту на автора столь компрометирующего ее послания,

а затем нашла более остроумный выход: недурно владея пером, она вступила в стихотворное состязание с юношей и ответила стихами на французские куплеты Пушкина («Когда поэт в своем экстазе»). В нескромном поклоннике она оценила даровитого автора, но только для того, чтобы лестным обращением прикрыть непреклонность своего решения. Ей нельзя отказать в остроумии и весьма тонкой иронии.

Но директор лицея, несомненно, усмотрел в посвящении молодой вдове подтверждение своих наблюдений над пристрастием Пушкина к чувственной поэзии и особенно над его атеизмом. Ни малейшей веры в загробный мир, в бессмертие души! Неотразимо смелыми стихами, поражающими силой образов и стремительностью ритмов, говорил лицейский поэт о безвозвратном исчезновении умерших:

Не для них — весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов...
...Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы...

Грозных шагов командора не услышат счастливые любовники!

Возмущенный безверием Пушкина, Энгельгардт не оценил ни его поэтического дарования, ни его душевных качеств: «...его высшая и конечная цель блестеть и именно поэзиею, — заключал новый директор лицея, — но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения».

Это единственный из всех современников Пушкина, усомнившийся в его творческом призвании.

2

Совершенно по-иному расценивали в то время шестнадцатилетнего поэта крупнейшие русские писатели. В конце марта молодого автора навестили в лицее по пути из Петербурга в Москву Карамзин, Жуковский, Александр Тургенев, Вяземский и дядя Василий Львович. Все они стали теперь виднейши-

ми деятелями литературного общества «Арзамас», основанного для обстрела оплотов литературной реакции — «Беседы» и Российской академии.

Борьба за старый и новый слог уже вышла далеко за границы филологических прений. Соображения правильного словообразования стали поглощаться политическими тревогами. Воинствующий Шишков, усматривавший всюду «следы языка и духа чудовищной французской революции», нападал на карамзинские галлицизмы и требовал обогащения языка церковнославянскими книгами.

Новые опыты Карамзина и Жуковского подвергались яростным нападкам и в театральных памфлетах Шаховского. После постановки осенью 1815 года «Липецких вод», с карикатурой на Жуковского, сторонники Карамзина объединяются для общей борьбы. Возникает «Арзамас». Порядок заседаний нового содружества представлял живую пародию на собрания академий, масонских лож, литературных обществ типа «Беседы». Потешные и даже озорные приемы арзамасской процедуры вызывали немало нареканий, которые весьма убедительно отвел Вяземский: «В старой Италии было множество подобных академий, шуточных по названию и некоторым обрядам своим, но не менее того обратившихся на пользу языка и литературы».

Эти события вызывают отзвук в стенах лицея и привлекают к себе пристальное внимание Пушкина. С первых же своих шагов в литературе он стремился стать в ряды поэтического авангарда, с малых лет чувствовал себя оруженосцем боевых талантов, объявивших непримиримую войну литературному застою и реакции. Вот почему он с особенным интересом следил за объединением сил карамзинской группы, когда от разрозненных партизанских набегов обновители стиля перешли к регулярным действиям и дружно построились в боевую фалангу.

Через несколько дней после отъезда трех писателей из Царского Села поэт-лицеист пишет письмо «любезному арзамасцу» Вяземскому, жалуясь на свое лицейское заточение, препятствующее ему «по-

гребать покойную Академию и «Беседу губителей российского слова».

«Арзамасцы» оценили эту непримиримость молодого поэта; в том же 1816 году Пушкин уже считался участником содружества под остроумным прозвищем «Сверчок» в знак того, что, еще находясь в стенах лицея, он уже оживлял своим звучанием современную поэзию.

Вскоре происходит сближение Пушкина с негласным главою «Арзамаса» Карамзиным. На лето 1816 года историк поселяется в Царском Селе. Незадолго перед тем Пушкин получает письмо от Василия Львовича с указанием «любить и слушаться» Карамзина.

Поэт-лицеист стал постоянным посетителем историографа. «В Царском Селе всякий день после классов прибегал он к Карамзиным из лицея, проводил у них вечера, рассказывал и шутил, заливаясь громким хохотом, но любил слушать Николая Михайловича и унимался, лишь только взглянет он строго или скажет слово Катерина Андреевна...»

Жена историка (ей было в то время тридцать шесть лет) произвела на Пушкина сильное впечатление. По свидетельству М. П. Погодина, влюбленный юноша с детской непосредственностью излил свое чувство. «Письмо было адресовано Карамзиной, и она показала его мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления... Пушкин стоял перед ними, как вкопанный, потупив глаза, и вдруг залился слезами...»

В эту пору Карамзин выступал с публичными чтениями еще не изданной истории, нередко обсуждавшейся его учеными слушателями. Для молодого поэта такие собеседования были исключительно ценны. Интерес старших поэтов — Жуковского и Батюшкова — к эпохе князя Владимира отразился и на творческих замыслах их ученика. Но мотивы русской древности Пушкин думал развивать не в торжественной эпической форме, а в излюбленном жанре комической поэмы, задуманной им еще в 1814 году. Необычайные приключения витязей в манере весе-

лых повестей и волшебных сказаний, казалось, открывали ему путь для живого рассказа в духе его любимых шутливых и народных поэтов.

После «Толиады», «Монаха», «Бовы» — целого ряда неоконченных опытов — Пушкин снова берется за этот ускользающий от него и соблазнительный жанр. Для насыщения забавного рассказа характерными чертами прошлого он запоминает из чтений Карамзина героические эпизоды древности и живописные подробности быта. Глубоко чуждый монархическим тенденциям историографа, юный поэт увлекается преданиями о подвигах киевских витязей и запоминает архаические славянские термины и редкие варяжские наименования. Все это отразилось в песнях большой поэмы, которую Пушкин начал писать в последний год своей лицейской жизни.

3

У Карамзина летом 1816 года Пушкин встретил гусарского корнета Чаадаева. Удлиненное бледное лицо с пристальным и строгим взглядом прозрачных голубых глаз, высокий лоб под тенью мягких шелковистых прядей, небольшой, почти девичий рот, маленькие уши — все это создавало впечатление женственной и утонченной внешности. Чаадаев приходился внуком известному историку и дворянскому публицисту екатерининского времени князю Щербатову, видному собирателю рукописей и книг, автору «Летописи о многих мятежах» и «Повести о бывших в России самозванцах». Карамзин широко пользовался материалами «Истории Российской» Щербатова и с неизменной приветливостью принимал у себя внука своего видного предшественника.

Сам Чаадаев, несмотря на свою молодость — ему было в то время двадцать два года, — уже принимал участие в крупнейших событиях современной истории: сражался под Бородином, Кульмом, Лейпцигом и Парижем. Военные походы не прерывали его напряженной умственной работы. В гусарском мундире он оставался мыслителем и диалектиком.

Пушкина одинаково пленяют законченные черты его медального профиля и стройные афоризмы его исторической философии. Несмотря на холод взгляда и строгую сдержанность внешней манеры, Чаадаев испытывал к поэту-лицеисту чувство самой сердечной приязни.

В царскосельском лагере лейб-гусаров Пушкин знакомится еще с несколькими офицерами. Он любуется цельной натурой недавнего адъютанта Беннигсена, поручика Петра Павловича Каверина, первого гусарского удальца на войне, в пирах и приключениях. Воспитанник Московского и Геттингенского университетов, Каверин не был чужд любви к поэзии. Стихотворения юного лицеиста он выслушивал с сочувственной радостью уже в первый период их знакомства.

Прекрасную характеристику этого друга-гусара Пушкин дал в своем посвящении ему, где призывает приятеля к презрению мнений «черни», то есть обывательской массы:

Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Чаадаев познакомил Пушкина со своим однополчанином, юным Николаем Раевским, сыном знаменитого генерала 1812 года. Он был взят отцом на театр военных действий и участвовал в русской и европейской кампании вплоть до взятия Парижа. Военная жизнь рано закалила его. В отличие от женственного Чаадаева он был смугл, коренаст, даже несколько грузен. Крупная фигура и выразительное лицо заметно выделяли его из толпы, а большая начитанность вместе с даром оживленной речи неизменно привлекали к нему внимание общества.

В последние лицейские семестры Пушкин мечтает стать однополчанином Чаадаева, Каверина, Раевского. Он решает поступить в гусары.

Его новые друзья горели непримиримой враждой к рабству и тиранству. В них жила глубокая уверенность, что политический переворот в крепостной

монархии будет произведен армией, уже освободившей страну от бедствий иноземного нашествия.

По ряду ранних политических стихотворений Пушкина, в которых он сближает Чаадаева с Брутом, можно заключить, что эти настроения русских офицеров рано стали увлекать его своим протестующим духом. Победоносная война 1812 года, окрылившая мечты молодежи о падении рабства и произвола в России, обращала и юного поэта к заветной теме народной вольности. Он знал, что Батюшков в 1814 году послал Александру I стихотворение, в котором указывал на долг царя освободить после славной войны русский народ от рабства. Вскоре и первый поэт поколения обратится к мятежным песням о сокрушении самовластья во имя всенародной свободы.

Так чувствовал не один Пушкин. Его лучший друг Пущин мечтал развернуть в войсках революционную работу, к которой приобщили его еще на лицейской скамье первые тайные кружки. В последний год пребывания в лицее он вступил в «артель» братьев Муравьевых, Бурцова, Калошина, где велись «постоянные беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне».

Иван Григорьевич Бурцов оказался одним из главных вдохновителей вольномыслия лицеистов. Выдающийся военный, по уму, храбрости и знаниям он стал вскоре одним из активнейших членов возникших к тому времени тайных обществ. К его «мыслящему кружку» принадлежали и «спартанец» Вальховский и пламенный мечтатель Кюхельбекер. Через этих друзей воздействие новейших освободительных идей сказывалось и на политическом развитии Пушкина. Первое дыхание декабристских идей коснулось его уже на лицейской скамье.

8 июля 1816 года умер Державин. Незадолго до смерти он сказал С. Т. Аксакову: «Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который еще в лицее перещеголял всех писателей».

Через несколько дней Карамзин обедал во дворце и был поражен: «Никто не сказал ни слова

о смерти знаменитого поэта...» Но в стенах лицея это известие вызвало глубокий отзвук:

«Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин!» — писал Дельвиг в надгробной оде. Стихотворение кончалось тревожной мольбой за того, кто призван владеть громкою лирой почившего поэта:

— Я за друга молю вас, Камены!
Любите младого певца, охраняйте невинное сердце,
Зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты!..

В этой мольбе сказалась благоговейная нежность молодого поэтического поколения к своей первой и лучшей надежде — Пушкину.

Начальство до последнего момента не оставляло «младого певца» в покое. К выпускному экзамену, явно по заданию своих воспитателей, он написал стихотворение «Безверие». Указанная лицейским начальством тема о муках атеиста здесь разработана стойко и мужественно: Пушкин не отрекается от своих сомнений и не провозглашает своего обращения к религии, — напротив, он заявляет, что его ум и сердце не находят божества, что загробный мир остается для него безответным — «он бога тайного нигде, нигде не зрит». Все стихотворение выражает напряженную критическую мысль и, по существу, является торжеством разума, отвергающего — хотя и не без драматизма — фикцию высшего существа, управляющего миром.

В явном конфликте оказывается поэт и с правительственной политикой в деле изучения языка и литературы. Стихотворение Пушкина свободно от обязательной «церковнославянской» архаизации стиля (как это требовал отчет лицейской конференции) — оно написано живым, простым, разговорным стихом, достигающим чистоты и прелести лучших образцов лицейской лирики:

Видали ль вы его над хладною могилой,
Где нежной Делии таится пепел милый?..

Рассуждение начинает звучать элегией.

В полдень 9 июня во второй раз появился в лицее Александр I. Новый министр Голицын представил царю выпускаемых воспитанников. Снова, как и 19 октября 1811 года, в лицейском зале прозвучало имя Александра Пушкина. Но теперь его уже сопровождала слава первоклассного поэта, обласканного Державиным, Карамзиным и Жуковским.

4

Лицейское шестилетие мало дало Пушкину в плане учебных программ. В 1815 году Жуковский выражал свою тревогу за юного Пушкина: «Боюсь за него этого убийственного лицея, там учат дурно!» Впоследствии другой великий поэт и отчасти педагог, Мицкевич, так же зорко и верно писал о Царскосельском лицее: «В этом училище, направляемом иностранными методами, юноша не обучался ничему, что могло бы обратиться в пользу народному поэту; напротив, все могло содействовать обратному: он утрачивал остатки родных преданий; он становился чуждым и нравам и понятиям родным. Царскосельская молодежь нашла, однако ж, противоядие от иноплеменного влияния в чтении поэтических произведений Жуковского». Авторитетность этого мнения не подлежит сомнению.

Широко вобравший традиции иезуитских школ, англо-библейской пропаганды, немецкого благочестия, французской светскости и даже австрийской разведки, лицей нес неизгладимые черты своего иноземного происхождения и своих реакционных задач. Из «двух культур» тогдашнего Запада высокопоставленные учредители и угодливые начальники лицея, не колеблясь, выбрали традицию сословного аристократизма, политической реакции и идейной контрреволюции. Это направление фактически поддерживал рядом мероприятий по военизации царскосельской школы и беспощадный враг всяческого «вольтерьянства» всесильный Аракчеев, назначенный в лицей главноначальствующим и всячески стремив-

шийся приблизить гуманитарный институт к типу школы подпрапорщиков или юнкерского училища.

На совершенно иных путях развивалась свободная русская педагогическая мысль, проникавшая в лицей вопреки воле его основателя, представленная немногими профессорами и захватившая нескольких лучших и талантливейших воспитанников. Это была возникавшая декабристская педагогика. С ней постоянно боролись директора и главные наставники лицея, но именно она побеждала в сердцах и умах нескольких даровитейших лицеистов. Их было немного. Все прочие охотно шли официальным путем: Горчаков, Корф, Стевен истово готовились к тем постам министров, губернаторов, послов, директоров департаментов, которые они вскоре и заняли.

Но первый лицейский курс навсегда облачили легендарной славой и лучезарной поэзией не это благоденствующее большинство, а отверженцы императорской России — Пушкин. Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер, Вальховский, пренебрегшие чинами и почестями для творчества и борьбы. К лицею буквально применимы слова Герцена о русском обществе александровского времени: «Образование, ум, жажда воли — все это было теперь в другом поясе, в другой среде, *не дворцовой*; в ней была юность, отвага, ширь, поэзия, Пушкин, рубцы 1812 года, зеленые лавры и белые кресты...»

Так всегда считал и сам поэт. Лицей для него — это несколько друзей и память о Куницыне и Галиче. Остальное отвергнуто и забыто. «Европеизированный» дворянский институт, относившийся с пренебрежением к «мужицким» песням, резко прервал живую связь поэта с эпическими народными образами, так ярко озарившими мир его детства.

Все это национальное, народное, героическое проникало в лицей лишь через немногих «внешних» друзей старшего курса — первых декабристов и особенно через русскую литературу (как верно отметил Мицкевич). Стихи действительно спасали от официальной педагогики. Главным стимулом развития Пушкина в школьные годы было общение с круп-

ными писателями и молодой товарищеской средой, где уже развивались лирики различных направлений.

Но не вполне бесследно прошли для него и некоторые лицейские курсы. То, что соответствовало в программах его школы позднейшему филологическому факультету, обычно воспринималось Пушкиным с интересом и прилежанием. Образцы классической литературы, упражнения в слоге и поэзии, теория словесности, учение о художественном переводе, эстетика — ко всему этому Пушкин проявляет вкус и относится с живым вниманием. Недаром из всех его учителей только «словесники» Кошанский и Будри отмечают в его выпускном свидетельстве превосходные успехи (если не считать еще учителя фехтования Вальвиля).

Но и лучшие лекторы лицея не удовлетворяют его проснувшихся интересов и запросов. Дефекты преподавания своеобразно восполняются Пушкиным непосредственными впечатлениями от чтения и общения с даровитыми и знающими людьми.

К этой живой школе присоединялось чтение. Лицейских профессоров восполняли великие писатели и лучшие поэты России и Франции. Так, курсы Кошанского получали живое истолкование в общении с Жуковским и Батюшковым, лекции Будри углублялись строфами Лафонтена и Вольтера, Кайданова восполнял Карамзин, а Куницына — Чаадаев.

Все это расширяло школьные программы и способствовало творческому развитию Пушкина. Прослушав шестилетний курс наук, он выходит из лицея девятнадцатым учеником с весьма скромными баллами, но уже с первыми листками «Руслана и Людмилы». Пусть в дипломе поэта отмечены его умеренные успехи по географии и статистике, — он уже запел песню, которой не суждено смолкнуть:

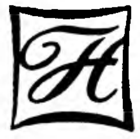
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В АРАКЧЕЕВСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ

1



а жизненное поприще Пушкин вступал в «мрачную годину». Это была эпоха жестокой реакции, жандармской мистики Священного союза и чудовищной диктатуры Аракчеева.

Но чем яростнее проявлял себя правительственный террор, тем сильнее сказывалось обратное течение. Под тираническим ярмом нарастал небывалый подъем общественных сил. Тайные политические союзы объединяли передовых деятелей России для сокрушения самодержавной деспотии и крепостнического строя.

Пушкин, не колеблясь, занял свой пост политического поэта в стане борцов за свободу.

Между тем официальным порядком определялась служебная карьера коллежского секретаря с лицей-

ским дипломом. Через пять дней после выпуска Пушкин был зачислен в Коллегию иностранных дел.

Русское ведомство внешних сношений представляло в этот момент необычную картину: министра в нем не было. Портфель его удерживал в своих руках сам царь, признавший себя к этому времени королем европейских политиков. Пушкин в известной эпиграмме острил над этой эволюцией «лихого капитана»: «Теперь коллежский он асессор по части иностранных дел».

Во главе министерства находились два исполнителя предначертаний и воли коронованного дипломата — реакционер Нессельроде и конституционалист Каподистрия. Александр I играл на противоположности программ и убеждений двух своих статс-секретарей и неуклонно проводил принципы созданного им в 1815 году религиозного объединения европейских монархов для повсеместного удушения революции. Международная политика выражалась принципом вооруженной интервенции в любую страну, где проявилось бы освободительное движение народа. «Все пало — под ярем склонились все главы», — определял несколько позже роль Священного союза Пушкин.

Клерикальный курс петербургского правительства полностью сказывался и во внутреннем управлении страной. Воинствующий мистицизм стал выражением и стилем власти. Университетская наука, печать, школа были подчинены произволу казенных богословов. Литература задыхалась в тисках неистовой цензуры. Народ изнывал от режима военных поселений и опеки всевозможных «заступников кнута и плети».

Таков был тот поистине «страшный мир», в который вступил поэт лицея. Три года, проведенные Пушкиным в александровском Петербурге, были временем его открытых выступлений против реакции, подавлявшей страну. За это время он проявил себя блестящим поэтом-публицистом и бичующим сатириком. Борьбу, которую он так рано повел в лицее с «благочестивыми» заветами Малиновского, Пилец-

кого, Энгельгардта, он продолжал теперь с иными государственными деятелями, в новых масштабах и более отточенным оружием. Шутливые песенки сменяются стальными стихами. Школьная фронда перерастает в антиправительственную пропаганду. Подготовка к боям закончена. Молодой гладиатор вышел на арену.

2

Битвы Пушкина с правительственным Петербургом разразились не сразу. Они выражали мнения самых передовых общественных кругов столицы, с которыми постепенно сближался поэт. По окончании же лицея, еще не вступая в политические схватки и всецело отдаваясь творческим помыслам о подвигах своего Руслана, он решает сменить петербургские бульвары на родовые рощи псковского края.

Тихие, глубокие, неподвижные озера. Вековые сосны нависли широкими шатрами над извилистой лесной дорогой. Медленная, почти зеркально-застывающая Сороть, поистине «лоно сонных вод»... А за ней холмы и жнивья вплоть до синеющих на горизонте рощ.

Село Михайловское, скрытое в лесах Опочецкого уезда Псковской губернии, было пожаловано Елизаветой в 1746 году знаменитому «царскому арапу». Со смертью его сына, Осипа Абрамовича, оно перешло в 1806 году к дочери последнего, Надежде Осиповне Пушкиной. Эту родовую вотчину Ганнибалов Пушкин впервые увидел в июле 1817 года.

Близ Михайловского находилось Тригорское, получившее свое наименование от трех холмов, придававших большую живописность всей местности. Здесь жила почти безвыездно Прасковья Александровна Осипова, дочь крупного псковского помещика XVIII века Вындомского, женщина умная и властная. Она сама управляла своим поместьем и очень много читала.

Пушкин часто бывал в Тригорском, где имелась старинная фамильная библиотека. Там нашел он

Лесажа, Мольера, Руссо, Ричардсона и первые русские переводы Шекспира.

Владелица поместья показывала гостю свой альбом, обтянутый черным сафьяном, скрепленный золотыми застежками, уже хранящий на своих золотообрезных листках ряд афоризмов и стихов. За год до того двоюродный брат Прасковьи Александровны, офицер Семеновского полка Сергей Иванович Муравьев-Апостол, подарил ей эту тетрадь. Согласно тогдашнему поверью, кто своей записью открывает альбом, погибнет насильственной смертью. Вот почему Прасковья Александровна записала сама на первой странице две французские строчки: «Менее всего боясь смерти, я начинаю мой альбом». Вслед за этой надписью Сергей Муравьев-Апостол написал (тоже по-французски): «Я тоже не боюсь и не желаю смерти... Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым...» Запись датирована 16 мая 1816 года.

Пушкин полюбил дом и парк Осиповых:

Приду под липовые своды
На скат тригорского холма...

Природа псковской земли была ему мила, как и древние памятники края. Он творчески воспринял своеобразную и несколько элегическую красоту этих молчаливых рощ и медлительных вод: «холмы, луга, тенисты клены огорода, пустынной речки берега...» Так бегло зарисует он в 1819 году эти родные и близкие его сердцу пейзажи.

Другой отрадой деревенской жизни поэта была сосредоточенная и уединенная творческая работа. В деревне Пушкин занят первой песнью «Руслана и Людмилы», начатой еще в лицее.

Но очарование деревней длилось недолго. «Люблю шум и толпу», — писал Пушкин о своем первом пребывании в Михайловском, где, несмотря на трехмесячный отпуск, он прожил немногим больше месяца. В конце августа 1817 года он уже снова в Петербурге.

Вскоре по возвращении из деревни Сверчок-

Пушкин был официально принят в «Арзамасское общество безвестных людей». Несмотря на шуточный характер обрядов, «Арзамас» был самым значительным и серьезным явлением русской литературной жизни того времени. Его виднейшими представителями были Карамзин, Жуковский и Батюшков, которых Пушкин признавал великими писателями. В содружество входили и такие культурные люди, как Николай Тургенев и Вяземский, оказавшие несомненное влияние на развитие Пушкина.

Вступая в «Арзамас», молодой поэт избежал громоздкой процедуры, сопровождавшей в свое время избрание Василия Львовича (который должен был прослушать приветственные речи из-под наваленных на него шуб, стрелять в чучело, изображавшее дурной вкус, и пр.), но все же выполнил установленный ритуал. В мягком красном колпаке, или «фригийской шапке», распространенной во времена французской революции, он произнес торжественную клятву, в которой под прозрачными псевдонимами обличались Шишков, Шаховской, Хвостов и открыто объявлялась вечная вражда Академии и «Беседе». Обычной вступительной речи Пушкин не произносил, а прочел стихотворное обращение к своим новым сочленам

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

Это было нечто вроде послания, где вспоминались славные события и деятели кружка — Жуковский, Блудов и, вероятно, сатирик Вяземский

в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и розгами в руке

Но в момент вступления Пушкина в «Арзамас» «беспечный колпак», гремушка и розги литературной полемики уже перестали эмблематически выражать настроения содружества. Еще в середине 1816 года возникли первые толки о необходимости направить



Генерал
Н. Н. Раевский-старший.



Н. Н. Раевский-младший.



Берег моря у Феодосии.

шутливое «литературное товарищество» по пути серьезной работы. Староста «Арзамаса» Василий Пушкин указывал товарищам, что прямая цель их союза — обогащение языка; Уваров и Блудов призывали к «подлинному возобновлению отечественной литературы». Наконец младшие «арзамасцы», Николай Тургенев и Михаил Орлов, пытались превратить веселый кружок в настоящий орган общественного мнения. Они стремились перевести беспечных пародистов на путь «истинного свободомыслия» и «теплой любви к стране русской». Они предлагали совмещать литературные доклады с политическими. В заседании 27 сентября 1817 года, по свидетельству Николая Тургенева, «арзамасцы» «отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней все согласны в необходимости уничтожить рабство ..»

Это направление заметно сказалось на поэтическом развитии Пушкина. Даже его стихотворные посвящения представительницам петербургского общества Е. С. Огаревои и А. И. Голицыной, с которыми он знакомится в салоне Карамзина, приобретают характер гражданской поэзии. Светские мадригалы Пушкина получают на фоне официального мистицизма и аракчеевщины острые политические черты. В трех строфах его стихотворения «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада», с исключительной легкостью даны основные мотивы недавнего «Монаха» — насмешливое отношение к отшельнику, в данном случае высокому представителю церковной иерархии, который сравнивается здесь с «богом садов», то есть с Приапом, считавшимся также богом сладострастия.

Политически заострены и ранние посвящения Пушкина Голицыной. По свидетельству Карамзина, поэт сильно увлекся этой «принцессой-полунощницей», дававшей меткие оценки ходу текущих государственных дел. В своем первом посвящении ей («Краев чужих неопытный любитель...») Пушкин заключил мадригальной концовкой общественный мотив, навеянный, очевидно, передовым кружком Тур-

геневых. Так же построено и второе посвящение Пушкина А. И. Голицыной («Простой воспитанник природы...»), сопровождавшее одно из его первых и самых сильных политических стихотворений, возникшее в том же тургеневском кружке.

Пушкин знакомится с рядом выдающихся людей, составивших его постоянное общество и даже круг его будущих друзей. Таков Грибоедов, его сослуживец по Коллегии иностранных дел, «меланхолический характер» и «озлобленный ум», в котором все, по позднейшему свидетельству Пушкина, «было необыкновенно привлекательно». Таков Гнедич, автор политического памфлета 1805 года «Перуанец к испанцу», в котором резко разоблачалось отечественное крепостничество под видом тирании испанских колонизаторов в Южной Америке. Сходится Пушкин и со штабс-капитаном Преображенского полка Катениным, первоклассным знатоком поэзии и сцены. Это был несомненный мастер живого литературного диалога, увлекавший своими смелыми и резкими суждениями, ниспровергавший авторитеты и отважно вступавший в бой с господствующими течениями. Представитель передовых общественных взглядов и даже член тайных обществ, он действовал на молодые аудитории и своими политическими убеждениями (за которые вскоре поплатился ссылкой в деревню).

Пушкин не раз признавал заслуги Катенина как переводчика, литературного теоретика, драматурга и особенно как создателя русской народной баллады. Но некоторые свойства этого поэта-архаика вызывали иронию Пушкина: оказывается, только в устах гениальной Семеновой «понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией!»

Осенью 1818 года Катенин познакомил Пушкина с Шаховским. Автор «Липецких вод» интересовался первыми песнями «Руслана и Людмилы», а Пушкина привлекали веселые вечера у модного драматурга, где после спектаклей собиралась театральная молодежь, писатели, критики. Через семь лет в письме к Катенину он не без признательности вспомнил

«один из лучших вечеров» своей жизни: «помнишь?.. на чердаке Шаховского?» Оценил Пушкин и творчество этого неутомимого театрального деятеля, создавшего особый вид пьесы — занимательной, разнообразной, живой и пестрой, обычно с плясками, песнями и хорами. Раннее предубеждение Пушкина против этого «гонителя Карамзина» сменилось теперь несомненным интересом к «шумному рою» его колких комедий.

Всеобщий «арзамасский опекун» Александр Тургенев, который шесть лет тому назад определил «певца-ребенка» в лицей, познакомил его теперь со своим младшим братом, Николаем. Это был один из образованнейших людей молодого поколения, выдающийся политический мыслитель и горячий патриот. Как Чаадаев и несколько позже братья Раевские, Николай Тургенев стал одним из «университетов» молодого Пушкина.

Сторонник экономического либерализма, он выработал программу радикальных реформ в России, где крепостная система находилась в резком противоречии с принципом свободного труда. Вернувшись осенью 1816 года после долголетнего пребывания за границей на родину, Николай Тургенев вынес от самодержавного строя самое тягостное впечатление, которое сохранилось у него и в последующие годы. Все, что относилось к политическому управлению страной, было «печально и ужасно»; все, что выражалось закрепощенным народом, «казалось великим и славным».

Общение с Николаем Тургеневым оказало сильное влияние на Пушкина и оставило глубокий след в его развитии. Во многом он, несомненно, воспринял воззрения своего старшего друга. Политические эпиграммы первого петербургского трехлетия Пушкина, гражданские стихи о царизме и крепостничестве в значительной степени вдохновлялись беседами с этим крупным государственным деятелем.

Пушкин узнал от него и о новейших экономических теориях, о которых вскоре упомянул в своей характеристике современного героя. Маркс и Энгельс

отметили интерес Пушкина к политической экономии и сослались на известную строфу «Онегина» об Адаме Смите *.

Непримиримый враг крепостного строя, Николай Тургенев исповедовал подлинный культ Радищева. Уже в своих ранних дневниках под непосредственным впечатлением «Путешествия из Петербурга в Москву» он гневно писал о преступлениях российских помещиков и о немолчном стоне крестьянства «от Петербурга до Камчатки».

В кружке Тургеневых раздавался и русский революционный гимн — «Вольность» Радищева,— частью вошедший в его знаменитую книгу и расходившийся полностью в списках среди русской оппозиционной молодежи. В этих негодующих строфах поэт-революционер XVIII века поднялся на огромную высоту социального возмущения и уже создал, за столетие до Некрасова, первую русскую песню, «подобную стону»:

О, вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел!

Пушкин, как сам он отметил почти через двадцать лет в знаменитом варианте, написал свой первый гимн Свободе «вслед Радищеву», то есть в духе его грозной тираноборческой оды.

Строфы Пушкина слагались в виду «пустынного памятника тирана». Из окон квартиры Тургеневых был виден Михайловский замок, своеобразное создание Баженова, покинутое с 1801 года и с тех пор почти необитаемое: «Забвенью брошенный дворец...» Вид опустевшего замка живо вызвал в сознании Пушкина знаменитое 11 марта:

Молчит неверный часовой...
Опущен молча мост подъемный...

В нескольких строках запечатлен конец Павла I: «Калигулы последний час».

По позднейшему свидетельству Николая Тургенева, Пушкин половину оды написал в его комнате,

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. Сборник под ред. М. Лифшица. М.-Л., 1937, стр. 325, 668—669.

затем ночью у себя дописал ее и на другой день принес полный текст своему старшему другу.

Эта ода о свободе вводит новую тему в поэзию Пушкина. От интимной лирики, от любовных элегий, от пуншевых песен он стремится теперь к мужественной, отважной, бунтарской поэзии. «Вольность» — это его декларация не только в политическом, но и в творческом плане.

Как бы в ответ на призывы старших друзей Пушкин хочет разбить «изнеженную лиру», обратиться к большим темам современной государственности: «Воспеть свободу миру, на тронах поразить порок...»

Хотя знаменитая ода Пушкина еще не свободна от противоречий, она все же ценна по своему порыву к борьбе с «неправедной властью» («Тираны мира! трепещите!..», «Восстаньте, падшие рабы!..»). Поэта угнетает мысль о повсеместных бичах, оковах, «неволи немощных слезах». В духе общественных учений XVIII века он видит выход из всеобщего рабства в сочетании «вольности», то есть свободы каждого, с «мощными законами», то есть с государственной хартией

Здесь, несомненно, сказалась и «школа» Чаадаева. Молодой мыслитель считал в эти годы, что высшим авторитетом в государстве является законодательная власть, господствующая над всеми исполнительными органами. Четкие нормы закона, декретированные представителями народа в интересах общества и личной свободы каждого, священны и обязательны для монарха, действующего лишь по договору с нацией: властитель ограничен законом. Отголоски этого политического учения явственно различимы в пушкинской «Вольности»: «Владыки! вам венец и трон дает закон, а не природа...»

Пушкин имел, конечно, в виду не царское законодательство, а вслед за Чаадаевым демократическую конституцию, ограничивающую самодержавие на основе народного представительства; вот почему вскоре в знаменитом посвящении этому другу-философу Пушкин снова заговорит о «вольности святой» и об «обломках самовластья». Закон в оде Пушкина,

как и в декабристских уставах, — это основа нового государственного строя, выражающая революционные лозунги молодой буржуазии в ее борьбе с абсолютизмом — идею о гражданском равенстве и свободе, о разделении властей, о народном суверенитете.

Для выражения своих революционных лозунгов Пушкин принял творческий метод Радищева. В коротких, равномерных и напряженных строфах, как в боевой фаланге, вел еще в 1781 году первый «прорицатель вольности» свой приступ на царей, владык, угнетателей народа, открыто возглашая лозунги справедливости, права и свободы. Призыв к восстанию на тиранов подкреплялся историческими образами бестрепетных борцов — Брута, Телля, Кромвеля — и примером поверженного властителя — «царя на плахе» Карла Стюарта. В этой традиции, но с менее категорическими выводами Пушкин обращается к теме гибели Людовика XVI и Павла I: «Погиб увенчанный злодей» — характерный радищевский стих юноши Пушкина. Недаром он до конца считал, что в старинном революционном гимне «много сильных стихов».

Так строится и его песнь. Революционные идеи, вдохновлявшие Радищева, Пушкин выражает энергичной и агрессивной лексикой (злодеи, убийцы, тираны, янычары), подчас отрывистыми темпами и даже с резкими окриками, но в ряде строф уже новым, плавным, живым, мелодическим стихом: «Приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру...», «Когда на мрачную Неву звезда полуночи сверкает...» Это уже музыка пушкинского ямба не только в его ораторской силе, но и в песенной пленительности.

Революционная страсть Радищева значительно превышает политическую оппозицию Пушкина, еще явно ограниченную тургеневским либерализмом; «венчанный мучитель» старинного поэта у Пушкина лишь «мученик ошибок славных»; естественное право народов, поражающее насмерть царей (в оде 1781 года), вызывает образ «преступной секиры» и «плахи вероломства» в строфах 1817 года. Дворянские ре-

волюционеры в ту пору еще далеко не достигли смелости и боевой решительности гениального политического провидца XVIII века.

Но живая сила и могучее обаяние пушкинской речи сообщили его освободительному призыву такое широкое пропагандное значение, какого ода Радищева не имела. Свободная от архаического синтаксиса и торжественной метрики эпохи императриц, гражданская ода Пушкина получает необычайную стремительность и окрыленность. Ораторские провозглашения государственной философии здесь становятся воинствующими лозунгами, устремленными в будущее. Политический трактат начинает звучать песнью Свободе. Речь поэта приобретает поразительную общедоступность, из ученой становится массовой, всеобщей, всенародной и впервые придает русскому стиху значение оружия, выкованного для революционной борьбы.

II

„МОЛОДЫЕ ЯКОБИНЦЫ"

1

Февраль 1818 года Пушкин отмечает в своих воспоминаниях как памятную дату: «Первые восемь томов Русской Истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их... с жадностью и со вниманием... Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

Появление «Истории Государства Российского» было действительно крупным культурным событием. Это была первая цельная картина роста и укрепления русского политического быта в условиях напряженной многовековой борьбы. Историк-художник сумел изобразить эту могучую драму живописно и местами не без внутренней взволнованности. Мастер портретных характеристик и батальных картин, Карамзин увлек своей художественной прозой всю грамотную Россию. Впервые русская книга становилась предметом широкого общественного обсуждения,

разделяла читателей на партии, порождала своих энтузиастов и отрицателей. Дар изложения и выразительность языка вызывали восхищение писателей и поэтов. «Арзамасцы», для которых Карамзин был «путеводитель» и «вождь», громко высказывали свои восторги. Батюшков вспоминал юного Фукидида, слушающего чтение престарелого Геродота на играх олимпийских:

С какою жаждой он внимал
Отцов деянья знамениты
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!..

Но политические тенденции нового исторического труда с его возвеличением «единодержавия» вызывали решительную критику молодых читателей. Литературность изложения нисколько не заслоняет перед Николаем Тургеневым или Никитой Муравьевым отсталой политической тенденции карамзинской истории, выраженной в ее посвящении: «История народа принадлежит царю». Нет, возражает историографу в особой рукописной статье будущий составитель конституции «Северного общества» Никита Муравьев, «история принадлежит народам». Преклонению историографа перед верховной властью передовые политические умы противопоставляли силу общественного мнения, его принципу мира и спокойствия — начало борьбы.

Страсть определяет силу историка: «Тацита одушевляло негодование».

Так дружно сказался протест молодого поколения против художественной идеализации самодержавия и попытки оправдать крепостническую действительность. Пушкин, признавая литературное мастерство Карамзина, отвергал его феодальную историческую концепцию. Это отразилось в знаменитой эпиграмме:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

В той напряженной борьбе идей, какую вызвала история Карамзина, Пушкин преодолевает свои ли-

тературные сочувствия блестящему повествованию историка строгими требованиями передовой политической программы. Он занимает в этом остром идеологическом споре свой пост поэта-публициста в кругу деятелей тайных обществ, готовящих крушение воспетому официальным историком жестокому государственному строю. Он стремится быть и действительно становится выразителем устремлений и задач назревающего декабризма.

Вскоре петербургские политические кружки были взволнованы новым событием. 15 (27) марта 1818 года в зале варшавского сената Александр I, открывая первый сейм царства Польского, созванный по конституционной хартии 1816 года, произнес речь, в которой сулил «законносвободное» правление и феодальной России.

Заявление царя произвело сенсацию. Молодые сердца, по выражению Карамзина, взволновались: «спят и видят конституцию...» Но Пушкин в этом случае проявил весьма зоркий скептицизм. Он написал острый памфлет, в котором высмеивал заведомо лживые обещания тронной речи. Формой для этой политической сатиры он избрал так называемый ноэль — святочную песенку. Еще в XVII веке во Франции народные поэты стали слагать сатиры на власть, пародируя рождественские песнопения. Строго выдерживая эту сложную строфическую форму, Пушкин придает ей необычайную четкость и меткость. В ноэле 1818 года «Ура! в Россию скачет кочующий деспот...» Мария уговаривает младенца уснуть, послушавши, «как царь-отец рассказывает сказки».

Свои политические стихи Пушкин читал в кругу наиболее передовых и активных из «молодых якобинцев». Через Николая Тургенева и Чаадаева он познакомился с «умным и пылким» Никитой Муравьевым (с которым встречался и в «Арзамасе»), с Ильей Долгоруким, которого друзья ценили за его политические знания, с автором философского трактата «Что такое жизнь?» Якушкиным.

В этом же кругу поэт встречался с одним из интереснейших представителей нового поколения —

Луниным, о котором навсегда сохранил мнение как о «подлинно выдающемся человеке». В Париже в 1816 году этот русский офицер встречался с крупнейшим социальным мыслителем дореволюционной Франции Сен-Симоном, высоко оценившим своего русского собеседника и мечтавшим распространить через него свои идеи «среди народа, еще не иссушенного скептицизмом». Уже в 1816 году Лунин говорил о «нашем восходящем светиле юноше Пушкине», который доставит русскому языку первое место среди всех наречий мира.

Вскоре Пушкин познакомился с Сергеем Муравьевым-Апостолом, сыном известного писателя и дипломата. Это был тот самый кузен П. А. Осиповой, который вписал в ее альбом столь необычное заявление о своей готовности к смерти. Офицер Семеновского полка, он мечтал в юности посвятить себя изучению наук, но жизнь заставила его служить в войсках, а чуткая совесть обратила к тайным политическим организациям. Он словно был создан для роли наставника и предводителя, «исполнен дерзости и сил», по позднейшему стиху Пушкина.

В обществе поэт видел и М. П. Бестужева, в то время шестнадцатилетнего юношу, вскоре затем ближайшего друга и верного боевого товарища Сергея Муравьева-Апостола, его спутника в борьбе и смерти.

В январе 1819 года Пушкин застал у Тургеневых большое общество. Были и лицейские: Пущин, Маслов, профессор Куницын. Присутствовали и друзья-«арзамасцы»: Вяземский, Жуковский, Никита Муравьев. Это было первое собрание «журнального общества». Только что вышла книга Николая Тургенева «Опыт о налогах» — протест ученого-экономиста против закрепощения народа и «своеволия грубых вельмож». Аракчеев выразил свое удивление, как могли пропустить подобное сочинение. Весь доход с книги автор отдавал в пользу крестьян, заключенных в тюрьму за недоимки по налогам.

«Одно только соединение людей в одно целое может дать усилиям каждого силу и действие», —

обратился к приглашенным Николай Тургенев. Лучший же способ объединить людей, любящих свое отечество и желающих ему блага, — это издание журнала. Под патриотическим названием «Россиянин XIX века» или под более ученым титлом — «Архив политических наук и российской словесности» можно было бы выпускать орган для распространения в обществе здравых государственных идей: «Все статьи должны иметь целью свободомыслие», — так толковал Тургенев патриотизм молодого поколения, предлагая девизом нового издания гордые и прекрасные слова: «Есть только одна Россия в мире».

Обсуждению собравшихся была предложена статья Маслова по вопросам статистики. После чтения, за чаем Пушкин разговорился с лицейским другом Пущиным.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем. Верно, это ваше общество в сборе?..»

Пущин опроверг эти соображения поэта. Вступив в тайное общество сейчас же по выходе из лицея, он предполагал вначале посвятить в свою тайну Пушкина: «Он всегда согласно со мной мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедывал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой». Но вскоре Пущин, видимо в согласии с мнением других политических деятелей, признал, что Пушкин как поэт наилучшим образом служит общему делу своими антиправительственными стихами.

Из мира политических вопросов Пушкин нередко переносился в атмосферу искусства — от Тургенева к Оленину. Это был выдающийся археолог и отличный рисовальщик, блестяще владевший сепией и гравировальной иглой. Он собрал богатейшую коллекцию древнерусских художественных ценностей и считал обращение «к простолюдинам и ремесленникам» самым верным средством «постигать многие непонятные памятники искусства и темные места в древних авторах».

В большом доме на Фонтанке, у Семеновского моста, Оленин в качестве директора Публичной биб-

лиотеки и президента Академии художеств собирал писателей, ученых и артистов. Среди античных слепков и этрусских ваз здесь читал басни Крылов, пел свои гекзаметры Гнедич, декламировали или спорили Батюшков, Карамзин, Жуковский.

На одном из вечеров у Олениных в начале 1819 года Пушкин познакомился с племянницей хозяйки, женой дивизионного генерала Анной Керн, прибывшей в Петербург с далекой Украины.

Поэт пытался развлечь свою новую знакомую остроумными репликами и лестными признаниями, но, видимо, только смутил юную провинциалку своей живой и бойкой речью; она еле отвечала дерзкому молодому человеку и даже старалась избегать его: в Лубнах еще не знали Пушкина. Но когда она уезжала и на набережной, садясь в экипаж, оглянулась, она увидела на ступеньке подъезда, под большим фронтоном оленинского дома, Пушкина, который провожал ее долгим взглядом.

Им больше не привелось встретиться в эту зиму; в шумной и бурной петербургской жизни молодого автора Анна Керн промелькнула, «как мимолетное виденье».

2

У художника и археолога Оленина Пушкин ощущал тот близкий ему мир искусства, который и среди аракчеевской деспотии продолжал жить своими творческими законами. Поэзия, музыка, театр не переставали раскрывать и в эту мрачную эпоху яркую одаренность русского народа, которую не могли подавить ни цензоры-евангелисты, ни вельможи-меценаты, ни чиновники дворцовых контор.

Это полностью сказывалось на русской сцене. Она блистала в ту пору выдающимися дарованиями, вышедшими из бесправной крестьянской среды или из подавленной массы податных сословий; но эти подневольные исполнители сумели подняться на вершины трагического и комедийного искусства. Эпоха первых драматургических выступлений молодого

Грибоедова оставила в истории русского театра память о незабываемых спектаклях, поистине достойных пушкинского стиха. Белинский, принадлежавший другой эпохе и отдавший свои театральные симпатии романтику Мочалову и реалисту Щепкину, все же ценил блестящее искусство Яковлева, Семеновой, Колосовых: «Пушкин застал еще пышный закат классического величия русского театра в Петербурге...»

Так же высоко ценил современную столичную сцену и сам поэт. «Волшебный край», как выразительно назвал он театр своей молодости, был для него источником высоких вдохновений и питомником великих замыслов. «Талантов обожатель страстный», он отдал дань горячего увлечения выдающимся русским актерам. Это была первая пылкая любовь Пушкина к театру, поистине страсть его юности, уже не знавшая возврата. Но она навсегда оставила по себе яркую память и глубокие творческие следы.

Театр не был для юноши-поэта простым видом развлечения. Между лицеем и ссылкой он прошел в петербургских зрительных залах серьезную художественную школу. Подмостки трагической сцены, представленной превосходными дарованиями, во многом определили его эстетику и отразились на его образах. Строгое и торжественное искусство «чудной музы», «великолепной Семеновой», по происхождению крепостной крестьянки, пред талантом которой склонилась мировая знаменитость Жорж; последние выступления «дикого, но пламенного Яковлева», потрясавшего зрителей в «Дмитрии Донском», «Отелло» и «Гамлете»; тонкое и волнующее мастерство «волшебницы прекрасной» Колосовой, дебют которой в роли Антигоны так трогательно описал Пушкин; блестящий расцвет русской комедии в эпоху молодости Сосницких; и, наконец, увековеченный в онегинской строфе замечательный дар артиста пантомимы и танца Дидло, воплощенный даровитой Истоминой с ее «толпою нимф», — какое обилие глубоких и вдохновляющих впечатлений! Это были поистине пламенеющие лучи «славы русской», как ска-

жет вскоре о Семеновой Пушкин, взволнованный слухом об ее уходе со сцены:

Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы?
Ужель, навек оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас?
Не верю! Вновь она восстанет,
Ей вновь готова дань сердец —
Пред нами долго не увянет
Ее торжественный венец.
И для нее любовник славы,
Наперсник важных аонид,
Младой Катенин воскресит
Эсхила гений величавый
И ей порфиру возвратит.

Так обессмертил поэт великую актрису начала столетия. Первая глава «Евгения Онегина», где также названо ее имя, — подлинный гимн русскому театру. Навсегда сохраняет свое значение пушкинское определение глубокой одухотворенности национального танца:

Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?..

Замечательно предпочтение великим поэтом отечественного театрального искусства всем прославленным явлениям художественного Запада. В русском балете Пушкин признавал более поэзии, «нежели в новой французской литературе». Семенову он ставил неизмеримо выше «бездушной» парижской знаменитости. Истомина полновластно господствовала над мифологическими композициями Дидло, сообщая им жизнь, окрыленность и душу.

И, как стареющий Державин, воспевший фееричность воздушного спектакля, автор «Руслана» вдохновлялся этими полетами, превращениями, процессиями и сражениями, отражая пеструю фантастику этой блестящей театральности в песнях своей сказочной поэмы.

Главным памятником этих увлечений Пушкина сценой остались его статьи «Мои замечания об рус-

ском театре». Это по живости изложения и тонкости наблюдений образец театрального обзора. Замечания искушенного знатока стиховой речи и декламации, уверенные суждения о голосе, интонации, дикции, о «благородстве одушевленных движений», о глубоком истолковании сценических образов — все это раскрывает в беглом этюде Пушкина классический прототип русской театральной рецензии и фактическую основу его позднейшей драматургической поэтики.

Этот беглый театроведческий опыт 1819 года отмечает в биографии поэта краткий и радостный период его «жизни в театре». Это время его приобщения к возбуждающей атмосфере больших идей и смелого смеха, высоких страстей и вдохновенных стихов. Он горячо полюбил и навсегда увековечил этот мир Озерова и Фонвизина, Эсхила и Шекспира, который так удивительно горел и зажигал сердца в ледяных потемках аракчеевского Петербурга.

3

В театральных кругах Пушкин познакомился с Никитой Всеволожским. Этот юноша сочетал интересы к искусству с влечением к беспечной и праздничной жизни. Поэт стал бывать в большом доме Всеволожских на Екатерингофском проспекте, где собиралось литературное и театральное общество. Рассаживались обыкновенно за круглым столом под зеленым висячим абажуром; отсюда и наименование кружка «Зеленая лампа» и девиз общества: «Свет и надежда». Эмблема объединения — светильня — была вырезана на кольцах его членов. Статут предлагал всем участникам высказываться совершенно свободно и при этом свято хранить тайну собраний. Это давало возможность наряду с театральными рецензиями и очерками из русской истории читать сообща республиканские стихи и политические статьи. Кружок представлял собой филиал Союза благоденствия, который назывался также и «Зеленой книгой» (по цвету переплетной крышки его устава). Но

большинство членов «Лампы» об этом ничего не знало. Тесное дружеское сообщество сочетало вольнолюбивые устремления с горячей любовью к поэзии. Политические деятели, как Сергей Трубецкой, Федор Глинка, Яков Толстой, здесь встречались с поэтами Гнедичем и Дельвигом. Вскоре Пушкин посвятил этому содружеству ряд своих приветственных стихотворений.

Сквозь эпикурейские мотивы здесь прорываются «вольнолюбивые надежды». Поэт напоминает друзьям их обычные беседы у круглого стола, где нередко доставалось и небесному и земному царям.

«Поговори мне о себе — о военных поселениях, — пишет Пушкин Мансурову 27 октября 1819 года, — это все мне нужно, — потому что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм».

Один из членов «Зеленой лампы», А. Д. Улыбышев, музыкальный критик и впоследствии автор выдающейся монографии о Моцарте, читал на собраниях кружка свою социальную утопию «Сон». Это было видение России через триста лет, когда общественные школы, академии и библиотеки займут место бесчисленных казарм, а триумфальные арки вознесутся на месте разрушенных монастырей.

Помимо научных собраний с докладами и прениями, под тем же зеленым абажуром собирались по субботам друзья Всеволожского на веселые пирушки. Но в своих стихах и письмах Пушкин не разграничивал «бдений» от «пиров» и неизменно приветствовал «лампаду» как «приют любви и вольных муз», где «разгорались наши споры от искр и шуток и вина...». Умственную деятельность и политическую борьбу он воспринимал не как отречение и жертву, а как радость и праздник:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена...

Пушкин посещает и другой филиал Союза благоденствия — «Вольное общество любителей россий-

ской словесности», которое считалось «ученой республикой» и где выступали с чтением своих произведений Дельвиг, Кюхельбекер, Гнедич, Баратынский. Руководил собраниями автор патриотических «Писем русского офицера», ранний декабрист Федор Глинка. В органе этого объединения — «Соревнователе просвещения и благотворения» — Пушкин напечатал свое стихотворение 1818 года «На лире скромной, благородной» с рядом декларативных строф и знаменитым заключением:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа...

Это и определило место Пушкина в рядах русского общества эпохи «конгрессов». В «Послании Горчакову» он уже говорит с лицейским товарищем, вступившим на путь блестящей государственной карьеры, языком декабриста, противополагая официальному великосветскому синклиту кружки независимой молодежи с их смелыми и острыми речами. К представителю феодальной аристократии обращается поэт авангарда дворянской интеллигенции, уже связавшей свою судьбу с делом освобождения закрепощенного народа. В мир низкопоклонной лести и «придворного кривлянья» проникает мнение свободомыслящих умов, уже действующих против оплотов Священного союза сарказмом, сатирой, памфлетом и неотразимой сталью пушкинской эпиграммы. От имени этого саркастического юношества, исторически призванного «разбудить Герцена», и обращается в 1819 году к будущему канцлеру Российской империи будущий великий поэт русской нации.

Декабризм был не только политической программой Пушкина — он сливался со всей жизнью поэта. Это была его честь и молодость, его первая любовь и верность до гроба. Автор «Вольности» жадно всматривается в круг близких ему одаренных и высокообразованных людей, несущих в себе мысль века и освободительную надежду целой эпохи. Как поэт, он начинает отражать в своем творчестве не только

великие освободительные идеи, но и личности лучших представителей своего поколения, пока еще в беглых строфах, написанных к случаю или по поводу, но уже закрепляющих в посвящениях и надписях профили его выдающихся современников.

Так возникает в лирических посвящениях молодого Пушкина замечательная галерея исторических портретов. В своей любимой манере — «быстрым карандашом» или мгновенным росчерком пера — он дает незабываемые эскизы и зарисовки с живых лиц пробуждающегося русского общества.

Так уже в раннюю эпоху своего творчества Пушкин становится портретистом будущих декабристов. Пусть еще без общего плана и отдаленной перспективы, он уже намечает групповой портрет передовой молодежи александровского времени. Из творческого общения с друзьями-республиканцами прозвучат его гимны свободе.

После одной из бесед с Чаадаевым было написано стихотворение «Любви, надежды, тихой славы...», где, как в оде «Вольность», Пушкин отказывается от «юных забав» и высказывает намерение отдать весь жар и силы своей молодости борьбе с «властью роковой». «Свобода», «вольность святая», «отчизна» — вот высшие ценности, требующие беззаветного служения и сулящие «зарю пленительного счастья» его родине вместе с немеркнущей славой тем борцам, чьи отважные имена будут начертаны «на обломках самовластья».

Вольнолюбивые стихи молодого Пушкина выражали высокое настроение революционного подъема, о котором с таким жаром показывал вскоре П. И. Пестель, говоря о том *восхищении* и *восторге,* которые охватывали участников тайных обществ при мысли о будущей счастливой России, преображенной переворотом.

4

В селе Михайловском летом 1819 года Пушкин по-новому ощутил смысл петербургских бесед в кружке Тургеневых. Недавнее появление «Опыта теории

налогов» оказалось крупнейшим общественным событием. По словам самого Николая Тургенева, он повернул тему своего финансового трактата в сторону важнейших политических вопросов дня. Вся тягость налогового бремени лежала на низших сословиях государства, и сама постановка вопроса о податях уже звучала протестом против рабства в России. Вокруг выдающейся книги, заложившей фундамент русской политической экономии, чрезвычайно оживились разговоры об изыскании мер к освобождению крепостных.

Пушкин к ним чутко прислушивался. В «Сыне отечества» 1818 года появилась статья его лицейского профессора А. П. Куницына по крестьянскому вопросу. К царю не переставали поступать заявления и «записки» о необходимости облегчить невыносимое положение крепостных, позорящее «просвещенную» монархию и тормозящее развитие народного хозяйства.

Но царь не давал им ходу. В ответ на общественное движение он поручил в 1818 году составление проекта по крепостному праву такому испытанному «свободолюбцу», как Аракчеев. Тот предложил постепенный выкуп закрепощенного крестьянства в казну, — что никакой свободы ему не дало бы, — а на практике продолжал решать крестьянский вопрос системой военных поселений. Это подлинное проклятие александровской внутренней политики возмущало Пушкина, как и всю передовую Россию. Проект создания постоянной военной касты, неисчерпаемо пополняющей и питающей огромную русскую армию, имел своей главной целью создать замкнутую войсковую силу, совершенно отъединенную от крестьянских масс: именно этим обеспечивалась успешность борьбы с народными восстаниями. Над русской деревней нависла угроза нелепой и страшной военизации для борьбы с революцией. Новый институт «пахотных солдат» представлял в грубейшем и жесточайшем выражении сущность крепостничества. Он обнажал весь ужас строя, вызывавшего глубочайший протест лучших людей пушкинского поколения.

Широкую деятельность по пропаганде «эмансипации» крепостных проявил новый приятель Пушкина Николай Тургенев.

В своих беседах и статьях он смело выдвинул положение о неправомерности крепостничества. Никогда закон не водворял в России рабства. Приписка крестьян к земле не предоставляла их в собственность помещику. До XVII века они сохраняли право выбирать себе хозяина в Юрьев день. Но царские вотчинники, пользуясь своей силой, обратили свободных землепашцев в рабов. Барин получил возможность проиграть своего «холопа» в карты, отдать в рекруты, сослать на каторгу, засечь до смерти. Народная свобода была захвачена и похищена дворянами. И все это оставалось неизвестным русскому обществу, потому что «историю пишут не крестьяне, а помещики».

Такие речи доходили до сердца поэта. И вскоре Пушкин выступит со своей запиской о крепостном состоянии, которая прозвучит на всю Россию и сохранит навсегда свое высокое значение декларации народной свободы.

Незадолго перед тем, летом 1818 года, Николай Тургенев гостил в имении под Москвой. Ему чрезвычайно понравились «горы, деревья, зелень», «прелестные рощи». Но «наслаждение парализуется этим нечестивым рабством, которому я не предвижу скорого уничтожения», записывает он в своем дневнике. «Своеволие грубых вельмож» — вот главная тема его экономических разысканий.

Пушкин запомнил эти высказывания своего старшего друга. В свой первый приезд в Михайловское поэт работал только над «Русланом», теперь же непосредственное соприкосновение с крепостной действительностью вызывает в нем творческую реакцию. Контраст чудесной природы и «нечестивого рабства» становится темой для негодующего воззвания.

Пушкин пишет свою «Деревню».

В округе Михайловского хранилось немало преданий о нравах крепостнического барства XVIII века, отчасти переживших его и еще бытовавших в «кроткое царствование» Александра I. В 1774 году произо-

шло восстание крепостных в соседней вотчине графа Ягужинского, беспощадно подавленное картечью, кнутом и плетьми. Владелец ближнего села Алтун— Львов держал в раболепии и страхе всех уездных чиновников и славился жестоким обращением с крестьянами. Новоржевский землевладелец Философов был обладателем гарема из крепостных девушек, сопровождавшего его во всех разъездах. Пушкин лично знал одного самодура-помещика, прикрывавшего филантропическими фразами свою циническую жестокость.

«Этот помещик был род маленького Людовика XI», — вспоминал впоследствии историк «Села Горюхина». Деспот был убит своими крестьянами во время пожара.

Все это давало поэту обширный материал для его гневного обличения.

Стихотворение Пушкина «Деревня» четко разделено на две части, контрастно восполняющие одна другую: мирный сельский пейзаж, вызывающий мысли о счастье и труде «в уединеньи величавом», и ужасающая картина «измученных рабов», бессмысленно погибающих по воле «неумолимого владельца». Великая родина и бесправный народ! Оба плана как бы смыкаются в торжественной концовке, озаренной мгновенным и отдаленным видением освобожденной страны.

Влияние Николая Тургенева, считавшего, что «освобождение крестьян в России может быть с успехом проведено только властью самодержца», чувствуется в известном заключении стихотворения («рабство, падшее по манию царя»). Ряд других выражений напоминает здесь, как и в оде «Вольность», общее учение о легальных путях общественного переустройства («свободною душой закон боготворить»). Но некоторая «конституционность» таких формул восполняется исключительной силой обличающих описаний («Не видя слез, не внемля стона», «Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам» и пр.). Подъем в заключении также необычайно усиливает общий размах гневного обвинения. Стиль «грозного витийства», подготовлен-

ный предшествующими восклицательными интонациями («Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!»), приближает поэтический язык к подлинному красноречию и сообщает стиху ораторскую мощь. Сочетание гнева и протеста придало этому стихотворению значение одного из лучших образцов нашей гражданской лирики.

С небывалой силой выразил Пушкин в своей «Деревне» чувство обиды передовых русских людей за родину, клейменную рабством. Легальная концовка стихотворения утрачивала свое значение перед этим глубоким выражением общей готовности «молодой России» на величайшее самопожертвование во имя освобождения закрепощенных масс. Это был голос нации, выраженный могучими стихами ее первого поэта. В этом смысле «Деревня» уже раскрывает в Пушкине великого национального трибуна, выразителя глубокой и человечной мысли целого общества, готового вступить в бой с угнетателями народа. Это был первый манифест декабризма, неизмеримо более действенный по своему влиянию и отзвукам, чем уставы и программы тайных обществ. Среди знаменитых исторических документов, как «Зеленая книга» или «Русская правда», «Деревня» Пушкина до сих пор звучит живым голосом героической эпохи, дошедшим до нас во всей непосредственности его гражданского гнева.

5

В первые же годы своей литературной деятельности Пушкин становится любимцем русского общества. «От великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров везде принимали Пушкина с восхищением, — свидетельствует П. А. Плетнев. — Он сделался идолом преимущественно молодых людей, которые в столице претендовали на отличный ум и отличное воспитание». Он дружески принят и в культурнейших кругах политических заговорщиков, преклоняющихся перед остротой его памфлетов и жаром его поэтических обличений. Передовая интеллигенция признает его выразителем своего протеста. По поводу угоднических посвящений

Аракчееву Вяземский заявляет: «Пушкин при каждом таком бесчинстве должен крикнуть эпиграмму».

Этот короткий и острый жанр вскоре действительно стал его разящим оружием. Позднейшее воззвание Пушкина к «музе пламенной сатиры» могло бы относиться и к первому периоду его деятельности. Уже в Петербурге он показал свою неотразимую меткость в поражении противника «язвой эпиграмм». Уже здесь сложилась его боевая формула о необходимости «мучить казнию стыда» своих политических врагов. И уже в первые годы своей литературной борьбы он сумел заклеймить «неизгладимой печатью» целую реакционную клику, навалившуюся всей своей тяжестью на многострадальные плечи русского народа.

Одним из виднейших руководителей бесславного финала александровской эпохи был личный друг царя, порочный ханжа — князь Голицын. Приятель и последователь вождя европейской реакции Жозефа де Местра, он выступает в эпиграммах Пушкина как «просвещения губитель». Несколько позже поэт назовет его и «апостолом Крюднерши», клеймя попутно и эту вдохновительницу мистической политики Александра I — баронессу Крюднер, проповедницу и предсказательницу политических катастроф, предотвратимых якобы лишь религией. Резкими сатирическими чертами изобразит Пушкин эти беспросветные годы голицынского руководства русским образованием и науками,

когда святой глупец,
Турецкого кади прияв за образец,
В угодность господу, себе во утешенье
Усердно утушить старался просвещенье.

Глубоко дороживший судьбами русской мысли, отечественной печати, народного образования, Пушкин был возмущен тем унижением, какому национальная культура подвергалась в руках этого елейного изувера.

Ближайшим помощником Голицына оказался вскоре ловкий карьерист Магницкий. Возглашая внедрение принципов Священного союза в дело образования, он объявил в 1819 году борьбу знанию, исследованию,

разуму: «яд просвещения» угрожает алтарям и тронам, безбожные профессора — слуги сатаны. Отсюда разгром университетов и беспримерный цензурный террор.

Одною из первых жертв новой «просветительной» политики оказался любимый профессор Пушкина — Куницын: он был изгнан в 1821 году из Петербургского университета за свою книгу «Право естественное», нашедшую якобы отклик в революциях Сардинии, Испании и Неаполя. Поднятую Магницким кампанию продолжал его единомышленник Рунич. Он предал суду «доброго Галича» за его «Историю философских систем», признанную якобинской и безбожной. В позднейших стихах Пушкина остались следы его разящих характеристик этих двух «реформаторов» несчастного русского образования конца царствования Александра I.

Пушкин отметил своими эпиграммами и одного из виднейших столпов православно-монархической реакции — архимандрита Фотия. Это был предвестник Распутина и его роли в придворных кругах конца романовской династии. Модный духовник был участником крупных политических интриг и пользовался исключительным влиянием среди столичных аристократок. Пушкин бичует этого великосветского пастыря стихами своей хлещущей эпиграммы: «Полу-фанатик, полу-плут; его орудием духовным проклятье, меч и крест, и кнут...» Заклеймена беспощадными эпиграммами поэта и «благочестивая жена», то есть известная покровительница Фотия графиня Орлова.

Не пощадил поэт и ревностного монархиста Стурдзу, первого сподвижника Голицына по библейскому обществу, главному рассаднику контрреволюционной пропаганды. Этот «библический» и «монархический» деятель, «холоп венчанного солдата», достоин, по известной эпиграмме, заклания от руки защитника народных прав.

Таков был новый путь русской литературы, новый «огнестрельный метод», еще никогда не применявшийся в ней. Политические стихи Пушкина потрясали основы крепостнической монархии и вербовали новые

силы политической оппозиции. Недаром эти «анафемы игривые» вскоре вызвали «высочайшее» негодование и угрозу высших кар. Невиданными приемами быстрых, метких, разительных и ошеломляющих ударов Пушкин продолжал традиции своего любимого Радищева и возвещал будущие битвы Маяковского, беспощадно разившего своим стихом всех врагов революции.

III

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ

1

В начале 1820 года поэт впервые почувствовал, что враг, с которым он вступил в борьбу своими сатирами, начинает наносить ответные удары. В петербургском обществе широко распространились слухи, что смелый автор антиправительственных эпиграмм подвергся в секретной канцелярии наказанию розгами. «Я увидел себя опозоренным в общественном мнении, — вспоминал в 1825 году Пушкин. — Я впал в отчаяние». По его собственному свидетельству, он колебался между самоубийством и цареубийством. Умный друг Чаадаев уговорил его игнорировать толки обывателей, достойные полного презрения.

Пушкин решает заставить власть применить к себе открытые приемы борьбы и вынудить ее произнести во всеуслышание свои скрытые подозрения. «Я жаждал Сибири или крепости, как средства для восстановления чести». Смелость его поведения поражает петербургское общество. Пушкин пишет эпиграмму на всемогущего Аракчеева, которая одновременно ударяла и по Александру I («Всей России притеснитель... А царю он друг и брат»); распространяет в обществе свою оду «Вольность», написанную еще в 1817 году, но только теперь, к весне 1820 года, привлекшую пристальное внимание правительства. Он высказывает в обществе сочувствие студенту Тюбингенского университета Карлу Занду, заколовшему агента царского правительства в Пруссии Коцебу.

25 февраля 1820 года весь официальный Петербург собрался на «торжественное поминовение» герцога Беррийского, «похищенного у Франции убийственною рукою злодея», как гласила латинская надпись на пустом траурном катафалке.

Пушкин ощущает себя в другом стане: не с приверженцами Бурбонов, а с тем одиноким парижским ремесленником Пьером Лувелем, который учился читать по республиканской конституции и навсегда остался верен «правам человека и гражданина». Когда до Петербурга доходят парижские литографии, изображающие «ужасного убийцу», Пушкин достает себе такой листок. На полях рисунка своим размашистым почерком он надписывает: «Урок царям!» В тот же вечер в театральном зале он показывает запретный портрет соседям по креслам, «позволяя себе при этом возмутительные отзывы», как свидетельствуют благонамеренные современники.

Убийство герцога Беррийского послужило сигналом к революционному движению в других странах. 8 марта (нового стиля) 1820 года вспыхнула революция в Испании, вызвавшая живейшее сочувствие Пушкина. Его друзья и наставники в политическом мышлении Чаадаев и Николай Тургенев не скрывали своего восхищения этой «народной победой». Пушкин впоследствии не раз вспоминал имена вождей испанской революции — Кироги и Риэго и через десять лет отметил этот момент в сжатом и взволнованном стихе «Тряслися грозно Пиренеи...».

Возникшие тревоги в жизни Пушкина совпали с крупным событием его творческой жизни: 26 марта 1820 года была окончена шестая, последняя, песнь «Руслана и Людмилы».

Это был подлинный праздник русской поэзии, пока еще отмеченный только в тесном кругу литературных друзей. Здесь была сразу признана победа поэта-ученика над своим мастером-учителем, склонившим перед юным соперником свое лебединое перо: известна надпись Жуковского на портрете, подаренном Пушкину в день окончания его первой поэмы.

Вскоре эта эпическая песнь будет признана одним из блестящих триумфов русской литературы и, как всякое выдающееся событие, вызовет непримиримую борьбу мнений. Но эта буря в критике разразится лишь осенью 1820 года, вскоре после выхода поэмы из печати.

Чем же объяснялось такое исключительное значение этой маленькой книги?

Арзамасский Сверчок, вступая в литературу, дал блестящее решение большой задачи, издавна занимавшей русских стихотворцев: создать живую и общедоступную национальную эпопею. Для этого необходимо было превратить тему отечественной истории в увлекательный роман и разработать событие прошлого в духе народных сказаний. Но ни Хераскову, ни Карамзину, ни Батюшкову, ни Жуковскому не удалось найти тот творческий метод, который сплавил бы воедино эти разнородные элементы, придав им новое поэтическое качество.

Нужно оценить то мужество, с каким поэт-лицеист приступил к этому труднейшему заданию, и ту остроумную находчивость, с какой он разрешил эту неподатливую проблему. Пушкин нашел для ее раскрытия два верных ключа: он подверг старинные сказания с их фантастическими ужасами шутливой разработке, а легендарную героику с ее вымыслами и похождениями свел к точной истории. Задача создания эпической поэмы была блестяще разрешена иронией и историзмом Пушкина. Его поэтический гений довершил все остальное.

В 1817 году появилось продолжение поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» в виде второй баллады-новеллы, озаглавленной «Вадим». Это история новгородского витязя, который влюбляется в киевскую княжну, а женится на одной из зачарованных героинь, принеся этим искупление и всем ее сестрам. Религиозный характер повести снова обращает Пушкина к пародии и сатире. И теперь, в 1818 году, он считает нужным разоблачить набожность фантастической поэмы.

В противовес «молитвенным» вдохновениям роман-

тического балладника Пушкин, в традициях старинных «кощунственных» поэм, превращает непорочных дев в жриц сладострастия, а «божий дом» — в чертог наслаждения. Такими смелыми контрастами молодой поэт разоблачает мистическую концепцию Жуковского и противопоставляет его аскетическому идеалу свое понимание человеческого счастья и жизненных радостей. В четвертой песне поэмы противостоят не только два плана пародийного искусства, но и два мировоззрения, две морали, два стиля.

В эпоху создания поэмы чрезвычайно расширился круг исторических представлений Пушкина. В свободных объединениях будущих декабристов поэт слышал обсуждение первостепенных государственных вопросов и радикальные проекты освобождения своего народа от феодально-крепостнического гнета. Здесь много говорилось о вольных республиках древней Руси, о политическом и художественном значении русского прошлого, о необходимости освободить от рабского состояния героический народ, избавивший Европу от власти Бонапарта.

Такие исторические предания навевали Пушкину тему героического финала для всей эпопеи его странствующего витязя. Общая идея Карамзина о величии русского народа, ниспровергшего «ханское иго» для создания великого национального государства, отразилась и на пушкинской концепции русской истории.

Шестая песнь «Руслана и Людмилы» уже дает первый очерк истолкования поэтом судеб его родины: подлинный герой для него прежде всего народен, органически слит со своей страной — убеждение, которое Пушкин сохранит до конца. Если его философия истории еще не сложилась в 1820 году в своих окончательных формах, перед нами уже выступает в заключительной песне «Руслана и Людмилы» певец могучих подъемов отечественной истории. На вершине древнего сказания высится героический представитель народа, осуществляющий его историческую миссию. Так, сохраняя традицию волшебно-рыцарского романа, Пушкин к концу поэмы по-новому сочетает фантастические элементы старославянской сказки с дра-

матическими фактами древнерусской истории. В шестой песне поэма наиболее приближается к историческому повествованию: осада Киева печенегами уже представляет собой художественное преображение научного источника. Это первая творческая переработка Карамзина. Картина сражения, полная движения и пластически четкая в каждом своем эпизоде, уже возвещает знаменитую боевую картину 1828 года: «Горит восток зарею новой...»

Пушкин особенно ценил эту последнюю песнь «Руслана».

Тон поэмы здесь заметно меняется. Фантастику сменяет история. Сады Черномора заслонены подлинной картиной стольного города перед приступом неприятеля:

.. Киевляне
Толпятся на стене градской
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой;
Щиты, как зарево, блистают;
В полях наездники мелькают,
Вдали подъемля черный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Это уже достоверное и точное описание войны X века с ее вооружением, тактикой и даже средствами сообщения. Это уже начало исторического реализма. Картина обороны Киева предвещает баталистическую систему позднего Пушкина, изображавшего обычно расположение двух лагерей перед схваткой, — в «Полтаве», «Делибаше», «Путешествии в Арзрум».

В творческой эволюции Пушкина значение последней песни «Руслана» огромно. Здесь впервые у него выступает народ как действующая сила истории. Он показан в своих тревогах, надеждах, борьбе и победе. В поэму вступает великая тема всенародной борьбы и славы. На последнем этапе своих баснословных странствий герой становится освободителем родины. Весь израненный в бою, он держит в деснице победный меч, избавивший великое княжество от порабо-

щения. Волшебная сказка приобретает историческую перспективу. «Преданья старины глубокой» перекликаются с современностью: сквозь яркую картину изгнания печенегов звучит тема избавления России от иноземного нашествия в 1812 году. В поэму вплетаются стихи, прославлявшие еще в лицее великие события Отечественной войны. Руслан вырастает в носителя исторической миссии своего народа, и волшебная поэма завершается высоким патриотическим аккордом.

Так легкий жанр веселого классицизма, развертываясь и устремляясь к прославлению освободительного подвига, приближается в последней стадии повествования к историческому реализму.

Творческий рост Пушкина за три года его работы над «Русланом и Людмилой» поистине поразителен. Даровитый школьник превращается в первого писателя страны. Под его пером «бурлеска» перерождается в героику. Эпическая пародия перерастает в историческую баталию. Легендарные приключения витязей и волшебников отливаются в могучий волевой подъем русского воина, отстаивающего честь и неприкосновенность своей земли. В развитии своего замысла Пушкин из поэта-комика вырастает в певца национального величия и всенародной славы. Если корни его поэмы еще переплетаются с «Монахом» и «Тенью Фонвизина», ее лиственная крона уже поднимается к «Полтаве» и «Медному всаднику».

Таково было становление великого поэта. С небывалым мастерством он подчинил разнородный состав сказания своей творческой воле и достиг полного единства и неразрывной спаянности частей. Такого художественного совершенства и законченности русская поэзия еще не знала. В этой свободной и смелой эпопее Пушкин уловил и выразил тот новый, большой стиль русской поэзии, который слагался в ней между великой обороной 1812 года и восстанием 14 декабря. В эти годы шутливый классицизм XVIII века стал перерождаться в классицизм патриотический и революционный, вскоре захвативший всю фалангу передовых поэтов молодой России.

2

2 апреля 1820 года министр внутренних дел Кочубей получил политический донос на Пушкина, написанный публицистом В. Н. Каразиным. Доклад об этом был вскоре сделан царю.

Военный генерал-губернатор Петербурга Милорадович получает распоряжение произвести обыск у Пушкина и арестовать его. Но этот боевой генерал, соратник Суворова, воспетый Жуковским, решил действовать осторожнее. Он жил широко, любил театр и танцовщиц, знал Пушкина по зрительным залам и кулисам петербургских сцен. Вместо ареста он решил прибегнуть к секретному изъятию нужных бумаг.

В середине апреля на квартиру Сергея Львовича явился переодетый агент и предложил дядьке Пушкина, Никите Козлову, пятьсот рублей за предоставление ему «для чтения» сочинений молодого барина. Тот отказал. Узнав той же ночью о таинственном «почитателе» своей поэзии, Пушкин решил предупредить события: он сжег все сатирические листки. На другое утро поэт получил предписание столичного полицмейстера немедленно явиться к военному генерал-губернатору.

По счастью, Пушкин был в добрых отношениях с прикомандированным для особых поручений к Милорадовичу полковником Федором Глинкой. Автор биографии Костюшки, близкий к Пестелю, Трубецкому и Муравьевым, Глинка мог действительно дать в этом случае благожелательный и дельный совет.

«Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения, — он не употребит во зло вашей доверенности», — заявил этот тайный член Союза благоденствия.

Поэт отправился в канцелярию генерал-губернатора.

Милорадович принял Пушкина в своем кабинете среди турецких диванов, статуй, картин и зеркал. Он питал страсть к предметам роскоши, к нарядной обстановке, восточным тканям. Как южанин, он отли-

чался некоторой зябкостью и любил по-женски кутаться в пестрые шали.

Этот изнеженный военачальник столицы заявил Пушкину о полученном им приказе «взять» его со всеми бумагами. «Но я счел более удобным пригласить вас к себе». На этот жест доверия Пушкин решил ответить такой же широкой откровенностью: бумаги его сожжены, но он готов написать Милорадовичу все, что нужно. «Вот это по-рыцарски!» — воскликнул удивленный начальник.

Вскоре казенные листки генерал-губернаторской канцелярии заполнились строфами «Вольности», ноэлей, сатир — всей антиправительственной поэзией Пушкина, за исключением одной эпиграммы, которую царь никогда бы не простил ему.

Этот сборник памфлетов Милорадович на другой же день представил Александру, прося его не читать их и помиловать сочинителя за мужественное и открытое поведение во время следствия: «Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».

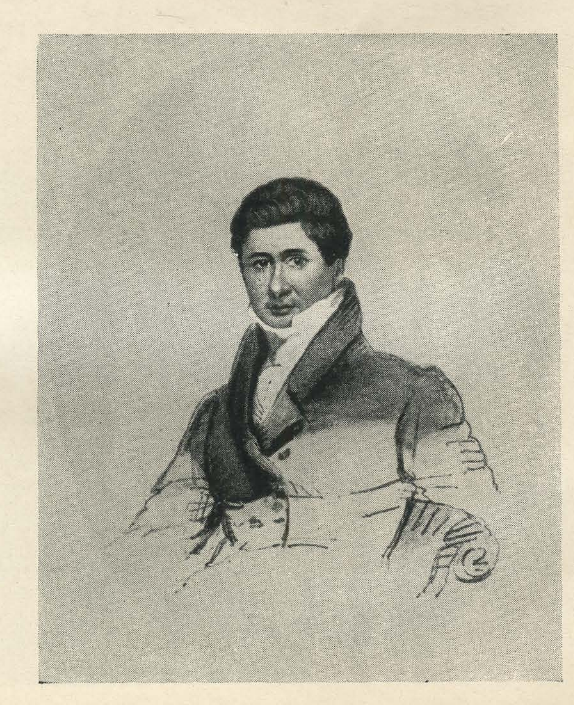
Но император был другого мнения. Дело Пушкина не было решено тогда же (как рассказывал впоследствии Глинка), а тянулось еще около трех недель. 19 апреля Карамзин сообщил Дмитриеву, что полиция узнала «о стихах Пушкина на вольность», об эпиграммах на властителей и друзья поэта «опасаются следствий».

Апрельские события 1820 года сразу обнаружили, какими прочными общественными симпатиями пользовался поэт. Особенно активной оказалась в этом деле позиция его начальника Каподистрии, которого Жуковский за его гражданские качества называл «нашим Аристидом». Он вступил в переговоры с Карамзиным и Жуковским, мнение которых и положил в основу своего заключения.

Одновременно действовали и друзья поэта. Глинка передает, что Гнедич «с заплаканными глазами» бросился к влиятельному Оленину. Чаадаев хлопотал у своего шефа командира гвардейского корпуса Васильчикова и одновременно старался повлиять на



А. Н. Раевский.



Н. И. Тургенев.


Е. К. Воронцова.


З. А. Волконская.

Карамзина. С таким внушительным общественным мнением правительству пришлось посчитаться. Первоначальные предположения о ссылке в Сибирь или Соловки за оскорбление верховной власти понемногу уступают место решению перевести Пушкина в южные губернии. Старый сослуживец Милорадовича и приятель Каподистрии генерал Инзов, человек высокой моральной репутации, ведал новороссийскими колонистами; к нему-то и откомандировали Пушкина.

Первый этап «службы» поэта завершился 4 мая он явился на Английскую набережную и получил от казначея Коллегии иностранных дел тысячу рублей ассигнациями на проезд до Екатеринослава В канцелярском доме его принял сам глава ведомства Нессельроде. Он сообщил «переводчику» своей коллегии, что по приказу его императорского величества ему предлагается вручить документы чрезвычайной важности попечителю комитета о колонистах южного края России генерал-лейтенанту Инзову, в распоряжении которого он остается в качестве сверхштатного чиновника впредь до особых указаний. Пушкину предписывалось выполнить волю государя безотлагательно. Так политическая ссылка была замаскирована служебным переводом. Официально Пушкин отсылался на юг курьером.

6 мая Дельвиг и Яковлев проводили Пушкина до Царского Села. На этот раз друзья были задумчивы и молчаливы. Вероятно, сосредоточенная нежность Дельвига при прощании вспомнилась Пушкину через ряд лет в элегических стихах·

Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его

Бричка покатила по Белорусскому тракту. Из всех родных, друзей и знакомых — из целого общества, заполнявшего пестрой толпой первые десятилетия жизни поэта, — с ним следовал в изгнание только его дядька, крепостной Никита Козлов. «Петербург душен для поэта», — писал за несколько дней до своего отъезда молодой изгнанник, с грустью оставляя в столице лишь круг друзей-единомышленников,

как скажет вскоре в своем посвящении поэту-декабристу Федору Глинке:

Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!

IV

ПОЛУДЕННЫЙ БЕРЕГ

1

В середине мая Пушкин прибыл в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Заехав в единственную гостиницу недавно лишь основанного городка, он поторопился явиться в контору иностранных поселенцев вручить своему новому начальнику срочный пакет от Нессельроде.

Его принял пожилой военный с крупной шарообразной головой, с большими мечтательными глазами. Это и был сподвижник Суворова и Кутузова, участник многих исторических сражений, спартанец и стоик в своей личной жизни генерал-лейтенант Инзов.

Доставленные Пушкиным официальные бумаги были чрезвычайно важны: в них предлагалось управляющему колониями Новороссийского края принять пост полномочного наместника Бессарабии.

Удивительным был и сопроводительный документ, в котором Нессельроде давал курьеру, вручившему депеши, тонкую психологическую характеристику. Это и было письмо Каподистрии, подписанное управляющим коллегией и утвержденное царем, но отмеченное вниманием и участием, весьма мало свойственным петербургским властям.

В министерской рекомендации отмечалось безрадостное детство Пушкина, породившее в нем «одно лишь страстное стремление к независимости». Автор письма не скрывал ни своего мнения о «необыкновенной гениальности юноши» и его «пламенном воображении», ни своих сведений о подлинной «знаменитости» молодого поэта.

Особый интерес представляла характеристика революционных стихов Пушкина.

«Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства. При величайших красотах замысла и стиля его стихотворение свидетельствует об опасных принципах, почерпнутых в современных учениях или, точнее, в той анархической доктрине, которую по недомыслию называют системою человеческих прав, свободы и независимости народов». Вот почему правительство, приняв соображения друзей поэта — Карамзина и Жуковского, полагает, «что, удалив Пушкина на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государства или, по крайней мере, первоклассного писателя». Дальнейшая судьба молодого человека ставилась в зависимость от успеха «добрых советов» Инзова.

Необычайное письмо вызвало некоторое раздумье попечителя южных колонистов. Этот храбрый воин, в свое время совершивший легендарный переход через Альпы, был не чужд литературных идей XVIII века, а в молодости и сам писал стихи. Племянник Хераскова, воспитанник московских масонов, личный друг поэта-радищевца Пнина — Инзов склонен был посвоему воспринять официальное сообщение о новом стороннике системы человеческих прав. Уже 21 мая он сообщает Каподистрии, что «погрешности» Пушкина объясняет не «испорченностью сердца», а только «пылкостью ума».

Как человек большой душевной чуткости, Инзов после первых бесед с новоприбывшим понял, что тот нуждается после всего пережитого не столько в «добрых советах», сколько в полной свободе и отдыхе. Он не стал обременять Пушкина канцелярской работой и предоставил ему время для устройства на новом месте. Пушкин оставил заезжий трактир и поселился в одной из многочисленных хаток, лепившихся на склонах к Днепру. Город был тих и глух, но с открытием навигации сотни плотов и барок проплывали по течению. Пушкина потянуло к реке.

Ему нравились купания, катания на лодке, песчаные островки. Здесь он наблюдал первый примечательный эпизод своих странствий, отразившийся в его южном творчестве. Арестанты «смирительного дома» собирали на улицах подаяния, на которые и содержались заключенные. Двоим из таких скованных колодников удалось бежать; они переплыли Днепр и скрылись в лесах. Пушкин запомнил этот эпизод новороссийской тюремной хроники и через год нашел ему воплощение в своей поэме о русской вольнице.

Ранние купания в реке вызвали у приезжего приступ малярии. Еще перед отъездом из Петербурга друзья подготовили план путешествия автора «Руслана» с семьей Раевских по Кавказу и Крыму. Около 25 мая генерал Раевский, командовавший 4-м корпусом Первой армии, прибыл из Киева в Екатеринослав проездом на Кавказские воды. В то время на курорты отправлялись целым караваном, и генерала сопровождали его младший сын, гусарский ротмистр Николай Раевский — знакомый нам друг Чаадаева и Пушкина, две дочери — Мария и Софья, гувернантка-англичанка, девушка-татарка и военный врач Рудыковский.

По приезде в Екатеринослав генерал Раевский вместе с сыном разыскали Пушкина в его убогой хате. Поэта лихорадило. Доктор Рудыковский предписал больному хинин, и на другое утро Пушкин явился в губернаторский дом к Раевским, горя желанием сопровождать их на Кавказ. «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою», — писал впоследствии Пушкин; мечта эта готова была теперь осуществиться. Инзов не возражал, надеясь, что граф Каподистрия одобрит его снисхождение.

В последних числах мая в одной коляске со своим другом ротмистром Раевским Пушкин оставил Екатеринослав.

2

Три экипажа покатили по Мариупольской дороге. Проехав семьдесят верст, переправились на левый берег Днепра у немецкой колонии Нейенбург, возле

Кичкаса (где теперь Днепрогэс). «Тут Днепр только что перешел свои пороги, — сообщал родным генерал Раевский. — Посреди его — каменные острова с лесом весьма возвышенным, виды необыкновенно живописные».

Вскоре проехали Александровск (теперь Запорожье). За городком начались гладкие безводные степи, покрытые свежим ковылем. Так добрались до Мариуполя.

Здесь впервые Пушкин увидел южное море. Все оставили экипажи и сошли на берег Таганрогского залива любоваться прибоем. Пушкин обратил внимание на шаловливую игру Марии Раевской с набегавшими волнами. Впоследствии она называла этот эпизод источником знаменитой строфы «Евгения Онегина»:

Я помню море пред грозою...

Но мемуаристка ошиблась. Строфа относилась к иной встрече — уже на берегу Черного моря.

Проехав Таганрог и Ростов, ночевали в станице донских казаков Аксай, на следующий день обедали у атамана Денисова в Новом Черкасске, а наутро отправились в Старый Черкасск.

Маршрут Раевских пролегал по территории, охваченной в то время восстанием крепостных. Борьба деревень с отрядами генерала Чернышева напоминала о старинных движениях, прославивших область. Донские станицы и городки были полны преданий о борьбе казачества с царизмом, нередко разраставшейся в настоящие крестьянские войны и прославившей имена Разина, Пугачева, Болотникова, Булавина. Некоторые из этих имен, как известно, чрезвычайно увлекали Пушкина, а первый интерес к ним, вероятно, возник у него летом 1820 года, когда он слушал в самом центре донского казачества предания и песни о понизовой вольнице.

Именно здесь, в старинном Черкасском городке и его округе, разыгрался ряд событий знаменитого казачьего восстания, потрясшего до оснований «ти-

шайшую» Русь царя Алексея. Дон был одним из главных районов деятельности Разина. В области продолжали звучать вековые песни об этом неустрашимом заступнике угнетенного люда. Это он приходил в образе Пугачева передать крепостным помещичьи земли, пели донские песенники, и он снова придет вызволить закабаленных рабов, ибо «Стенька — это мука мирская»...

Цикл донских преданий рано увлек Николая Раевского. Умный, одаренный, превосходно образованный молодой офицер декабристского круга, правнук Ломоносова по матери, он задумал собирать рассеянные в крестьянской массе воспоминания о Разине, мечтая со временем написать историю его восстания. Страстный любитель поэзии, он сразу почувствовал здесь богатейшие залежи устного творчества и едва ли не первый указал на них Пушкину.

Песни донцов поразили автора «Вольности». Политический изгнанник мог почувствовать всю революционную мощь этого эпического половодья, а великий поэт, мечтающий отлить в своем творческом слове образ всенародного героя, казалось, обрел его величайший исторический прототип. Разин — «единственное поэтическое лицо русской истории», запишет через четыре года Пушкин. Но уже летом 1820 года поднимается в сознании поэта эта первая волна его помыслов о Степане Разине и Пугачеве, которая до конца будет расти и шириться в его творчестве.

Дни на Аксае запомнились Пушкину. Здесь возник один из его замечательнейших творческих планов — замысел поэмы о Степане Разине. К этому образу он еще не раз обратится впоследствии.

3

Между тем экипажи генерала Раевского продолжали свой маршрут на юг.

Землями Войска Донского проехали в Ставрополь. Показались снежные вершины двугорбого Эльбруса, к скалам которого был, по преданию, прикован Прометей. Сильная гроза и дождь задержали пут-

ников недалеко от Георгиевска. Через два дня достигли, наконец, цели путешествия — Горячих Вод (впоследствии Пятигорск).

Вокруг расстилалась «страна баснословий», как писали географы двадцатых годов. С давних пор обширная горная область меж двумя южными морями была достоянием поэтов. Историки считают, что впервые слово «Кавказ» было произнесено Эсхилом.

Поэтические предания, казалось, аккомпанировали непосредственным впечатлениям поэта-путешественника, зачарованного очертаниями «ледяных вершин, которые издали на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными...». Среди первых набросков в записной книжке поэта уже отмечены и вершины Машука и Эльбруса, «обвитые венцом летучих облаков», и «жилища дикие черкесских табунов», и «целебные струи», к которым сейчас же по приезде обратились путешественники.

В Горячеводске с «перелетной стаей» встретился старший сын генерала — Александр Раевский, высокий, худощавый молодой полковник в отставке, напоминавший внешностью Вольтера. Он участвовал в наполеоновских походах, был во Франции адъютантом Воронцова, служил при наместнике Кавказа Ермолове.

На Пушкина он сразу произвел неотразимое впечатление. Александр Раевский слыл скептиком, «нигилистом», отрицал ценность поэзии, искусства, чувств. Тонко образованный и широко начитанный, как все Раевские, он был не чужд мистификации, и его неумолимый «демонизм» являлся некоторой позой. Дальнейшее показало, что этот «разочарованный» человек был способен на сильнейшие увлечения. Ум, дарования и жизненный опыт Александра Раевского придавали исключительное очарование его личности и разговору.

Пушкин охотно слушал и рассказы старика Раевского, прошедшего военные пути от Очакова до Парижа и даже заслужившего лестные отзывы Наполеона. Беседы с боевым генералом питали живой интерес поэта к истории недавнего прошлого и под-

держивали его влечение к военной жизни и ратным подвигам.

Они представляли особенный интерес в напряженной походной обстановке Кавказа. От Раевских Пушкин, несомненно, слышал о крупнейших деятелях и событиях кавказской военной истории — о князе Цицианове, генерале Котляревском и особенно о самом Ермолове. Здесь же он услышал о трагическом эпизоде этой долголетней борьбы, который вдохновил его на замысел новой кавказской поэмы:

гибель россиян
На лоне мстительных грузинок..

Имелось в виду изгнание низложенной семьи Георгия XIII из пределов ее бывших владений в 1803 году, когда последняя царица Грузии Мария заколола генерала Лазарева, распоряжавшегося ее отправлением из Тифлиса. Царицу окружали девушки и женщины, вооруженные кинжалами и отбивавшиеся от русской стражи.

Таковы были «преданья грозного Кавказа», слышанные молодым поэтом от старого ширванского ветерана. Через несколько месяцев, заканчивая свою поэму о Кавказе, Пушкин расскажет читателю о замыслах своих новых воинственных песен и произнесет хвалу командирам кавказской линии в духе воззрений той военной семьи, с которой он странствовал меж Доном и Кубанью.

3 июля общество переехало на «Железные воды бештовые», то есть в нынешний Железноводск. Здесь раскинулись лагерем в десяти калмыцких кибитках под военной охраной тридцати солдат и тридцати казаков; ванны находились в лачужках, а воду из источников черпали дном разбитой бутылки. Вершины Бештау поэт называет своим новым Парнасом.

4

К концу месяца Раевские были в Кисловодске. Здесь 26 июля 1820 года Пушкин создает свое первое *романтическое* стихотворение — эпилог к «Руслану и Людмиле».

Этот заключительный фрагмент резко расходится по стилю с духом поэмы, которую призван завершить. Это не столько послесловие к волшебной саге, сколько увертюра к циклу современных поэтических новелл. Это исповедь разочарованного «сына века», пережившего личную и общественную трагедию в толпе шумной столицы, полной врагов, клеветников, изменниц, и изживающего теперь свою боль и негодование среди «природы дикой и угрюмой»:

Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.

Тема нависшей гибели, политических гонений, душевной замкнутости и гордой свободы — какой это разительный контраст к мотивам только что законченной рыцарской поэмы с ее сказочными злоключениями и «пиршественным» финалом! Эпилог к «Руслану» прозвучал декларацией нового поэтического стиля, раскрывшего прямые пути в современность с ее титаническими натурами и политическими грозами.

В 1820 году, с окончанием «Руслана и Людмилы», завершается ранний период творчества Пушкина. Лицей и «Арзамас» окончательно изжиты. Открывается новая творческая эпоха, овеянная животворной бурей романтизма — неукротимой, трагической и мятежной.

В начале августа путешественники двинулись в обратный путь — с Кавказа в Крым. Это был новый маршрут от Пятигорья по правому берегу Кубани (левый еще принадлежал черкесам), землями черноморских казаков, на Таманский полуостров. Проезжали через кубанские крепостцы и сторожевые станицы, где Пушкин не переставал любоваться бытом и жизнью смелых наездников: «вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности», — писал он брату. Но он не решался доверить письму свои размышления о казацкой «вольнице», черты которой еще сохранились в пограничных станицах.

Знакомство с казачеством на Дону и на Кубани оставило глубокий след в творческой памяти Пушки-

на. Его коренному свободолюбию здесь раскрывался богатейший материал для поэтизации широких, вольных натур — передовых стражей и отважных завоевателей. Какое богатство событий и образов для эпической поэмы! Средоточие недовольных, убежище беглых крепостных и каторжников, это вольное военное товарищество умело поднимать грозные политические движения против «законного» царского порядка. Если задуманные поэтом «Замечания о черноморских и донских казаках» 1820 года до нас не дошли, мы можем отчасти судить о них по поздним записям Пушкина, в которых поэт-историк приветствует донское и яицкое казачество за смелость, удальство и великодушие этих старинных русских людей, своевольно установивших свою жизнь и быт на степных просторах и по течению великих рек.

В середине августа поэт впервые увидел Черное море, столь пленившее его и столько раз им воспетое. От «азиатской» Тамани путешественники отплыли в направлении Керчи. Началось первое морское путешествие Пушкина.

5

Кавказские воды и казачьи становища сменяет Таврида, вся овеянная античными мифами. Пушкину с его творческими заданиями было дорого легендарное прошлое Черноморья. В описании своего путешествия — сначала в письме к брату, потом в стихах — он не перестает ссылаться на древние имена и предания, вспоминать исторические события и оживлять мифологические образы. «Воображенью край священный!» — назовет он впоследствии Крым. Таманский полуостров, откуда открылись ему таврические берега, он называет Тмутараканским княжеством. Так именовали древнюю Таматархию русские князья Владимир, Мстислав, Ярослав I, образовавшие из нее удельное княжество (Пушкин вспомнил вскоре «Мстислава древний поединок» и разработал план поэмы об этом герое). Керчь вызывает в нем представление о развалинах Пантикапеи и воспоминание о Митридате, завоевателе Греции и опустоши-

теле римских колоний Малой Азии. По пути поэт посещает кладбище бывшей столицы Боспорского царства, разыскивая следы исторической усыпальницы:

И зрит пловец — могила Митридата
Озарена сиянием заката.

В Феодосии, которую Пушкин называет ее генуэзским именем «Кафа», он ведет беседы с исследователем Кавказа и Таврии, бывшим служащим Азиатского департамента иностранной коллегии Семеном Броневским, весьма примечательным русским краеведом начала столетия.

Это послужило Пушкину как бы введением в богатую область древней истории и памятников Черноморского побережья.

17 августа путешественники отчалили от Феодосийской гавани на военном бриге, который был предоставлен генералу Раевскому из керченской флотилии. Плавание началось днем, но особенно запомнилась Пушкину ночь на море, о которой он неизменно и не без волнения сообщал в своих письмах. Он провел ее без сна, в состоянии лирического вдохновения. Это была одна из прекрасных безлунных южных ночей, когда ярко выступают звезды и в темноте неясно вычерчивается линия гор. Сторожевое судно шло легким береговым бризом, не закрывая парусами побережья. Поэт ходил по палубе и слагал стихи: морское путешествие ночью, воспоминание о петербургских увлечениях, очарование новым стилем романтических поэм — все это отразилось в лирическом отрывке с повторными стихами:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Стихотворение имело первоначально эпиграфом прощальный возглас из песни Чайльд Гарольда, покидающего Англию: в сборниках пушкинской лирики двадцатых годов оно даже печаталось с авторской пометкой «Подражание Байрону». Но следует помнить, что в то время термин *подражание* обозначал нередко поэтические вариации самостоятельного значения, по существу свободные от заимствования

и лишь выдержанные в определенном художественном стиле. Так было и в данном случае.

В своей черноморской элегии Пушкин дает обычную лирическую запись своих раздумий, признаний и надежд, выраженных непосредственно, вольными стихами, близкими к живой разговорной речи. Глубоко различно и эмоциональное звучание двух стихотворений: Байрон описывает безнадежную опустошенность своего сердца и свое страшное одиночество в пустынном мире. Пушкин говорит о сердечном возрождении, об «упоении» воспоминаниями, о неисцелимости «глубоких ран любви», свидетельствующих не об омертвелости души, а о ее повышенной способности к новым переживаниям. В стихотворении сохранен лишь стиль морской прощальной песни с особой поэтичностью ее основной темы — отплывания от родимых берегов, где была безрассудно изжита молодость, к неведомым странам, сулящим забвение и покой. Поэтические мотивы, свойственные и ранним опытам Пушкина, получили теперь совершенно новое звучание. Драматизм личной судьбы, тяжесть изгнания, впечатления от Кавказа, от Раевских, от новейших мятежных поэм приобщили его к особым романтическим течениям, близким к революционным настроениям современности. Проявлением этого пушкинского романтизма, который вскоре начнет отсвечивать «красками политическими» и перерождаться в его глубокий психологический реализм, и была взволнованная, как море, его элегия «Погасло дневное светило», как бы проводящая резкую грань между его юностью и молодостью, Петербургом и Крымом, «Русланом» и южными поэмами.

Элегия слагалась в виду берегов, где-то между Судаком и Алуштой. Когда обогнули мыс Чебан-Басты, капитан брига подошел к своему бессонному пассажиру: «Вот Чатырдаг!» В темноте неясно обрисовывались массивы огромной Палат-горы, как ее прозвали в то время русские из-за сходства с раскинутым шатром.

Пушкин задремал. Он проснулся от шума якорных цепей. Корабль качался на волнах. Вдали ам-

фитеатром раскинулись розово-сиреневые горы, окружавшие Гурзуф, на фоне их высились зеленые колонны тополей; из моря выступала громада Аю-Дага. «И кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...»

На берегу путешественников встретила генеральша Раевская с двумя дочерьми. Старшая, Екатерина, считалась красавицей, обладала твердым характером и произвела на Пушкина сильное впечатление (он вспомнил ее, когда через пять лет создавал образ Марины Мнишек). Вторая дочь, голубоглазая Елена Николаевна, была чахоточной, но в свои семнадцать лет, несмотря на тяжелый недуг, сохраняла все очарование красоты хрупкой и лихорадочной, с некоторым отпечатком обреченности. Как все Раевские, обе старшие сестры отличались высокой культурностью.

Лето двадцатого года Пушкин провел в семейной обстановке, рядом с девушками, любившими искусство, увлекавшимися поэтами-романтиками. «Все его дочери — прелесть, — писал он вскоре брату о семье генерала Раевского, — старшая — женщина необыкновенная». Но это поклонение «юности и красоте» не перешло в подлинное чувство любви с его глубиной и силой. По позднейшему свидетельству Марии Раевской, поэт «обожал только свою Музу». Это вполне подтверждается таким стихотворением, как «Редеет облаков летучая гряда...», в котором нет любовного признания и говорится только о *«сердечной думе»* — выражение большой глубины и чрезвычайно характерное для переживаний автора элегии.

В Гурзуфе Пушкин по-новому ощущает природу. Южная растительность пробуждает в нем ряд неведомых представлений и счастливых творческих ассоциаций. Горделивый и стройный крымский кипарис вызывает его восхищение и нежность; он проникается «чувством, похожим на дружество», к молодому дереву-обелиску, выросшему у самого дома герцога Ришелье, где поселились Раевские.

Гурзуф был овеян историческими воспоминаниями. Он входил в общую древнюю систему обороны

южного Крыма. Прикрывавшая селение Медведь-гора, или Аю-Даг, называлась также Бююк-Кастель, то есть большое укрепление. На ее склонах высились остатки генуэзской батареи, воздвигнутой из дикого камня в VI веке нашей эры. Путь с горы в соседнюю деревню Партенит (название указывало на близость «Парфенона» — храма Дианы) был еще усеян обломками черепиц и осколками сосудов. Древность неприметно ощущалась здесь повсеместно.

Вскоре Пушкин создал ряд новых стихотворений в духе античной антологии. Неудивительно, что он перечитывает в Гурзуфе того лирика, который наиболее пластически и сильно воскресил в своем творчестве мотивы эллинской поэзии, — Андре Шенье. Пушкин узнал его, как и Байрона, еще в Петербурге. К концу 1819 года или к началу 1820 года относятся его первые опыты в духе Шенье: «Я верю, я любим...» и «В Дориде нравятся и локоны златые...» Пушкин прочел этого французского поэта в самый момент его «открытия», то есть при первом посмертном опубликовании его рукописей отдельной книгой в 1819 году. «Он истинный грек, из классиков классик, — определил его вскоре автор «Музы» в письме к Вяземскому. — От него так и пышет Феокритом и антологией...» Вот почему чтение этого поэта особенно соответствовало обстановке Крыма.

В Гурзуфе же заносятся в дорожную тетрадь первые заметки к новой поэме и конспективные программы изложения, изобилующего местными бытовыми и этнографическими чертами (аул, Бешту, черкесы, пиры, песни, игры, табун, нападение и пр.). Сюжет поэмы, намеченный в кратких обозначениях: «пленник — дева — любовь — побег», обращал к рассказам о воинских подвигах русских офицеров в закубанских равнинах.

6

В начале сентября Пушкин с генералом Раевским и его сыном Николаем выехали верхами в Симферополь. Это необычное путешествие в седле и стременах по приморским тропам побережья Пушкин вспом-

нил через два-три года, описывая путь крымского всадника в эпилоге «Бахчисарайского фонтана». Маршрут лежал по южному берегу через Никитский сад, маленькую деревушку Ялту, Алупку-Исар и Симеиз к трудной и узкой тропе с побережья на плоскогорье. Это был «страшный переход по скалам Кикинеиза», ведущий к еще более грозной «чертовой лестнице» — Шайтан-Мердвеню, где, по словам старинного путешественника, смерть на каждом шагу «ожидает себе жертвы». Поднявшись по крутым уступам на Яйлу, всадники через Байдарскую долину доехали до Георгиевского монастыря.

Кельи монахов повисли на огромной высоте над отвесными стенами обрыва. «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление!» — вспоминал вскоре Пушкин.

Отсюда он отправился на мыс Фиолент осмотреть остатки древнего храма Дианы. Прелестное стихотворение Пушкина об Ифигении в Тавриде было написано позже (как это доказано новейшими исследователями), но дыхание мифологии с ее трагическими и человечными мифами, видимо, охватило Пушкина на обрыве легендарного мыса у «баснословных развалин» древнего капища (как сам он рассказал в 1824 году).

Отсюда скалистой дорогой путники достигли Бахчисарая. Пушкина снова начала томить лихорадка. Но ему припомнилось слышанное им еще в Петербурге «печальное преданье» Крыма: последний хан, отличавшийся в битвах и дипломатии, безнадежно полюбил пленницу своего гарема, польскую княжну. Когда недоступная девушка погибла от кинжала соперницы, он воздвиг в ее память неиссякающий водомет — изображение своей безутешной скорби, «фонтан слез»...

Пушкин нашел ханский дворец в запустении, гарем в развалинах, фонтан испорченным, хотя, быть может, в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование: вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных выступов:

Фонтан любви, фонтан печальный!..

Но окружающие дворец сады были полны прохлады, зелени и цветов. Среди густых зарослей мирт, под раскидистой тенью яворов, у высоких пирамидальных тополей неизменно цвели, как при ханах, большие осенние розы, словно восполняя живой деталью восточный растительный орнамент «Таврической Альгамбры». Пушкин сорвал с карликового куста колючую ветку с двумя пышными алыми цветками — как сам поведал нам в своем посвящении фонтану Бахчисараиского дворца — и опустил «две розы» на влажный мрамор, иссеченный арабскими литерами: «В раю есть источник, именуемый Сельсебиль».

Татарская сага о любви и смерти владела поэтом: ни запустение дворца, ни скудость источника, ни даже болезнь Пушкина не могли остановить рост одного из его самых пленительных поэтических замыслов...

Позднейшее творческое воспоминание магически преобразило запущенные покои ханского дворца и оживило драматической хроникой дремотное затишье Крыма.

Пушкин говорил впоследствии, что жил в Гурзуфе «со всем равнодушьем и беспечностью неаполитанского лаццарони». Но это была все же, по выражению его знаменитой элегии, «задумчивая лень». О глубокой внутренней сосредоточенности свидетельствуют возникшие вскоре таврические строфы. Душевное возрождение, о котором Пушкин такими чудесными стихами мечтал еще в Петербурге, осуществилось только во время его первых южных странствий. После ряда месяцев бесплодия и усталости, когда поэту казалось, что «скрылась от него навек богиня тихих песнопений», наступило спасительное раскрепощение «В очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает», и с дивной легкостью слагаются элегические стихи о шумящих ветрилах и «безумной любви». Так чуждые краски облетели ветхой чешуей с «картины гения», освобождая новые источники сил в его нравственном мире и раскрывая неведомые возможности росту его творческих видений.

V

В ШТАБЕ ЮЖНОГО ЗАГОВОРА

1

Из Бахчисарая через Симферополь, Перекоп и Одессу Пушкин направился на новое место своей службы — в Кишинев, куда уже переехал на свой новый пост полномочный наместник Бессарабии Инзов.

Прибыв 21 сентября в административный центр нового края, Пушкин остановился в заезжем доме одного из «русских переселенцев» новой провинции.

Генерал Инзов проживал в наместническом доме на окраине старого города. Пришлось проходить к нему узкими и кривыми улицами, кое-где прорезанными мутным потоком Быка. Вдоль низеньких каменных домишек, вдоль тесных и грязных двориков, полутемных лавок с тяжелыми колоннами и сводами, мимо восточных кофеен, в которых арнауты и греки дымили кальянами и трубками над маленькими чашечками с кофейной гущей, Пушкин прошел по острым булыжникам турецкой мостовой на простор пустырей, откуда открывался перед ним широкий вид на синеющие холмы, кольцом обступившие город.

Белый двухэтажный дом наместника высился на возвышенности среди зарослей небольшого сада. Просторный двор был наполнен домашними птицами: павлины, журавли, индейские петухи и разных пород куры и утки разгуливали среди клумб и кадок с олеандрами. Около крыльца сторожил бессарабский орел с цепью на лапе. По утрам Инзов сам раздавал корм своему пернатому населению. Стаи пестрых голубей кружились возле балкона, подбирая зерна пшеницы и риса. «Это мои янычары, — с улыбкой говорил Инзов, — главное лакомство янычар также было пшено сарацинское».

Старик снова пленил Пушкина простотой и приветливостью обращения. Как и раньше, он предоставил поэту полную свободу и возможность наблюдать местный быт и нравы.

Население города привлекало своей необычайной пестротой. Неудивительно, что именно здесь создались стихи Пушкина о небывалой смеси «одежд и лиц, племен, наречий, состояний»... В среде румын, турок, греков, евреев, армян, молдаван, задунайских славян, цыган, украинцев и немцев еще растворялось новое русское общество — военные, чиновники, немногочисленные семейства переселенцев вместе с потомками беглых стрельцов, раскольников, донских казаков-некрасовцев (так назывались участники булавинского восстания). Фески, тюрбаны, халаты, смуглые лица придавали городу живописный колорит и неизменно вызывали у приезжих несколько преувеличенное представление о бессарабской «Азии».

Но после Крыма, который Пушкин называл «роскошным востоком», Кишинев с его беднотой и скученностью кварталов, суетливой деловитостью и смешными потугами провинциального общества на парижские и венские моды походил не столько на Азию, сколько на близлежащие Балканы. Город носил на себе ряд черт европейской Турции без резко выраженного единого национального характера, без исторических памятников или иных следов народной культуры.

Но сама эта лоскутность быта и нравов, пестрота международного караван-сарая, своеобразные черты местного строя, еще не сглаженные общегосударственными началами управления, — все это придавало городу необычайную живописность и вызывало у поэта художественный интерес. В творческом плане Бессарабия оказалась для Пушкина не менее богатой областью, чем Кавказ и Таврида: именно здесь зародилась самая значительная из его южных поэм.

Близким лицом в Кишиневе оказался арзамасец «Рейн» — Михаил Орлов, командовавший здесь дивизией и уже состоявший членом тайного общества.

Обладатель «живой и пылкой души», выдающийся оратор, он считался «человеком высшего разряда» и «светилом среди молодежи». Это был политический деятель большого масштаба, заключивший в 1814 го-

ду капитуляцию Парижа, подававший царю петицию об уничтожении крепостного права и заявивший протест против намерения Александра I отделить от России Литву. Еще в 1814 году он участвовал в организации тайного общества «Орден русских рыцарей», ставившего себе целью политический переворот и новое государственное устройство России (упразднение рабства, вольное книгопечатание, соединение Волги и Дона каналом, торговое сближение с Китаем и Японией и пр.). Состоявшая под его командованием с лета 1820 года 16-я пехотная дивизия вскоре стала одним из главных центров южного декабризма.

Борьба Орлова с телесными наказаниями и его забота о солдатах были выдающимися явлениями в истязуемой и безмолвствующей армии. Отражая гуманистическую программу Союза благоденствия, его приказы по полкам перевоспитывали командный состав и проводили на практике борьбу с аракчеевщиной.

Сосланного Сверчка Орлов встретил как товарища и друга. Уже через день после приезда, 23 сентября, Пушкин обедает у начальника дивизии за его «открытым столом», где собирается вся видная военная молодежь оппозиционного направления.

Среди посетителей генерала выделялся статный гость с военной выправкой, в синей венгерке вместо мундира; пустой правый рукав, обшитый черным платком, был приколот к груди. Это был дрезденский ветеран, сын молдавского господаря Александр Ипсиланти, проявивший исключительную политическую активность. В эпоху первого знакомства с Пушкиным этот «безрукий князь» со своими братьями заканчивал подготовку восстания в Греции.

Беспрестанные шумные споры на политические, философские и литературные темы создавали особую атмосферу в доме Орлова: это был крупнейший культурный центр Кишинева, за которым многие признавали даже значение «якобинского клуба». Ранний пушкинский радикализм, несомненно, закалялся в кругу этих передовых, образованных и даровитых

собеседников, подвергавших смелой и острой критике всю современную государственность.

За столом Орлова Пушкин знакомится и с подполковником Иваном Петровичем Липранди, который занял в бессарабской главе его биографии весьма заметное место.

Это был чрезвычайно любопытный представитель кишиневской дивизии. Игрок и ученый, член кишиневской ячейки тайного общества и замечательный лингвист, Липранди с первых же встреч заинтересовал Пушкина. Поэт подружился с ним и не раз встречал в нем поддержку и участие (о принадлежности Липранди к тайной полиции Пушкин, конечно, и не догадывался).

Этот штабной офицер специализировался на изучении европейской Турции, которую, по планам царизма, предстояло присоединить к России. Библиотека его состояла преимущественно из книг по истории и географии Ближнего Востока. Пушкин нашел в этом обширном книгохранилище немало редких и ценных изданий с планами, картами и гравюрами. Первая книга, которую он взял у Липранди, был Овидий, который и стал его излюбленным спутником в «пустынной Молдавии».

Начетчик и библиофил, Липранди славился бреттерством, и редкая дуэль проходила без его участия. Именно он рассказал Пушкину о поединке, описанном впоследствии в повести «Выстрел», герой которой Сильвио отмечен чертами этого кишиневского дуэлиста.

У Липранди Пушкин познакомился с сербскими воеводами, доставлявшими полковнику необходимые сведения для его исследования о Турции. От них поэт узнал, что по соседству с Кишиневом — в Хотине — проживает дочь видного деятеля сербского освободительного движения Георгия Черного, или Карагеоргия, получившего такое мрачное прозвание за то, что он убил своего отца, не захотевшего стать в ряды национальных повстанцев. Одно из первых кишиневских стихотворений Пушкина было посвящено «Дочери Карагеоргия» и давало резкий очерк

этого «воина свободы», павшего жертвой национальной борьбы балканских славян с турецкими владыками.

Пушкин с интересом следит за народными преданиями и песнями. В новом, или верхнем, городе находился «зеленый трактир», куда он охотно заходил поужинать с друзьями. Здесь прислуживала девушка Мариула. Певучее имя запомнилось ему и прозвучало в его бессарабской поэме:

И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил...

Юная молдаванка, видимо, развлекала посетителей песнями, и мелодия одной из них привлекла внимание Пушкина. Приятели-сотрапезники изложили ему сюжет жестокого романса, пленившего поэта быстрой сменой трагических событий. Девушка пела о любви юноши к чернокудрой гречанке, изменившей ему.

«И тогда я вытащил палаш из ножен, повалил изменницу и в исступлении топтал ее ногами. Я и теперь помню ее горячие заклинания и вижу открытые губы, молившие о поцелуе... Я бросил их трупы в дунайские волны и отер мой палаш черной шалью...»

Через несколько дней весь Кишинев повторял стихотворение Пушкина, навеянное молдавской песнью Мариулы. 8 ноября только что вернувшийся из объезда пограничной оборонительной линии по Дунаю и Пруту генерал Орлов принимал у себя офицеров. Вошел Пушкин. Начальник дивизии обнял его и начал декламировать:

Когда легковерен и молод я был...

Пушкин засмеялся и покраснел:

«Как, вы уже знаете?»

«Баллада твоя превосходна, — продолжал арзамасский «Рейн», — в каждых двух стихах полнота неподражаемая».

Вскоре молдавскую балладу распевала вся Россия. Переложенная на музыку тремя композиторами-современниками — Верстовским, Виельгорским и Ге-

ништой, она растворилась в сокровищнице народных мотивов. Уже в 1823 году романс Верстовского инсценировался в Москве, а в 1831 году эта кишиневская песнь легла в основу столичного пантомимного балета с национальными плясками — турецкой, сербской, молдавской, валашской и цыганской.

2

В ноябре Пушкин выехал в Киевскую губернию, в имение Каменку Чигиринского повета, принадлежавшее единоутробным братьям генерала Раевского Давыдовым. На семейный праздник (именины их матери) сюда собрались Михаил Орлов, Владимир Раевский, Охотников, генерал Раевский с сыном Александром и петербургский друг Чаадаева Якушкин.

В Каменке было два мира, разделенные, по выражению Пушкина, темами «аристократических обедов и демагогических споров». Первый был представлен гомерическим обжорой Александром Давыдовым, тучным и пожилым генералом в отставке, получившим впоследствии от Пушкина прозвище «второго Фальстафа» или «толстого Аристиппа». Это был помещик-самодур, не внушавший поэту ни тени уважения: эпиграмма на его жену, ветреную француженку Аглаю Давыдову, направлена своим острием против ее ничтожного супруга. Дочери Давыдовых, двенадцатилетней девочке, Пушкин посвятил воздушные и радостные стихи, впоследствии положенные на музыку Глинкою («Играй, Адель...»).

Полную противоположность этому миру представлял круг младшего брата — молодого Василия Давыдова. Он только что вышел в отставку, чтоб всецело отдаться тайной политической деятельности. Приверженец Пестеля, увлекательный оратор, он в качестве члена Южного общества председательствовал в одной из важнейших ячеек организации, имевшей свой штаб в его имении Каменке. Это была одна из трех управ так называемой «Тульчинской думы», то есть одного из центров революционного движения в Южной армии.

Под видом семейного праздника в Каменке в конце ноября 1820 года происходило совещание членов тайного общества. Василий Давыдов со своими политическими единомышленниками не скрывал своего оппозиционного настроения. Перед пылающим камином в присутствии всех гостей провозглашались тосты за здравие неаполитанских карбонариев и за процветание республиканских свобод. Великосветские трапезы завершались обычно оживленными политическими дискуссиями.

Эти «демагогические споры» велись по-парламентски — с президентом, колокольчиком, записью ораторов. Революционные события в южноамериканских колониях, в Испании и Южной Италии, покушения на вождей реакции в Германии и Франции — все это сообщало дебатам богатый материал текущей политической хроники.

Однажды в полушутливой форме обсуждался вопрос о целесообразности тайных обществ в России (серьезно обсуждать такую тему в кругу непосвященных было, конечно, невозможно). Дискуссия вскоре была превращена в шутку. Это чрезвычайно огорчило Пушкина. Один из участников мистификации, Якушкин, навсегда запомнил его глубокое огорчение и ту прекрасную искренность, с какой он бросил собранию взволнованные слова о высокой цели, на мгновение блеснувшей перед ним и столь обидно померкшей. Поэту казалось, что он никогда не был несчастнее, чем в эту минуту крушения приоткрывшейся перед ним возможности большой политической борьбы за освобождение своего народа.

Но открывался другой путь к служению общему делу, на который и указывали ему друзья, его жизненное призвание — литература. Политические стихи Пушкина оставались величайшими документами движения и сильнейшими актами пропаганды. На юге же поэт приступает к непосредственным и постоянным записям своих впечатлений о выдающихся людях своего времени, отважно начавших переустройство порабощенной родины.

Пушкин чувствует, что он окружен деятелями ис-

торического масштаба, имена которых будут со временем знамениты, чья жизнь и личность принадлежат потомству. Не является ли его долгом писателя зафиксировать ускользающие черты этих «оригинальных людей, известных в нашей России, любопытных для постороннего наблюдателя», как он писал Гнедичу 4 декабря 1820 года.

В беглой эпистолярной зарисовке уже ощущается зерно современной хроники о декабристах, которая до конца будет привлекать внимание Пушкина. Именно этих людей, сумевших подняться над своей эпохой и произнести о ней свое смелое критическое суждение, он противопоставляет растленным фигурам правительственного стана с Аракчеевым и Александром I во главе. Эпиграммы и памфлеты на официальный Петербург как бы восполняют теперь интимный дневник поэта об освободительных событиях его эпохи. Журнал о греческом восстании вскоре перейдет в записки о современных политических деятелях России и вырастет в живой меморандум встреч и бесед их автора с Орловым, Пестелем, Раевским и Сергеем Волконским. Южный дневник Пушкина, или его «биография» (как называл он впоследствии эти записки), был новым звеном в той цепи задуманных им произведений, в которые входили петербургские посвящения «молодым якобинцам» и со временем войдут наброски повести о прапорщике Черниговского полка, десятая глава «Евгения Онегина», «Русский Пелам». Текущая летопись перерастет в художественные произведения, а творческие образы будут питаться заметками кишиневских тетрадей.

3

Весной 1821 года, когда поэт вернулся в Бессарабию, Инзов решил приступить к его духовному перевоспитанию. Он начал с того, что поселил Пушкина в своем доме, «открыв» ему свой стол, чтоб освободить молодого человека от материальных забот и получить возможность постоянно обращаться с ним по-семейному.

Он с большим вниманием обдумал предмет и тему постоянной работы своего нового служащего; по лицейскому воспитанию Пушкин был правоведом, по Коллегии иностранных дел — переводчиком; он владел в совершенстве французским языком, а как литератор должен был питать склонность к редакционной работе. Инзов и поручил ему переводить на русский язык французский текст молдавских законов.

Менее жизненным оказалось другое его решение: обратить атеиста Пушкина на путь христианского благочестия. Связанный по своему положению с представителями высшего кишиневского духовенства, наместник решил привлечь их к моральному воздействию на своего питомца.

В самом начале старого города (в части, получившей впоследствии название Инзова предместья) находилась построенная в 1805 году церковь благовещения — по-молдавски «бессерика бонавестина», — заменявшая набожному наместнику домашнюю часовню.

По канонам православной иконописи, одна из церковных фресок изображала известный евангельский миф: архангел Гавриил в белых одеждах слетает к смущенной и коленопреклоненной девушке с вестью от бога. Пушкин, простаивая долгие службы вместе со своим наставником перед этим изображением, рассмотрел его во всех деталях и мог основательно продумать содержание библейской легенды.

Этот миф о «безгрешном зачатии» девы Марии с давних пор был осмеян критической мыслью и служил предметом вольнодумной сатиры. В этом же направлении развернулся и поэтический замысел Пушкина.

В «страстную пятницу» ректор Ириней, приехавший к Инзову, решил настроить Пушкина своей беседой на высокий лад и даже сам отправился в его комнату. Он застал богоспасаемого грешника за чтением евангелия, врученного ему Инзовым; поэт изучал религиозные тексты для их переработки в духе знаменитых пародий на библию.

«Чем это вы занимаетесь?»

«Да вот читаю историю одной особы...»

В письмах своих Пушкин в 1823 году говорит об «умеренном демократе Иисусе Христе», — в этом духе он, вероятно, выразился и в беседе с Иринеем. Семинарский ректор, отличавшийся крайней горячностью, в припадке возмущения пригрозил написать о дерзком ответе «донесение» в Петербург для строжайшего наказания безбожника. Он гневно удалился, а Пушкин продолжал слагать стихи о влюбленном боге и охватившей его страсти:

И ты, господь, познал ее волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы...

Но в поэтические замыслы не перестает врываться политика. Весною 1821 года Пушкин извещает друзей, что «безрукий князь», то есть Александр Ипсиланти, «бунтует на брегах Дуная». «Греция восстала и провозгласила свою свободу... Восторг умов дошел до высочайшей степени: все мысли греков устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества...»

Среди скептических кишиневских политиков поэт высказывает твердую уверенность в окончательной победе Греции. Он убежден, что турки будут вынуждены возвратить «цветущую страну Эллады» «законным наследникам Гомера и Фемистокла». Тема греческого возрождения восхищает и вдохновляет Пушкина. Он верит в военное выступление России на стороне восставших. Он мечтает вступить добровольцем в действующую армию и бороться в рядах инсургентов. В стихотворении 1821 года «Война» освободительная борьба провозглашается источником творческих образов, могучим возбудителем «гордых песнопений».

Для собирания сведений о причинах и ходе греческого восстания в начале апреля прибыл в Кишинев молодой подполковник Мариупольского полка Пестель. Репутация умнейшего человека, призванного стать министром или посланником при великой державе, побудила, очевидно, штаб Второй армии дать ему это ответственное поручение. У Орлова или

Инзова Пушкин познакомился с этим увлекательным собеседником и несколько раз встречался с ним. Тесное сближение не могло возникнуть за столь краткий срок, но заметно сказался взаимный интерес.

Пушкин был, видимо, пленен блестящим интеллектом Пестеля и его обширной эрудицией в вопросах исторических и государственных. «Умный человек во всем смысле этого слова», «один из самых оригинальных умов, которых я знаю», — с явным восхищением записывает поэт 9 апреля в свой дневник.

Разговор их носил политико-философский и отчасти этический характер. Пестель, между прочим, заявил о материализме своих ощущений, но отрицал такое же направление своего разума. Фраза поразила Пушкина, и он записал ее в свой дневник.

Своеобразная точка зрения Пестеля на освободительное движение Греции как на проявление общеевропейской революционной силы, близкой и к итальянскому карбонаризму, навсегда запомнилась бессарабскому изгнаннику (он писал об этом в 1833 году). Так, одной из тем их кишиневских бесед была в 1821 году и нарастающая международная революция.

Скитания по югу дали новый творческий опыт Пушкину. За год, протекший с момента ссылки из Петербурга, он объездил Украину, Дон, Кубань, Кавказ, Крым, Новороссию, Бессарабию. Он любовался Эльбрусом и плавал по Черному морю. Первая его лирическая поэма была закончена. В нем бродили замыслы новых поэтических исповедей: он видел на Днепре побег двух скованных братьев-разбойников и слышал мелодичный плеск фонтана слез в Бахчисарае.

4

После петербургских кружков, где автор «Деревни» общался с видными теоретиками политической и экономической мысли, военная среда Кишинева была для него новой школой. Липранди прямо указывает, что Владимир Раевский чрезвычайно способствовал обращению Пушкина к занятиям историей и географией и что беседы поэта с Орловым, Вельт-

маном, Охотниковым «дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина по предметам серьезных наук».

Углублялось и политическое развитие молодого писателя. Майор Раевский был членом Союза благоденствия. Высоко ценя поэтический дар Пушкина, он стремился закалить и вооружить его для борьбы.

Человек «бойкого и меткого русского ума», увлекательный собеседник, Раевский был и настоящим литератором, упорно работавшим над своими произведениями и много размышлявшим над вопросами направления и формы современной поэзии. Выдающийся публицист, он оставил в рукописях смелые политические памфлеты «О солдате» и «О рабстве крестьян», развернувшие ужасающие картины истязания простого русского люда в «кроткое царствование» Александра I. Сохранившиеся стихи Раевского свидетельствуют о серьезном профессиональном интересе их автора к смене стилей в русской лирике его времени: от «эпикурейских» мотивов своей молодости он переходил к боевым темам революционной поэзии декабризма.

Увлекаясь культурными заданиями тайных обществ, Владимир Раевский отстаивал «гражданскую» этику, просвещение масс, возведение России на степень величия и всеобщего благоденствия. Он страстно отстаивал революционный патриотизм, столь противоположный официальной риторике. Не скрывая своей ненависти к немцам, Раевский вел борьбу за все самобытное, национальное, отечественное. Пушкин во многом следовал его указаниям и не без влияния этого «первого декабриста» приступил к разработке некоторых тем из древнерусского прошлого.

Сохранился и любопытный критический диалог Раевского «Вечер в Кишиневе», в котором он подвергает анализу стихотворение Пушкина «Наполеон на Эльбе», требуя от поэта предельной точности в истории, географии и языке.

Атмосфера исторических и литературных дискуссий заметно оживляла творческую работу Пушкина. В летние месяцы он уходил по утрам в пригородные заросли, захватив с собой карандаш и записную книж-

ку. Он любил на ходу слагать свои строфы. «По возвращении лист весь был исписан стихами, — рассказывает один из его кишиневских приятелей, — но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий в его поэмах...»

5

18 июля 1821 года в Кишиневе было получено известие о смерти Наполеона. Пушкин отметил эту дату в своей тетради. Тема, не раз привлекавшая его в прежние годы, вскоре по-новому захватила поэта.

Осенью 1821 года Пушкин написал одно из самых замечательных стихотворений южного периода, поражающее трагической силой образов и глубиной всемирно-исторических обобщений. По своей смелой структуре «Наполеон» представляет собой как бы предельно сжатую историческую поэму, в которой развернута вся бурная история новейшей Европы с крушением феодализма во Франции и порабощением народов завоевательной политикой Бонапарта. На вершине этой эпопеи — Россия, освободившая мир от ненавистной тирании.

Подлинный историзм Пушкина сказывается в том, что поэт не возвеличивает и не развенчивает Наполеона, не создает ни легенды, ни памфлета, но раскрывает во всей сложности политических противоречий эпохи образ ее знаменитого представителя. В своем глубоком презрении к людям («В его надеждах благородных ты человечество презрел...») Бонапарт не мог предвидеть «великодушного пожара», то есть величия духа русских в их самоотверженном патриотизме. Он не предугадал страшной клятвы: «Война по гроб!» Хорошо знавший Александра I и его министров, Наполеон совершенно не знал русского народа, неожиданно и неумолимо вставшего стеной на защиту своей земли. Завоевательная кампания встретила на своих путях народную войну. Превосходен оставшийся в рукописях вариант:

В Москве не царь — в Москве Россия!

Это целая философия русской истории в одном стихе. Ошибка оказалась роковой: столкновение хищного завоевателя с непоколебимой волей русской нации положило конец его безграничным притязаниям и возвело Россию на высоту героической освободительницы поверженной Европы:

Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал

Стихотворение о «грозном веке» проникнуто глубокой человечностью. Основная тема его — Россия и Свобода, неразрывно связанные как бы узами боевого товарищества. Это очищение и озарение всей развернувшейся исторической трагедии.

Величие мысли и глубина концепций поэта сообщили исключительную силу его образам и строфам. Очерк жестокой и кровавой эпохи поразителен по своей сжатости, энергии и суровой красоте. Насыщенное огромными событиями трех десятилетий стихотворение несется стремительно и неудержимо, увлекая своими быстрыми и гордыми ритмами, вызывающими представление о шуме развевающихся знамен или топоте боевой конницы. На всем протяжении оды звучит единый тон — мужественный и страстный, сообщающий исключительную воодушевленность раздумьям поэта о судьбах мира. Стихи о гибнущей свободе и умирающей Европе полны скорби и сострадания, строфы о России проникнуты горячей любовью к героической родине и непоколебимой верой в светлую будущность народа-освободителя.

Вдохновенная мысль и высшая выразительность в охвате бурных событий эпохи обнаруживают в молодом Пушкине подлинного мастера исторического синтеза и обобщающей формулы. Это труднейшее искусство он не раз проявит впоследствии в сжатых обзорах новейшей политики. Но уже в 1821 году Пушкин проявляет себя недосягаемым по глубине идей и пластичности образов художником-историком, для которого факты текущей политической хроники слагаются в глубокую драму современного человечества.

Стихи читались верным друзьям — арзамасцу «Рейну», Михаилу Орлову и его молодой жене Екатерине Николаевне — старшей дочери генерала Раевского, этой «необыкновенной женщине» гурзуфских встреч. С ними поэт обсуждает наиболее волнующие его вопросы и темы. Осенью 1821 года такой проблемой для него является «вечный мир» аббата Сен-Пьера. («Он убежден, — писала о Пушкине 23 ноября 1821 года Екатерина Орлова, — что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями...»)

Аббат Сен-Пьер принадлежит к той группе писателей XVIII века, которых во Франции называют «отцами революции». Публицист и филантроп, он присутствовал в 1712 году на Утрехтском конгрессе, где бесконечные конференции различных государств внушили ему мысль написать «Проект вечного мира», выдвинув идею верховного международного трибунала для разрешения всех конфликтов между отдельными нациями. Эта идея в 1821 году увлекла и Пушкина. «Невозможно, чтобы люди не поняли со временем нелепой жестокости войны, как они уже постигли сущность рабства, монархической власти и проч., — записывает Пушкин по поводу «Проекта вечного мира» аббата Сен-Пьера. — Весьма возможно, что не пройдет и ста лет, как перестанут существовать постоянные армии...»

Рост революционных воззрений Пушкина отражает его знаменитый «Кинжал» (1821). На широком историческом фоне поэт развертывает апологию борьбы с «позором и обидой». События французской революции Пушкин трактует здесь в умеренном тоне, неправильно расценивая личность и деятельность Марата, но в целом стихотворение с его заключительным восхвалением «юного праведника» Карла Занда звучало революционным призывом и вскоре стало любимым произведением политического авангарда русской молодежи.

Историческая любознательность Пушкина питалась и его разъездами по древним урочищам Бессарабии. Судьба занесла поэта в область, богатую историческими преданиями. Здесь между Прутом, Днестром и Дунаем обитали в древности скифы и даки, процветали генуэзские и греческие колонии, подолгу стояли римские легионы и сохранялись пять турецких крепостей, из которых Аккерманская была построена римлянами. Стены, башни и бойницы замков напоминали и о позднейших событиях и обращали к образам XVIII века. В декабре 1821 года Пушкин сопровождает Липранди в его служебной поездке по краю. Поэта интересуют Бендеры, как место пребывания Карла XII и Мазепы, Каушаны, как бывшая столица буджакских ханов, устье Дуная, как область, наиболее близкая к месту ссылки Овидия, и прославленный знаменитым штурмом Измаил. «Сия пустынная страна священна для души поэта, — напишет вскоре Пушкин Баратынскому, — она Державиным воспета и славой русскою полна». Кагульское поле, Троянов вал, Леово, Готешти и Фальчи — все это вызывает его интерес, обращает мысль к полководцам и поэтам — Суворову, Румянцеву, Державину, Кантемиру, особенно к Овидию.

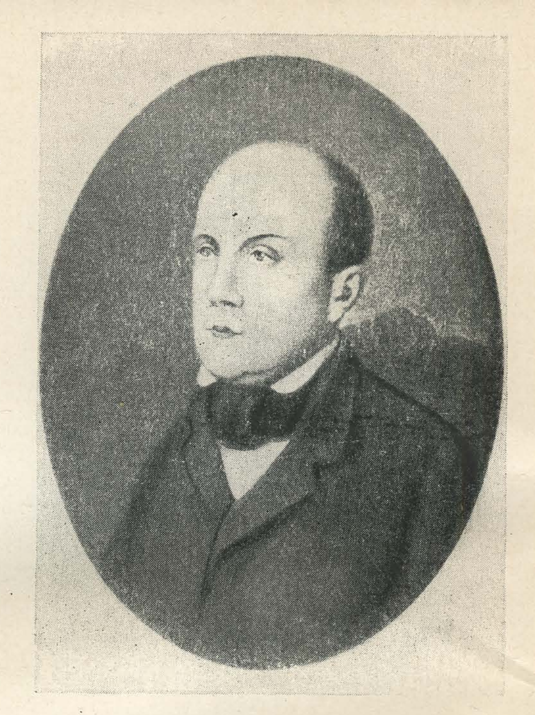
Предание считало местом ссылки римского поэта Аккерман. Историко-географические разыскания опровергали эту легенду, и сам Пушкин возражал против нее, но места, хотя бы и легендарно связанные с героическими именами, глубоко волновали его. Оставив Аккерман, Пушкин уже в пути стал записывать стихи на лоскутках бумаги и выражал сожаление, что не захватил с собой «Понтийских элегий».

Так начало слагаться послание к древнему поэту-изгнаннику, которое сам Пушкин ставил неизмеримо выше своих первых поэм В стихотворении с особенной глубиной звучит любимая тема Пушкина, близкая ему по личному опыту, — «заточенье поэта». Из горестных строк Овидия и непосредственных впечатлений от степей, соседствующих с местами его изгнания, вырастала эта безнадежно грустная дума о судьбе поэта, его скорбях, его призвании.



М. Н. Волконская.

П. Я. Чаадаев.





К. Ф. Рылеев.
С миниатюры неизвестного художника.

Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял

Не желая укорять римского поэта за его мольбы, обращенные к императору Августу, Пушкин все же с замечательной твердостью выражает в заключительных стихах своей элегии высшее задание и высший долг поэта

Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

6

5 февраля 1822 года к Инзову приехал из Тирасполя сам командир корпуса Сабанеев Пушкин слышал часть их беседы старый генерал настаивал на аресте майора Владимира Раевского для раскрытия военно-политического заговора В тот же вечер Пушкин постучался к своему другу и предупредил его об опасности На другое утро Раевский был действительно арестован, как член Союза благоденствия, по обвинению в революционной пропаганде среди солдат и юнкеров кишиневских ланкастерских школ Его перевели в Тирасполь, где находился штаб корпуса, и заключили в крепость

Из кишиневского окружения Пушкина был вырван один из его лучших друзей Владимир Раевский не переставал углублять в нем революционный патриотизм членов тайных обществ, указывая автору «Вольности» на подлинную народную историю в противовес официальным восхвалениям царей Термин Раевского «немой народ», безмолвие и скованность которого и составляют величайшие страдания подавленной родины, запомнился Пушкину и через три года прозвучал основной темой его исторической трагедии.

Раздумье о судьбе Раевского, быть может, оживило в памяти Пушкина проповедь его заключенного друга о творческой разработке родной старины Поэт вспоминает приведенный Карамзиным рассказ летописца о смерти Олега, оживляет свои впечатления от осмотра киевских реликвий и пишет превосходную истори-

ческую балладу. Пушкин воспользовался древней легендой для выражения одного из основных правил своей поэтики:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен...

Этот принцип независимости поэта, «правдивости» и «свободы» его языка звучал особенно гордо и мужественно в обстановке политической ссылки.

Мотив этот действительно соответствовал жизненной практике Пушкина, который не переставал открыто и повсеместно высказывать свои оппозиционные мысли. По словам одного из его кишиневских знакомых, «он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России». За «открытым столом» Инзова Пушкин вел обычно политические разговоры, сильно смущавшие опекавшего его наместника. Антиправительственные речи произносились перед довольно обширным официальным обществом. Не смущаясь обстановкой, чинами и званиями, политический сатирик со всей прямотой высказывал свое мнение на самые острые темы. Один из слушателей записал эти своеобразные «застольные разговоры». 30 апреля 1822 года Пушкин и артиллерийский полковник Эйсмонт «спорили за столом насчет рабства». Поэт заявил, что всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным: «Деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам».

Часто Пушкин обращается и к теме национальных революций на Западе — борьбе королей с народами в Неаполе, в Испании: «нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх!» 20 июля в отсутствие наместника он резко нападал на все сословия и только класс земледельцев признал почтенным.

В Кишиневе Пушкин высказывает свое глубокое убеждение в тождестве подлинного патриотизма с революционной борьбой. Знаменитая запись его бессарабских тетрадей с исключительной сжатостью и энер-

гией выражает эту мысль, сопоставляя жертвенную преданность революционера своему народу с творческой влюбленностью поэта в свою родную речь: «Только революционная голова, подобная М. и П. *, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке». В кратком изречении как бы объединены образом освобожденной родины передовые борцы, мыслители и поэты России: Пестель и Рылеев, Чаадаев и Пушкин.

Политическая тема снова увлекает автора «Вольности». Летом 1822 года Липранди, вернувшись из Тирасполя, где ему удалось повидаться с Раевским во время его прогулки по валу крепости, привез Пушкину привет от заключенного и его стихотворное послание «Друзьям в Кишиневе», в значительной части обращенное к Пушкину: «Холодный узник отдает тебе сей лавр, певец Кавказа: оставь другим певцам любовь. Любовь ли петь, где брызжет кровь?..»

Ссыльного поэта поразили стихи Раевского о возведении на плаху «слова и мысли». «Как это хорошо, как это сильно! — воскликнул он. — Мысль эта мне нигде не встречалась, она давно вертелась в моей голове, но это не в моем роде, это в роде тираспольской крепости, а хорошо...»

Восхищаясь таким суровым словом, поэт стремится, как и в свои ранние годы, приобщиться к этому мятежному жанру, «разбить изнеженную лиру, на тронах поразить порок...». В этом боевом тоне, в духе страстного революционного красноречия, начал он и свое ответное стихотворение заключенному другу-«спартанцу» Владимиру Раевскому:

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы...

В дальнейших неотделанных строфах этого стихотворения Пушкин с большой силой говорит о своем

---

* Имена, обозначенные этими инициалами, читаются различно. Редакторы академических изданий 1949 года приняли чтение «подобная Мирабо и Петру»; в изданиях 1937 года читалось «М. Орлову и Пестелю».

призвании революционного поэта — «грозящим голосом лиры» приводить в ужас тирана.

В наброске дана одна из замечательнейших автохарактеристик политической лирики молодого Пушкина и как бы очерчена резким штрихом история его ссылки на юг.

В своем послании Раевский обращается и к республиканским преданиям Пскова и Новгорода, призывая друзей-поэтов воспевать «...те священны времена, когда гремело наше вече и сокрушало издалече царей кичливых рамена...».

В древней русской истории наиболее выраженным образом защитника народных прав и борца с поработителями считался Вадим Новгородский. Образ его вошел в поэзию: в трагедии Княжнина, в ранней исторической повести Жуковского, несколько позже в стихотворении Рылеева. В 1822 году Пушкин набрасывает сцены республиканской драмы «Вадим». В ней уже явственно звучит современная политическая тема. Сквозь древний новгородский быт прорывается обличение александровской деспотии и звучаг ожидания молодого поколения:

Вадим, надежда есть, народ нетерпеливый,
Старинной вольности питомец горделивый,
Досадуя влачит позорный свой ярем .

Следуют резкие политические стихи, явно отзывающиеся «декабристской» современностью: «Вражду к правительству я зрел на каждой встрече...», «Младые граждане кипят и негодуют...»

Но при всей своей политической актуальности это были все же «устарелые формы нашего театра» (по позднейшему выражению Пушкина). Вскоре он откажется от намеченного классического жанра с его традиционным александрийским стихом и обратится к наиболее актуальной форме романтической поэмы с ее быстрым четырехстопным ямбом:

Другие грезы и мечты
Волнуют сердце славянина·
Пред ним славянская дружина;
Он узнает ее щиты. .

Но и этот рассказ не был закончен.

7

Приятели из инзовской канцелярии ввели Пушкина в среду молдавских бояр. Денежную аристократию Кишинева возглавлял местный откупщик Егор Варфоломей, богатства которого доставили ему видное политическое положение в крае. В молодости он был чем-то вроде гайдука у ясского господаря и стоял на запятках его коляски. Разбогатев, он стал членом верховного правления Бессарабии и пытался снискать себе общественную популярность пирушками и обедами.

Пушкин не без любопытства наблюдал полутурецкий, полузападный быт этого окраинного барства.

Варфоломеи жили широко, открытым домом, их передняя была полна слуг-арнаутов. «Вас сажают на диван, — описывал прием в кишиневском доме один из приятелей поэта, — арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, — подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец (сладости) и воду в стакане... или турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, без отстоя». К молодым гостям выходит дочь хозяина красавица Пульхерица. Девушка автоматически повторяет всем поклонникам две бессмысленные французские фразы. Законченная правильность ее черт привлекла внимание Пушкина и, может быть, вызвала с его стороны несколько мадригальных строк. Поэт, по воспоминаниям, называл ее «жемчужиной кишиневских кукониц». Молдавские и греческие дамы не пользовались большим расположением Пушкина· в легких куплетах он высмеивал их тупость, развращенность, сварливость, скупость, азарт. С одной из них у него

произошел конфликт, развернувшийся в громкую историю.

Жена одного из видных бояр, члена совета Теодора Бальша, позволила себе неловкий намек на якобы неправильное поведение Пушкина во время его поединка с полковником Старовым в феврале 1822 года. Офицер этот вызвал Пушкина на дуэль за пустячное бальное недоразумение. Пушкин вышел к барьеру и держал себя с большим хладнокровием и достоинством. Язвительное замечание бессарабской сплетницы вызвало объяснение поэта с ее мужем, закончившееся неожиданно резкой и оскорбительной вспышкой (по свидетельству Липранди, Пушкин в Кишиневе бывал иногда «вспыльчив до исступления»).

Беспредельно снисходительный Инзов был вынужден подвергнуть своего питомца домашнему аресту на две недели, чтобы дать хоть какое-нибудь удовлетворение возбужденному мнению местного общества. Арест был не очень строг: у дверей заключенного грозно высился часовой, но самого арестованного беспрепятственно выпускали в сад, ему разрешалось принимать любых гостей, кроме молдаван. Инзов посылал затворнику французские журналы и сам приходил беседовать с ним о революционном движении в Европе.

В окна полутемной комнаты поэта, находившейся в первом этаже дома Инзова, были из предосторожности вставлены решетки; это усугубляло ощущение тюремного заточения. Бессарабский орел с цепью на лапе, стороживший жилище наместника, вызывал грустную аналогию — мысль о двух вольных существах, лишенных свободного полета. «Сижу за решеткой в темнице сырой ..» — начинается стихотворение 1822 года «Узник» о «грустном товарище» — вскормленном в неволе орле молодом, который зовет пленника к освободительному полету:

Мы вольные птицы; пора, брат, пора[1].

В один из весенних дней 1823 года Пушкин, согласно народному обычаю, выпустил — вероятно, из обширного вольера Инзова — птичку и написал свое

знаменитое восьмистишие, исполненное такой глубокой тоски по свободе, такого беспредельного восхищения перед правом даровать вольный полет «хоть одному творенью»...

Среди «воспитательных» средств, которые Инзов пытался применить к Пушкину, особенно своеобразной была попытка «доброго мистика» обратиться за помощью к масонству. Когда в мае 1821 года бригадный генерал Пущин открыл в Кишиневе «символическую ложу *Овидий* на правилах, известных правительству», Пушкин вступил в нее. Этому могло способствовать широкое участие передового дворянства александровского времени в движении «свободных каменщиков», к чему были причастны и старшие Пушкины. Несмотря на сложность и архаичность ритуала, масонство не лишено было некоторых черт протеста против окружающей феодальной государственности, и многие из наиболее радикальных деятелей назревающего декабризма примыкали к нему. Эти антиправительственные тенденции могли особенно привлечь к себе Пушкина. По крайней мере впоследствии, в 1826 году, перечисляя опасные моменты своего прошлого, он писал Жуковскому: «Я был масон в кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи».

Из разношерстного кишиневского общества, из обычного круга чиновников и офицеров Пушкин охотно уходил к своим друзьям, отвергнутым средою местных откупщиков и «кишиневских дам».

Среди «буженаров» — греков-беженцев, заполнивших в 1821 году областной центр Бессарабии, — находились мать и дочь Полихрони, оставившие Константинополь из боязни резни. Дочь была не очень красива, но она носила имя нимфы, заворожившей некогда Улисса, — ее звали Калипсо. Подобно своей древней соименнице, она прельщала чувственным пением: под звон гитары исполняла на восточный лад эротические турецкие песни. Но особенный интерес молодой гречанке придавала сопровождавшая ее всюду лестная репутация возлюбленной самого Байрона. Для Пушкина это, во всяком случае, оказалось глав-

ной силой притяжения. «Гречанка, которая целовалась с Байроном» и могла по личным впечатлениям рассказать о жизни и страсти великого поэта, представляла для Пушкина живейший интерес.

Калипсо могла встречаться с творцом «Корсара» в 1810 году, когда он посетил Константинополь. Густые длинные волосы гречанки, ее огромные огненные глаза, сильно подведенные «сурьме», сообщали ей тот восточный колорит, который мог прельстить пресыщенного британского поэта. Пушкину она представлялась отчасти героиней байроновской поэмы. Среди прозаических кишиневских «кукониц» она неожиданно приобретала подлинную поэтичность и становилась в ряд вдохновительниц, достойных лирического гимна. В стихотворении «Гречанке» Пушкин тонким приемом сочетает любовное посвящение женщине с очерком «мучительного и милого» поэта. Мысль о нем словно угашает готовое возникнуть чувство ревности. Это не столько любовное признание, обращенное к Полихрони, сколько выражение бесконечного преклонения Пушкина перед «вдохновенным страдальцем», написавшим «Чайльд Гарольда».

Исторические темы продолжают волновать Пушкина. К 1822 году относятся его заметки по русской истории XVIII века с замечательными оценками Петра (который «не страшился народной свободы, ибо доверял своему могуществу») и Екатерины, «этого Тартюфа в юбке и короне». Со всей четкостью формулируется новейшее задание русской государственности «Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян». С обычным страстным вниманием поэта к политической борьбе русских писателей дается замечательная сводка «побед» прославленной императрицы над родной литературой: заточение Новикова, ссылка Радищева, преследования Княжнина.

Творческий рост Пушкина сказался и в превосходном послании Чаадаеву. Празднествам суетного Петербурга здесь противопоставлен уединенный труд поэта на далеком юге Глубокий внутренний поворот его раскрыт в освобождении от светских соблазнов и

возврате к заветным помыслам и свободным вдохновениям:

Богини мира, вновь явились музы мне

Все послание пронизано особой поэзией стоицизма, безразличием к несправедливостям судьбы и неутомимым углублением своего жизненного труда. Медлительными и вдумчивыми стихами выписан классический портрет мудрого друга, учившего его стойкости в несчастьях, равнодушию к клевете и верности своему призванию. Стихотворение заканчивается бодрым предвестием новых чтений, «пророческих споров» и «вольнолюбивых надежд». Отражая общий тон своих морально-политических бесед с Чаадаевым, Пушкин придает своей описательной элегии звучание философского письма (жанр, в котором со временем прославится его адресат).

В последний год пребывания Пушкина в Кишиневе город перестает быть центром южного заговора. 18 апреля 1823 года М. Ф Орлов смещен с поста командующего 16-й пехотной дивизией за допущенную им революционную пропаганду в войсках. Ложа «Овидий» закрыта. Владимир Раевский уже полгода томится в Тираспольском каземате. Другой адъютант Орлова, Охотников, был уволен со службы в ноябре 1822 года. Разгром кишиневской ячейки Союза благоденствия, предпринятый штабом Второй армии, был завершен.

К 1823 году относится поразительный по силе черновой отрывок Пушкина «Кто волны, вас остановил...», как бы символизирующий борьбу сил в обществе и армии накануне решительной схватки. Фрагмент завершается страстным призывом:

Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот —
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

Эти сложные разработки больших поэтических жанров и тонкие открытия в области стиховой инструментовки не отводили Пушкина от его обычных иска-

ний новых созвучий и образов у народных слагателей и певцов, в бродячих мотивах и в аккомпанементе уличных плясок.

Вспоминая впоследствии годы, проведенные «в глуши Молдавии печальной», Пушкин с замечательной проникновенностью говорил, как там его муза

позабыла речь богов
Для скудных странных языков,
Для песен степи ей любезной...

За бессарабские годы он действительно освоил новые наречия, неизвестные народные мотивы и сказания. Молдавский язык, близкий многими своими корнями латинскому и французскому, давался Пушкину без особого труда. Поэт находил благодарные для поэзии элементы и в необработанном еще наречии цыган. Герой его последней южной поэмы полюбил в кочующих таборах

И упоенье вечной лени
И бедный, звучный их язык...

В Бессарабии увлекали «и песни степи» и сказания разноплеменного края. В Измаиле Пушкин записывает со слов тамошней жительницы славянский напев, богатый словами иллирийского наречия, в Кишиневе он собирает тексты исторических песен о событиях греческого восстания — умерщвлении Тодора Владимирески и убийстве предводителя болгарского национального движения Бимбаши-Савы. Служащий инзовской канцелярии Лекс рассказывает ему о похождениях знаменитого бессарабского разбойника Кирджали. Пушкин записал стихами диалог «чиновника и поэта»:

«Куда ж?» — «В острог. Сегодня мы
Выпровождаем из тюрьмы
За молдаванскую границу
Кирджали...»

Этот образ послужит ему впоследствии для особого очерка-портрета. Пока же на основе молдавских преданий XVII—XVIII веков, сообщенных гетериста-

ми, он пишет повести в прозе «Дука» и «Дафна и Дабижа», не дошедшие до нас. В них разрабатывалась тема самовластия и народной борьбы: гибель тирана Дуки, захватившего престол молдавского господаря Дабижи и проклятого нáродом.

Такие предания и песни уводили Пушкина в политическую историю края из мира бояр и членов верховного совета, неизменно пробуждавших его сатирическое вдохновение: именно здесь возникли его стихотворные карикатуры на всевозможных «тадорашек» и «маврогениев», «седых обжор» и «кишиневских Жанлис».

Но был в «пустынной Молдавии» и другой мир. Острог, цыгане, простонародные таверны, певцы и поэты, площади и базары, где посетитель петербургских кружков сближался с народной массой, с отверженцами цивилизации, с «париями». Примечательно и внимание Пушкина к местным писателям, его живой интерес к молдавской литературе — его знакомство с поэтом Стамати и прозаиком Костаки Негруцци. Не прошло бесследно и его увлечение стихами Раевского и прокламациями Ипсиланти. «Проклятый город Кишинев» имел свои очаги передовой культуры, вольности, борьбы, народных скорбей и упований, которые и стали настоящим миром ссыльного поэта, широко раздвинув границы его творчества и отразившись гениальными чертами в его «Цыганах», посланиях и песнях.

К концу пребывания в Бессарабии завершается период бурных исканий нового героя и соответственно новых эпических форм. Весь кишиневский период уходит на пробы и опыты в различных разработках основного жанра молодого Пушкина. «У меня в голове бродят еще *поэмы»,* — писал он в 1821 году Дельвигу. На юге создаются первые лирические новеллы в стихах о Кавказе и Крыме. Пародийная «перелицовка» библии блестяще разработана в «Гавриилиаде». Историческая поэма разрабатывается в «Вадиме», где уже ставится тема вольности; она приближается к революционному эпосу в замысле песни о Степане Разине, от которой сохранился лишь всту-

пительный фрагмент — «Братья разбойники». Наконец в 1823 году возрождается план новой «романической поэмы», или волшебной эпопеи, «Владимир», где древняя сказочность сочетается с историей: языческие боги, изгнанные крещением, воодушевляют восточные орды, нападающие на Киев, князь Мстислав влюбляется в царевну-амазонку Армиду, действуют колдуны и волшебники, блещет меч Еруслана... Журнал «Сын отечества» уже сообщал в 1823 году, что Пушкин работает над древним сказанием.

Но в этот критический момент, когда поэт готов снова обратиться к сказочной фантастике и баснословной архаике, перед ним неожиданно раскрывается выход в жизнь и современность: намечается новый жанр правдивого повествования о представителях молодой России. Возникает роман личных признаний и психологических портретов, который будет отныне сопровождать поэта по всем путям его жизни до самого поворота к тридцатым годам, когда он не без грусти расстанется «с Онегиным своим». Но к этому времени любимое создание Пушкина уже вырастет в одну из великих книг русской литературы.

VI

ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ

1

С углового балкона дома Рено открывался широкий вид на залив и рейд. Над крышами белых домиков, сложенных из ровных плит ноздреватого камня ракушечника, южное море расстилалось своей бескрайной синей пеленой.

Пушкин остановился в «клубной» гостинице, где всего удобнее было пользоваться местными лечебными средствами. «Здоровье мое давно требовало морских ванн, — писал он брату, — я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу»

Получив в конце мая отпуск, Пушкин немедленно же оставил Кишинев. Из центра Бессарабии на юго-

запад вела унылая и пустынная дорога — Тираспольский почтовый тракт, пролегавший безводной степью.

Но сам черноморский город снова порадовал Пушкина своим живописным расположением и оживленным бытом. Одесса, по наблюдению одного из ее обитателей двадцатых годов, была похожа на разноцветную турецкую шаль, разостланную в пустыне. В отличие от Кишинева здесь имелся книжный магазин, французская газета и оперный театр. Глубокая Хаджибейская бухта была полна парусов и флагов. Сюда ежедневно приплывали бриги из анатолийских городов и с островов Архипелага, из гаваней Леванта и Адриатики, из Марселя, Генуи, Мессины, из портов Англии и Америки. Они доставляли к Платоновскому молу колониальные товары и последние политические известия. Никогда Пушкин не чувствовал такой тяги за море, как во время своих скитаний по одесским побережьям, нигде план избавления от тисков царизма не был так близок к осуществлению, как именно здесь.

Поездка Пушкина не была лишена и некоторого служебного значения. Плеяду иностранцев, управлявших Одессой с самого ее основания, должен был сменить теперь русский администратор, призванный насадить в новой области начала общегосударственного управления.

Задача представляла известную сложность. Вольный порт выработал свои формы общественного быта. Таможенная черта порто-франко отделяла Одессу от всей прочей империи и освобождала ее от характерных признаков аракчеевской деспотии. «Единственный уголок в России, где дышится свободно», — говорили приезжие, ценя город, «где такими потоками лились солнечные лучи и иностранное золото и так мало было полицейских и иных стеснений». А пришлый — наполовину беглый из средних губерний — народ находил здесь верный заработок и «беспаспортную вольную волюшку».

Здесь имелись и тайные кружки оппозиционно настроенной молодежи Члены «Общества независи-

мых» имели списки «Вольности» и других революционных стихотворений Пушкина. Они распространялись под строгой тайной и среди воспитанников местного Ришельевского лицея. «Читали вы Пушкина?» — спросил сам поэт одного из одесских лицеистов. «Нам запрещено читать его сочинения!» — был ответ.

Как и в Молдавии, Пушкина влекло в новом городе не к чиновникам губернаторской канцелярии и не к богатым негоциантам, а к представителям трудовой, культурной, «декабристской» Одессы. Пребывание поэта на юге оставило такой заметный след в его биографии именно потому, что ему удалось здесь найти очаги настоящей новой общественной культуры и смелых передовых людей, питавших его мысль и творческие запросы.

В такой пестрый город с преобладающим буржуазным населением и с большой свободой нравов прибыл 21 июля 1823 года представитель другого мира, с чином генерал-адъютанта, титулом графа, званием полномочного наместника и громкой фамилией служилой аристократии XVIII века — Воронцовых.

Ему предшествовала репутация видного военного деятеля и крупного администратора. Михаил Воронцов был сыном дипломата Семена Воронцова, русского посла в Лондоне, известного независимостью своих убеждений: он резко выступал против разделов Польши и открыто пренебрегал фаворитом Зубовым. Сын его, ставший в 1823 году «новороссийским проконсулом», стремился демонстрировать такие же черты либерализма, но в пределах такой же блестящей государственной карьеры.

Петербургские друзья Пушкина переговорили с Воронцовым о дальнейшей судьбе кишиневского изгнанника. Новый начальник юга согласился взять поэта к себе на службу, «чтоб спасти его нравственность, а таланту дать досуг и силу развиваться».

Последовал перевод Пушкина из Кишинева в Одессу. Редактор молдавских законов был определен в дипломатическую канцелярию новороссийского генерал-губернатора.

Сослуживцем Пушкина оказался молодой поэт Туманский. Украинец по рождению, он учился в Петербурге, где начал свою литературную деятельность и сблизился с Крыловым, Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым, Дельвигом. Он состоял членом «Вольного общества любителей российской словесности» и разделял взгляды арзамасцев на поэзию и воззрения декабристов на русскую государственность. Свое образование он заканчивал в Париже, где завязал дружбу с Кюхельбекером. Как поэт, Туманский преклонялся перед Пушкиным. Еще 10 мая 1823 года он писал по поводу известной сатиры Родзянки («Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля...»): «Неприлично и неблагородно нападать на людей, находящихся уже в опале царской и, кроме того, любезных отечеству своими дарованиями и несчастьями. Я говорю о неудачном намеке, который находится в сатире на Александра Пушкина». Неудивительно, что автор «Бахчисарайского фонтана» вскоре познакомил одесского поэта со своим новым творением.

2

Пушкин заканчивал свою крымскую поэму под аккомпанемент первоклассной музыки. С 1805 года итальянские певцы ставили в Одессе комическую оперу. Пушкин застал здесь труппу пизанского антрепренера Буонаволио и слышал здесь певиц Рикорди, Витали и Каталани в разнообразном репертуаре. Здесь ставили «Элизу и Клавдио» Меркаданте, «Тайный брак» Чимарозы, «Клотильду» Коччия, «Агнессу» Паэра, но более всего молодого Россини, успевшего покорить своим талантом всю Европу; из его опер шли постоянно «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Ченерентола», «Сорока-воровка», «Матильда де-Шабран», «Семирамида». Это был новый стиль в музыке, выражавшийся в живости, стремительности, искрящемся блеске, огненном веселье и нежности, — стиль, с таким блеском запечатленный Пушкиным в «Путешествии Онегина».

Это новое искусство, по словам поэта, обновило

его душу. «Я нигде не бываю, кроме в театре», — пишет он брату 25 августа 1823 года.

Театр привлекал и своим изящным зданием, воздвигнутым еще при Ришелье по планам Тома де Томона. Главный фасад с классическим портиком коринфского ордера, увенчанный фронтоном, был обращен к морю. Пройдя под колоннадой, зритель вступал в небольшое фойе, из которого попадал в довольно просторный зал с тремя ярусами лож, бенуаром, партером и креслами. Театр вмещал до 800 зрителей и освещался лампами.

Итальянская опера, по свидетельству Пушкина, напомнила ему «старину», то есть период его петербургских театральных впечатлений. Если в убогом кишиневском манеже Крупянского он вспоминал Семенову и Колосову — какой рой артистических воспоминаний возникал теперь в многоярусном театре классического стиля, с оркестром и превосходными исполнителями!

Увлечение оперой сблизило Пушкина с директором городского театра, «коммерции советником» Иваном Степановичем Ризничем. По происхождению далматинец, он вошел в общество молодой Одессы, где считался одним из ее культурных представителей. Обладатель замечательной библиотеки, он дал в 1826 году средства на издание стихотворений сербского поэта Милутиновича и его известной «Сербиянки».

Ризнич вел обширную торговлю в портах Средиземного, Черного и Азовского морей: он экспортировал пшеницу и получал взамен колониальные товары, турецкие ковры, венские фортепьяно. О его оборотах дают представление бюллетени Одесского порта, вроде: «Прибыло австрийское бригантино «Барон Россети», шкипер Филипп Лоренцо Эльчичь, с апельсинами, лимонами, миндалем и табаком; адресовано Джованни Ризничу: из Мессины 70, а из пролива 5 дней».

Вскоре Ризнич представил Пушкина своей молодой жене — болезненной красавице. Ее звали Амалия, родом она была из Флоренции, в России жила

лишь несколько месяцев и русским языком не владела. О ее внешности дают представление стихи Туманского:

В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо юга

Пушкин был вдохновлен ею на ряд бессмертных любовных строф. В его романической биографии это было сильнейшее переживание, обогатившее его «опытом ужасным». В начале знакомства повторилось отчасти впечатление, пережитое за три года перед тем в Гурзуфе от встречи с Еленой Раевской, — восхищение лихорадочной и хрупкой прелестью обреченного молодого существа. На этот раз работа смерти шла быстро, а восхищение Пушкина бурно разрослось в страсть, пережитую «с тяжелым напряжением». Вызванная этим чувством знаменитая лирическая жалоба «Простишь ли мне ревнивые мечты?» свидетельствует, что Пушкин впервые испытал любовь не как празднество и наслаждение, а как боль и муку. Правда, бурной напряженности чувства соответствовала и быстрота его сгорания: страсть Пушкина гасла так же быстро, как и жизнь его возлюбленной. Весною 1824 года Амалия Ризнич уехала в Италию, где вскоре скончалась.

Это единственное увлечение молодого Пушкина, окрашенное трагическим тоном; оно оставило на долгие годы воспоминание об одной «мучительной тени» и вызвало к жизни траурные посвящения, сквозь которые просвечивает страдальческий образ «Иностранки», увековеченный в гениальных русских элегиях.

3

Задачу «перевоспитания» Пушкина Воронцов понимал несколько иначе, чем Инзов, толкуя ее как свое высокое покровительство сосланному стихотворцу. Такая форма обращения была неприемлема для Пушкина с его страстной потребностью независимости. «Меценатство вышло из моды, — писал он из Одессы 7 июня 1824 года, — никто из нас не захочет

великодушного покровительства просвещенного вельможи... Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима».

Но эта тенденция начальника сказалась не сразу и вначале прикрывалась чисто деловыми соображениями. Служба в дипломатической канцелярии требовала разнообразных сведений — в дипломатике, палеографии, политической истории и пр. Пушкин получил возможность работать в богатейших научных собраниях своего начальника.

Собиравшаяся около столетия виднейшими государственными деятелями, библиотека Воронцова представляла собою ценнейшую коллекцию изданий, гравюр и рукописей по всем отраслям наук и искусств. Рабочее книгохранилище канцлеров и дипломатов, она была исключительно богата политическими сочинениями и, в частности, материалами и исследованиями о революционном движении на Западе и в России. Многие из сохранившихся здесь листков и воззваний эпохи французской революции XVIII века считаются до сих пор уникальными, а о русских «бунтах» и мятежах здесь имелись редчайшие свидетельства современников-иностранцев. Политическая литература от речей Демосфена до памфлетов Бенжамена Констана, всемирная история от Тацита до Карамзина, лучшие издания мировых поэтов, монографии по архитектуре и клавиры опер Россини, коллекция гравюр и богатейший рукописный отдел — все это находилось в распоряжении Пушкина, который, как известно, усидчиво работал в этом замечательном собрании культурных ценностей. В одесской жизни поэта библиотека Воронцова была крупным событием, несомненно расширившим его познания и оплодотворившим его творческие замыслы.

Особенный интерес для Пушкина при его влечении к темам и образам отечественной истории в ее бурных и переломных эпохах представлял обширный отдел иностранных сочинений о «смутном времени» в России, о крестьянских восстаниях и династических кризисах. Среди английских и французских публика-

ций о самозванцах и дворцовых переворотах мператорского периода внимание Пушкина могли особенно привлечь: «Отчет о восстании в Московии Стенко Разина» (Савойя, 1762), «История революций в России» Лакомба (Амстердам, 1760), «Царь Димитрий, московская история» Де-ла-Рошеля (Гаага, 1716), «Состояние Российского царства и великого княжества московского во время царствования четырех государей с 1590 по 1606 год» капитана Маржерета (Париж, 1669). Этого автора Пушкин вскоре выведет в ряду героев своей исторической трагедии. Сохранился здесь также редкий латинский трактат «Московская трагедия, или о смерти Димитрия» и редчайшее издание — запись современника и очевидца разинского восстания, англичанина, находившегося в 1671 году в России. На материале этой книги Пушкин создавал некоторые из своих песен о Степане Разине.

Все это ассоциируется с интересами, замыслами, высказываниями и планами Пушкина, а в некоторых случаях может быть поставлено и в непосредственную связь с ними. Во всяком случае, следует признать весьма существенным, что в 1824 году Пушкин работал в богатейшей библиотеке крупных государственных деятелей, где мог изучать старинные манускрипты и редкие издания по эпохе Бориса Годунова и Лжедимитрия.

Наряду с чтением идут, как всегда у Пушкина, живые беседы с одаренными и начитанными людьми, нередко не менее ценные для него, чем страницы великих книг. Рядом с Шекспиром и Гёте Пушкин упоминает в своем письме одного англичанина — глухого философа и умного атеиста. Это был врач Воронцова доктор Вильям Гутчинсон — тот самый, о котором говорит Вигель, побывавший летом 1823 года в Белой Церкви: «Предметом общего, особого внимания гордо сидел тут англичанин-доктор, длинный, худой, молчаливый и плешивый, которому Воронцов поручил наблюдение за здравием жены и малолетней дочери; перед ним только одним стояла бутылка красного вина».

Он был не только медиком, но еще ученым и писателем. «Он исписал, — свидетельствует Пушкин, — листов 1 000, чтобы доказать, что не может быть разумного Существа, управляющего миром, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души» У него-то Пушкин и берет зимою 1824 года «уроки чистого афеизма». Это был незаурядный европейский ученый· Гутчинсон состоял членом английского Линнеевского общества, учрежденного в честь великого шведского натуралиста, участвовал в виднейших медицинских объединениях Лондона и Парижа, написал большое судебно-медицинское исследование «О детоубийстве», посвященное известному публицисту и политику Макинтошу, получившему в 1793 году от Национального собрания французское гражданство за свою «Апологию французской революции».

Встретившись в Одессе с философом-материалистом, написавшим огромный трактат в опровержение идеи бога и бессмертия души, Пушкин с обычной для него потребностью расширять свои познания начинает «брать уроки» у этого «умного афея». Вольнодумство Пушкина, основанное на традициях французского просвещения с его компромиссными моментами деизма, могло получить теперь новое углубление от вольных лекций мыслителя-англичанина, вероятно развивавшего перед ним критическую доктрину своих великих соотечественников. Из этих живых философских диалогов Пушкин вынес впечатление *«чистого* афеизма», то есть абсолютного, безусловного безверия, освобожденного от всех смягчающих оговорок и нейтрализующих уступок.

За год пребывания Пушкина в Одессе произошел ряд крупнейших политических событий, резко видоизменивших картину революционной борьбы на Западе. Под давлением Александра I весною 1823 года французская армия заняла мятежный Мадрид, 7 ноября Риэго был казнен, а восстановленный в своих королевских правах Фердинанд VII открыл режим правительственного террора. Вмешательство Австрии в итальянские дела быстро привело к ликвидации революционного строя в Неаполе и Пьемонте. В Рос-

сии аракчеевский режим приводит к разгрому университетов и печати.

Глубокое разочарование охватило молодое поколение. Революция казалась всюду поверженной. «Новорожденная свобода, вдруг онемев, лишилась сил», — мог повторить Пушкин свои стихи 1821 года о подавлении народных вольностей военным абсолютизмом Бонапарта.

В таком настроении, «смотря на запад Европы и вокруг себя», считаясь с разгромом испанских инсургентов и укреплением диктатуры Аракчеева, поэт дает скептическую оценку современному этапу освободительного движения, неумолимо сжатого тисками Священного союза. Нисколько не изменяя своим революционным убеждениям и не сомневаясь в конечном торжестве демократии, Пушкин в своем стихотворении «Свободы сеятель пустынный» со всей трезвостью и зоркостью констатирует текущий безотрадный момент борьбы, ее временное затишье и связанный с этим упадок боевых сил и устремлений. В творчестве его выдвигается тема огромного масштаба и трагической остроты, которая впоследствии получит глубокое развитие, — это тема *«неравной борьбы»* (по позднейшей формуле самого поэта).

Но голос рассудка ни на мгновение не ослабляет в нем того чувства личной приверженности к молодой, восстающей, смело несущейся в будущее Европе, которое так выразительно сказалось в его юношеской политической лирике. «Что бы тебе ни говорили, — писал он в 1824 году одному из своих друзей, — ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа».

В том же настроении написан отрывок «Недвижных страж дремал на царственном пороге...». В стихотворении противопоставлены в лице Александра и Наполеона не только две основные силы, два главных имени международной политики того времени, но и два типа неограниченной власти. Владыке Севера с его безграничной мощью противостоит Владыка Запада:

Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной Вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

Формула Пушкина исторически безошибочна: «наследник» французской революции Бонапарт был и ее «убийцей», — полководец республиканских армий перешел от освободительных войн революционной эпохи к завоевательным кампаниям императорского периода: в момент его столкновения с Александром нападающая Франция уже утратила преимущество исторической справедливости, которое перешло на сторону обороняющейся России, освободившей от иноземной тирании не только свою территорию, но и народы Запада. Пушкин отметил это в политических стихотворениях 1830 года (мы «нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир»).

4

В одесском обществе Пушкин отличал жену наместника Елизавету Ксаверьевну Воронцову, которая, видимо, тоже живо интересовалась знаменитым поэтом-изгнанником. Жизнерадостная, одаренная, культурная женщина, она любила искусство — музыку, живопись, театр, поэзию. Пушкин восхищался, как однажды, глядя на море, она повторяла строфу из баллады Жуковского:

Будешь с берега уныло
Ты смотреть: в пустой дали
Не белеет ли ветрило,
Не плывут ли корабли?

Целый цикл знаменитых стихотворений Пушкина связывается преданием с образом Воронцовой. Это «Сожженное письмо», «Талисман», «Ангел», «Все в жертву памяти твоей», «В последний раз твой образ милый», «Ненастный день потух», «Желанье славы», «Прозерпина». К ней же относятся строки из стихотворения «К морю»:

Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

Дочь юго-западного магната Ксаверия Браницкого, Воронцова охотно принимала у себя многочисленных представителей одесского польского общества. Потоцкие, Ржевуские, Понятовские, Собаньские, Ганские считали Одессу своим городом.

В поэзии Пушкина начинает звучать новая тема, которая получит впоследствии углубленное и даже боевое значение. Это вопрос о взаимоотношениях России и Польши. Именно в Одессе было написано послание к Олизару, с которым Пушкин встречался еще в 1821 году в Киеве и Кишиневе. С тех пор польский патриот пережил драматический роман, безнадежно увлекшись Марией Раевской. Отец девушки усмотрел непреодолимую преграду к браку в различии исповеданий и национальностей.

Олизару и его несчастной любви посвящено стихотворение Пушкина:

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена.

Отмечая в нем историческую рознь двух славянских наций, упоминая мимоходом и Кремль и поражение «Костюшкиных знамен», поэт находит в искусстве примиряющее начало («Но глас поэзии чудесной сердца враждебные дружит...»).

На высказывания Пушкина в их дружеских беседах Олизар ответил прекрасным посвящением «поэту могучего Севера». Он восхищается «солнечным блеском» его таланта, глубиной поэмы «Братья разбойники» и напоминает ему, что «искра гения возрождает народы и видоизменяет столетья».

В польском обществе Одессы главенствовала красавица Каролина Собаньская (которой Пушкин в 1830 году посвятил стансы «Что в имени тебе моем?..»). Она была фактической женой начальника военных поселений в Новороссии генерала Витта, известного предателя декабристов. В своей темной деятельности этот агент политической полиции имел в лице Собаньской верную и ловкую сотрудницу.

Все это было, конечно, окутано глубочайшей тайной, и никто не догадывался о закулисной активно-

сти молодой польки. В доме Собаньских Пушкин познакомился и с младшей сестрой хозяйки — Эвелиной Ганской, которой суждено было впоследствии прославиться своим браком с Бальзаком. Судя по письмам Пушкина, поклонником Ганской был в то время его друг и «демон» Александр Раевский. Польское общество Одессы сообщило молодому писателю материал для позднейшей творческой зарисовки типов «смутного времени» (шляхтич Собаньский, Мнишки).

В январе 1824 года поэт узнал от гостившего в Одессе Липранди, что в Бендерах живет крестьянин Никола Искра, помнящий Карла XII. Пушкин решил с помощью этого 135-летнего старца разыскать следы могилы Мазепы.

Из «Описания Бессарабской области» 1816 года было известно, что «близ деревни Варницы, в трех верстах от Бендер, видно и по сие время на Днестровском берегу место лагеря или города, построенного Карлом XII. Признаки сии состоят из довольно глубоких ям, расположенных параллельно и в прямом направлении. Можно также видеть амбразуры и вал, коим город был окружен, остатки дворца и порохового магазина».

Историки края сближали Бендеры с островом святой Елены — памятником падения Наполеона: «Так стены Бендерские напоминают путешественнику романтический эпизод из жизни другого завоевателя, который так же казался непреодолимым и был наказан за свое чрезмерное честолюбие».

Исторические местности всегда привлекали творческое внимание Пушкина и будили его патриотические строфы.

Вскоре он был на Днестре в сопровождении Липранди, захватившего с собой несколько старинных книг о пребывании шведского короля в Бендерах — фолианты Нордберга с ландкартами и путешествие де-ла-Мотрея с гравюрами.

«Мы отправились, — рассказывает в своих воспоминаниях Липранди, — на место бывшей Варницы, взяв с собой второй том Нордберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов, фасады строений, находившихся в Варницком укреплении, и несколько изображений во весь рост Карла XII... Некоторые неровности в поле соответствовали местам, где находились бастионы».

Воспоминания об этой южной экспедиции к местным памятникам отложились в эпилоге первой северной поэмы Пушкина:

В стране, где мельниц ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил, —
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле...

Так отразились в заключительных стихах поэмы впечатления Пушкина о старинной турецкой крепости.

Но другие художественные заботы владели поэтом в 1824 году, другие образы занимали его воображение. По свидетельству Липранди, «он добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе, а тот не только что не мог указать ему желаемую могилу или место, но объявил, что такого и имени не слыхал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не басурман, как шведы, — все напрасно».

И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыт Мазепа с давних пор...

Так с грустью отмечал в эпилоге поэмы Пушкин безрезультатность своих археологических розысков 1824 года. Но ученая экспедиция не осталась все же бесплодной: как Крым был колыбелью «Онегина», так Бендеры стали колыбелью «Полтавы».

5

К этому времени мнение Воронцова о Пушкине уже сложилось окончательно и от первоначальных намерений «мецената» не осталось и следа. По словам декабриста С. Г. Волконского, властолюбивый Воронцов «корчил из себя в Новороссии ост-индского генерал-губернатора»: «Независимость Пушкина была для него нетерпима». Богатейший вельможа и высокопоставленный администратор быстро почувствовал в новом служащем своей канцелярии представителя враждебного лагеря. Пушкин представлялся ему вульгарным разночинцем, пишущим для черни, и опасным политическим агитатором, особенно в раскаленной атмосфере Новороссии. «Я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта», — пишет Воронцов 6 марта 1824 года начальнику штаба Второй армии П. Д. Киселеву. «Он только слабый подражатель малопочтенного образца (лорда Байрона)», — сообщает он через две недели свое мнение о Пушкине графу Нессельроде. В среде британской аристократии, с представителями которой Воронцов был связан родственными узами, поэзия и личность Байрона вызывали глубочайшее возмущение. «Слабый подражатель» этого порочного мятежника, выступавшего в парламенте в защиту восставших ткачей и осмеявшего в своих памфлетах коронованных учредителей Священного союза, не заслуживал покровительства государственных деятелей.

Воронцов был поклонником Макиавелли, широко представленного в его библиотеках многочисленными изданиями. В борьбе с противниками он допускал любые приемы. Приняв решение выслать Пушкина из Одессы, Воронцов в марте 1824 года обращается к Нессельроде с официальной просьбой переместить в какую-нибудь другую губернию этого чиновника, которому должны повредить «сумасбродные и опасные идеи», распространенные на юге. 2 мая он снова просит Нессельроде «избавить его от Пушкина» в связи с притоком в южные губернии греческих повстанцев, «подозрительных для русского правительства».

Такое отношение Воронцова не могло остаться тайной для Пушкина. Возникает настоящий политический бой. Поэт понимает, что с ним ведется скрытая борьба, и отвечает на нее своим единственным оружием — пером.

Еще в октябре 1823 года, во время «высочайшего» смотра войск в Тульчине, Александр I сообщил своей свите только что полученную им депешу об аресте Риэго. Среди всеобщего молчания прозвучал голос Воронцова: «Какое счастливое известие, государь!» Эта угодливая реплика чрезвычайно пошатнула общественную репутацию новороссийского губернатора, еще так недавно щеголявшего своим либерализмом. Пушкин вспомнил теперь этот случай и сделал его сюжетом коротенького политического памфлета («Сказали раз царю...»). Заключительные строки «Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства» сообщили исключительную силу сатирическому удару. Вероятно, по этому поводу Пушкин писал в 1824 году:

Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал
И, побожусь, не проще графа.

Пушкин обычно не утаивал своих политических эпиграмм, и неудивительно, что новый памфлет вскоре стал известен самому Воронцову (как, вероятно, и другие аналогичные опыты, вроде знаменитой эпиграммы «Полумилорд, полукупец...». С присущей новороссийскому «проконсулу» сложной маскировкой своих намерений и действий он нанес ответный удар: не ожидая распоряжения из Петербурга, он своею властью попытался удалить дерзкого сатирика из Одессы.

22 мая 1824 года Пушкин получил за подписью Воронцова отношение, в котором ему предлагалось отправиться в уезды «с целью удостовериться в количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, равно и о том, с каким успехом исполняются меры к истреблению оной».

Поэт воспринял это распоряжение как оскорбительный вызов. Ему были совершенно очевидны скрытые причины, которые могли руководить Воронцовым. Пушкин считал себя всегда только номинальным служащим, на что ему давал право непрерывный и упорный творческий труд. «Поэзия бывает исключительной страстью немногих родившихся поэтами, — писал он впоследствии.— Она объемлет и поглощает все усилия, все впечатления их жизни...»

Поэт сделал официальную попытку уклониться от поручения. Он обратился с письмом к правителю канцелярии Воронцова А. И. Казначееву, который попытался помочь ему. Произошло объяснение Пушкина с Воронцовым, после которого поэт увидел себя вынужденным подчиниться. На другой же день он выехал из Одессы в губернию.

Но внутренний протест оставался в полной силе, и фактически поручение не было выполнено. Пушкин с молниеносной быстротой объездил окрестности Херсона, Елисаветграда, потратив на собирание сведений в уездных присутствиях и личный осмотр мест, пораженных саранчой, всего четыре-пять дней. До Александрии он, видимо, не доехал. 28 мая он уже был в Одессе.

Не станем повторять распространенного анекдота о стихах «Саранча летела...», якобы представленных поэтом Воронцову. На самом деле Пушкин вручил ему несравненно более важный документ — свое прошение «на высочайшее имя» об отставке.

1 июня Пушкин, просматривая маленький листок одесской французской газеты, обычно заполненной коммерческими сведениями, был поражен неожиданным сообщением о кончине великого поэта. На первом месте в отделе политической хроники было помещено известие из Лондона от 14 мая:

«Англия теряет со смертью лорда Байрона одного из своих замечательных писателей. Он скончался 18 апреля в Миссолонги после десятидневной болезни, от последствий воспаления».

Следовал полный текст прокламации временного правительства Греции о национальном трауре и глубочайшей народной скорби перед гробом знаменитого человека, разделившего с греками опасность их борьбы за свободу.

Пушкин записал дату смерти Байрона на переплетной крышке своей рабочей тетради. Друзья ожидали от него отклика на это событие, взволновавшее весь европейский мир, и Вяземский не переставал призывать его к «надгробной песне Байрону».

Об этом же просила Пушкина жена Вяземского, приехавшая с детьми в Одессу на купальный сезон. Душевное одиночество поэта было под конец его пребывания на юге рассеяно и согрето дружбой с этой умной и сердечной женщиной, отличавшейся неистощимой веселостью и остроумием. Он откровенно рассказывал ей «о своих заботах и о своих страстях», бродил с ней по побережьям, читал неизданного «Онегина», сопровождал в театр.

С дачи Ланжерона, где жила Вяземская, в Итальянскую оперу отправлялись «по-венециански» — морем. На гребном ялике плыли от ланжероновского берега к сходням каботажной гавани. Отсюда уже виднелась на холме колоннада театра.

Вера Федоровна подружилась в Одессе с княгиней С. Г. Волконской и ее дочерью Алиной, восхищавшей Пушкина. К матери наезжал гостить ее брат, молодой генерал Сергей Григорьевич Волконский. С Пушкиным у него было много общих приятелей и знакомых — Раевские, Орловы, Давыдовы, Пестель. К Марии Раевской молодой генерал питал чувство глубокого благоговения.

Это был серьезный и увлекательный собеседник, объездивший всю Европу. Он был известен открытой смелостью своих высказываний. Когда в 1812 году Александр I задал ему вопрос о настроениях дворянства в связи с Отечественной войной, Волконский, не колеблясь, ответил: «Государь! Стыжусь, что принадлежу к нему — было много слов, а на деле ничего!» Но воодушевление армии и народа молодой офицер отметил с восхищением. Все это внушало Пушкину

искреннюю симпатию к передовому военному (который был в то время одним из виднейших деятелей Южного общества). Имеются глухие сведения о том, что Сергею Волконскому было поручено привлечь Пушкина к политическому заговору.

6

В это тревожное для него время поэт несколько рассеивается в необычной и новой для него среде — в порту, на кораблях в обществе моряков.

«Иногда он пропадал, — рассказывает Вяземская. — «Где вы были?» — «На кораблях. Целые трое суток пили и кутили».

Но дело было не в кутежах, а в близости к отважным мореходам, от которых веяло воздухом далеких плаваний.

В то время морское дело еще было полно опасности и авантюризма. Пристани больших городов изобиловали смелыми фигурами моряков. Одесские газеты двадцатых годов полны сведений о кораблекрушениях и нападениях пиратов на торговые суда. Достаточно известна дружба Пушкина с «корсаром в отставке» мавром Али, этим живописным обитателем приморского города, шествовавшим по его солнечным улицам в шитой золотом куртке и с «арсеналом оружия за поясом».

Как и в Крыму, южное море у ланжероновских скал продолжает восхищать поэта. «Как я любил твои отливы, глухие звуки, бездны глас», — обратит вскоре Пушкин свое знаменитое посвящение Черному морю у одесских берегов. Он любил его при любом освещении и в каждом состоянии: под солнцем и при звездах, в штиль и в бурю.

«Я провела вчера под проливным дождем около часу на берегу моря в обществе Пушкина, — пишет Вяземская своему мужу 11 июля 1824 года, — наблюдая за кораблем в схватке с штормом. Грот-мачта была сломана, экипаж высадился на две шлюпки, корабль так страшно бросало, что я не могла удержаться от крика...» Пушкин запомнил эти трагедии

Черного моря — могучего, бурного, «ничем неукротимого»:

Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей...

29 июля Пушкин был экстренно вызван к одесскому градоначальнику Гурьеву. Поэт был лично знаком с ним по службе и по гостиной Воронцовых. На этот раз его встретили с предельной сухостью и строгой официальностью. Пушкину была предъявлена «богохульная» выдержка из его письма, в котором он называл себя сторонником чистого атеизма. «Вследствие этого, — сообщал Нессельроде, — император, дабы дать почувствовать ему всю тяжесть его вины, приказал мне вычеркнуть его из списка чиновников министерства иностранных дел, мотивируя это исключение недостойным его поведением». Пушкина предлагалось немедленно выслать в имение его родителей и водворить там под надзор местных властей.

Завершался один из важнейших периодов биографии Пушкина — его скитания по югу России. Год в Одессе был исключительно богат переживаниями; он составил целый этап в личной жизни поэта. Здесь установился его ясный и трезвый взгляд на жизнь и людей, лишенный романтических иллюзий и юношеских очарований. Мечтатель перерастает в мыслителя. Веселая и острая сатира становится гневной и горькой. Глубоко знаменательно лирическое признание:

Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?

Это был год напряженных исканий и решительных выводов. «В Одессе Пушкин писал много, читал еще более», — свидетельствует его брат. Авторы, которых Пушкин называет в своих одесских письмах, подготовили разработку его новых творческих замыслов — первой трагедии, сцены из Фауста, «Пророка»; личные переживания одесского года дали

«Сожженное письмо», «Ненастный день потух», «Под небом голубым», «Для берегов отчизны дальной».

Расширялся и словарь поэта особым говором одесской улицы, порта, кофейни, оперного партера. Ряд образов и выражений в стихах михайловского периода напоминает вольную гавань, ее быт и наречия: «корабль испанский трехмачтовый» или «груз богатый шоколата» — все это отзывается терминами черноморской корабельной хроники и прейскурантов одесского порто-франко.

В дальнюю дорогу на лошадях из Одессы выезжали в июле ранним утром, до наступления жары, обыкновенно на заре. Проститься с городом нужно было накануне. Одесское общество было в отсутствии: кто в Крыму, кто на приморских хуторах. Город опустел. Не было друзей, которые проводили бы его в новую ссылку, как в 1826 году Дельвиг.

Но оставался любимый театр, доставивший столько наслаждений. 30 июля шла опера-буфф Россини «Турок в Италии». Прощальным приветом прозвучали Пушкину знаменитые каватины и прославленные дуэты, столь восхищавшие его своими «брызгами золотыми».

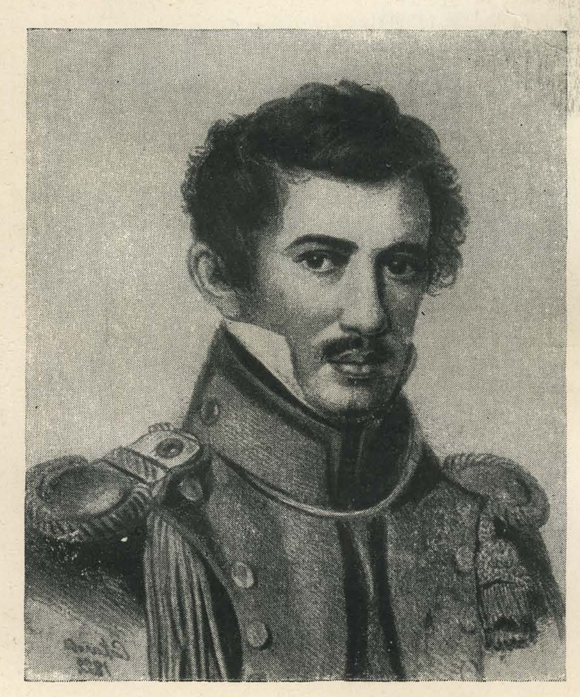
Еще с одним другом потянуло проститься: в последний раз поэт сбежал с крутого берега к морю. В каботажной гавани грузились три бригантины, отплывающие в Италию, — «Пеликан», «Иль-Пьяченте» и «Адриано», — и одна — «Сан-Николо» — принимала пшеницу Джованни Ризнича для доставки в Константинополь. Через два-три дня эти парусники будут в Босфоре... Справа от карантинного мола открытое море расстилалось широкой и спокойной пеленой, как всегда в конце июля, блистая «гордою красой». В последний раз прозвучал легкий плеск воды у самого побережья, словно голос живого собеседника, увлекавшего своим призывным шумом и манившего вдаль. С ним, с этим верным и могучим другом, было связано представление о гневном поэте, воспевшем океан и «оплаканном свободой». Только



Портрет Пушкина. *Художник В. А. Тропинин.*

С. И. Муравьев-Апостол.





М. С. Лунин.

что местная газета поместила сообщение из Лондона о похоронах Байрона, собравших несметную толпу на Джордж-стрите у открытого гроба поэта, героически павшего в освободительной войне

Пред расцветающей свободой
Он встретил гордо свой конец, —

даст вскоре Пушкин великолепный в своем лаконизме некролог Байрона Этот великий завет неукротимого протеста и борьбы за свободу ощущался теперь до боли долголетним изгнанником, менявшим только места своей ссылки и покидавшим своего друга — южное море — с грустью, приветом и надеждой

Прощай, *свободная* стихия!

Этой безграничной свободе мировой жизни противостоял неумолимый гнет личной судьбы В четверг 31 июля 1824 года коллежский секретарь Пушкин выехал из Одессы на север по маршруту, предписанному генералом Гурьевым, дав обязательство нигде не останавливаться в пути, а по приезде в Псков немедленно явиться к местному гражданскому губернатору барону фон Адеркасу.

VII

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

1

Старшие сестры Раевские увлекались новым поэтом — Байроном В России его едва знали Но Вяземский уже в 1819 году писал о нем из Варшавы петербургским друзьям «Что за скала, из которой бьет море поэзии!»

Поглощенный в работу над «Русланом», Пушкин зимой 1820 года лишь отдаленно узнал английского поэта Но в августе в кругу своих новых друзей он прочел «Корсара», «Лару», «Гяура», «Чайльд Гарольда» Перед ним раскрылись новые пути Он до конца будет с глубоким волнением вспоминать тот

поворотный момент мировой поэзии, когда раздался «звук новой чудной лиры, звук лиры Байрона...».

Знаменитые восточные поэмы представляли собою новеллы в стихах о скорбях и возмущениях современного человека, пытающегося сорвать с себя цепи гнетущей и мрачной эпохи. Их отличала лирика возвышенных дум, трагизм отважных судеб, драма мысли на фоне экзотического ландшафта, словно возвещающего торжество природы с ее правдой и красотой над страшным миром человеческих законов.

Перед явлениями этой растленной цивилизации юноша Чайльд Гарольд испытывал глубокое разочарование в жизни, пресыщение ее наслаждениями, охлаждение к людям, презрение к их помыслам и протест против их целей. Это был новый герой эпохи, одинокий и непримиримый, отвергающий все устои современного общества во имя высших идеалов просвещения и революции.

Могучая волна этого мятежного творчества захватила Пушкина. Он обратился к новым темам, к иной поэтике, к другим героям, к переоценке всей политической современности с боевых позиций революционного романтизма.

Пушкин и раньше всматривался в облики представителей молодого поколения, уже различая в них очертания своих будущих типов. И в Петербурге он уже видел в Чаадаеве, Грибоедове, Николае Раевском, Каверине, Пущине, Лунине, Тургеневе выдающихся русских людей эпического масштаба. На Кавказе Александр Раевский не переставал привлекать его своей скептической философией, все более выступая перед ним как характерный представитель современности.

Но устарелые формы героической эпопеи не отвечали животрепещущим запросам времени. Только теперь, в Крыму, Пушкину открылись новые жанры лирической поэмы и романа в стихах, как бы созданные для воплощения современных героев во всей безысходности их исторической драмы.

«Паломничество Чайльд Гарольда» отменяло классическую поэму в ее высших образцах — «Не-

истового Роланда», «Освобожденный Иерусалим», «Орлеанскую девственницу». Древним похождениям противостояла обыкновенная биография безвестного героя:

Жил юноша в Британии когда-то,
Который добродетель мало чтил...

Но зато «его друзьями были горы, отчизной гордый океан...». Он посещает страны порабощенных народов, призывая их к оружию и восстанию. Он любит свободу. К ней обращает он свою вольную песнь.

Так обозначался стиль и жанр новейшей поэмы. Независимые юноши начала XIX века жили не только в Британии. Их знали и в России. Именно к ним призван обратиться поэт молодого поколения.

В июле 1820 года еще писался в Кисловодске эпилог к «Руслану и Людмиле». Но в августе уже планируется в Гурзуфе «Кавказский пленник», прямой предшественник «Евгения Онегина».

Краткими чертами заносится в дорожную тетрадь конспективная программа: «Аул, Бешту, черкесы, пиры, песни, игры, табун, нападение...» Сюжет поэмы, намеченный в беглых обозначениях: «пленник — дева — любовь — побег», — обращал к рассказам о воинских подвигах «ермоловских» армейцев в закубанских равнинах.

Героические предания кавказской войны изобиловали увлекательными историями о пленных офицерах. Тема освобождения русского военного из заточения в аулах развертывалась заманчивым замыслом.

Пушкин пишет свою новую поэму осенью в Кишиневе и заканчивает ее в феврале 1821 года в Каменке (пока еще без эпилога — военной песни, отразившей кавказские беседы с генералом Раевским). Это эскизный портрет молодого современника, намечающий новый этап в истории идей и нравов.

Но вольная романтическая настроенность такого скептика приобретала здесь и краски политические (по известному термину Вяземского). Именно так восприняли этого провозвестника личной свободы некоторые члены тайных обществ, увидев в нем едино-

мышленника и соратника в своем походе на реакционное государство. Так создался обобщенный тип беспокойного искателя нового мировоззрения, воплощающего устремления и раздумья своих лучших сверстников.

Созданием такого проблемного и актуального характера Пушкин открывал широкий путь будущему русскому роману. Не только поэтический язык, но и весь стиль «Кавказского пленника» знаменовал в развитии русской поэзии огромный шаг вперед. «Руслана» сам Пушкин признавал «холодным», но «Кавказского пленника» он любил: «В нем есть стихи моего сердца!» От поэмы описательной и декоративной, непроницаемой, как блестящая и пестрая мозаика, Пушкин пришел к настоящей поэме-элегии, поэме-песне, поэме-исповеди — к музыкальному выражению душевной боли и трагической думы. Людмила только развлекала и забавляла читателя, но любовь Черкешенки, писал Пушкин, «трогает душу».

Это было целое художественное откровение. Так возникла и сложилась у нас первая романтическая поэма. Предания старины глубокой сменяет вдумчивый психологический этюд современного героя в новейшем жанре поэтической исповеди.

2

Глубокое сочувствие Пушкина к отверженцам современного общества становится темой его неоконченной кишиневской поэмы 1821 года «Братья разбойники».

Оказавшись свидетелем необычного эпизода тогдашней тюремной хроники — побега двух каторжников, ссыльный Пушкин обращается к теме, субъективно близкой ему, почти одновременно разработанной в «Узнике» и «Птичке». Бегство от тюремщиков, река и лес на смену решетке и оковам, вольные просторы и жизнь «без власти, без закона» — такая неутолимая жажда свободы звучит господствующим мотивом повести. Замечательным штрихом подчеркивается тягость заточения: арестантам невыносимы

не только окрики стражи и звон цепей, но и «легкий шум залетной птицы».

Сохранившиеся планы дальнейшего изложения обращают к преданиям поволжской вольницы: «под Астраханью разбивают корабль купеческий»; «атаман и с ним дева... Песнь на Волге». Это очевидные отголоски впечатлений Пушкина от песен и рассказов, слышанных им в донских станицах, где бытовали сказания о Степане Разине и персидской княжне, привлекавшие такое пристальное внимание Николая Раевского и его спутника.

«Братья разбойники» связаны с замыслом поэмы о знаменитом вожде восстаний XVII века. Сохранившийся отрывок изображает обыкновенных грабителей, но это только введение в большую поэму на другую тему — о казачьих набегах разинского типа и о любовной трагедии на струге предводителя волжской вольницы. Это явствует из плана, где выступают уже не лесные душегубы, убивающие одиноких путников, а боевые казаки — *есаул* и его *атаман*, как чины и представители казачьего войска.

Заглавие поэмы отвечало быту вольных станиц с их безудержной удалью и беззаконными нравами. Казачьи походы «за зипунами», «за дуваном», за добычей и казной, за золотом и пленницами ассоциировались в представлении оседлого населения с хищническими набегами, широко бытовавшими в этом средоточии беглых, осужденных и каторжников. Отсюда обычные клички «воровские казаки», «воры-разбойнички», на которые сподвижники Разина возражают устами народного певца:

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички..

Заглавие поэмы Пушкина было, видимо, свободно от уголовного или обывательского понимания термина *разбой* как позорного и страшного дела; оно сохраняло некоторый оттенок удальства, молодечества, смелого вызова, даже социального протеста (как и в ряде позднейших замыслов творца «Дубровского»).

Для разработки этой запретной темы Пушкин обращается к фольклору. Основываясь на исторических преданиях и народных песнях, он, очевидно, предполагает свободно изложить события старинной вольницы в новом жанре романтической поэмы. Предводитель восставшей голытьбы выступит в лице анонимного атамана, действующего в другую эпоху, но сохраняющего основные черты своего характера. Если личность окажется затушеванной, сохраняется интереснейшее явление русской жизни и огромный характер безыменного народного героя. Краткие конспективные обозначения Пушкина не оставляют сомнений в прототипе его героя.

Вступление к главной части поэмы («На Волге в темноте ночной Ветрило бледное белеет...») представляет собою обычный зачин целого цикла песен о Степане Разине, который и Пушкин разработает в своей народной балладе 1826 года («Как по Волге реке по широкой выплывала востроносая лодка...»). Трагическая история наложниц напоминает о легендарном любовном быте грозного старшины. Запись: «Атаман, с ним дева, хлад его etc; песнь на Волге», — имеет, очевидно, в виду известный рассказ об обращении Степана Разина к великой реке с благодарственной речью, завершенной потоплением персиянки. Пушкин впоследствии разработал этот эпизод в отдельной песне и охотно читал вслух рассказ иностранного путешественника об этом событии. В пометке «он пускается во все злодейства» отражены страшные предания о гневе и карах казачьего предводителя; наконец обозначение «есаул предает его» совпадает с историческим фактом выдачи Степана на Дону казачьим начальником агентам московского правительства.

Неудивительно, что такая поэма была сожжена в кишиневскую весну 1823 года. Судя по плану, продолжение показало бы исторические казачьи походы, раскрывающие во весь рост могучие натуры их знаменитых атаманов.

Сохранившаяся от задуманного эпоса вступительная поэма-монолог «Братья разбойники» отмечена

единым устремлением и выражена живым и смелым языком, близким к наречию изображенного в ней отверженного люда. «Как слог, я ничего лучше не написал», — заявил сам автор, выделяя только свое любимое послание «К Овидию».

Но и по теме поэма отмечала значительный этап поэтического роста автора, вводя новый материал в русскую литературу. За сорок лет до «Записок из мертвого дома» Пушкин дает первый очерк русского острога, развертывая замечательные бытовые подробности и одновременно раскрывая глубоко человечное начало в угрюмом характере закоренелого «преступника». В поэме слышится ненависть к бесправию, унижению и угнетению вместе с глубоким сочувствием к жертвам правительственного произвола.

Неудивительно, что «Братья разбойники» встретили чрезвычайно высокую оценку в декабристских кругах. Живейший интерес к этому произведению проявили Рылеев и Бестужев, которые горячо настаивали на его опубликовании в их альманахе. Вскоре эта исповедь узника и появилась в «Полярной звезде», за полгода до 14 декабря, с подзаголовком «отрывок», как бы указывавшим на более обширные границы плана и иную глубину его первоначальных перспектив.

Так и была понята новая поэма Пушкина членами тайных обществ, готовивших восстание. Декабрист Штейнгель в письме к Николаю I заявил, что «Братья разбойники» «дышат свободой», и поставил поэму Пушкина в один ряд с «Исповедью Наливайки» и «Войнаровским» Рылеева. Именно эти три произведения, по его свидетельству, имели решающее значение в политическом воспитании заговорщиков 1825 года.

3

В Петербурге в 1819 году Пушкин познакомился с юными сестрами Софьей и Ольгой Потоцкими. Они были дочерьми знаменитой гречанки — Софьи Константиновны Глявонэ, увезенной в семидесятых годах

XVIII века польским посланником при Порте из константинопольского трактира в Варшаву, где стала женой блестящего военного — Иосифа Витта, а вскоре за тем и непременной спутницей Потемкина во всех его разъездах и походах. Она находилась при нем и в момент завоевания Крыма в 1783 году. Вскоре князь Таврический предоставил ей земельные владения на завоеванном полуострове, которые сохранялись за членами ее семьи и впоследствии, когда после смерти Потемкина она стала женой коронного гетмана Станислава Потоцкого. Дети от этого брака, в том числе и две девочки, Софья и Ольга, росли в юго-западных городских владениях Потоцких, как Умань или Тульчин, и на крымских виллах, приобщенных к родовым владениям прославленной шляхетской фамилии. В старой столице Крыма — Бахчисарае сестры Потоцкие услышали легенду о трагической представительнице их рода — княжне Марии Потоцкой, плененной последним ханом Керим-Гиреем, безнадежно полюбившим свою пленницу и воздвигнувшим в ее память необычайный мавзолей из мрамора и водяных струй. Легенда эта прочно держалась среди жителей ханской резиденции. Пушкин, познакомившийся с сестрами Потоцкими, писал о них в своей поэме о Тавриде:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

Легенду о пленнице гарема, заколотой ревнивой соперницей, рассказывала Пушкину старшая из сестер Потоцких — Софья Станиславовна. Об этом сообщил сам автор «Бахчисарайского фонтана» в приложении к своей поэме: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes».

Загадочный инициал *К*. означает фамилию Софьи Станиславовны Потоцкой по мужу: в 1821 году она вышла замуж за генерала П. Д. Киселева. Запись

Пушкина так и следует читать: «*Киселева* поэтически описывала мне его...»

В черновике этого сообщения Пушкин отмечает и «поэтическое воображение» рассказчицы, которое, очевидно, придало особую прелесть ее устному сообщению. В своих письмах он прямо называет ее имя в связи с «Бахчисарайским фонтаном». Так, 4 ноября 1823 года он пишет Вяземскому (цитирую по черновику): «Припиши к Бахчисараю маленькое предисловье или послесловье, если не для меня, так для Софьи Киселевой». Вяземский был влюблен в Софью Станиславовну, и Пушкин предлагал ему написать статью о своей поэме в честь ее вдохновительницы. Из письма П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 6 февраля 1820 года следует, что Пушкин, несомненно, встречался с С. С. Потоцкой в Петербурге в 1819—1820 годах. Ей же он посвятил стихотворение конца 1819 года «Платоническая любовь», где говорит о своем страстном чувстве к этой равнодушной отступнице Амура и Гименея.

Все это имеет большое значение не только для истории созданий Пушкина, но и для его личной биографии. О вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана» он писал своему брату 25 августа 1823 года как о женщине, в которую он был «очень долго и очень глупо влюблен» (то есть без взаимности и без надежд). Таким образом, объектом петербургской любви Пушкина 1818—1820 годов следует признать Софью Станиславовну Потоцкую, впоследствии Киселеву. Это и есть его знаменитая «утаенная любовь», предметом которой признавали княгиню Голицыну, Наталью Кочубей или одну из сестер Раевских.

Легенда, услышанная Софьей Потоцкой в Крыму и рассказанная влюбленному в нее поэту, положена им в основу «Бахчисарайского фонтана». Это поэтическая новелла об одном из сильнейших увлечений Пушкина. Ее основные мотивы отвечают истории его «северной любви»: это безответная страсть хана к прекрасной Марии и неумолимое безразличие Потоцкой к его безумному чувству.

Обращение к «фонтану Бахчисарая» в черновиках «Евгения Онегина» подтверждает близость старинной любовной драмы к личной биографии автора:

Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Потоцкую воспоминал?..

В окончательном тексте: «Зарему я воображал...» Героиню поэмы Пушкин *воображает: вспоминает* же он реальное лицо — Потоцкую. Воспоминание поэта может относиться не к легендарной Марии, а к живой и реальной Софье, то есть рассказчице легенды о фонтане слез, которую Пушкин и вспоминает перед этим памятником безнадежной любви.

Первоначально Пушкин назвал свою поэму «Гаремом», но его соблазнил меланхолический эпиграф из Саади Ширазского: «Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». Слова о фонтане исключали заглавие «Гарем»; Пушкин решил сберечь прелестный афоризм персидского поэта на фронтоне своей восточной повести и назвал ее «Бахчисарайским фонтаном».

Бурные события старинной гаремной трагедии нашли свое глубокое отражение в этой непревзойденной лирической песне. Вопреки мнению самого автора Белинский правильно считал, что крымская поэма — значительный шаг вперед по сравнению с кавказской: «стих лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее», основная мысль глубже и величественнее. Огромная тема перерождения жестокого завоевателя высоким чувством любви поднимает поэтическую новеллу на исключительную проблемную высоту. Дикий восточный деспот, пресыщенный наслаждениями, беспощадный в своих нашествиях и опустошениях, неожиданно склоняется перед величием этой «беззащитной красоты»:

Гирей несчастную щадит...

Таким глубоким истолкованием идеи «Бахчисарайского фонтана» Белинский раскрыл в этой лирической

поэме предвестье позднейшего психологического романа. Высокая этическая идея здесь развертывается на фоне борьбы двух мировоззрений и уводит в глубокую историко-философскую перспективу духовного противоборства Востока и Запада. Мария, по Белинскому, это высокая культура романтизма, покорившая азиатское варварство. При таком прочтении становится понятным желание гениального критика написать целую книгу об этом «великом мировом создании».

Глубине замысла соответствовало необычайное богатство формы. Читатели увидели в поэме торжество русского языка (свидетельствует Анненков) и были поражены неслыханной звуковой гармонией ее описаний. Как царскосельские парки и памятники в ранних строфах Пушкина, как романтический замок Баженова в оде «Вольность», садовый дворец крымских ханов запечатлелся в «Бахчисарайском фонтане»:

Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.

Словесная живопись Пушкина открывала новые горизонты русской поэтической речи. Необычайно обогащались сравнения («Так аравийские цветы живут за стеклами теплицы»; «Как пальма смятая грозою, поникла юной головою...», «Так плачет мать во дни печали о сыне, падшем на войне...»). Высшую выразительность приобретали эпитеты («сладкозвучные фонтаны», «едкие года», «зеленеющая влага», «козни Генуи лукавой»). Стих получал широкую и ласкающую плавность новых лироэпических ритмов:

Покинув север, наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец...

Но и здесь, как в первых южных повестях о военном пленнике и скованных разбойниках, слышался мотив затворничества, темницы, заточения. По безысходной судьбе главной героини история о ней могла

бы элегически называться «Бахчисарайская пленница». Неприступные стены ханского сераля, столь похожие на тюремные ограды, запомнились ссыльному поэту и отбросили свою глубокую тень на узорную ткань его крымской поэмы *.

4

Кишиневские бояре, равнодушные к литературе и искусству, признавали только хоры певчих, набранные из крепостных цыган. Такой оркестр имелся и в доме Варфоломея. Пение сопровождалось аккомпанементом скрипок, кобз и тростянок — цевниц, как называл их Пушкин; «и действительно, — замечает его кишиневский приятель В. П. Горчаков, — устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии».

Некоторые молдавские мотивы захватывали поэта заунывностью и страстностью. Одна из цыганок Варфоломея, буйно бряцая монетами своих нагрудных ожерелий, пела под стон тростянок и кобз:

Арде ма, фриде ма,
На корбуне пуне ма.

«Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня», — перевели русскому слушателю эту песенную угрозу молодой женщины, одновременно звучащую гимном безнадежной и трагической любви.

Слова песни, как и бурный напев, увлекли поэта. Нашлись музыканты, положившие на ноты вольный народный мотив молдавских степей; сам он записал перевод этой песни.

Весною 1823 года Пушкин привез в Одессу из «проклятого Кишинева» эту кочевую мелодию нищих таборов, немолчно звучавшую в его сознании. Через год песнь варфоломеевской цыганки отлилась в его поэму-трагедию.

---

* О Пушкине и Софье Киселевой см. мою статью «У истоков Бахчисарайского фонтана» в сборнике «Пушкин, исследования и материалы», М.—Л., 1960.

План «Цыган» был записан с предельной сжатостью в январе 1824 года: «Алеко и Марианна. Признание, убийство, изгнание». Из этих пяти слов, возвещающих о больших драматических событиях, выросло одно из самых значительных творений Пушкина.

Оно питалось его личными впечатлениями. На окраинах старого города, за Малиной, у Рышкановки, у Прункуловой мельницы нередко задерживались таборы цыган. Степные кочевники по пути собирали с горожан скудную дань, развлекая их нехитрыми представлениями с ручным медведем, песнями, плясками, гаданиями. Пушкин почувствовал всю притягательную силу этого первобытного творчества.

Еще в 1819 году он описывал московские хоры цыган:

А там египетские девы
Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,
Стон неги, вопли, дикий вой;
Их исступленные движенья,
Огонь неистовых очей...

В Бессарабии он увидел в непосредственном, первобытном состоянии этот своеобразный кочевой народ. Здесь же он узнал его историю. В древности подданные Римской империи, цыгане рассеялись с ее падением по разным странам Западной Европы, подвергаясь всюду гонениям. Наконец они достигли Молдавии и Валахии, где впали в рабство.

По роду жизни и занятий они делились на три общины: *ватрасы* (от «ватра» — очаг) жили в услужении у бояр и промышляли музыкой и плясками; *урсары* (от «урс» — медведь) кочевали с цепным медведем и занимались представлениями, гаданиями, а также кузнечным и коновальным ремеслом; и, наконец, *лингуры* (от «линга» — ложка) выделывали деревянную посуду, поселившись в лесных землянках. Пушкин знал ватрасов и урсаров, увлекался их искусством и сблизился с их бытом.

Увлеченный одной из смуглых певиц, он последовал за ней в степь и несколько дней кочевал с цыганами.

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.

Эти строки Пушкина автобиографичны. «Несколько дней, — свидетельствовал его брат, — он прокочевал с цыганским табором». В гуще самой жизни поэт собрал материал для описания убогого быта бродячих урсаров. Так слагалась повесть об утонченном представителе большого города юноше Алеко, загубившем вольную девушку южных степей, цыганку Земфиру.

Это самая вольнолюбивая из поэм Пушкина, в которой с особенной силой звучит его протест против порабощающего уклада современного государства, построенного на неразрывной спайке «денег» и «цепей». Единственный выход из «неволи душных городов» раскрывается поэту в бегстве к самым униженным жертвам этого «просвещенного» строя. В сохранившемся наброске предисловия к «Цыганам» Пушкин говорит об «отверженной касте», которой всего дороже «дикая вольность, обеспеченная бедностью».

Непреодолимое влечение к независимости хотя бы ценою отказа от всякого благосостояния и привлекает к степным кочевникам горячую симпатию поэта. Он с особенной силой выражает ее в монологе Алеко (из рукописной редакции), в котором резко противопоставляет лживым условностям европейской цивилизации правду и мудрость первобытной свободы. Отрицатель столичной роскоши горячо приветствует своего новорожденного сына с «неоцененным даром свободы», полученным им вместе с жизнью. Он рад, что предрассудки света и гонения законов бессильны над этой «дикой люлькой»:

Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.

«Цыгана бедный внук» будет огражден безбрежными степями от лжи и преступлений современного города.

Стихами своей романтической поэмы Пушкин произносит самое гневное и резкое осуждение растленному миру, построенному на чудовищных противоречиях богатства и нужды, гнета и унижения. Смелые протесты юного Пушкина против рабовладельчества и тиранства получили в «Цыганах» новое, глубокое и неотразимое выражение.

Сложен образ центрального героя «Цыган». Сочувствуя его мятежу, Пушкин, как известно, выразил в нем и свою критику модного скорбника. Простыми словами отца убитой Земфиры поэт срывает маску с эффектного и аморального типа, наделенного в поэзии неистового романтизма ореолом мнимого величия. Голос простонародной мудрости во всей ее справедливости торжествует над всеми изломами современного «демонического» героя, неисцелимо пораженного гибельным разложением осужденного им общества.

Разоблачил ли Пушкин в лице Алеко байронического скорбника? Несомненно. Но это был тот первоначальный герой Байрона, тот гордый и хищный индивидуалист, которого сам автор «Гяура» уже развенчал в своих поздних реалистических поэмах — «Беппо» и «Дон-Жуане». Именно ими восхищался Пушкин в эпоху написания «Цыган». Это не было преодолением «британской музы», а только творческой переработкой ее новых сатирических тем — *шуточных произведений мрачного Байрона,* как скажет сам Пушкин в проекте предисловия к первой главе «Евгения Онегина». Но беспечная ирония этой главы звучит в «Цыганах» иной тональностью — трагической.

Глубокий и тонкий знаток Байрона, наш поэт проследил весь его путь от неистового романтизма к сатирическому реализму. Он восхищался «пламенным демоном, который создал Гяура и Чильд-Гарольда», но преклонялся и перед его поздними поэмами, которые «писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом». Сатаниста сменил гуманист. С этих позиций Пушкин и осудил Алеко.

Поэма о цыганах отмечала глубокий и смелый поворот в творчестве Пушкина. От лирической исповеди

разочарованного героя он пришел к разоблачению титанической личности, обреченной на гибель своим бесплодным внутренним бунтом. В этом смысле «Цыганы» ближе к маленьким трагедиям, чем к романтическим поэмам. В истории Алеко уже дан напряженный конфликт дерзостных притязаний и неумолимых жизненных судеб. Вот почему герой здесь так не похож на пассивного кавказского пленника и уже предвещает Сальери, Скупого рыцаря, Командора, Дон-Карлоса, Вальсингама — этих поздних героев Пушкина, объединенных чертами властности, ревности, бунта, вызова, мести и преступления. «Мне все покорно, я же ничему», — мог бы повторить Алеко вслед за златолюбцем-бароном, осуществляя свое право на безграничное владычество ценою неминуемой нравственной гибели (согласно основному закону трагического). Недаром сам Пушкин признавал, что работа над «Цыганами» прямо вела его к «Борису Годунову». Дело было не в том, что в поэме имелись зачатки диалогов и монологов, а в том, что столкновение героя с городом и табором уже приоткрывало непримиримую борьбу двух сил — «судьбы человеческой, судьбы народной».

Этот характерный кризис современного сознания, оторванного от народной правды, Пушкин и выразил в своей степной поэме, выросшей из песни крепостной цыганки. Поэт, как мы видели, высоко ценил в этих бессарабских париях их любовь к музыке, их искусство танца, «их песен радостные гулы». Плясовая «хора», слышанная им в исполнении капеллы Варфоломея, и стала композиционным зерном «Цыган».

«Это очень близкий перевод, — писал Пушкин Вяземскому по поводу своего первобытного романса «Старый муж, грозный муж». — Посылаю тебе дикий напев подлинника. Покажи его Виельгорскому — кажется, мотив чрезвычайно счастливый».

Песнь цыганки действительно была по достоинству оценена в столицах. Ноты к ней были вскоре напечатаны в «Московском телеграфе» в аранжировке композитора Верстовского, отметившего темпы,

акценты и музыкальные оттенки этого бурного молдавского пеана.

Вот почему поэма, посвященная внутренней драме современного интеллигента, в основе своей фольклорна и дышит голосом широкой и привольной цыганской песни. Смысл человеческих кочевий по пустынным перевалам жизни раскрывается «в дивном даре песен», в голосе поэтов, которых императоры подвергают гонениям, но которые и в изгнании продолжают будить бодрость в рабах и нищих кочевниках. Вставная новелла об Овидии, проникнутая таким глубоким переживанием самого автора, вносит в тему политического трагизма озаряющие начала мужества и творчества:

Гонимой славы красоту,
Талант и сердца правоту, —

как скажет вскоре Пушкин проникновенными стихами своего великого романа.

VIII

СЕВЕРНЫЙ УЕЗД

1

Рессорная коляска одесского каретника, расшатанная ухабистыми трактами Новороссии и Украины, скрипя и покачиваясь, въезжала 9 августа 1824 года под вековые усадебные липы сельца Зуёва, Михайловского тож. В дедовских рощах стоял полумрак и веяло сыростью. На опушке соснового бора приютилась маленькая запущенная усадьба «с калиткой ветхою, с обрушенным забором». Приземистый древний домик с покосившимся крыльцом — приют одряхлевших Ганнибалов — принял поэта под свою обветшалую кровлю. «И был печален мой приезд», — вспоминал впоследствии Пушкин этот тягостный переломный момент своей биографии, когда на него внезапно обрушились «слезы, муки, измена, клевета»:

. Я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.

Утраченной в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость.
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.

Михайловское действительно оказалось резким повышением наказания. Изгнание превращалось в заточение. Вместо пестрого Кишинева и оживленной Одессы — глухая деревня. Пушкин быстро почувствовал то, о чем с такой горечью писал его друг Вяземский, называя новую ссылку поэта «бесчеловечным убийством».

Уже через два-три дня по приезде Пушкин был официально вызван в Псков, где 13 августа дал гражданскому губернатору фон Адеркасу подписку жить безотлучно в отцовском поместье и не распространять «никаких неприличных сочинений и суждений, вредных общественной жизни». Совместно с губернским предводителем дворянства новый начальник Пушкина выработал и меры постоянного наблюдения за поступками и поведением ссыльного писателя, утвержденные военным генерал-губернатором края маркизом Паулуччи. Так, законно оформленный в качестве государственного преступника и подчиненный высшей местной власти, Пушкин вернулся в свою родовую вотчину.

Отношения с родителями после четырехлетней разлуки не могли наладиться. Встреченный сначала по-родственному всей семьей, Александр Сергеевич по мере выяснения его нового политического состояния вызвал ряд опасений своего отца. Легко раздражавшийся, Сергей Львович в свои пятьдесят с лишком лет искал полного покоя, устранялся от всяких дел, стремясь только обеспечить себе досуг для чтения, визитов и стихотворства. Внезапное исключение сына со службы и ссылка в деревню по «высочайшему» повелению представлялись ему семейным бедствием, угрожающим всей фамилии. От укоров, жалоб и подозрений Пушкин стремился бежать куда-нибудь подальше: обстановка родительского дома становилась тягостнее южнорусских канцелярий.

Оседлав коня, он выезжал аллеями усадебного

парка в густой михайловский бор и берегом широкого озера Маленца поднимался по крутому подъему; на возвышении три сосны словно сторожили рубеж родовых владений. Отсюда расстилался широкий вид, с любовью зарисованный Пушкиным за пять лет перед тем в его «Деревне».

Но после южного моря осенний пейзаж лесистой местности угнетал его: «все мрачную тоску на душу мне наводит...»

От пограничных сосен дорога ровной местностью шла на городище Воронич — древний укрепленный пригород Пскова, видевший некогда в своих стенах Иоанна Грозного, но давно уже разрушенный и представлявший теперь сельский погост с остатками земляного вала XV века. В окрестностях виднелись курганы братских могил, и ходили предания о том, что здесь некогда воевали богатыри. За круглой горой Воронича над притоком реки Великой — извилистой и ленивой Соротью — высились три холма, от которых получило свое название соседнее сельцо.

Пушкин вспомнил этот пейзаж в последней главе «Евгения Онегина»:

И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы —
Приют, сияньем муз одетый,
Младым Языковым воспетый...

Подруживший с владелицей Тригорского еще в свои первые посещения родного сельца, Пушкин и теперь охотно бывает у нее. Это была умная, образованная, начитанная женщина.

Но в доме ее далеко не все дышало идиллией. Властная, энергичная, даже суровая и резкая, она не сумела внушить своим детям любви и привязанности. Нелегко жилось и ее дворовым. Крепостнические нравы Тригорского ничем не могли порадовать творца «Деревни».

К тому же после южных увлечений поэта обитательницы Тригорского показались ему на первый взгляд провинциальными и немного смешными. Но



Пушкин и бес. Рис. Пушкина. Чернила. Ушаковский альбом.

понемногу он научился ценить тригорских девушек, как и картины псковской природы, и стал относиться и к тем и к другим не без некоторой нежности.

На первых порах его привлекал в Тригорское гораздо сильнее женского общества молодой Алексей Вульф. Это был студент Дерптского университета, представлявшего в то время крупный научный центр.

От Вульфа Пушкин узнал о своеобразном и колоритном быте веселых буршей, которых в 1827 году он так пластически изобразил в своем «Послании Дельвигу» («Короткий плащ, картуз, рапира», витая трубка, пиво, Лотхен...). Алексей Вульф унаследовал фамильные интересы к литературе, много читал и несколько позже обнаружил несомненное дарование в литературном жанре дневника, сохранившего для нас ряд ценных свидетельств и о его собеседнике-поэте.

Таков был очаг культуры среди лесов и древностей Опочецкого уезда. Пушкина здесь вскоре потянуло к творческому труду. Он развертывает одесскую тетрадь и в начале октября заканчивает третью главу «Онегина» и поэму «Цыганы». Размышления о труде и заработке литератора, столь отчетливо прозвучавшие в одесских письмах к Казначееву в мае 1824 года, отстаиваются теперь в «Разговоре книгопродавца с поэтом», где с поразительной силой развернуты размышления словесного труженика на тему о вдохновении и плате. В обществе вельмож, бюрократов и душевладельцев Пушкин заявляет о своем праве строить жизнь на творческом труде.

Пока автор «Цыган» наново переживал в своих творческих воспоминаниях впечатления юга, местные органы власти тщательно разрабатывали систему наблюдения за ним. Духовный надзор за безбожником поручается игумену Святогорского монастыря отцу Ионе. Губернские власти пытаются усилить общий надзор при помощи общественной полиции. Но попытка назначить «одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина» не удается. Адеркасу приходится обратиться к отцу «преступника». Сергей Львович выдерживает официальный допрос «об учиненном сыном его преступлении», оправдывается «неизвестностью», но чувствует себя совершенно подавленным и обреченным. Он выслушивает резолюцию самого генерал-губернатора маркиза Паулуччи: «Если статский советник Пушкин даст подписку, что будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением сына, то в сем случае по-

следний может оставаться под присмотром своего отца и *без избрания особого к такому надзору дворянина»*. Старик принимает это поручение, по его словам, в интересах сына, но вызывает этим сильнейшее раздражение последнего.

Отношения быстро доходят до крайней степени напряжения. Наконец в середине октября произошел взрыв. Возмущенный поэт в припадке гнева («голова моя кипела») высказал со всей резкостью свое негодование родителям. Потрясенный Сергей Львович решился обвинить сына в попытке прибить отца, после чего Пушкин написал бумагу псковскому губернатору, прося о своем переводе из отчего дома в одну из государственных крепостей. Это был высший момент конфликта. Друзьям и родным удалось несколько снизить напряжение семейной вражды, и недели через две отец и сын расстались в отношениях сдержанной неприязни.

Устойчивость поэта среди всех этих треволнений поразительна. Он не изменяет общему ходу своих раздумий и влечений. В октябре 1824 года он пишет одну из своих лучших трагических поэм — «Египетские ночи».

Осенью Пушкин получил от Сергея Волконского уведомление о его помолвке с Марией Николаевной Раевской: «Не буду вам говорить о моем щастии, будущая моя жена была вам известна».

Такие извещения напоминали «баловнику муз» о неудачах его личной судьбы, оставлявшей в душе только затаенное и горькое ощущение проигранной «бедной юности». В таком настроении вскоре были написаны щемящие строфы «Зимнего вечера» с их гениальной передачей удручающей музыки разыгравшейся вьюги и безотрадным обращением молодого поэта к дремлющей старушке.

Но в творческой жизни Пушкина назревало новое событие. С 29 ноября 1824 года он стал заносить в свои тетради подготовительные заметки и планы к задуманной драме: «Убиение св. Дмитрия», «Го-

дунов в монастыре», «Самозванец перед сражением», «Толки на площади».

Целый год он будет трудиться над исторической трагедией о русском народе, чье «мнение» оказалось могущественнее царской власти и боярских заговоров.

Между тем Пушкина ожидала в его «обители пустынных вьюг и хлада» неожиданная радость дружеского свидания и задушевной беседы.

2

11 января 1825 года Пушкин проснулся в восемь часов утра от звона колокольчика. Он бросился в одном белье на крыльцо. Выскочивший из саней лицейский Жанно Пущин схватил его в охапку и потащил в комнату. Арина Родионовна бросилась обнимать приезжего; слуга Пущина, Алексей, знавший наизусть многие стихи Пушкина, кинулся целовать поэта. Начался один из немногих праздничных дней в Михайловском, увековеченный пушкинскими стихами. Кофе, трубки, рассказы о пережитом за пять лет разлуки, о ревности Воронцова и подозрительности Александра I, о судейской службе Пушкина — «много шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной»...

Вскоре беседа приняла политическое направление. Особенно существенным оказался разговор о тайном обществе. На этот раз Пущин не скрывал, что он принадлежит к политической организации: «Не я один поступил в это новое служение отечеству».

«Верно все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать!» — воскликнул Пушкин.

Но член Северного общества не мог вдаваться в подробности даже в беседе с лучшим другом. Пушкин снова почувствовал больную сторону своей политической биографии.

«Я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть ты и прав, что мне не доверяешь. Верно я этого доверья не стою — по многим моим глупостям».

Пущин молча расцеловал друга.

Другим событием дня было чтение запрещенной комедии «Горе от ума», которую Пущин в рукописи привез ссыльному поэту. Пушкин еще в Одессе чрезвычайно заинтересовался слухом, что Грибоедов «написал комедию на Чаадаева». Сейчас же после обеда с тостами за Русь, за лицей, за друзей и за «нее» (то есть свободу) Пушкин стал читать вслух рукопись. Она вызвала ряд его критических замечаний наряду с хвалебными оценками. Пушкин отказывал в уме Чацкому и в цельности характера Софьи, но восхищался типами и яркой картиной нравов: «Фамусов и Скалозуб превосходны...» Бальные разговоры, сплетни, рассказ Репетилова, Загорецкий — «вот черты истинно комического гения». «О стихах я не говорю: половина должна войти в пословицу».

Как живо колкий Грибоедов
В сатире внуков описал,
Как описал Фонвизин дедов... —

отметит вскоре Пушкин в черновиках седьмой главы «Евгения Онегина».

Декламация поэта была прервана нежданным и незваным гостем. Кто-то подъехал к крыльцу. Бросив взгляд в окно, Пушкин убрал запретную рукопись и торопливо раскрыл четьи минеи. В комнату вошел низенький, старенький монах, с рыжеватыми прядями, выбившимися из-под клобука.

«Настоятель Святогорского монастыря игумен Иона», — отрекомендовался новоприбывший Пущину.

Последовал обряд благословения. Взявший на себя полицейские обязанности наблюдения за михайловским ссыльным, монах не счел нужным скрывать, что был извещен о приезде к своему поднадзорному его приятеля Пущина.

«Узнавши вашу фамилию, — продолжал отец Иона, — я ожидал найти здесь моего старинного знакомого, уроженца великолуцкого, его превосходительство генерала Павла Сергеевича Пущина, коего давно уже не видел».

Было ясно, что старик хитрил.

Подали чай с ромом. Святогорский отшельник ока-

зался любителем крепких напитков. Он заметно развеселился и стал сыпать прибаутками, которыми богат народный язык северо-западного края, вроде «наш Фома пьет до дна; выпьет да поворотит, да в донышко поколотит». Когда Пущин читал впоследствии «Бориса Годунова», игривый язык чернеца Варлаама мог напомнить ему говор монаха Ионы.

Отдав должное рому и убедившись, что Пущин состоит на государственной службе, настоятель откланялся. «Горе от ума» было извлечено из-под «святоотеческих житий», и чтение комедии продолжалось. Но вскоре манускрипт Грибоедова сменила черная кожаная тетрадь Пушкина с недавно лишь законченными «Цыганами» (друзьям в столицах уже были известны отрывки из поэмы). Пущин привез другу небольшое письмо от Рылеева, в то время издававшего «Полярную звезду»: «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с «Цыганами». Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца». Письмо заканчивалось призывом вдохновиться Псковом: «Там задушены последние вспышки русской свободы». Пущин тут же записал под диктовку автора начало его новой поэмы для «Полярной звезды».

Поздний ужин, несмотря на бокалы шампанского, прошел грустно: «Как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку». В три часа ночи Пущин сел в сани. Когда кони уносили его по сугробам в ночь и в лес, до него донеслось: «Прощай, друг!» Пушкин со свечой в руке стоял на крыльце.

Вскоре он написал посвящение Пущину, полное признательности и дружеской любви. Стихотворение исполнено горьким чувством уходящей молодости, грустной думой о распаде дружной семьи царскосельских школяров:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы?
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где молодость? где ты, где я?

Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде твоей...

Беседа с Пущиным, столь оживившая «вольнолюбивые надежды», вскоре отразилась на поэтической работе михайловского узника. Он обращается к темам великой французской буржуазной революции. В событиях конца XVIII века его привлекает трагический образ поэта. Один из его любимейших лириков, над текстами которого он не мало поработал, становится в центр элегии «Андрей Шенье». Революционная тема здесь дана в плане основного мотива раздумий Пушкина о призвании художника и отчасти о своей личной судьбе: поэт в изгнании, в заточении, в борьбе с окружающим миром. Пушкин не ставит себе задачей изобразить политические силы эпохи в их столкновении 1794 года (что привело бы к выводу о противодействии Шенье передовым течениям революционного процесса), а в согласии с общим своим воззрением на французскую революцию рассматривает образ автора «идиллий и буколик» с точки зрения его личного мужества в момент преждевременной гибели.

Элегия об Андре Шенье начинается с воспоминания о траурной «урне Байрона», воспетого «хором европейских лир». Пушкин принес на эту гробницу и свою поэтическую дань в известных строфах 1824 года «К морю». Образ поэта, «оплаканного свободой», сохранял все свое очарование.

Весною 1825 года Пушкин устраивает своеобразные литературные поминки. «Нынче день смерти Байрона, — писал он 7 апреля Вяземскому. — Я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее тебе». Поп Ларивон произносил на погосте Ворониче имя мирового поэта, а опочецкие крестьянки поминали в это весеннее утро творца «Дон-Жуана» и «Каина».

Понятно удивление святогорского пастыря. Насчет «божественного» он никак не сходился с «михайлов-

ским барином», которого нередко навещал. Пушкин, видимо, интересовался этим характерным народным типом попа — балагура, весельчака и приверженца «зелена вина». По словам близко знавших его лиц, это «был совсем простой человек, но ум имел сметливый и крестьянскую жизнь и всякие крестьянские пословицы и приговоры весьма примечательно знал». «Случалось подчас, что даже в храме, во время службы, он не мог удержаться от своих юмористических выходок, — сообщает собиратель псковской старины, — являя собой живую фигуру в жанре монахов Рабле. Недаром его прозвали «Шкода».

В апреле приехал на несколько дней Дельвиг. С Пущиным речь шла главным образом о политике, тайных обществах, о Воронцове, Грибоедове. Беседы же с Дельвигом касались преимущественно поэзии: как раз в это время Пушкин готовил к изданию свой первый сборник лирики. Лучшего советчика, чем Дельвиг, трудно было найти.

Друзья-поэты перечитывали и обсуждали старинные и новейшие поэтические тексты, спорили о Державине и читали его стихи. Много говорили о Рылееве (незадолго перед тем Пушкин получил «Войнаровского» и «Думы»). В только что появившейся «Полярной звезде» был напечатан отрывок из рылеевского «Наливайки», приводивший Дельвига в восхищение. Это стихотворение чрезвычайно понравилось и Пушкину. Он прочел другу свои новые произведения: первые главы «Онегина», несколько сцен «Бориса Годунова».

Старый михайловский биллиард из карельской березы несколько отвлекал от литературных бесед. Вечера проводили в Тригорском, где на сцену появлялись альбомы в сафьяновых переплетах с золотым обрезом. Дельвиг обогатил коллекцию автографов Осиповой своим стихотворением «Застольная песня» и вписал в заветную тетрадь Анны Вульф лирические стансы. Поэт и его стихи понравились тригорским затворницам.

Так протекали первые месяцы в михайловском заточении. Заброшенный в свою «забытую глушь», Пуш-

кин неутомимо трудился над «Евгением Онегиным», «Цыганами», «Борисом Годуновым». Творческой волей он преодолевает гнев и отчаяние. «Поэзия, — вспоминал он через десять лет, — спасла меня, и я воскрес душой...»

3

Няня рассказывала поэту сказку о семи Симеонах:

«Как на том ли Окияне-море глубоком стоит остров зелен; как на том ли на острову стоит дуб зеленый, от того дуба зеленого висит цепь золотая, по той цепи золотой ходит черный кот. Как и тот ли черный кот во вправую сторону идет — веселые песни заводит, как во левую сторону идет — старые сказки сказывает».

Пушкин был в восхищении от таких устных «поэм» и запоминал их для своего ямбического пересказа. Так сложился знаменитый свод русских сказок «У лукоморья дуб зеленый», напечатанный в 1828 году в виде пролога к «Руслану и Людмиле».

Современные фольклористы признали большое мастерство в изложении Арины Родионовны, полноту и стройность ее сюжетов, обилие изобразительных деталей, великолепный язык, творческую разработку традиционных мотивов, яркие реалистические подробности. На этом богатом материале поэт установил свой художественный метод сказочника.

Помимо легенд и песен, няня развлекала и своими рассказами «про стародавних бар» (как передавал поэт Языков). Пушкин в Михайловском стал собирать материалы о своем прадеде Ганнибале для воплощения его необычайного образа в историческом романе. Рассказы его крепостной рабы были исключительно драгоценны для биографа царского арапа. Отсюда возникает черновая запись 1825 года о брачных намерениях Ибрагима:

Черный ворон выбирал белую лебедушку.
Как жениться задумал царский арап.
Меж боярынь арап похаживает,
На боярышень арап поглядывает...

Народный говор и стиховые напевы крестьянской поэзии открывались Пушкину и на шумных святогорских ярмарках.

Михайловский затворник любил посещать эти торговые съезды и народные празднества, происходившие обычно в начале лета. Он входил под арку восточных ворот монастыря с древней славянской надписью, проходил на широкий двор, где в два ряда были вытянуты лавки. Тут же были раскинуты временные балаганы, а за ними на монастырском поле располагались возы. Вокруг вращались расписные карусели, взлетали качели, шли кулачные бои.

Монастырский двор пестрел местными крестьянскими товарами. Расписная деревянная и глиняная посуда, расшитые полотенца, игрушечные кони и птицы, ситец, холсты, шелк, деготь, серпы знаменитой закалки — все это было живописно разложено в просторной ограде. Деревенская молодежь одевалась на эти съезды по-праздничному, и многие девушки из соседних деревень, разукрашенные серебряными монетами, возвращались отсюда невестами. Их выбор, впрочем, подлежал господскому утверждению. «Неволя браков (в народе) — давнее зло, — писал впоследствии Пушкин. — Несчастья жизни семейственной есть отличительная черта в нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный».

Таковы были любовные нравы в порабощенной деревне, где принудительные браки, заключенные с единственной хозяйской целью — увеличивать количество «крепостных душ», вызывали постоянные драмы в семейном быту крестьян. Отсюда-то и возникла вся эта выстраданная поэзия «русских плачей», поразившая Пушкина:

Печалию согрета
Гармония и наших муз, и дев.
Но нравится их жалобный напев...

В противоположном конце ярмарки раздавались протяжные и печальные духовные стихи о Лазаре,

о «страшном суде», об архангеле Михаиле, об Алексее, человеке божьем. У западных ворот монастыря, выходивших на слободу Тоболенец, собирались странники, нищие, слепцы, калики перехожие. Богомольцы подходили к старцам и горбунам в лохмотьях, с посохами и на костылях. Крестьяне и крестьянки слушали, иногда со слезами на глазах, заунывные напевы, исполненные горестного и ясного народного жизнепонимания.

Пушкин любил подсесть к группе певцов, вслушиваться в их слова и мотивы, запоминать их образные сказания. Народные предания о бесстрашных повстанцах, пленившие Пушкина на полноводном Дону, снова зазвучали ему и на тихой Сороти. В округе Михайловского были записаны Пушкиным распевавшиеся в Новгородской и Псковской губерниях песни о сыне Степана Разина.

Эти предания казачьей вольности, сохранившиеся в местах древнего вечевого народоправства, всколыхнули давние замыслы Пушкина. Обращаясь к своим впечатлениям 1820 года от донских и кубанских станиц, уже отраженных отчасти в планах к «Братьям разбойникам», Пушкин снова берется за поэму о Степане Разине (как сообщал посещавший в 1826 году Михайловское Н. М. Языков). В письме 1824 года к брату Льву Сергеевичу поэт действительно просит доставить ему «историческое сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории».

Образ Степана Разина уже откристаллизовался, как мы видим, в монументальную эпическую фигуру. Пушкин почувствовал в личности народного предводителя то поразительное сочетание мужества, живописности и трагизма, из которых должна быть соткана бессмертная героическая песнь, облаченная идейным ореолом борьбы за высшую социальную справедливость. Являясь новым этапом в развитии богатырской былины, вольная казачья легенда о Разине едва ли не впервые выдвигала в русском песнетворчестве нового героя — титанического борца с боярской и царской Москвой за исстрадавшуюся избя-

ную Русь. Всегда ценивший в отечественной истории «тени великанов», Пушкин, очевидно, относил к этой могучей фаланге и того ошельмованного официальной Россией «злодея», которого признавал самым поэтическим лицом русской истории.

Герой для эпической поэмы, очевидно, был найден. Но от большого замысла остались лишь три баллады о Разине, в которых поэтизируются в духе народного песнетворчества его личность и участь, ширь натуры, щедрость, ум и страсть к удальству-молодечеству.

Святогорские ярмарки познакомили поэта с различными народными типами. Провинциальное купечество, мещанство монастырской слободы и безуездных соседних городков, бездомные нищие-странники, бесправное крепостное крестьянство — все это давало широкое представление о сословной пестроте края. После Крыма, Кавказа, Бессарабии и Киевщины, где картины природы и нравов восполнялись поэтическими легендами и песнями, святогорская ярмарка развернула перед Пушкиным картину народной жизни, сообщавшую резкие черты и живые краски площадным сценам его исторической трагедии.

4

Две старшие дочери Прасковьи Александровны — Анна и Евпраксия, ее падчерица — талантливая пианистка Александра Осипова и племянница Нетти Вульф с подругами составили общество опального поэта. Здесь ему играли клавиры опер Россини, здесь пели модные романсы, читали стихи и поэмы, варили жженку, шутили и спорили, влюблялись и ревновали. Этот маленький кружок «уездных барышень» создал Пушкину в тяжелые годы его северной ссылки ощущение радости, молодости, непосредственной поэзии жизни. Он с бодрым и веселым чувством запечатлел в «михайловских» стихах и общие развлечения и мимолетные горести его юных приятельниц:

И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем.
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком...

Анна Николаевна Вульф рассказывала Пушкину о своей кузине Анне Петровне Керн, с которой поэт познакомился в 1819 году у Олениных. На полях одного из писем тригорских обитательниц к этой родственнице Пушкин приписал стих: «Образ, мимолетно явившийся нам, который мы однажды видели и не увидим более никогда».

Но когда однажды в июне 1825 года Пушкин пришел в час обеда в Тригорское, Прасковья Александровна представила ему приехавшую к ней погостить племянницу. Это была Анна Керн. Поэт низко поклонился. Оба были смущены новой встречей и долго не могли прервать молчания.

Лишь понемногу Пушкин оживился. В следующие встречи он стал разговорчив и старался развлечь общество: рассказывал сказку о поездке черта в извозчичьих дрожках на Васильевский остров, читал своих «Цыган».

Поэма глубоко взволновала Керн. Она уже испытала тяжесть брака с нелюбимым «старым мужем», и ее не могло не встревожить оправдание права женщины на свободное чувство:

Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?

В свою очередь, и Керн старалась развлекать Пушкина. Она пела ему стихи Козлова «Ночь весенняя дышала» на голос «гондольерского речитатива». Поэт с восхищением слушал этот импровизированный романс о серебрящейся Бренте и октавах Торквато.

Через несколько дней, накануне своего отъезда, Керн посетила Михайловское, куда все тригорское общество вместе с поэтом отправилось лунной ночью в экипажах. Пушкин не повел гостей в свое «бедное жилище», а предпочел принимать их под вековыми липами ганнибаловского парка. Это было в субботу 18 июля 1825 года — дата замечательная в истории русской поэзии. Прасковья Александровна предложила поэту показать гостье свой сад. Пушкин быстро повел Анну Петровну по густым аллеям, вспоминая их первую встречу у Олениных.

Вскоре колеса экипажей зашуршали по лесной дороге. Пушкин остался один, взволнованный этим необычным посещением. В июльскую лунную ночь в тихом «опальном домике» невидимо слагался один из величайших любовных гимнов мировой поэзии:

Я помню чудное мгновенье...

В нескольких строфах развертывается драма одной бурной жизни и мятущейся судьбы. Мы узнаем, что беспечные годы в александровском Петербурге, проведенные в вихре театральных впечатлений и шумных забав, были на самом деле порою «грусти безнадежной». Годы южной ссылки и михайловского изгнания (по первоначальной записи: «в степях, во мраке заточенья») длили и углубляли эти ранние «томления». Но одухотворенный красотою образ молодой женщины проясняет эти сумерки сознания и ведет к творческому возрождению:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

На другое утро, в воскресенье 19 июля, Пушкин принес в Тригорское и вручил уезжавшей Керн первую напечатанную главу «Онегина» с вложенным в книгу листком бессмертного посвящения. «Это целая любовная поэма», — отозвался композитор Серов, услышав знаменитый романс Глинки, написанный на бессмертные слова пушкинской песни торжествующей любви.

С новой бодростью михайловский затворник приступил к продолжению своего главного труда — «Бориса Годунова». В сентябре драма приблизилась к своей завершающей части. Любимое время года — осень, проясняющая сознание и возбуждающая творческие силы, располагала к работе. Прозрачное небо над сияющими рощами, яркие пятна цветов в михайловском саду. Даже в убогой рабочей комнате поэта

свежие букеты поздних астр и георгинов. Заботливость Осиповой о Пушкине выразилась в ее стремлении как-нибудь украсить его изгнанническую жизнь, чем-нибудь оживить его «бедную лачужку». «Благодаря вам у меня всегда цветы на окне», — писал ей Пушкин 8 августа 1825 года. Это внимание друга вызывало ответное приветствие. 16 октября 1825 года Пушкин написал несколько строк посвящения П. А. Осиповой:

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.

Пушкин относился к Прасковье Александровне с чувством серьезной и почтительной привязанности. Он посвятил ей «Подражания Корану», «Простите, верные дубравы», «Быть может, уж недолго мне...».

В тригорском доме возникали из-за него семейные драмы. Весною 1826 года Прасковья Александровна даже увозит в дальнюю деревню свою старшую дочь, без памяти влюбившуюся в Пушкина. Но девушке суждено было любить безответно. Памятником этого глубокого и неразделенного чувства остаются взволнованные письма Анны Николаевны из тверских Малинников в село Михайловское с признаниями и укорами: «Вы тираните и раните сердце, цену которому не знаете...» Но великий художник оценил все же эту сердечную драму: современники считали Анну Вульф прототипом Татьяны.

Тригорские «романы» протекали беспокойно, но завершались благополучно. Пушкин отвечал на них обычно стихами, такими чудесными, как знаменитое «Признание» («Я вас люблю, хоть я бешусь...»), «Подъезжая под Ижоры» и ряд других, коротких и веселых.

В молодом тригорском обществе было много шуток, увлечений, дружеской влюбленности, «игры в любовь». Но подлинной женою Пушкина в михайловские годы и даже матерью его ребенка стала кре-

стьянская девушка — дочь крепостного приказчика Ольга Калашникова.

Мы мало знаем о ней, но знаем наверное, что она искренне нравилась Пушкину. «Не правда ли, она мила?» — с непосредственным восхищением пишет он Вяземскому, называя ее своей Эдой, по имени героини Баратынского:

Отца простого дочь простая,
Красой лица, души красой
Блистала Эда молодая.

Баратынский отмечает в ней и душевные качества: «Готовность к чувству в сердце чистом...» Об этом же свидетельствует и единственное дошедшее до нас письмо Ольги Калашниковой.

Пушкин впоследствии говорил, что законная жена — это шапка с ушами, в которую «вся голова уходит». Не такой была его михайловская подруга, работавшая над пяльцами в соседней девичьей, смиренно вышивавшая свои узоры, пока развертывались под его пером пестрые строфы «Онегина» и летописные заставки «Комедии о настоящей беде Московскому государству». Душевное спокойствие и творческая сосредоточенность были так полны, что летом 1825 года Пушкин мог написать своему другу Раевскому: «Я чувствую, что мои духовные силы достигли совершенной зрелости, я могу творить».

IX

„КОМЕДИЯ О БЕДЕ МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ"

1

Крупными событиями южных лет были для Пушкина его творческие встречи с Байроном в Крыму и с Шекспиром в Одессе. Это открывались новые горизонты.

Развитие поэта шло катастрофично и бурно. Еще в Кишиневе Пушкин начинает историческую трагедию «Вадим» в классицистическом стиле Вольтера и

Альфьери, с ораторским пафосом и гражданскими провозглашениями просветительских идеалов:

Ты видел Новгород, ты слышал глас народа.
Скажи, Рогдай, — жива ль славянская свобода?

В библиотеке Воронцова Пушкин прочитывает Шекспира. Вскоре поэт заявит историку Погодину: «У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну».

Сильнейшее впечатление производят на него в 1824 году трагедии, в которых разрабатывается мотив узурпаторской власти. Может ли верховный повелитель приносить пользу народу, если преступно само происхождение его господства? Клавдий, убивший своего брата Гамлета, только «король-паяц, укравший диадему». Ричард III, решивший пробивать путь к власти «кровавым топором», гибнет от ожесточения и бешеной ненависти к своему победоносному сопернику Генриху Тюдору. Такова же участь смелого Макбета. Не в подобном ли сплетении исторических судеб подлинный материал для национальной трагедии? Вопрос, по-видимому, решался утвердительно, но образ и драматический узел еще отсутствовали.

Помимо обширной темы, раскрывающей законы исторического процесса и личной совести, в шекспировской драматургии поражала та свобода композиции, присущая его «публичному», «городскому», народному театру, которая в корне видоизменяла изысканный «придворный спектакль», предназначенный для королевской семьи, аристократии и елизаветинских сановников. Установленным правилам дворцового представления с его пристрастием к драме ученой и классической труппа знаменитого шекспировского «Глобуса» противопоставляла драматургическую систему, утвержденную вкусами лондонской улицы: свободное от правил античной драмы бурное и увлекательное течение действия, независимый от академических требований сочный и вольный народный язык, смелую и мощную лепку характеров, изменчивую и пеструю вереницу героев, жадно вби-

рающую в свой поток горожан, царедворцев, воинов, шутов, ремесленников, актеров, беспрерывно переносящихся из чертогов в харчевни, из келий в парки, из тесных лондонских переулков на поля исторических сражений. В этой многолюдности и многоплановости действия таилась целая философия драмы, восходящая к народному зрелищу, к площадному представлению и одновременно отменяющая все приемы придворного спектакля с его жеманным этикетом и условными ситуациями.

Перед Пушкиным открывался новый путь: развернуть борьбу царя и народа в широком и вольном потоке всеобъемлющей исторической хроники.

В Михайловском это сложное задание неожиданно получает свое разрешение.

Еще в ноябре 1824 года Пушкину прислали из Петербурга два новых тома «Истории» Карамзина, вышедшие весною. В них излагалась эпоха царствований Федора Иоанновича и Бориса Годунова.

События «смутного времени» увлекли поразительными аналогиями с политической современностью. «Что за чудо эти два последние тома Карамзина! — писал вскоре поэт, — какая жизнь! C'est palpitant comme la gazette d'hier» («Это трепещет, как вчерашняя газета»).

Новые главы карамзинского труда разрешали и труднейшую творческую задачу, уже несколько лет томившую Пушкина: найти тему для трагедии на материале русского прошлого. История царя Бориса несла в себе все элементы для такого творческого опыта в новом свободном и монументальном стиле.

Историк-художник и первый русский шекспиролог Карамзин намеренно придал своей концепции Борисовой судьбы характер драматической хроники. Приняв политические памфлеты Шуйских (в которых они возводили на Годунова обвинения в убийстве царевича Дмитрия) как подлинный исторический документ, Карамзин изображает выборного царя московского одаренным властителем, деятельность которого опорочена «злодейством» и в силу этого несет

в себе зародыш гибели. В сплетении исторических событий раскрывается начало «морального возмездия»: «Имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, было и будет произносимо с омерзеньем во славу нравственного неуклонного правосудия».

Но, пленившись шекспировской философией истории, Карамзин выразил ее в форме живописных и драматических анналов Тацита. Замысел же морального и политического возмездия за историческую вину мог получить полную силу развития лишь в законах трагедийной композиции, в напряженном единоборстве диалога и мощных ритмах сценического стиха. Эта задача увлекла Пушкина в конце 1824 года, как самый верный путь к созданию национальной трагедии. К началу 1825 года были написаны вчерне первые пять сцен «Бориса Годунова».

В июле Пушкин написал Раевскому свое известное письмо по теории драмы, столь важное для понимания его хроники. Хотя он и говорит в нем о неизбежной условности театрального представления, но при этом заявляет: «Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот истинное правило трагедии». Он отрицает романтический театр Байрона и высоко расценивает Шекспира за безграничную свободу его языка, верность типов и жизненность отношений. Пушкин, несомненно, противопоставляет метод реалистической драмы принципам классической трагедии и новейшего сценического романтизма. Так он и строит «Бориса Годунова» во всей неотразимой исторической достоверности событий и психологической подлинности характеров.

В сентябре 1825 года Пушкин неожиданно получил записку из соседнего села Лямонова; у владельца поместья, опочецкого предводителя дворянства Пещурова остановился проездом его племянник Горчаков, бывший лицеист, теперь первый секретарь посольства в Лондоне. Пушкин поторопился в Лямоново, захватив с собой рукопись «Бориса Годунова».

Поэт расстался с Горчаковым в 1820 году, когда тот только начинал свою государственную карьеру. Теперь его встретил совершенно сложившийся дипломат, уже прошедший свой стаж на мировых конгрессах и в первых европейских посольствах.

Пушкин читал лицейскому товарищу отрывки из своей трагедии по тетради с густо исписанным заглавным листом. Своей исторической драме он хотел дать название в стиле средневековых «действ» или монашеских трактатов. Такие многочленные наименования прилежно выписывались киноварью и золотом с цветистыми росчерками на титульном пергаменте старинных рукописей. В пушкинской заглавной формуле на первом месте выступило чисто жанровое обозначение: «Драматическая повесть». Поэт как бы подчеркивает хроникальный характер своего произведения, наличие в нем исторического повествования, близость всего изложения к старинным анналам, точно расчисленным по датам знаменитых событий. В заглавную формулу вводится и политический момент в перечислении главных героев действия — царя и самозванца. На одной из страниц рукописи Пушкин записал старинный заголовок — «Летопись о многих мятежах». Речь идет не об одном событии, а о целой эпохе восстаний и гражданских битв. Это трагедия, охватывающая различные стадии династического кризиса, вбирающая в себя долголетнее течение смуты.

Горчаков слушал народную трагедию Пушкина без особенного увлечения. Исторические вопросы, волновавшие его друга, не вызывали сочувствия у первого секретаря лондонского посольства. Его естественное недовольство вольными тенденциями драмы выразилось в отрицательной критике отдельных приемов и даже выражений, особенно в площадных сценах.

В сентябре Пушкин совершил очередную поездку в Псков, куда он обязан был периодически являться к гражданскому губернатору фон Адеркасу, опочец-

кому уездному предводителю дворянства и самому «преосвященному», то есть архиепископу Псковскому, Лифляндскому и Курляндскому, надзиравшему с высоты своего сана за опальным приверженцем новейшего атеизма.

Выполнив эти официальные обязанности, поднадзорный коллежский секретарь отдавался своим творческим помыслам и вольным историческим созерцаниям. Уже не раз друзья-поэты и члены тайных обществ — Владимир Раевский, Рылеев, Сергей Волконский, Кюхельбекер — указывали ему на важную тему для его творческой разработки — республики древней Руси, великий Новгород или его «младший брат» героический Псков, где, по представлениям передовых русских людей начала XIX века, «были задушены последние вспышки русской свободы» и откуда были отбиты хищнические набеги немецких рыцарей, Литвы и Швеции.

Эта сильнейшая крепость на северо-западных рубежах московской земли с присоединением балтийских берегов утратила свое прежнее стратегическое значение. Могущественный форт превратился понемногу в заброшенный провинциальный город. Обезоруженный и утихомиренный, он только сохранял значение средоточия архитектурных ценностей — первого после Москвы по количеству и красоте своих памятников.

Пушкин пристально всматривался в тысячелетний посад над рекою Великой. После юной Одессы с ее синим морем на него веяло теперь древней Русью от циклопических оград с «проломом Батория» и необъятных башен времен Довмонта*. Гладкие монастырские стены с узкими окнами за витыми решетками, грузные столбы приземистых крылец, легкие сквозные звонницы с целым оркестром колоколов и колокольцев, осыпающиеся фрески и бесчисленные иконы псковского письма, воскрешающие эпизоды знамени-

---

* Псковский князь XIII века, прославившийся своей упорной и успешной борьбой с немцами Часть Пскова, примыкающая к кремлю, носила название «Довмонтов город».

тых битв или облики прославленных воителей и подвижников, — все это широко раскрывало поэту эпическую картину богатой и сложной старорусской культуры.

Здесь как нигде перед ним раскрывался самый дух эпохи, воссоздаваемой в его драме. Окаменелые предания навевали ему полнокровные образы, археологические реликвии диктовали трагические стихи. На паперти Гавриловской церкви гробница знаменитого псковского юродивого Николая будила в воображении трогательную фигуру убогого и нищего провидца, изрекающего неумолимую правду всесильным властителям (примечательно, что в «Борисе Годунове» юродивый назван своим историческим именем Николки), а развалины замка в запущенном саду, где проживала в 1606 году Марина Мнишек, поднимали воспоминания о тщеславных и кровавых интригах самборской шляхты.

Торговые и соборные площади, где псковичи угрюмо избирали на царство третьего Лжедмитрия, сообщали исторический колорит народным сценам на Девичьем поле. Развалины монастырей, выжженных в 1615 году шведами Густава-Адольфа, как и Николаевская церковь, с высоты которой польский король Стефан наблюдал за действием своего разношерстного войска с его литовскими, венгерскими и немецкими наемниками, могли придать верное звучание батальным эпизодам на границе Литовской, под Севском, под Новгородом-Северском (Маржерет, Розен, немцы, поляки). Легенда Любятовского погоста об Иване IV, готовом поразить своим гневом Псков, но великодушно даровавшем ему мир и благоволение («да престанут убийства!»), как бы перекликалась с рассказом Пимена об одной мудрой и благожелательной беседе сурового царя:

Задумчив, тих сидел меж нами Грозный..

И само сказание многодумного старца об этой «страдающей и бурной душе» словно вышло из тех монашеских хартий, украшенных тончайшими миниатюрами и затейливым орнаментом, которые бе-

режно хранились в соборных ризницах Мирожского и Святогорского монастырей.

Так учил и вдохновлял старый Псков великого поэта. Если ознакомление с событиями и эпохой шло по книгам, фантазия художника давала себе полный простор и безгранично расширяла свой полет перед этими созданиями древнего искусства. Вековые сокровища зодчества и живописи могли сообщить творцу исторической трагедии те величавые черты торжественного архаического стиля, которым отмечены воззвания его правителей и патриархов, как и тот глубокий тон правдоискания и заветных чаяний безвестных старорусских людей, которым так проникновенно озарены у Пушкина и воспоминание Пимена о событиях его молодости и умиленный рассказ прозревшего пастуха о его чудесном исцелении.

В таких прозрачных стихах своей трагедии драматург-историк запечатлел всю поэзию древнерусской жизни, словно очертив воздушной кистью Андрея Рублева и вдохновенный образ умирающего Федора Иоанновича и нежный лик «царевича убиенного».

2

В октябре 1825 года «Борис Годунов» был вчерне закончен, а 7 ноября переписан набело. Пушкин мог поздравить Вяземского с первой у нас «романтической трагедией», то есть с драматургическим произведением, которое сбрасывало строгие предписания придворного французского спектакля и стремилось отразить в себе само течение жизни во всей ее прихотливой пестроте, изменчивости и разорванности. Это была борьба за отражение на сцене подлинной исторической действительности, не прикрашенной и не связанной правилами классической поэтики. Из личных столкновений и придворных интриг встает целая эпоха, жадно вобравшая в себя «крамолы и коварство и ярость бранных непогод» (по позднейшему выражению Пушкина); за отдельными политическими деятелями выступает подлинный двигатель этих марионеток истории — народ, определяющий их

движение и решающий их судьбы. В центре трагедии — идея «суда мирского» и «мнения народного».

Пушкин вложил в свою драму огромный личный опыт художника, сообщивший живые краски всем летописным и книжным данным. Польские типы трагедии — от патера Черниковского до Марины и Рузи — созданы под впечатлением недавних бесед и встреч в салоне Каролины Собаньской. Святогорские и вороничские клирики с их веселыми прибаутками и откровенной склонностью к вину воплотились в сочные фигуры странствующих монахов. Монастырские ярмарки с их нищими, певцами и крестьянским говором дали материал для народных сцен трагедии с ее пестрым этнографическим составом и разнохарактерной московской толпой, за которой ощущается все население государства.

Огромную роль в построении трагедии о былой «смуте» сыграл и новый политический опыт Пушкина, вынесенный им из общения с южными декабристами. Они оказали влияние на поэта и своим увлечением русской вольнолюбивой стариной и боевой проблематикой своей политической программы. Хотя революционный переворот и мыслился ими как исключительно военный, все же Пестель в «Русской правде» писал о той борьбе «между массами народными и аристокрациями», которая приведет к полному крушению монархического строя. Все эти основные задачи декабристского мышления о царе, народе, дворянстве, о коренном разрыве между властью, знатью и «чернью» и легли в основу «Комедии о настоящей беде московскому государству», то есть о глубоком кризисе власти в эпоху самозванцев.

Хотя Пушкин и возражал в 1823 году против излишней модернизации исторических трагедий, в своей реставрации прошлого он не терял связи с современностью и, по его собственному свидетельству, широко допускал плодотворные аналогии минувшего с текущим. Ход былых событий и образы ушедших деятелей Пушкин-драматург воспринимал

с боевых позиций своей эпохи. В полном согласии с декабристской поэтикой он отвергал хронологическую замкнутость и объективную археологичность исторической драмы, которая должна была, по его мысли, звучать актуально, призывно и действенно. Заканчивая «Бориса Годунова», он писал Вяземскому, что смотрел на своего героя с *политической* точки зрения, то есть решал на материале XVII века текущие вопросы общественного движения в России. «Вот моя трагедия, — сообщал Пушкин в 1829 году Николаю Раевскому, излагая ему и свои драматургические принципы 1825 года, — она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменских обиняков. Надо понимать их — это непременное условие».

В чем же состояли эти киевские и каменские «аллюзии», иносказания и параллели, без расшифровки которых, по мнению самого поэта, его историческая драма останется непонятой?

Одной из главных тем декабристского круга был деспотический режим конца александровского царствования с его военными поселениями, страшными карами в войсках, жестоким подавлением Семеновского восстания и новгородских бунтов, разгромом университетов, преследованием печати, угнетением крепостных. Для выражения всех ужасов лихолетья оппозиционные круги и выработали свой словесный шифр. Уже в письмах 1821 года Пушкин применяет особый, эзоповский язык для оценки окружающей реакции — он говорит о «родной Турции» и даже называет Петербург «северным Стамбулом». В его стихах и письмах этого времени Александр I неизменно выступает под именем самовластного римского императора Октавия-Августа или его преступного преемника Тиверия. Всеобщее недовольство аракчеевским режимом и неизбежность революционного взрыва возвещаются Пушкиным в его кишиневском послании генералу Пущину, которого поэт называет «грядущий наш Квирога». Таковы же его посвящения В. Л. Давыдову (о Неаполе, о «кровавой ча-

ше»). Такие политические «двусмысленности», которыми обменивались молодые вольнодумцы южнорусского гнезда, относились к крупнейшим событиям современности — испанской и неаполитанской революциям, освободительной борьбе в России, предстоящему военному восстанию и цареубийству.

Последняя тема представляла особую актуальность. План убийства Александра I был подробно разработан заговорщиками, и даже момент его осуществления точно приурочен к летним маневрам 1826 года. Но и гораздо раньше (как доносил Наполеону его посол Коленкур) «об убийстве императора говорили в Петербурге, как говорят о дожде или хорошей погоде». Александру готовили насильственную смерть. Пушкин касался этой темы уже в «Бове». Ее развернутым «иносказанием» был «Кинжал», воспетый как «тайный страж свободы», — стихотворение, получившее в революционных организациях значение важнейшего документа антиправительственной пропаганды.

Таковы были незабываемые «недомолвки» южных встреч, которые Пушкин вспоминал в 1829 году как необходимейший комментарий к своей трагедии. В двупланности этих острых и метких высказываний мы находим верный ключ к утверждению поэта о такой же злободневной многомысленности его драматической хроники.

Каков же тот политический подтекст «Бориса Годунова», на котором так настаивал его автор?

На площадях мятежный бродит шепот,
Умы кипят — их нужно остудить
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ .

В исторической трагедии 1825 года, как и в раннем «Вадиме», это явные отзвуки эпохи Священного союза и военных поселений. В духе прежних пушкинских характеристик Александра, как участника гвардейского заговора 11 марта, звучат в трагедии возгласы Пимена: «Владыкою себе цареубийцу мы нарекли», и крик юродивого: «Нет, нет! нельзя

молиться за царя Ирода!» Конец царствования Бориса («шестой уж год») отмечен мрачным мистицизмом царя: он запирается с кудесниками, гадателями, колдуньями, ища в их ворожбе успокоение своей возмущенной совести. Аналогия с Александром I эпохи его последнего сближения с архимандритом Фотием и митрополитом Серафимом здесь очевидна.

Чрезвычайно характерен и возглас Годунова: «Противен мне род Пушкиных мятежный», очевидно отражающий реакцию разгневанного императора на знаменитые эпиграммы, ноэли и «Вольность». Некоторый отпечаток своего «неуимчивого» характера и скитальческой судьбы налагает поэт и на образ своего предка Гаврилы Пушкина, которого в письме к Раевскому называет выдающимся заговорщиком и горячим патриотом: он защищал в 1612 году Москву от поляков и заседал в 1616 году в Думе рядом с Козьмой Мининым. В трагедии он назван (как называл себя и Пушкин в Михайловском, где писались эти строки) «опальным изгнанником» за свою оппозицию к деспоту Борису. Он показан и как замечательный политический оратор, поднимающий своей речью народ на Годуновых. Образом этого мужественного и сильного боярина Пушкин как бы заявляет, что в отношении преступных правителей многострадальной Руси род Пушкиных неизменно выполняет свою смелую оппозицию в XVII, как и в XIX, веке.

Так определялось подводное течение драмы о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. Ропот масс, суровость правителя, его тревоги, тоска и страхи, его преступность и обреченность перед лицом растушего восстания, увлекающего лучших и даровитейших людей страны, — таковы были те обстоятельства, которые имел в виду Пушкин, предлагая Раевскому вспомнить перед чтением «Бориса Годунова» острую политическую символику их южнорусских бесед. Весьма примечательна и просьба поэта перелистать для этого соответственный том Карамзина. Фактический материал историка по «смутному времени» необходимо было учесть и переосмыслить в духе

памфлетических оценок аракчеевщины членами тайных обществ. Недаром Пушкин признавал карамзинский рассказ животрепещущим, как лист вчерашней газеты, — настолько ощущалась в нем аналогия государственного распада XVII века с внутренним разложением александровской монархии, подточенной недовольством безмолвствующего народа и скрытой деятельностью дворянских революционеров.

3

Писавшаяся перед самым декабрьским восстанием трагедия Пушкина передавала весь трепет этих предреволюционных канунов. 14 декабря, по меткому слову Вяземского, представляло собою не что иное, как «критику Истории Карамзина вооруженною рукою». Но уже накануне этого памятного дня великий поэт-изгнанник опроверг карамзинскую апологию самодержавия своей бессмертной трагедией о русском народе, за чью свободу лучшие люди пушкинского поколения уже готовы были броситься в смертельную схватку с царизмом.

Вот почему главный герой знаменитой драматической хроники, самый могучий рычаг ее действия — народ русский. В этом гигантский шаг Пушкина от декабристского мышления. Примечательно, что в черновом списке действующих лиц «Бориса Годунова» народ значится как отдельный персонаж, а в действии драмы он выступает как главная движущая сила событий. Именно он противопоставлен безнадежно изолированному и морально опустошенному венценосцу, как и его временно удачливому сопернику — ловкому политическому «авантюристу» (как называет самозванца сам Пушкин в своих письмах).

Эта живая и необъятная Россия, бесправная и могучая, противостоит в «Борисе Годунове» господствующим верхам — родовитому боярству, интригующему духовенству, высшему правительству — воеводам, патриарху, царедворцам и самому царю. В этом центральная мысль трагедии. Автор него-

дующей «Деревни» от имени народа осудил в Борисе царя-крепостника, лишившего русское крестьянство его гражданской независимости. Пушкину было известно свидетельство Карамзина о том, что Годунов «уничтожил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село и навеки укрепил их за господами». Отсюда в трагедии грозное предсказание Гаврилы Пушкина о неминуемости народного восстания при одном посуле Юрьева дня. Отсюда обреченность тиранического правителя, оттолкнувшего от себя народ и подготовившего этим разрывом свое крушение. Заключительный образ «мужика на амвоне» с его воззванием: «Народ! народ! в Кремль, в царские палаты!..» — приобретал огромное обобщающее значение и вырастал в исторический символ «беды Московскому государству», то есть гибели в море народного гнева того византийского самодержавия, которое Годунов так неудачно наследовал от «могущих Иоаннов».

Именно этим определился творческий метод Пушкина-трагика. По его собственным признаниям, он стремился перейти от старинного аристократического зрелища «к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади». Превыше всего он был озабочен «верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий». Он требовал от драматического автора умения «отказаться от своего образа мыслей, дабы совершенно переселиться в век им изображенный». Своим гениальным чутьем историка творец «Годунова» блестяще осуществил это труднейшее задание и органически сжился с воссозданной им эпохой.

Но в процессе творчества он признал невозможным и даже ненужным «совершенно отказаться от своего образа мыслей». Гениально воскрешенная во всей своей исторической правде картина мятежной и трагической Руси включала в себя и заветные помыслы великого национального поэта об освобождении его порабощенной родины. Это были не выходки парижских фельетонистов на парламентские «злобы дня», это были выстраданные думы Алек-

сандра Пушкина о раскрепощении его героического народа. В потрясающей по верности и жизненности драматической хронике многих мятежей и неистощимых массовых страданий звучала неизбывная историческая боль «львиного» поколения о судьбах русского крестьянства, освободившего родину от вражеского нашествия. Кажущееся противоречие художественного объективизма и политической актуальности гениально разрешалось новаторством Пушкина-драматурга, сумевшего сочетать свое верное чувство старины с глубоким переживанием революционной ситуации 1825 года.

Вот почему над шаткими судьбами случайных повелителей эпохи господствует в трагедии Пушкина подлинный властелин истории — народ. Он показан и как стихийная масса, неуловимая и грозная, и как осознавшая себя нация, величественная и мудрая. Московская толпа XVII века изображена подчас в своем пассивном подчинении хитроумным и властным боярам, но она раскрывается и в своем решительном противодействии их политическим интригам (возмущение Углича, арест воевод, отказ поддержать боярскую здравицу в честь Лжедмитрия). Пусть народная масса здесь еще не представлена своими энергичными и мощными деятелями (как в песнях о Разине, как в страницах о Пугачеве, как в замысле о Ермаке), но зато полностью раскрыто огромное духовное богатство русского народа в отдельных его представителях — и в простонародье и в просвещенном слое. Совесть народа, его высокую нравственную чуткость выражает простодушный юродивый Николка, всенародно разоблачающий преступного властителя. Беззаветной любовью к родине охвачен невольный изгнанник, юный сын Курбского князь Андрей. И какой бурной и увлекательной восторженностью дышит его привет родным просторам:

Вот, вот она! Вот русская граница!
Святая Русь, отечество! Я твой!
Чужбины прах с презреньем отряхаю
С моих одежд, пью жадно воздух новый:
Он мне родной!..

Глубоко свойственное русскому народу поэтическое чувство дивно передано в рассказе пастуха о своем прозрении, а подлинный народный юмор в живом и непосредственном его сверкании бьет ключом из веселых импровизаций странствующего монаха Варлаама.

И, наконец, в стороне от главного потока событий, как бы в тени и в отдалении, раскрывается одна из самых значительных и величавых фигур этой исторической фрески. Как почти всегда у Пушкина, это деятель мысли и слова, в данном случае старинный писатель, ученый средневековой Руси, историк, биограф и мемуарист — летописец Пимен. В первоначальной редакции его монолога еще рельефнее сказалось художественное влечение ученого монаха к творческому воссозданию прошлого:

Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир, —
Властители, которым был покорен,
И недруги, и старые друзья,
Товарищи моей цветущей жизни
И в шуме битв и в сладостных беседах...

Он не бесстрастен и не оторван от жизни, этот старинный публицист, гневно восстающий на зло мира и пороки строя. Под монашеским клобуком это политический мыслитель, превыше всего озабоченный «управой государства». Неопытный инок Григорий Отрепьев ошибся, сравнив его с невозмутимым приказным, который «спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно...». На самом деле летописцы отстаивали свою идею о служении родине и об охране ее национального могущества. Недаром Пимен «воевал под башнями Казани и рать Литвы при Шуйском отражал...». Он остается верным воином и в своей Повести временных лет. Слог его прост, но мысль возбужденна и воинственна. Пусть он беспристрастно заносит в свой свод пророчества проповедников и предзнаменования астрологов, он с возмущением и гневом обрекает на вечный позор всесильного преступника, ведущего к развалу и гибели родную землю. Это не спокойная

регистрация текущих происшествий, это грозный приговор или «донос ужасный» потомству во имя неуклонного торжества правды и справедливости хотя бы в отдаленном будущем.

Таков был этот родственный образ. Сам автор «Бориса Годунова» не раз клеймил в своих стихах «венчанного солдата» и во имя борьбы за свободную родину отразил в облике старинного властителя черты монарха, чья ущемленная совесть и мрачный мистицизм грозили новыми бедствиями стране и народу. Но когда Пушкин заканчивал «Бориса Годунова», Александр I умирал в Таганроге.

X

В ПЕТЕРБУРГЕ БУНТ

1

В последних числах ноября в глухом затишье Опочецкого уезда стали ходить слухи, что царь умирает. Это были отголоски поступавших с 17 ноября в Петербург из далекого Приазовья известий о болезни Александра I, которые вскоре приняли угрожающий характер. 25 ноября вечером семейные сообщения сменило письмо «начальника главного штаба его императорского величества» барона Дибича об «опасном положении» больного. А 27 ноября утренний молебен в Зимнем дворце о выздоровлении Александра был прерван полученным известием о его смерти, наступившей в Таганроге утром 19 ноября.

В самодержавной империи смерть царя была крупнейшим политическим событием, с которым обычно связывалось изменение всего правительственного курса. Четыре последних царствования — от Петра III до Александра I — являли картину последовательной резкой смены управления страной. Михайловский изгнанник мог ожидать от нового самодержца изменения своей участи.

С живейшим интересом прислушивается Пушкин

к известиям о событиях. Умер ли царь? Скрывают ли его смерть в Петербурге? Выясняется ли вопрос о престолонаследии? Поэт снаряжает кучера Петра в Новоржев проверить полученную весть. «Он в эфтом известьи, — вспоминал впоследствии Петр, — все сомневался, очень беспокоен был, да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга, так за этим солдатом посылал, чтоб от него доподлинно узнать».

Между тем, несмотря на отсутствие официальных сообщений, в обществе создается уверенность, что царь умер и государство лишено представителя верховной власти. В столицах растет волнение, которое передается в губернии и уезды; в стране междуцарствие. Сколько оно будет длиться и к чему приведет?

В начале декабря Пушкин начинает подумывать о тайной поездке в Петербург для переговоров с братом и друзьями о своей дальнейшей судьбе. Озабоченность высшей администрации сменой царствований могла бы отвлечь внимание властей от такой самовольной отлучки ссыльного. Но в это время (около 5 декабря) до Пушкина доходит официальное сообщение о смерти Александра I и о присяге сената на верность «его императорскому величеству Константину Павловичу». Необходимо было отказаться от риска и ждать дальнейших событий.

Рабочий стол поэта освободился от рукописей «Бориса Годунова». Какой новой работой заполнить это томительное затишье Опочецкого уезда? Пушкин раскрывает Шекспира. Он перечитывает его лиро-эпическую поэму «Лукрецию», в которой излагается легендарный повод смены властей в Риме.

Историософия древних летописцев и поэтов — Тита Ливия и Овидия, которым следовал в своей поэме Шекспир, представляется Пушкину слишком сказочной и фантастичной. Согласно этой версии Секст Тарквиний предательски овладел женою своего друга Коллатина, целомудренной матроной Лукрецией, не сумевшей преодолеть насилия и

в отчаянии заколовшейся. Возмущение Коллатина и его друга Брута вызвало бегство Тарквиния со всем его родом из Рима. «Что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? — ставит вопрос Пушкин. — Брут не изгнал бы царей, и мир, и история мира были бы не те».

И вот в период междуцарствия, наступившего в России, Пушкин решает «пародировать историю и Шекспира». Он вспоминает, кстати, «соблазнительное происшествие», которое случилось недавно по соседству в Новоржевском уезде, и в два утра, 13 и 14 декабря, пишет шутливую поэму «Новый Тарквиний», впоследствии переименованную в «Графа Нулина».

Эта короткая повесть замечательна живыми и верными картинами поместного быта Псковской губернии — сборов на охоту, усадебного хозяйства, забот и развлечений помещицы. Здесь обрисована и библиотека Тригорского с многотомными старинными романами, которыми зачитывалась в молодости Прасковья Вындомская, и рог на бронзовой цепочке, который незадолго перед тем подарил Пушкину один из его соседей по имению. Картина получилась живая, внешне комическая, а по существу — безотрадная, поскольку она вскрывала всю безнадежную пустоту этой среды, такой же неприглядной, как изнанка ее нарядного быта. В забавных стихах чувствуется местами горестное участие ко всем,

Кто долго жил в глуши печальной...

В своей шутливой повести Пушкин отчасти исходил из пародийной поэмы Дмитриева «Путешествие N.N. в Париж и Лондон», представлявшей собою карикатуру на Василия Львовича Пушкина. Автор «Графа Нулина» чрезвычайно ценил эту шутку Дмитриева и впоследствии даже предполагал дать о ней статью в «Современнике». В образе российского графа, увлеченного европейскими модами, чувствуется отражение остро очерченного

Дмитриевым типа «русского парижанца» с его пристрастием к модным костюмам и последним новинкам книжного рынка: «Какие фраки! панталоны! Всему новейшие фасоны! Какой прекрасный выбор книг!.. Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий...»

В такой шутливой манере автора «Модной жены» очерчивает Пушкин и своего странствующего россиянина, столь падкого на заграничные новости. Но при этом все портретные штрихи прототипа намеренно стерты. Ведь Василий Пушкин в своих странствиях оставался настоящим московским литератором, «в земле чужой гордился русским быть и русский был прямой». Так уверенно осознавал свое национальное достоинство этот скромный старинный поэт из семьи Пушкиных.

Не таков граф Нулин. Он в своих странствиях по миру «святую Русь бранит, дивится, как можно жить в ее снегах...». Пушкин беспощадно клеймит беспочвенность и антинародность его галломанства. Увлечение внешними приманками иностранной цивилизации делает этого хлыща и мота человеком без родины, чужеземцем среди своих соотечественников, «чудным зверем» среди простых и милых русских людей. На Западе его интересует не мировая литература, а модные имена, не труд и борьба французского народа, а каламбуры королевских прихожих, не творчество великих артистов и композиторов, а досужие толки модных салонов.

Русская культура не существует для этого завсегдатая Пале-рояля. Дивный язык его родины превращается в устах этого международного говоруна в тусклый перевод с иностранного, к тому же сплошь уснащенный словесными штампами парижского жаргона. Он везет с собой за тысячу верст последний выпуск французского юмористического листка, но такие события русской печати, как «Московский телеграф», о котором сообщает ему Наталья Павловна, оставляют его совершенно равнодушным.

Сквозь летучий юмор Пушкина и его грациозную шутку здесь просвечивает и горький сарказм, на-

правленный против русской знати, которая вместе с парижскими модами и вкусами не переставала насаждать в России реакционнейшие «теории» иноземных гасителей просвещения, теряя свои последние связи с родной землей, ее трудовым народом, ее передовой молодежью. Пушкин еще не раз вернется к этой печальной теме.

2

Работа над «Новым Тарквинием» не отрывает Пушкина от посещений Тригорского, где он попрежнему бывает почти ежедневно.

15 декабря семья Осиповых собралась вечером в гостиной. Пушкин с друзьями обсуждали доходившие до них слухи о странном новом царе Константине I, который продолжал жить в Варшаве и отказывался от короны. Неожиданно хозяйке доложили, что спешно вернулся из Петербурга посланный туда за провизией повар Арсений и рассказывает о каких-то необыкновенных происшествиях. Общество насторожилось. Вызванный в гостиную Арсений сообщил, что «в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и сломя голову прискакал в деревню...».

Это был первый очевидец событий 14 декабря, с которым беседовал Пушкин. Известие поразило поэта. Очевидно, пришли в действие скрытые пружины тайного общества, работу которого он так явственно ощущал в Петербурге, Каменке, Кишиневе. Недомолвки Пущина, откровенные высказывания майора Раевского, речи Михаила Орлова, Николая Тургенева, Якушкина, Василия Давыдова, радикальные воззрения Пестеля и Сергея Волконского — все это неожиданно слагалось теперь в единое движение и связывалось с ошеломляющей вестью о восставшей столице. Пушкин страшно побледнел (по свидетельству М. И. Осиповой) и заговорил о тайном обществе.

В состоянии глубокой задумчивости он вернулся в Михайловское. В Петербурге бунт! Не раскрыва-

лась ли ему снова, как четыре года перед тем в Каменке, «высокая цель», способная облагородить целую жизнь? Со свойственной ему стремительностью решений Пушкин собрался в дорогу.

Но этой порывистой внезапности намерений соответствовала и резкая изменчивость его характера. Поэт нередко поражал окружающих быстрой сменой своих настроений и поразительными переломами в своем поведении. Так случилось и на этот раз. Доехав до погоста Врева, Пушкин изменил свое решение. Полная неосведомленность о ходе событий, а главное — о результатах восстания, должна была остановить его. При неудаче петербургских друзей шаг его мог оказаться для них бесполезным, а для него самого безнадежно гибельным. Не юношеской бравадой нужно было реагировать на большие исторические события, развернувшиеся в Петербурге, а разумным и зрелым шагом. Положение вещей обязывало спокойно выжидать. Пушкин совладал с первым порывом и вернулся в Михайловское.

А через день или два он уже читал манифест о воцарении Николая I, опубликованный в газетах 16 декабря. Междуцарствие окончилось. Только через три дня был напечатан отчет о событиях 14 декабря, сообщавший о возмущении рот Московского полка, построившихся под начальством семи или восьми обер-офицеров в батальон-каре перед сенатом. «Виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость... Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками бывших беспорядков...»

Скоро стали известны имена арестованных. В последних числах декабря Пушкин с глубокой болью прочел в перечне «важнейших государственных преступников» имена своих товарищей, друзей, задушевных собеседников. На первом же месте — «в чине подпоручика Кондратий Рылеев, сочинитель». Это был прямой и смелый поэт, лишь месяц назад призывавший Пушкина к мужеству и борьбе: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе ве-

рят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин...» Несколько ниже в списке — имя соредактора Рылеева по «Полярной звезде» и его лучшего друга: «Адъютант герцога Виртемберского Бестужев». Живой и остроумный корреспондент Пушкина, тонкий и культурный критик, автор увлекательных повестей, Бестужев-Марлинский всегда пленял его «красноречьем сердечным», «кипучестью мысли», «необыкновенной живостью». Совсем недавно, 30 ноября, поэт спрашивал его о Якубовиче, «герое своего воображения». И вот холодный ответ власти на этот дружеский вопрос: «Нижегородского драгунского полка капитан Якубович, провинившийся в злодейском намерении».

Но самое страшное значилось в конце зловещего списка: «Коллежские советники Пущин, приехавший из Москвы, и Вильгельм Кюхельбекер, безумный злодей, без вести пропавший». Это был удар по братьям, по друзьям-лицеистам, по товарищам детских игр и школьных треволнений. В этих именах история уже непосредственно задевала его самого, грозя и вызывая глубокую боль.

Пушкин решает расстаться с одной из своих самых драгоценных рукописей. Уже пять лет он вел свои записки о выдающихся современниках, совершенно свободно и не для печати занося на бумагу впечатления о людях, «которые после сделались историческими лицами». Правительственное сообщение 1825 года называло те же имена. Пушкин понимает, что в руках власти его тетради получат значение важнейшего показания: они смогут «замешать многих, а может быть и умножить число жертв». Он решает предать огню свой четырехлетний дневник о памятных встречах в Кишиневе, Каменке, Одессе.

Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась, —

мог бы повторить Пушкин недавно лишь написанные им строки об одном сожженном письме. Так пе-

ред наступлением 1826 года в камине михайловского домика сгорело одно из замечательнейших свидетельств поэта о лучших людях его поколения — первая запись Пушкина о декабристах.

1826 год наступал среди всеобщей подавленности и тяжелых предчувствий. Шли розыски и аресты. Втихомолку, но повсеместно только и говорили что о Петропавловской крепости, о царских допросах, о предстоящих карах.

Углубленное и зоркое восприятие поэтом действительности нередко приводило его к безошибочному определению надвигающихся событий. Элегия о французской революции, написанная весною 1825 года, оказалась в свете последующих событий верным предвидением декабря. «Пророк свободы»,— метко назвал впоследствии Пушкина Языков, узнавший его как раз в 1826 году, и сам автор «Андрея Шенье» признавал за своим творчеством такое значение (в письме к Плетневу от 3 марта 1826 года Пушкин писал: «Ты знаешь, что я пророк»). «Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, — писал впоследствии Пушкин. — Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем...»

В 1826 году Пушкин сближает эту повышенную впечатлительность и острую зоркость поэта с даром «боговдохновенных» прорицателей древнего мира. Высшая обостренность зрения и слуха при неугасимом пылании сердца — вот что открывает гениальному избраннику все звучания, все движение, весь сокровенный трепет вселенной и одновременно обогащает его даром воспламенять человеческие души своим огненным словом. Это вызывает у Пушкина, быть может, самый сильный и прекрасный стих всей русской поэзии:

Глаголом жги сердца людей

Этой строкой заканчивалось стихотворение «Пророк».

3

Но жизнь продолжалась. В Татьянин день, 12 января, в Григорском справляли семейный праздник — именины Евпраксии Вульф. Пушкин присутствовал на торжестве. Оно имело для него значение и как новый бытовой материал для только что начатой пятой главы «Онегина». В гостиной «Тригорского замка» поэт мог наблюдать все уездное общество и свободно «чертить в душе своей карикатуры всех гостей». По свежим и непосредственным наблюдениям он дает в очередной главе своего романа развернутую картину сельского бала и галерею провинциальных типов: здесь и «хозяин превосходный, владелец нищих мужиков», и «чета Скотининых», и «отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут». Безнадежное мнение о российском дворянстве, которое Пушкин за два-три года до того высказывал в Кишиневе, нисколько не изменилось к лучшему. Он выводит представителей поместного круга как пустых, нелепых и жестоких паразитов.

Не успели отпраздновать именины Евпраксии, как узнали о новом событии — возмущении на юге Черниговского полка. Мятежная часть была окружена правительственной конницей; главный зачинщик и возбудитель восстания подполковник Муравьев-Апостол был взят в плен после тяжелого ранения.

Это был ближайший родственник Прасковьи Александровны Осиповой, тот самый Сергей Иванович Муравьев-Апостол, который подарил ей в 1816 году черный сафьяновый альбом с мужественной записью о своей готовности к смерти. Политическая хроника эпохи становилась семейной драмой передового русского общества.

С начала 1826 года Пушкин в переписке с друзьями стремился выяснить перспективы своей участи.

Вскоре он узнает о серьезности своего политического положения. Жуковский сообщает ему, что

в бумагах каждого участника декабрьских событий верховная следственная комиссия обнаруживала его революционные стихи, очевидно «Вольность», «Кинжал», антиправительственные эпиграммы.

Невидимо и заочно Пушкин фигурировал в следственном процессе. Он, как поэт, оставался в той «декабристской» среде, которой принадлежал и ранее своим творческим словом. Отражая в своих петербургских стихах программу Союза благоденствия, то есть требования отмены рабства и ограничения самовластья, он воспринимает в Кишиневе и Каменке радикальные задачи Южного общества — установление республиканского строя путем военной революции и даже ценою цареубийства. Все это он выразил в своих стихах. Декабристы признавали его своим, не считая нужным оформлять его участие в заговоре.

Пропагандное значение антиправительственной поэзии Пушкина было огромно. Уже в 1818 году юный Бестужев-Рюмин слышит всюду эти смелые стихи, «с восторгом читанные» и внушающие оппозицию к престолу. Мальчику Герцену его учитель русского языка приносит «Вольность», «Кинжал», «Кавказского пленника». Декабрист Каховский, лично знавший Пушкина, распространяет в обществе все его запретные строфы. Московские студенты увлекаются революционной поэзией автора ноэлей, ловят каждую его строку, распространяют списки его вольнолюбивых стихотворений. Пушкин мог по праву считать себя певцом декабризма.

В страшную минуту разгрома всего движения он сохраняет верность его ведущим идеям. Он понимает при этом, что слагающаяся действительность требует теперь иного проявления оппозиционных сил. «Каков бы ни был мой образ мыслей и политический и религиозный (то есть по смыслу: революционный и атеистический. — *Л. Г.*), я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить необходимости», — писал Пушкин Жуковскому 8 марта 1826 года.

Это была не капитуляция, а выбор новой такти-

ки. С исключительным лаконизмом и категоричностью Пушкин сформулировал в этом письме свое отношение к программе декабристов и правительству Николая I; сохраняя верность освободительным идеям, он считал безрассудным противоречить неумолимому ходу событий. На этой почве произойдет пересмотр прежней системы действия: героические, но отчаянные выступления будут отвергнуты во имя реальной борьбы, взвешивающей соотношение сил и определяющей свои действия шансами на победу. Мысль эта определит до конца политическую позицию Пушкина и ляжет в основу его последней поэмы.

В июне в Тригорское приехал вместе с Алексеем Вульфом и долгожданный Языков. Студент философии и прав мог сообщить Пушкину новые знания, которые так ценились поэтом-скитальцем и вечным слушателем живых «университетов». Языков слушал в Дерпте курсы по государственным и экономическим дисциплинам, проходил историю живописи и архитектуры, эстетику, русскую литературу. Он был настроен весьма радикально, увлекался «вольностью высокой», любил воспевать «реку, где Разин воевал».

Языков приехал в Тригорское в самые тяжелые дни политической жизни страны: к первому июня было закончено следствие над декабристами и начался верховный суд. Угрозы тягчайших кар, провозглашенные в манифестах, вызывали всеобщую подавленность и тяготили безнадежностью ожиданий Можно не сомневаться, что разговоры двух поэтов летом 1826 года обильно питались современной исторической трагедией. Особенно волновала их судьба Рылеева.

Но молодежь Тригорского не могла питаться исключительно политической хроникой дня и жить только мрачными предчувствиями. Дерптские студенты и тригорские девушки увлекали Пушкина на прогулки, пирушки под открытым небом, в атмосферу песен, вина и стихов; это был шум молодой

жизни, заглушающий на время тяжкий и неуклонный шаг зловеще слагающейся истории.

Можно полагать, что на одном из таких сельских пиршеств Пушкин читал друзьям незадолго лишь до того написанную им в Михайловском «Вакхическую песню». Это один из его прекраснейших гимнов в честь высших ценностей бытия: любви, поэзии, знания, всепобедной и всеозаряющей человеческой мысли. Воздушные образы этого застольного пеана отличаются необычайной стройностью и красотой. «Нежные девы и юные жены», обручальные кольца на звонком дне стаканов, восход солнца, затмевающего ночные лампады, «вакхальны припевы», звучащие навстречу торжествующей заре, — такова эта предрассветная картина, возвещающая бессмертную славу искусству, истине, свободе, справедливости:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Этот ведущий мотив всего пушкинского творчества стал высшим выражением и его национальной культуры. Верный сын русского Просвещения, Пушкин и в момент дружеского ликования произносит хвалу духовным началам, просветляющим народную жизнь. Поистине прав был Чернышевский: «И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил им Пушкин».

4

Около 20 июля Языков уехал в Дерпт. В провинции это еще были дни тревожного ожидания развязки декабрьской драмы. Пушкин в своих письмах не переставал высказывать надежды на «милость» верховной власти.

24 июля в опочецкое затишье пришел приговор верховного суда. К вечной или долголетней каторге были присуждены: Пущин, Кюхельбекер, Николай Тургенев, Александр Бестужев, Никита Муравьев, Сергей Волконский, Якушкин, Лунин, Одоевский. Это был разгром целого общества в лице его лучших представителей.

Одновременно протокол сообщал и о царской «милости», обращенной к «Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому»: вместо мучительной смертной казни четвертованием «сих преступников за их тяжкие злодеяния — повесить». В высочайшем манифесте указывалось, что «преступники восприняли достойную их казнь...».

Этот неожиданный приговор оказал потрясающее действие на близких к декабризму русских людей, «словно каждый лишался своего отца или брата». Погибли друзья, родные, юные смелые люди, полные энергии, мужества, творческих дарований.

В Тригорском раскрыли печальную реликвию: черный сафьяновый альбом, подаренный некогда Сергеем Муравьевым-Апостолом своей псковской кузине. Под первой записью Прасковьи Александровны следовали две французские строчки Сергея Муравьева: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым. 16 мая 1816 г.». Через десять лет героический предводитель восставших черниговцев доказал правдивость этой альбомной записи. В начале августа у Языкова гневно вырвались поминальные строки:

..Рылеев умер, как злодей.
О вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Пушкину вспомнились его встречи и беседы с пятью казненными. Так недавно еще вел он с Пестелем в Кишиневе увлекательные философские споры, с юношей Бестужевым-Рюминым встречался в кабинете Оленина, с Муравьевым-Апостолом и Каховским общался в среде петербургских «молодых якобинцев», с Рылеевым был в близкой творческой дружбе, в постоянной переписке.

Сколько бодрости, сколько веры в его силы и в его будущее исходило от этих рылеевских почтовых листков и какую отраду проливали они в унылую тишину его «опального домика»!

Урна Байрона, урна Андре Шенье уже получили венки надгробных строф. Известие о смерти Рылеева застало Пушкина за работой над шестой главой «Онегина», где он как раз изображал бессмысленное убийство молодого поэта. Рассказ об этой прерванной жизни приобретает новый тон, личная горесть звучит в вопросе: «Друзья мои, вам жаль поэта?»

В строфах о смерти Ленского, где намечается безотрадная перспектива медленного разложения стихотворца в бытовой повседневности, слышится все же и отзвук томительных переживаний Пушкина в дни, когда, узнав о казни пяти революционеров, он рисовал на своих рукописях виселицы с повисшими телами, мысленно и к себе применяя возможность такой гибели... В черновиках этих строф он высказывает мысль, что Ленский мог бы идти в жизни особыми, опасными путями поэтов или полководцев, он мог бы умереть «в виду торжественных трофеев», погибнуть в изгнании, как Наполеон, —

Иль быть повешен, как Рылеев...

Вслед за вестью о петербургской казни Пушкин узнает о смерти Амалии Ризнич.

По кратким зашифрованным записям поэта можно заключить, что это известие дошло до него 25 июля 1826 года с запозданием на год: Ризнич умерла в июне 1825 года. Сообщение о смерти любимой женщины, к собственному изумлению Пушкина, не вызвало в нем отчаяния. Сказалось ли в этом гнетущее впечатление от полученной накануне страшной вести о казни друзей, или прошедшее двухлетие успело угасить в сердечной памяти близкий некогда образ, но только стихотворение «Под небом голубым» отличалось холодной ясностью ранней осени:

Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Но уже через несколько дней Пушкин нашел слова исключительной проникновенности для этой «легковерной тени» и оставил в рукописях «Онегина»

одну из самых драматических строф всего романа, звучащую глубокими нотами «Реквиема»:

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой...

Где-то на генуэзском кладбище высилась белоснежная гробница Амалии Ризнич, а в далеком северном уезде слагались бессмертные эпитафии, которым суждено было увековечить ее имя не на мраморной плите Кампо-Санто, но в прекраснейших элегиях русской поэзии.

В тягостных раздумьях поэт доживал это душное лето 1826 года. С отъездом дерптских гостей общество его снова составляли старая няня и тригорские приятельницы.

3 сентября, в полночь, Пушкин вернулся от Осиповых и застал у себя только что прибывшего курьера от псковского гражданского губернатора. В краткой записке фон Адеркас сообщал о «высочайшем» разрешении по «всеподданнейшему» прошению Пушкина и предлагал ему немедленно же прибыть в Псков. В приложенной копии отношения начальника главного штаба значилось: «г. Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться к дежурному генералу главного штаба его величества».

Таким порядком — в сопровождении фельдъегеря и для доставки в главный штаб императора — возили арестованных по политическим преступлениям. Понятны слезы няни и ужас Анны Вульф. Процедура «увоза» была похожа не на «разрешение», а на приказ и не столько предоставляла возможность располагать собой, сколько предписывала беспрекословное повиновение.

Но Пушкина и в эту минуту не оставляет его самосознание поэта; он увозит с собой в неизвестность и, может быть, в новые скитания и заточения самую драгоценную часть своего «бедного» бытия: рукописи «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ВЕРХОВНЫЙ ЦЕНЗОР

1

Въезд Пушкина в Москву, разукрашенную для коронационных празднеств и подавленную беспощадной расправой с декабристами, как бы выражал новую эпоху, наступающую в истории царской России и в биографии ее первого поэта. Величественный фасад николаевской империи, скрывающий неуклонное разложение абсолютной монархии, и демонстрация «высочайших милостей» знаменитому писателю для удушения его независимой деятельности — таков был общий ход и трагический смысл государственных событий в последнее десятилетие жизни Пушкина.

Новый курс власти был взят сразу со всей решимостью. «Революция на пороге России, — заявил при вступлении на престол Николай, — но клянусь, она не проникнет к нам, пока я сохраню дыхание жизни».

Этим девизом определилась и первая беседа царя с автором «Вольности». К четырем часам дня 8 сентября 1826 года Пушкин был доставлен в Кремль и проведен в царские покои.

Несмотря на умение позировать и разыгрывать венценосца, новый самодержец еще не вполне вошел в свою роль. Подавленность событиями последнего года, тревога и растерянность явственно ощущались под натянутой маской величественного спокойствия. «Император был чрезвычайно мрачен, — сообщает один из очевидцев московских торжеств, — вид его производил на всех отталкивающее действие».

Николай I был немногим старше Пушкина. Сухой, длинный, безусый, с прямым профилем и тяжелым взглядом, он проявлял в разговоре решительность, властность, деспотизм.

Знаменитый русский поэт по многим причинам занимал и заботил его. Имя Пушкина было известно ему задолго до последнего следствия. Пушкин-лицеист не раз привлекал внимание царской семьи. Пушкин-ссыльный уже, несомненно, был известен великому князю. Сохранилось свидетельство о беседе Николая Павловича со своим царствующим братом как раз в этот период: «Прочел ли ты «Руслана и Людмилу»? — спросил его однажды Александр. — Автор служит по Коллегии иностранных дел, — это бездельник, одаренный крупным талантом».

Такая «высочайшая» оценка запомнилась будущему царю. Уже в июле 1826 года было произведено особое расследование в Псковской губернии о «поведении известного стихотворца Пушкина», который, по слухам, возбуждал к вольности крестьян. Тайный розыск не подтвердил подозрений правительства, но как раз в это время до властей дошли списки элегии «Андрей Шенье» с выпущенными цензурою стихами:

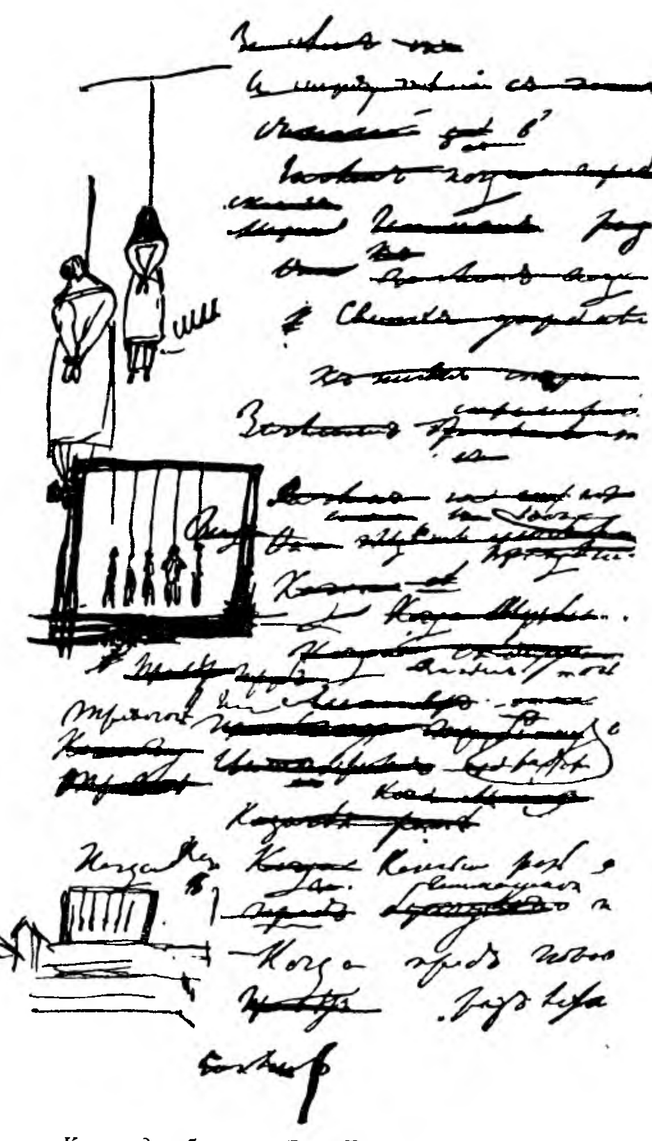
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! О ужас, о позор!..

Если вспомнить, что 13 июля были казнены вожди декабрьского восстания, а отрывок из элегии 1825 года распространялся в списках под заглавием «На 14 декабря», — станет понятным возникший в августе 1826 года пристальный интерес правительства к поэту. На прошении михайловского узника о сложении с него опалы царь через несколько дней после своего коронова́ния налагает резолюцию о доставке его в Москву. Он решает лично допросить поэта.

Имя Пушкина в середине двадцатых годов было силой, с которой новое правительство должно было считаться. Автор южных поэм пользовался исключительным признанием прежде всего в литературной среде, которую он, бесспорно, возглавлял даже в своем изгнании. «Имя твое сделалось народной собственностью», — констатировал Вяземский в сентябре 1825 года, называя Пушкина в одной из своих статей «юный атлет наш». «Тебе первое место на русском Парнасе», — писал ему Жуковский в 1824 году. «У тебя в руке резец Праксителя», — отзывается на первую главу «Онегина» Бестужев. Рылеев преклоняется перед этим *«чудотворцем и чародеем»*.

Правительство Николая I, пришедшее к власти в момент военного восстания, сочло необходимым сделать жест великодушия в сторону популярнейшего поэта страны, несмотря на то, что наличие революционных строф Пушкина в бумагах «государственных преступников» необычайно подчеркивало широкое революционное значение его поэзии. Вызов его из ссылки для политического допроса был превращен царем в некоторую дань подавленному общественному мнению после виселиц 13 июля и общего разгрома всего передового дворянства.

Для этого необходимо было тонко разыграть сцену «прощения» и прежде всего пленить самого поэта. Николай I умел играть. «Это был актер, питавший больше вкуса к театральным эффектам, чем к событиям исторической драмы», — писал о нем Гизо. Еще в молодости великий князь проявил свой



Казнь декабристов. Рис. Пушкина. Чернила.

вкус к французской сцене и сам стал пробовать силы в легком жанре. Он даже взял несколько уроков у первых артистов французской комедии, научивших его декламировать стихи Мольера и Реньяра. Во время следствия над декабристами он обнаружил исключительную способность применяться к личным свойствам каждого обвиняемого, всячески разнообразя способы воздействия — от строгости и устрашения до притворной ласки. Эту гибкость необходимо было в полной мере проявить и в первой беседе с поэтом. Роль была, несомненно, тщательно продумана и четко намечена. Предстояло разыграть нечто вроде модного тогда «Титова милосердия» — трагедии Метастазио, на текст которой была написана популярная опера Моцарта: римский император великодушно прощает заговорщиков-патрициев и заменяет им кару отеческими наставлениями. Таким «милосердным Титом» решил явиться Николай I перед первым писателем своей страны.

Сложны были и чувства Пушкина в день 8 сентября 1826 года. Он, конечно, стремился вырваться из заточения, но не любой ценой: предельной уступкой для него был отказ от антиправительственной пропаганды. Внутреннюю свободу своих убеждений он тщательно оберегал и даже рассчитывал, что сможет сохранить и в новое царствование свою независимость. Всякое сотрудничество с палачом Рылеева и Пестеля для него было исключено (в письме к Вяземскому он ясно дает понять, что никакого прошения на высочайшее имя он после 13 июля не подал бы). К самому себе он хотел и мог применить свои недавние строки:

Гордись и радуйся, поэт!
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет!
Ты проклял мощного злодея...

В состоянии такой внутренней борьбы и с такими иллюзиями о возможности «безвозмездного» прощения Пушкин вступил в кабинет нового царя.

Поэт почти ничего не записал об этом свидании,

кроме двух-трех строк в письмах к Осиповой и Языкову (о «любезности» приема и о решении царя быть его цензором). Рассказы о встрече в Кремле, записанные другими лицами, не могут считаться вполне достоверными. Но свидетельство второго собеседника, самого Николая I, представляет значительный интерес. Его известный рассказ Модесту Корфу свидетельствует, что поэт держал себя в эту трудную минуту с исключительным мужеством. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он». Так же примечателен и другой момент этой беседы: на вопрос царя, «переменился ли его образ мыслей и дает ли он слово думать и действовать иначе, он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим».

Дополним эти скудные сведения новым рассказом о первой беседе царя с Пушкиным. Он был сообщен Николаем I одному из «остроумнейших европейских дипломатов» (так впоследствии характеризовал его Бальзак), князю Козловскому, который пользовался признанием и в русских литературных кругах. О нем сохранились весьма хвалебные отзывы Вяземского, Плетнева и даже Пушкина, который обратился к нему с фрагментом:

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов Англии, любовник муз латинских .

Почитатель литературы, Козловский, естественно, интересовался биографией знаменитого русского поэта, а как видный дипломат получил возможность беседовать на эту тему и с царем. Разговор с Николаем I он занес в свой дневник, откуда эта страница попала в шестидесятых годах во французскую печать. Официально почтительный в отношении царя тон рассказа не заслоняет общей достоверности изложенного.

«Пушкин легко отклонил подозрения, которые в разных случаях проявлялись относительно его по-

ведения и которые были вызваны приписанными ему неосторожными высказываниями; он изложил открыто и прямо свои политические убеждения, не колеблясь заявить, что, если бы и был адептом нововведений в области управления, он никогда не был сторонником беспорядка и анархии... Но он не мог не выразить своего сочувствия к судьбе некоторых вождей этого рокового восстания, обманутых и ослепленных своим патриотизмом и которые при лучшем руководстве могли бы оказать подлинные услуги своей стране».

Эпизод заканчивается изложением речи царя об «ужасном заговоре», среди участников которого он, к счастью, не встретил Пушкина. «Император прибавил, что он разрешал ему отныне жить в обеих столицах или в любом другом месте государства, по собственному выбору; он прибавил к этому, что произведения Пушкина будут иметь отныне единственным цензором самого царя».

Рассказ этот, записанный со слов самого Николая, естественно выставляет его в самом выгодном свете, но в основном, поскольку он поддается сверке с другими данными, его следует признать, во всяком случае, весьма близким к истине.

Главный расчет правительства на общественный эффект «царской милости» оказался безошибочным. Коронационная Москва, занятая празднествами и официальной суетой, отметила возвращение поэта как крупнейшее событие.

Но это нисколько не побуждало Пушкина ускорить свой переход на правительственные позиции или отречься от своих оппозиционных высказываний. Через несколько дней после свидания с царем Пушкин увидел в тетради молодого Полторацкого недоконченный список своего «Кинжала». Он не только не сделал попытки уничтожить свое самое революционное стихотворение, но тут же дописал недостающие семь стихов, прославляющих Карла Занда, чье имя способствовало шесть лет тому назад созданию антиправительственной репутации автора «Вольности». Это был шаг большой смело-

сти, который сразу мог раскрыть высшей полиции подлинное отношение поэта к новому царю.

Недоверие к вольнодумному писателю сохраняло и правительство. Сейчас же после встречи в Чудовом дворце в сентябре 1826 года начался большой и длительный политический процесс, главным героем которого был Пушкин. Несколько молодых офицеров были арестованы за хранение списков его стихотворения «Андрей Шенье», выпущенного под названием «14 декабря». В конце сентября 1826 года военно-судная комиссия приговорила штабс-капитана Алексеева за распространение этой исторической элегии к смертной казни. Аудиториатский департамент предложил дополнительно отобрать показания еще у трех лиц, в том числе и у автора стихов. Только что освобожденный от долголетней кары, Пушкин сразу же попадал в тиски нового инквизиционного следствия.

В обществе московских знакомых Пушкин отправился 16 сентября смотреть большое гулянье на Девичьем поле. В народе ходили толки, что царь будет раздавать крепостным отпускные и награждать деньгами государственных крестьян.

Поэт увидел посередине огромного поля круглый павильон — «ротонду в стеклах и с камином для их императорских величеств», как сообщали официальные реляции. Вся площадь была установлена длинными столами, на которых сгрудились яства: жареные бараны с позолоченными рогами, разноцветные корзины с калачами, ведра пива и меда. Все это было грубо и аляповато — чувствовалось полное презрение устроителей к народным вкусам и нравам. Позаботились только о том, чтобы «споить» народ: по всему полю били каскады и фонтаны красного и белого вина. Для развлечения медленно наполнялся газами огромный воздушный шар; войско, полиция и конная стража с трудом удерживали у протянутых канатов натиск несметных толп: на «царское угощение» собралось свыше двухсот тысяч народа.

Коронационное празднество грозило превратиться в массовую катастрофу.

В двенадцать часов Николай I поднялся на возвышение и дал знак пропустить толпу.

Мгновенно все огромное поле заполнилось людьми, потерявшими от усталости и длительного ожидания даже чувство самосохранения. В это время поднявшийся над землею баллон лопается, окутывая всю окрестность густым черным дымом; оболочка шара падает, покрывая своей широкой тканью часть толпы, которая не в состоянии выбраться из-под этого гигантского савана. Испуганные зрители отброшены к трибунам, где уже кипит схватка толпы с полицией. Придворные, министры, генералы, само «августейшее» семейство в панике покидают свои кресла и под охраной растерянных жандармов стремятся вырваться из неудержимого человеческого потока. В этот стихийный разлив массы внезапно врезается казачий эскадрон во главе с обер-полицеймейстером Шульгиным, щедро угощающий народ нагайками. Царские гости — крестьяне, городское мещанство, старики, женщины — мечутся и падают, обливаясь кровью. Негодующая толпа с гулом и ропотом продолжает наступать и грозит совершенно захлестнуть полицейские и казачьи отряды вместе с оберегаемыми ими высшими сановниками государства и его верховным повелителем. Идея об антагонизме народа и власти, столь занимавшая Пушкина над рукописями «Годунова», как бы воплощалась перед ним политической современностью.

2

Перед отъездом двора и гвардии в Петербург по окончании коронационных празднеств Пушкин получил письмо от начальника нового учреждения высшей политической полиции — «III отделения собственной его императорского величества канцелярии» — генерала Бенкендорфа. Под учтивой формой в сообщении скрывался ряд язвительных внушений и строгих предписаний. По поручению царя шеф

жандармов назначал поэту некий политический экзамен — писать трактат «о воспитании юношества». Лестная фраза об «отличных способностях» адресата сопровождалась бесцеремонным выпадом: «Предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели вы совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания».

Это был подлинный голос новой власти; уже не «Титово милосердие», а облеченное в холодную форму официальной учтивости строжайшее распоряжение, еле прикрывающее лощеными выражениями недовольство и подозрительность начальства. Такой именно тон прочно установится в отношениях николаевского правительства к поэту и сохранится до самого конца. «Вы всегда на больших дорогах», — лично заявит Бенкендорф Пушкину, а царю сообщит о нем свое подлинное мнение: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и речи, то это будет выгодно».

Заняться в суете московской жизни порученным ему сочинением Пушкин не мог; он решил выполнить заданный урок в Михайловском, куда необходимо было вернуться для устройства дел перед окончательным переездом в Москву.

Трактат о воспитании был написан в несколько дней, без общего плана, без заботы о композиции и стройном развитии темы, без обычных качеств пушкинской прозы с ее энергичными и окончательными формулировками, с ее остроумием и изяществом. В самой методике построения своей записки он как бы выразил свой протест против «высочайше» навязанной темы. Сам поэт не придавал своему докладу творческого значения и никогда не пытался довести его до печати и читателей.

Но и в таком вынужденном заявлении Пушкин сумел сохранить некоторые живые и ценные положения. Он горячо отстаивает «просвещение», защищает ланкастерские школы, отмену телесных наказаний в школах, тщательное изучение русской истории. Он призывает педагогов «не хитрить, не

искажать республиканских рассуждений». Основная политическая позиция автора статьи отвечала его сложившимся за последние годы воззрениям о необходимости творить историю с полным учетом реальных сил и фактических возможностей, она только получала здесь более резкое и несколько официальное выражение.

Пушкину это давалось не легко. Недаром перед отъездом из Михайловского, 23 ноября 1826 года, он записывает строки, с поразительной ясностью и полнотой выражающие чувство, которое уже до конца не перестанет владеть им, — потребность ухода от официальных почестей в творческое одиночество:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод.

Но жизнь деспотически разрушала эти влечения. Закончив записку «О народном воспитании», Пушкин собирается в отъезд и в конце ноября уже находится в Пскове. Здесь он получает через Адеркаса письмо Бенкендорфа. По существу, это был выговор за оставление без ответа сентябрьского письма начальника III отделения и за общественные чтения «Бориса Годунова» в Москве. Пушкин в ответ и оправдание отсылает Бенкендорфу рукопись своей трагедии «в том самом виде, как она была читана», для заключения о судьбе его произведения.

Разъезды по северным уездам вводят в поэзию Пушкина новую тему — большую русскую дорогу. В конце двадцатых годов, а затем и в тридцатые годы в его лирике, новелле, романе начинал звучать мотив примитивного путешествия на почтовых и перекладных по размытым трактам, вдоль полосатых верст, шлагбаумов с инвалидами и станционных домиков с их забитыми смотрителями. Этой докучной теме «дорожных жалоб» придает неожиданный драматизм главная угроза зимних поездок — метели. С исключительной силой раскрыты тоска и тревога путника, захваченного снежной бурей, в знаменитых

«Бесах» (1829), где мотив народных поверий, простодушно высказанный ямщиком («в поле бес нас водит, видно»), вырастает в жуткую звуковую и зрительную картину зимней вьюги, сказочно одушевленной диким хороводом бесовских орд. Это один из гениальнейших опытов Пушкина в плане переработки фольклорной фантастики, развернутой здесь на привычном фоне зимнего пейзажа северных равнин и переходящий под конец в страшную символику огромной страны, над которой «бесконечны, безобразны» кружатся рати злых и неуловимых сил:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне.

Задержавшись в Пскове, Пушкин только 19 декабря вечером приезжает в Москву. Здесь происходит второй акт начавшейся драмы — «дружбы» с правительством, — которая уже становилась непрерывной борьбой за независимость, самостоятельность и писательское достоинство. Обращаясь весной 1826 года из Михайловского к верховной власти, Пушкин рассчитывал в лучшем случае на освобождение в обычном, общепринятом порядке путем соответствующей резолюции. Он не мог предвидеть той «личной милости», в какую намеренно превратили этот официальный акт с целью покрепче связать вольнодумного автора моральными обязательствами.

С точки зрения правительственных кругов, Пушкин как поэт был обязан «воспеть» своего верховного благодетеля. В обществе, хорошо знавшем эти неустранимые правила общения с двором, даже ходили слухи, что Пушкин в самом кабинете Николая, узнав о своем прощении, тут же экспромтом написал ему хвалебное посвящение.

Но ни в этот момент, ни в ближайшие месяцы поэт не смог заставить себя выполнить эту тяжелую обязанность. Александру I он «подсвистывал до самого гроба», о Николае I он соглашался молчать,

сохраняя про себя образ своих мыслей. Теперь же, после приема 8 сентября, он не имел права хранить молчание. Но только в конце декабря Пушкин решается, наконец, на этот мучительный шаг и пишет свои «Стансы»:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

Как и в лицейские годы, когда ему предлагали писать оды принцам, он обратился к истории и сосредоточился на замечательном героическом образе прошлого. Пусть аналогия с Петром I здесь грешила крайней натяжкой, все же она освобождала автора от необходимости дать персональную характеристику «царствующего монарха», писать его парадный портрет в бенгальском освещении придворной лести. Пушкин в трех строфах дает выпуклый образ Петра-правителя и завершает свою хвалу любимому герою простым и сугубо лаконическим выводом: «Семейным сходством будь же горд»; за этим уже следовали собственно некоторые советы поэта царю всячески укреплять это счастливое сходство. Трудно было в подобном жанре быть менее льстивым.

Лишь значительно позже это стихотворение было понято как заступничество за декабристов и призыв к реформам *. Современники же Пушкина этих нот не расслышали. Напротив, оптимизм поэта находился в противоречии с настроением передовых кругов, разгромленных Николаем. «Будущее являлось более чем грустным и тревожным», — характеризует общие переживания осенью 1826 года Кошелев; стансы Николаю I расходились с этим подавленным настроением и не могли встретить общественного сочувствия.

Вот почему в 1828 году Пушкин пишет новые стансы, посвященные «Друзьям» («Нет, я не льстец...»). Это было ответом обществу, но отчасти и актом самооправдания. Ведь совсем недавно, в ав-

* Впервые указано В. Стоюниным («Пушкин», СПБ., 1881, стр. 294).

густе 1826 года, Пушкин отказывался от всякого обращения к Николаю I, а к концу года был вынужден посвятить ему хвалебные строфы. Этим нарушалось требование его писательской программы, неоднократно выраженное им формулой «непреклонная лира». Еще в 1818 году Пушкин прекрасными стихами выразил это направление своей поэзии:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил;
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей...

Пушкин болезненно и тяжело переживал всякое отступление от этого принципа, которому до конца стремился оставаться верным. Он ценил Ломоносова не только как поэта и ученого, но еще более за то, что он не «дорожил своим благосостоянием», когда дело шло «о торжестве его любимых идей». Так открывается один из глубоких источников драмы поэта в последнее десятилетие его жизни.

Между тем в Петербурге решалась судьба «Бориса Годунова». Николай I не любил трагедий, которые обычно раздражали его своим вольным обращением с владыками. 14 декабря 1826 года Бенкендорф сообщил Пушкину заключение царя о необходимости переделать драму «в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта».

Сдержанное возмущение слышится в ответе поэта на «всемилостивейший отзыв его величества»: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

II

МОЛОДАЯ РОССИЯ

1

По-иному слагались после ссылки отношения Пушкина с писательским миром. Осенью 1826 года его тепло встретила литературная Москва. В род-

ном городе сохранились старые знакомства и связи: Вяземский, Чаадаев, Дмитриев, дядя Василий Львович. Но уже выступало и молодое литературное поколение, нарождалось самобытное движение русской мысли. Пушкин впервые познакомился с ним в кружке Веневитинова.

Этот лирик-философ служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел и объединил в кружок своих молодых сослуживцев, получивших прозвание «архивных юношей». Искатель новых путей для русской поэзии, прекрасный оратор, приводивший слушателей в восторг своими «жаркими диссертациями», к тому же музыкант и живописец, Веневитинов увлекал своей разносторонней одаренностью и, казалось, был призван руководить новым умственным движением. До 14 декабря он готовился к открытой борьбе с правительством и даже учился с юношеским увлечением фехтованию и верховой езде, чтоб успешнее действовать в обстановке уличного восстания. Но в момент встречи с Пушкиным, когда освободительное движение русского общества было грубо подавлено, он принял новую тактику — «план Сикста» *. «Служить, выслуживаться, быть загадкою, чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действий». Во всем этом еще сказывалось брожение молодой одаренной натуры, которая в литературе уже проявляла свою зрелость. Веневитинов успел заявить о себе в печати рядом первоклассных лирических и критических выступлений. Он напечатал незадолго перед тем в «Сыне отечества» этюд о первой главе «Евгения Онегина», отстаивая свою любимую идею о переходе литературной критики на философскую основу. Он заявлял себя горячим ценителем Пушкина:

Волнуясь песнию твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала..

---

* Сикст V (1521—1590) — римский папа с 1585 по 1590 год. Был избран в папы после многолетней тщательной маскировки своих целей и намерений. Пушкин упомянул его в «Полтаве» («Так оный хитрый кардинал...»).

Философские искания определяли направление литературного объединения, руководимого Одоевским и Веневитиновым, — московского «Общества любомудрия». Члены его общались с декабристами преимущественно на литературной почве, хотя и резко расходились с пропагандными задачами декабристской поэтики. Но после 14 декабря председатель Одоевский торжественно сжег в камине устав и протоколы дружеского союза, и члены его встречались теперь лишь на почве литературных чтений. В основу своей поэзии и критики они полагали некоторое умозрительное начало, обращаясь для выработки его к античным мудрецам и современным западным мыслителям, особенно к Шеллингу.

Пушкину идеализм московских любомудров был глубоко чужд. «Немецкую метафизику... я ненавижу и презираю», — писал он Дельвигу 2 марта 1827 года. Впрочем, некоторая оппозиционность, свойственная в то время «архивным юношам», вместе с их высокой культурностью могла привлечь сочувственное внимание Пушкина. При первом знакомстве сотрудничество представлялось возможным, несмотря на радикальное расхождение в самых основах мировоззрения (что вскоре и привело к разрыву).

Любомудры давно уже мечтали о журнале. Веневитинов разработал программу будущего издания, выдвигая главной его задачей «просвещение» или «самопознание народа». Необходимо создавать в России творения, которые бы носили на себе «печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке...». Так, искусство древней Греции неразрывно связано с мыслью Аристотеля. Новое просвещение в России должно опираться «на твердые начала философии», а лучшим выражением его во всем многообразии художественных и научных явлений мог бы явиться журнал.

Планы такого издания отвечали и замыслам Пушкина. При первой же встрече с Веневитиновым он заговорил о необходимости перейти от альманахов к большому периодическому изданию. Осенью 1826 года создалось ядро нового журнала — редак-

ция «Московского вестника». Главными сотрудниками были Д. В. Веневитинов, С. П. Шевырев, С. А. Соболевский, а редактором-издателем — М. П. Погодин; в числе постоянных участников находились А. С. Пушкин, В. Ф. Одоевский, Н. М. Языков, С. Т. Аксаков, А. Ф. Мерзляков, братья Киреевские. Журнал ставил себе задачу — достигнуть высшей зрелости в художественном творчестве и дать углубленное философское обоснование критической и научной прозе. Так намечалась борьба за высокую поэтическую и философскую культуру, за полноценное искусство слова.

Но приверженность к «готическому» романтизму (по термину Пушкина) отводила новое издание от живых социальных проблем эпохи и сильно ограничивала его значение и влияние. Первый номер «Московского вестника» открывался сценою Пимена и Григория из «Бориса Годунова». Здесь же Пушкин впоследствии опубликовал несколько крупнейших образцов своей философской лирики — «Пророк», «Поэту», «Чернь». В этом же органе ценителей Гёте была напечатана «Сцена из Фауста».

2

Новые друзья ввели Пушкина в литературный салон Зинаиды Волконской. Это была настоящая академия искусств среди фамусовской Москвы.

В одной из ниш концертного зала высилась огромная статуя Аполлона, убивающего дракона. Пушкин дал вскоре лучшее в мировой поэзии описание этого дельфийского кумира:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

Скульптурность и ослепительность этой строфы тем поразительнее, что она составляет часть эпиграммы на одного из посетителей Волконской — А. Н. Муравьева, отбившего по неосторожности

руку у мраморного бога и пытавшегося оправдаться стихами, написанными на цоколе статуи.

Здесь, среди изображений музыкантов и драматургов, Пушкин познакомился с выдающейся русской женщиной. Зинаида Волконская интересовалась русскими древностями, народными песнями, обрядами и легендами; она разработала план русского «эстетического музея» при Московском университете. Замечательная музыкантша, композитор и певица, обладавшая первоклассным контральто, она зачаровала слушателей и самого поэта пением его «морской» элегии, написанной некогда на палубе брига между Кафой и Гурзуфом. Московскому композитору Гениште удалось передать шум бриза, волн и парусов, а глубокий голос певицы придавал подлинный драматизм взволнованному строфическому припеву:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Один из слушателей этого концерта, Вяземский, следивший за впечатлением Пушкина, уловил на его лице «детский и женский признак сильной впечатлительности» — смену красок от радости и смущения...

В гостиной Волконской Пушкин охотно выступает с чтением своих стихов перед избранной аудиторией поэтов, историков и философов.

12 октября Пушкин читал «Бориса Годунова» у Веневитиновых. С утра собралась обширная аудитория, как на концерт или лекцию. Молодой поэт пригласил своих сослуживцев по архиву иностранных дел и сотрудников по московским изданиям. Здесь были поэты и ученые — Баратынский, Мицкевич, Хомяков, Киреевские, Погодин, Шевырев и другие представители московского «любомудрия» и «любословия».

Пушкин появился в белом зале Веневитиновых ровно в полдень. Он был в черном сюртуке, высоком жилете, застегнутом наглухо, свободно повязанном галстуке. Поэт развернул объемистую тетрадь.

«Наряжены мы вместе город ведать...» — начал читать он своим сдержанным, необыкновенно благозвучным, чуть поющим голосом.

Первые сцены, отрывочные и короткие, еще не захватили аудиторую. Кремль, Красная площадь и Девичье поле, по позднейшему воспоминанию Погодина, даже вызвали недоумение слушателей. Новаторство Пушкина в драме смущало учеников Сумарокова и Озерова. Но ночная беседа в Чудовом монастыре сразу же поразила и увлекла всех. С необычайной жизненностью и драматизмом выступали исторические портреты старинных властителей, очерченных в нескольких стихах, развертывалась древняя хроника преступлений и битв. Аудитория ожила, стала вибрировать в ответ чтецу, прорываться восклицаниями и восхищенными возгласами. Сцена у фонтана, развернутая в психологическом плане, полная внутреннего напряжения, вызвала дружный взрыв восторга. Перед такой взволнованной и возбужденной аудиторией Пушкин дочитал свою рукопись с ее заключительной краткой и леденящей ремаркой: *«Народ в ужасе молчит.* — Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! — *Народ безмолвствует».*

Долгое безмолвие было ответом и Пушкину. Лишь понемногу вышли из своего оцепенения завороженные слушатели и бросились к чтецу с восклицаниями и приветствиями.

Особенно сильное впечатление произвела сцена в келье. По мнению Шевырева, «это создание поэта русского, ибо характер Пимена носит на себе благородные черты народности». «Мне показалось, — вспоминал Погодин, — что мой родной и любимый Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена». Веневитинов отмечал независимость Пушкина от Карамзина: исходя из своего замысла, поэт-драматург «внес в свое творение величавую строгость истории». Пушкин продолжал в увлечении читать слушателям свои новейшие произведения (песни о Степане Разине, пролог к «Руслану и Людмиле»).

Так проходили осенние месяцы 1826 года.

Среди напряженных тревог нового строя произошла встреча, глубоко взволновавшая Пушкина. 26 декабря он застал у Зинаиды Волконской попутчицу своей поездки по Кавказу и Крыму Марию Николаевну Раевскую, ставшую в 1825 году женой Сергея Волконского. Девушка, внушавшая ему чувство живой и нежной преданности, вдохновительница его первых южных элегий, встретилась с ним теперь в самый разгар захватившей ее политической трагедии. Резвившаяся шалунья, игравшая с прибоем азовских волн или называвшая своим именем таврическую звезду, обрекала себя теперь на скитания по Сибири и на жизнь у каторжных рудников. Москва для нее была только первым этапом по пути следования в Нерчинск. Эпоха неожиданно раскрывала в людях героизм, о котором до 14 декабря трудно было догадываться.

Музыкой и пением знаменитых итальянцев «Северная Коринна» хотела в последний раз развлечь и утешить добровольную изгнанницу, отъезжавшую в ледяную пустыню и ужасающую безвестность. Пережитая катастрофа не сломила ее. Когда заговорили о правительственных гонениях, которым подверглись устроители концерта в пользу одного заключенного, Мария Николаевна с жаром прервала рассказ: «Их признали слишком свободомыслящими...»

На фоне суеты и лжи современного общества образ этой женщины казался единственным выражением подлинной героической правды. Пушкин был глубоко взволнован. «В эпоху добровольного изгнания нас, жен ссыльных, в Сибирь, — записала впоследствии Волконская, — он был преисполнен искренним восторгом». Ему хотелось в последний раз согреть ее бодрой мыслью, утешительными словами. Он рассказал ей о своем стихотворном послании к сибирским каторжникам, среди которых у него такие близкие и дорогие друзья:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье

В самих образах и ритмах этих немногих строф о «скорбном труде» и неизбежном грядущем избав-

лении звучало действительно нечто гордое и бодрящее, слышалась непоколебимая и убеждающая уверенность в конечном торжестве свободы. Пушкин не хотел прощаться навсегда с подругой своих юных лет. Расставаясь, он обещал навестить ее в Нерчинских рудниках, куда он хотел направиться с Урала, с мест пугачевского восстания, о котором собирался писать книгу. Мария Николаевна благодарила поэта и чувствовала, что им больше не придется свидеться.

Среди писем от литературных друзей Пушкин получает в эту зиму и сообщения от Арины Родионовны, уже доживающей свой век, но не перестающей хлопотать о своем питомце, его книгах, здоровье и делах. Одно из таких писем пришло в начале марта 1827 года. В нем наивно и трогательно перемешивались официальные формулы почтительности с непосредственной материнской нежностью: няня обращалась то на «вы», как полагается в разговоре с барином, то просто на «ты», как к питомцу и ребенку. «Милостивый государь» или «любезный друг» сменялись неожиданным «мой ангел». Благодарность за милости переходила в просьбу поскорее приехать в Михайловское: «всех лошадей на дорогу выставлю...» Пушкин был глубоко тронут этими простыми, нескладными и ласковыми словами. Не заслуживает ли эта любящая старушка его стихотворного посвящения не меньше, чем Зинаида Волконская или Анна Керн? Он взял перо и ответил Арине Родионовне стихами, которым суждено было остаться в ряду его прекраснейших строф:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь...

«Один такой отрывок, — писал в пятидесятых годах Некрасов, — может наполнить на целый день душу избытком сладких и поэтических ощущений»; нельзя не любить «эту музыку любви и сиротливой грусти, исходящую из благородного, мужественного, глубоко страдающего сердца».

Но другие встречи и образы отвлекали Пушкина от поездки в деревню. Он все более тяготится одиночеством и стремится ограничить, наконец, «домашним кругом» свою жизнь. Об этой поре своего существования он набросал несколько позже отрывок:

«Женись».— На ком? — «На Вере Чацкой».—
Стара. — «На Радиной». — Проста...

Этот набросок о калейдоскопе невест отчасти соответствует светскому быту поэта в 1826—1828 годах. После Софьи Пушкиной он делает предложение семнадцатилетней Екатерине Ушаковой, веселой и бойкой красавице, отличной певице и остроумной собеседнице. Пушкин узнавал ее «по веселой остроте», «по приветствиям лукавым» и «по насмешливости злой». Он любил бывать на Пресне в семье Ушаковых. Мать семейства пела ему народные мотивы, а две сестры — Екатерина и младшая Елизавета — вели с ним непрерывный турнир остроумия, шуток, взаимных сатирических характеристик, юмористических записей и пр. У Елизаветы Николаевны остался на память альбом, весь испещренный острыми и характерными рисунками Пушкина, его легкими и меткими карикатурами, блестящими автопортретными эскизами, шутливыми изречениями и забавными стихами.

К концу весны поэт получает разрешение на поездку в Петербург, но с обычным начальственным назиданием «вести себя благородно и пристойно». После семи лет перед ним снова

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид...

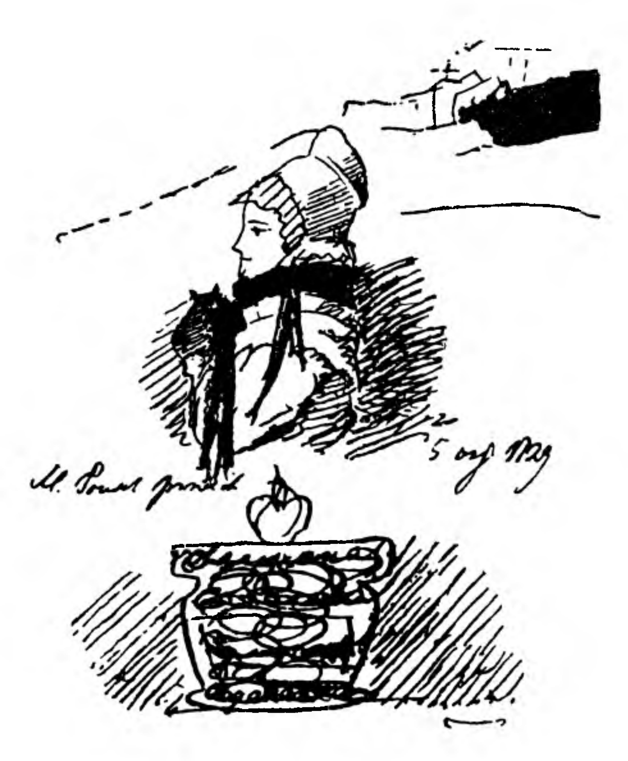
Разгром передового дворянства и вольных объединений в 1826 году совершенно видоизменил облик столицы. Из собеседников своей молодости Пушкин здесь

уже почти никого не застал. Николай Тургенев, Михаил Орлов, Чаадаев, Катенин, Пущин, Лунин, Никита Муравьев, Якушкин — все были рассеяны по свету: кто в Москве, кто в деревне, кто в чужих краях, кто в Сибири. Никаких объединений вроде «Арзамаса», «Зеленый лампы» или «Общества 19 года», никаких «партий» в театральных залах. «Петербург стал суше и холоднее прежнего, — писал Вяземский 18 апреля 1828 года, — общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет». Все стало чинным, однообразным, настороженным, даже частная жизнь, казалось, восприняла казенную выправку правительственного быта со штампованным вензелем Николая I.

Из этой столичной «черни» гостиных и кружков Пушкин выделял немногих друзей — в первую очередь Дельвигов *. У них бывали Гнедич, Плетнев, М. И. Глинка, литератор Орест Сомов, Анна Петровна Керн, М. Л. Яковлев (лицеист, ставший известным композитором), Сергей Голицын (поэт-любитель и музыкант, сообщивший Пушкину сюжет для «Пиковой дамы»). По свидетельству Керн, Дельвиги были большими любителями музыки; молодые композиторы выступали здесь со своими новыми произведениями, «а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон бравурный, модный романс или баркароллу». На другой же день после своего возвращения в Петербург, 25 мая 1827 года, Пушкин читал у Дельвигов «Бориса Годунова».

Николаевская эпоха продолжала «шествовать путем своим железным» *(Баратынский)*. Процесс об элегии «Андрей Шенье» продолжался. 29 июня 1827 года Пушкину пришлось снова давать по этому поводу объяснения, на этот раз по запросу Аудиториатского департамента военного министра. Указав, что его элегия была разрешена цензурой за два месяца до 14 декабря, он повторил, что имел в ней в виду события и деятелей французской революции.

* В 1825 году Дельвиг женился на С. М. Салтыковой.



Ел. Н. Ушакова в чепце, с котом в руках; сосуд с пылающим сердцем. Рис. Пушкина. Чернила. Ушаковский альбом.

Почти одновременно с этими показаниями Пушкин пишет 16 июля 1827 года свое стихотворение «Арион», где с глубоким сочувствием изображает декабрьское движение в виде плывущей ладьи, воспевает «дружные» усилия гребцов и осторожное водительство умного «кормщика». Здесь впервые Пушкин объявляет себя поэтом декабризма:

А я, беспечной веры полн,
Пловцам я пел...

Одновременно прокламируется и верность спасенного певца общему делу потерпевших кораблекрушение, как и вольным песням, вдохновлявшим их: «Я гимны *прежние* пою...» Схваченный тисками политического допроса, поэт словно стремится противопоставить враждебной силе свою преданность делу свободы и революционного действия.

Новое наступление правительства оставляет горький осадок — «пошлости и глупости обеих столиц» Пушкин, согласно его признанию Осиповой, предпочитает Тригорское.

8

В конце июля он уже в Михайловском. Это пребывание в деревне в августе — сентябре 1827 года связано с работой Пушкина над его первым прозаическим произведением, которое осталось одним из наивысших его достижений в этом жанре. Сжатость и блеск исторического изложения при его драматизме и выразительности сообщают «Арапу Петра Великого» значение одного из лучших образцов художественного воссоздания прошлого. Это не просто исторический роман, это первый у нас опыт романа биографического. Пушкин решил изобразить необычайную судьбу своего сказочного прадеда. Тщательно изучив фамильную хронику и старинные записки, поэт сочетает здесь биографию своего предка с крупными событиями и общей картиной эпохи. Политическая тема звучит наравне с романической. Один из намеченных к роману эпиграфов — «Железной волею Петра преображенная Россия» — показывает, что одной из его господствующих тем должна была стать ломка и строительство государства. В центре романа — две подлинные фигуры, данные самой историей: молодой инженер Ибрагим и государственный реформатор Петр. Искусство выразительного и четкого исторического портрета, очерчивающее одной фразой фигуру во весь рост, здесь достигает высшего мастерства («...В углу человек высокого роста в зеленом кафтане с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты... — Ба, Ибрагим! — за-

кричал он, вставая с лавки: — Здорово, крестник!»). Прилежно изученные Пушкиным свидетельства современников набрасывают легкий налет хроникального рассказа на картину Парижа эпохи регентства, когда «французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей». Уверенно и четко вычерчены костюмы и бытовые детали — от красных каблуков, перчаток и шпаги вертопраха Корсакова, помешанного на парижских модах и презирающего «варварский Петербург», до канифасных юбок и красных кофточек на женах голландских шкиперов. Дым, глиняные кружки и шахматы ассамблеи создают колоритнейшую жанровую картину российского барокко начала XVIII века. Романическая биография пушкинского предка развертывает целую полосу европейской жизни с парадными ужинами, оживленными остроумием Вольтера, с выходами герцога Орлеанского, испанской войной и первыми торговыми судами на Неве. Повесть об отдельной жизни развертывается в широкую фреску эпохи. В беглых зарисовках замечательно схвачен дух великого строительства, или, по глубокому выражению Пушкина, «победа человеческой воли над сопротивлением стихий»: это сказывается и в плотинах, и в каналах, и в мостах, и в лесе мачт над великолепной, первобытной, еще не окованной в гранит Невой.

Историческая картина вырастала из фамильного предания. «Главная завязка романа, — сказал Пушкин Алексею Вульфу, — будет неверность жены арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь». Так преломлялась в плане романической композиции судьба несчастной красавицы гречанки Евдокии Диопер, испытавшей до конца трагическую суровость ганнибаловского темперамента.

Работая над историческим романом, Пушкин продолжает в лирической форме решать проблему о современном поэте; после «Ариона» он отстаивает свою творческую свободу в стихотворении «Поэт», где снова звучит тема непреклонного певца («К ногам народного кумира не клонит гордой головы...»). Тот же мотив раздается и в элегической вариации на тему

Шенье («Близ мест, где царствует Венеция златая...»): певец под голос жестоких бурь продолжает обдумывать свои «тайные стихи».

В середине октября Пушкин оставил Михайловское. По пути в Петербург, на станции Залазы, между Боровичами и Лугой, он неожиданно нашел на столе «Духовидца» Шиллера. Поэт раскрыл книгу и невольно зачитался этой увлекательной повестью с ее быстрым ходом событий и драматическим описанием инквизиционного трибунала. Он с интересом пробегал страницы, когда под окном раздался грохот и звон правительственных троек: служителей венецианской инквизиции внезапно сменили фельдъегери и жандармы. Это везли из Шлиссельбурга политических преступников. Пушкин вышел взглянуть на арестантов.

Он увидел среди них странную длинную фигуру в убогой фризовой шинели, в косматой меховой шапке. «Преступник? Шпион, быть может?» Но в это время он уловил на себе горящий взгляд рослого арестанта, обросшего черной бородой. «Мы пристально смотрим друг на друга, — записал на другой же день Пушкин, — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг к другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательствами. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали». Через два года в письме из Динабургской крепости Кюхельбекер изумлялся, как Пушкин мог узнать его в «таком костюме» после долгих лет разлуки. По рапорту фельдъегеря, сопровождавшего Кюхельбекера, Пушкин пытался передать ему деньги для арестованного и, встретив отказ, решительно настаивал на своем праве «распроститься с другом и дать ему на дорогу денег».

Встреча эта глубоко взволновала поэта: лицейский однокашник неожиданно вырастал в героическую фигуру. «Внук Тредьяковского Клит», к которому Пушкин так широко применял право школьного товарища на шутку и пародию, был одним из тех, кто закрепил силу своих вольнолюбивых стихов революционным действием: по официальной формуле, он «лично дей-

ствовал в мятеже с пролитием крови и мятежников, рассеянных выстрелами, старался поставить в строй». Постоянный объект для эпиграмм, он вызвал судорогу ужаса у петербургского правительства, приговорившего его к смертной казни через отсечение головы.

Теперь этого «злоумышленника», угрожавшего российскому самодержцу, мчали фельдъегерской тройкой из одной политической тюрьмы в другую. Через несколько дней в стихотворении, посвященном лицейской годовщине, 19 октября 1827 года, Пушкин пошлет свой бодрящий привет двум школьным товарищам — Кюхельбекеру и Пущину, искупавшим свой гражданский подвиг заточением «в мрачных пропастях земли».

В Петербург Пушкин прибыл к именинам другого друга-лицеиста. 17 октября он поднес Дельвигу череп, привезенный Вульфом в Тригорское для хранения табака и породивший затейливую легенду: якобы поэт Языков похитил его для своих научных занятий из рижского склепа баронов Дельвигов. Пушкин и решил поднести издателю «Северных цветов» мертвую голову его предка для превращения ее в застольную чашу. Но главной ценностью подарка было приложенное к нему стихотворение с живой зарисовкой каморки дерптского студента и феодальных гробниц готической Риги.

Превосходны в этом посвящении как бы случайно брошенные автором его обычные противопоставления поэта светской черни:

Сквозь эту кость не проходил
Луч животворный Аполлона;
Ну, словом, череп сей хранил
Тяжеловесный мозг барона...

После лицея Пушкин щедро расточал свою поэзию в петербургских кружках. Теперь он стал сдержаннее. Столичный общественный круг 1828 года — от сановных следователей до пресмыкающихся журналистов — представляется ему сплошным сборищем ничтожных и низменных искателей, помышляющих лишь

о «единой пользе». Этой «черни» противопоставляет себя Пушкин в знаменитом стихотворении-диалоге 1828 года.

Бездушной и тусклой обывательской среде во всех ее отслоениях от салонов до редакций поэт согласен дать свой суровый урок: заявить ей, что художник создан «не для корысти», не для развлечения и потехи рабского и «хладного» мещанства, а для вдохновенного труда. Служение искусству приобретало в условиях этой рабьей действительности и отсталых воззрений некоторый характер общественного протеста. Он был одинаково направлен против угодливых требований «Северной пчелы», ожидающей от поэта специфических «восхвалений», и против реакционного учения устарелых риторик, признающих целью художества нравоучение. Пушкин борется за высокие творческие права художника, недосягаемые для притязаний «тупой черни», нисколько не отрывая при этом творящего мастера от задач общего дела и широких человеческих интересов.

Заключительные строки стихотворения «Поэт и толпа» («Для звуков сладких и молитв») перекликаются с вариантом позднейшего «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел...

Народ преклоняется перед поэтом за его строгий творческий подвиг, свершенный им для народа и во имя любви к нему. Пушкин не отказывался от этого служения, не освобождал писателя от таких жизненных задач. «Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления, — писал о нем Мицкевич. — Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Гёте». Это убеждение в социальном призвании поэта он выразил со всей полнотой в последнюю эпоху своей жизни.

Среди новых знакомых Пушкина особенное значение имела Елизавета Михайловна Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова и мать известной красавицы Долли Фикельмон, жены австрийского посла. Дом их

представлял в Петербурге международный политический салон, где в то же время ревностно сохранялся культ славного русского прошлого — доблестные кутузовские традиции. Переписка Пушкина с Е. М. Хитрово свидетельствует о прочном дружеском чувстве и несомненном интересе поэта к уму и знаниям этой высокообразованной женщины. Именно она познакомила Пушкина с творчеством Стендаля и доставила поэту роман «Красное и черное», от которого он был в восторге.

Из театралов 1818 года Пушкин встретился снова с Грибоедовым. 14 марта 1828 года Петербург с необычайной торжественностью, непрерывными пушечными салютами, не смолкавшими весь день, встречал приезд молодого дипломата, посланного Паскевичем в Петербург с текстом Туркманчайского мира. Договор этот, в значительной степени составленный блестящим драматургом, заканчивал весьма выгодно для России персидскую войну. На другой же день Грибоедов был принят Николаем I, награжден чином, алмазным крестом и четырьмя тысячами червонцев. Судьба его казалась многим легендарной: лишь два года тому назад он сидел арестованный под крепким караулом в главном штабе по делу о 14 декабря и был на сильнейшем подозрении у самого царя. А 14 апреля 1828 года он был назначен полномочным посланником российского императора в Персии. Несмотря на служебные хлопоты в связи с высоким назначением, автор «Горя от ума», как поэт и музыкант, широко общался с артистическими кругами столицы.

После десятилетней разлуки «персидский Грибоедов» показался Пушкину сильно изменившимся: он обгорел под южным солнцем, пожелтел от лихорадки, утратил живую веселость взгляда. «Я там состарился, — говорил он друзьям о своем пребывании в Тегеране, — не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости». Это был близкий Пушкину герой его поколения, как Чаадаев и Александр Раевский, человек выдающегося ума, с охлажденными чувствами. «Это

один из самых умных людей в России, — говорил о нем Пушкин Ксенофонту Полевому. — Любопытно послушать его».

В доме издателя «Отечественных записок» Грибоедов в присутствии Пушкина читал отрывок из своей новой трагедии «Грузинская ночь». Автора «Бориса Годунова» должна была заинтересовать общность их творческих исканий: это была романтическая трагедия на основе народных сказаний Грузии. «Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина...»

Поэты общались в то время с молодым музыкантом Глинкой. По приезде в Петербург Пушкин слушал его импровизацию, подробно описанную Керн: «У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки...» Замечательный музыкант, Грибоедов сообщил Глинке тему одной грузинской песни, которую композитор стал разрабатывать на рояле. Мотив увлек Пушкина; он «нарочно под самую мелодию» написал слова:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной .

Совместное творчество Грибоедова, Глинки и Пушкина создало один из шедевров русской романсовой литературы.

Вскоре поэты расстались. Новый пост предвещал министру-резиденту в Персии неминуемую катастрофу. Как первоклассный дипломат, Грибоедов безошибочно предвидел, что персидское правительство жестоко отомстит ему за Туркманчайский договор. «Он был печален и имел странные предчувствия, — записал впоследствии Пушкин. — Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Вы не знаете этих людей; увидите, игра не обойдется без ножей» (в оригинале по-французски).

Это был последний разговор двух поэтов, но по случайному совпадению обстоятельств не последняя их встреча.



Дом в Одессе, где жил Пушкин.



Пушкинский грот в Каменке, где собирались декабристы.



Никита Муравьев.
Рис. П. Соколова.



И. И. Пущин.

На чтении «Бориса Годунова» у Лаваль присутствовал и Мицкевич. Возникшая в Москве дружба с Пушкиным получила теперь заметное развитие и углубление

В Демутовом трактире Мицкевич однажды импровизировал среди друзей на большую социальную тему — о будущем соединении всех народов в одну семью. Польский поэт призывал русских писателей противопоставить вражде государств дружбу наций. Импровизация о международном братстве произвела сильнейшее впечатление на слушателей и надолго запомнилась. О ней Пушкин упоминает в своих знаменитых стихах 1834 года

Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся
Мы жадно слушали поэта

Беседы их касались и других исторических тем. В стихотворении «Памятник Петра Великого» Мицкевич дал знаменитое описание дождливых сумерек на Сенатской площади, когда два поэта, прикрывшись одним плащом, стояли у Фальконетова монумента. Польский поэт описывает сокрушительную скачку царского коня к обрыву пропасти и предсказывает время, когда «Свободы солнце всем блеснет и рухнет водопад тиранства ..». Тема Петра в этот необычайный петербургский вечер волновала мысль обоих поэтов.

Зимою 1828 года сестра Пушкина тайно обвенчалась с чиновником Павлищевым и поселилась на собственной квартире в Придворных слободах. Для ведения хозяйства она выписала из Михайловского Арину Родионовну, по-прежнему готовую пестовать свою первую питомицу.

Но старушке уже недолго пришлось управлять ее хозяйством. После кратковременной болезни нянюшка тихо скончалась на руках Ольги Сергеевны 31 июля 1828 года.

Скромны были похороны бывшей крепостной, уже неразрывно связавшей свое смиренное имя с историей русской литературы. Поэт Языков в стихотворении «На смерть няни А. С. Пушкина» верно предсказал, что ее образ не умрет «в поучительных преданиях про жизнь поэтов наших дней». Этот лирический некролог был широко оправдан временем. Народной сказительнице, легенды которой записывал Пушкин, чьи песни он преображал в свои волшебные поэмы и чей простодушный и мудрый образ он столько раз любовно зарисовывал в своих творениях, суждено было пережить многих прославленных писателей своей эпохи. Сильнее и глубже всех «муз романтизма» она участвовала в поэтическом движении пушкинской плеяды. Как лесной родник, питающий великие реки, она была живым источником притчи Жуковского о царе Берендее и бессмертных фантазий Пушкина о царе Салтане, о мертвой царевне и о том несравненном лукоморье, где «лес и дол видений полны»... Наряду с чудесными вымыслами и минувшая быль эпохи императриц, хорошо запомнившаяся рабе Ганнибалов, питала ее устные рассказы и могла служить Пушкину для художественной хроники о его предках. «Ты занимала нас, добра и весела, про стародавних бар пленительным рассказом», — писал в 1827 году Арине Родионовне ее восхищенный слушатель Языков. И верный ее памяти Пушкин вскоре по-своему справил поминки по этой народной сказочнице в яркой бытовой живописи своего «Свата Ивана»:

...Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала!
И куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины[1]..

В бурную историю жизни Пушкина особый, ровный и теплый свет льется от образа этой северной крестьянки, ласкавшей мальчика, утешавшей узника

и вдохновлявшей гениального поэта. Если друзьям его и не удалось отыскать ее «крест смиренный», чтоб увековечить для потомства надгробный холмик этой замечательной песельницы, образ ее неизгладимо запечатлелся в сердцах русских людей. Кто не помнит «Филиппьевну седую», кто не любит няню Татьяны? Кто не чувствует в чертах крепостной старушки Лариных живой прообраз сердечной русской женщины, которую Пушкин с такою сыновней нежностью называл в жизни своей «мамушкой», а в стихах — своей «голубкой дряхлой»? Вдохновительница величайшего национального поэта, Арина Родионовна всегда будет жить в благодарной народной памяти вместе с его бессмертными творениями.

III

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

1

18 ноября 1827 года Пушкин получил срочный вызов к московскому обер-полицеймейстеру. Грозный генерал Шульгин сообщил ему запросы военно-судной комиссии: «им ли сочинены известные стихи, когда и с какой целью?» и «почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в сих стихах изъясненное?» Под «злоумышленниками» имелись в виду руководители восстания 14 декабря. Пушкину, таким образом, высказывалось подозрение правительства в его осведомленности о готовившемся военном покушении на самодержавие.

«Александр Пушкин не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть», — написал поэт против первого пункта, а на второй ответил: «Он не помнит стихов, могущих дать повод к такому заключению».

27 января Шульгин представил Пушкину в запечатанном конверте отрывок из «Андрея Шенье», известный в обществе под заглавием «На 14 декабря». Отрывок начинался прославлением событий 1789 года во Франции:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом,
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ
Я зрел, как их могущи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников всходили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон,
Оковы падали

Пушкину оставалось только восстановить историю своей элегии и указать на подлинный смысл фрагмента.

Он объяснил, что стихи написаны им задолго до «последних мятежей», что относятся они к французской революции и имеют в виду взятие Бастилии, присягу в манеже, ответ Мирабо, перенесение тел Вольтера и Руссо, казнь Людовика XVI, деятельность Робеспьера и Конвент. Такое обилие исторических имен и фактов исключало возможность приурочения этих стихов к современности. «Все сии стихи, — заключил Пушкин, — никак *без явной бессмыслицы* не могут относиться в 14 декабря».

Независимость и резкость последней фразы звучали вызовом власти, и так именно она и была воспринята высшими инстанциями. «Дерзость» поэта, брошенная прямо в лицо органам верховного сыска, отразилась на окончательном приговоре по этому делу, которое тянулось еще полтора года. Только 28 июня 1828 года государственный совет дал резолюцию «в отношении к сочинителю Пушкину», «что по неприличному выражению его в ответах своих насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по

духу самого сочинения поручено было иметь за ним секретный надзор». Заключение это было утверждено Николаем I.

Одновременно с органами политического следствия выступает против Пушкина и официальная церковь. На этот раз обвинение в государственных преступлениях возбуждает против него «первенствующий иерарх православия» — петербургский митрополит Серафим, боевой политик и воинствующий церковник. 28 мая 1828 года до него дошли списки «Гавриилиады». Можно представить себе, с каким негодованием воинствующий монах читал иронический рассказ о том, как

Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей

Грозный митрополит, подвергавший беспощадному сожжению богословские трактаты за малейшее отклонение от буквы священных текстов, увидел в пушкинской поэме дьявольское наваждение, о котором счел необходимым немедленно довести до сведения самого царя.

Николай I распорядился взять под арест распространителя богохульной поэмы штабс-капитана Митькова и поручить рассмотрение дела особой комиссии с неограниченными полномочиями.

Высокие сановники поручили произвести первый допрос поэта петербургскому военному генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову — тому самому, по имени которого полицейский карцер стали называть «кутузкой».

Не подозревавший о новой беде Пушкин летом 1828 года «кружился в вихре петербургской жизни». Он много играл в карты, и к этому времени относится его «баллада об игроках» («А в ненастные дни...»). Одновременно он увлекся женщиной бурного характера и больших страстей — Аграфеной Закревской, которую Баратынский называл Магдалиной, а Пушкин «беззаконной кометой». Среди этих развлечений он неожиданно получает в начале

августа вызов к петербургскому генерал-губернатору.

Вспомнилась несчастная весна 1820 года. Вызов к Милорадовичу, толки о крепости, о Сибири и Соловках, ссылка на юг... О чем теперь его будут допрашивать?

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду .

Кабинет Голенищева-Кутузова ничем не напоминал собрания художественных редкостей Милорадовича. Новый генерал-губернатор был чужд всякой театральности. Он был угрюм и суров. Именно ему в 1826 году было поручено руководить казнью декабристов.

Сухо и строго, держа перед глазами документ, он предложил Пушкину «во исполнение высочайшей воли» дать ответ власти: им ли писана поэма, известная под названием «Гавриилиады»?

Положение оказывалось не менее серьезным, чем в 1820 году. За оскорбление церкви закон угрожал ссылкой в отдаленные места Сибири.

После некоторой паузы Пушкин решительно и твердо отказался от «Гавриилиады» и признал только, что в лицейские годы имел собственноручный список этой поэмы (очевидно, поэт предполагал, что в руках правительства находится один из автографов запретного произведения).

Через две недели после первого допроса Пушкин снова был вызван к петербургскому военному губернатору.

«Государь император соизволил поручить мне спросить у вас, — заявил Голенищев-Кутузов, — от кого получили вы в 1815 или 1816 году в лицее поэму «Гавриилиаду», ибо открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под вашим именем».

Высочайшее недоверие выражалось довольно открыто. Но изменять показание уже было поздно. Пушкин дал письменный ответ: «Рукопись ходила между офицерами Гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 1820 году».

Но следственное упорство Николая I не так легко было сломить. Получив новое «запирательство» поэта, он отдает приказ о вызове Пушкина уже не к генерал-губернатору, а к председателю верховной комиссии для прочтения ему новой «высочайшей» резолюции.

Пушкин предстал перед главнокомандующим Санкт-Петербурга и Кронштадта графом П. А. Толстым. Сановный старец объявил ему царскую резолюцию:

«Призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».

Это было прямым выражением «высочайшего» недоверия и одновременно требованием полного сознания.

Пушкин погрузился в долгое размышление. Необходимо было сознаться, но как идти на это после прежних официальных показаний? Единственный выход — непосредственный ответ Николаю I.

«Позволено ли будет написать прямо письмо царю?» — задал он вопрос Толстому. Получив утвердительный ответ, Пушкин написал письмо «на высочайшее имя».

Взятый Николаем I курс на строгую маскировку всех репрессий, предпринимаемых против Пушкина, привел и на этот раз к демонстративному жесту «прощения»: дело о «Гавриилиаде» было прекращено. Правительство получило сознание подследственного и владело документом, который в случае нового выступления его автора бил наверняка.

Но не только власть судила поэта: свершался и обратный суд. По карандашному тексту чернового

показания Пушкина о «Гавриилиаде» сделан чернилами набросок «Анчара». 9 ноября 1829 года Пушкин написал это сдержанно-гневное стихотворение — один из самых сильных протестов против угнетения человека человеком:

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки

Тираническое единовластие, беспощадно попирающее права личности и жизнь народов, бросающее на верную смерть «рабов» во имя укрепления своей мощи кровопролитнейшими завоеваниями, — в таких немногих чертах раскрывалась коренная сущность «неправедной власти», тяготевшей над судьбами страны и ее первого поэта.

2

В начале декабря Пушкин уже был в Москве. Недолгое пребывание в ней оказалось на этот раз переломным в его «изменчивой судьбе» и определило все дальнейшее направление его жизни.

Вскоре после приезда на одном из балов Пушкин увидел девушку замечательной красоты «в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове». Это была шестнадцатилетняя Наталья Гончарова, которую только что начали вывозить в свет. Классическая правильность ее черт и глубокая задумчивость взгляда производили на всех неотразимое впечатление; в ней вскоре стали отмечать «страдальческое выражение лба» и особый характер «красоты романтической». «Голова у меня закружилась», — вспоминал Пушкин тот декабрьский вечер 1828 года.

«Страдальческое выражение» не было случайной деталью этого точеного облика. Красавица девушка росла в тяжелой обстановке. Огромное состояние калужских купцов и заводчиков Гончаровых было вконец промотано дедушкой Афанасием Николаевичем. Это ставило всю семью в трудное и ложное положение. Отец прелестной Натали, Николай Афанасьевич Гончаров, с ранних лет страдавший меланхолией,

впоследствии заболел острой формой умопомешательства с буйными припадками и неистовыми криками по ночам. До шести лет Наталья Николаевна росла у дедушки на Полотняных заводах, а затем попала в тяжелую обстановку московского родительского дома, где детей приходилось подчас удалять в мезонин с железными дверями, чтобы обезопасить от диких припадков отца. Мать семьи отличалась в молодости замечательной красотой и даже отвоевала у императрицы Елизаветы Алексеевны ее возлюбленного Охотникова, но с годами Наталья Ивановна опустилась, стала невыносимым деспотом и наводила своим взбалмошным характером трепет на всю семью. По фамильным преданиям, «в самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых» Характеру младшей это сообщило черты замкнутости и робости, рано подмеченные Пушкиным; но, судя по ее сохранившимся письмам, она проявляла большую сердечность к близким, много душевного тепла и внимания к ним. Эти документы семейной переписки опровергают традиционное мнение о Наталье Николаевне как о пустой и бездушной женщине и объясняют тот искренний тон привязанности и теплой дружбы, которыми неизменно проникнуты все письма поэта к жене.



Портрет Анны Алексеевны Олениной в профиль
Рис Пушкина Чернила
Ушаковский альбом

Познакомившись с Гончаровыми, Пушкин начал бывать в их доме, где молодое поколение относилось к знаменитому автору с живейшим интересом, а одна

из дочерей, восемнадцатилетняя Александра, знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Но бедная девушка была некрасива и не могла претендовать на успех у поэта.

Мать-Гончарова нисколько не разделяла восхищения своих дочерей Пушкиным. Насквозь проникнутая ханжеством, вечно окруженная монахинями и странницами, помешанная на церковной обрядности, она не выносила вольнодумных речей и скептических острот своего будущего зятя. Что же касается младшей дочери, то она была чрезвычайно застенчива, «скромна до болезненности», «тиха и робка». Успех у знаменитого писателя подействовал на нее подавляюще. «Я надеюсь приобрести ее расположение со временем, но во мне нет ничего, чем бы я мог ей нравиться», — таково было мнение самого Пушкина.

Но и его отношение к шестнадцатилетней девушке было полно застенчивости, робости и благоговейного восхищения. Он, как художник, преклонялся перед такой совершенной красотой в жизни, воспринимал ее как явление из мира искусства. Недаром его первое посвящение невесте открывается такой характерной «артистической» строфой:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков

На первых порах Пушкин полон нерешительности, весь погружен в созерцание, мечтает навсегда остаться зрителем «одной картины»...

Тем не менее в конце апреля 1829 года он просит Толстого-Американца быть его сватом у неприветливой Натальи Ивановны. 1 мая Толстой сообщает ему дипломатическую резолюцию старшей Гончаровой, оставляющую вопрос вполне открытым. «Этот ответ не есть отказ, — писал ей в тот же день Пушкин. — Вы позволяете мне надеяться». Но ответ все же не был согласием. Пушкин счел необходимым поступить так, как это принято при отказе. в тот же день он выехал из Москвы в далекую Грузию, где уже второй год шла война России с Турцией.

IV
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

1

От «милости» властей и «популярности» в столичном обществе Пушкин испытывал непреодолимую потребность бежать — в деревню, в чужие края, в Париж или в Пекин, — лишь бы освободиться от обступившей его «тупой черни».

Давно замышленный «побег» отчасти получил свое осуществление в самовольной и стремительной поездке поэта на турецкий фронт. В кавказской армии сражались друзья-декабристы. В стратегический план главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом Паскевича входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было «поехать посмотреть на Константинополь». Такая возможность, видимо, снова, как и в 1824 году, соблазняет поэта. Во всяком случае, путешествие в действующую армию давало хотя бы временное избавление от Петербурга.

Пушкин сам рассказал в 1836 году по записям своего путевого журнала 1829 года всю эту замечательную главу своей биографии: посещение под Орлом опального Ермолова (вызвавшее в дорожном дневнике поэта изумительный портрет: «Голова тигра на геркулесовом торсе»); пребывание в калмыцкой кибитке под Ставрополем (получившее отражение в степном мадригале: «Прощай, любезная калмычка!»); переезд по Военно-Грузинской дороге (отразившийся в «Обвале», «Кавказе» и «Монастыре на Казбеке»); две-три недели в Тифлисе, где местное общество венчало знаменитого певца Кавказа; встречу с телом Грибоедова, военные действия Паскевича, посещение арзрумского гарема и чумного лагеря. Одна глава автобиографии Пушкина написана им и не нуждается в пересказе. Но ее можно истолковать историческими материалами.

Накануне тридцатых годов с их тисками и гнетом, летом 1829 года в последний раз блеснула моло-

дость Пушкина. Удаль азиатской войны, опасности горной дороги, восточные бани и грузинские песни, воздушные строфы самого путешественника о «шатре» Казбека и холмах Грузии — все это кажется продолжением далеких южных лет с их скитаниями, таборами, черкесскими песнями, мечтой о заморских краях и бессмертными поэмами.

Путешествие в Арзрум было возвратом к лучшей поре, новым свиданием с Николаем Раевским, новым созерцанием Эльбруса и непосредственным наблюдением творца «Кавказского пленника» над жизнью, нравами и песнями горных народов.

Столь ценивший «сладостный союз поэтов», Пушкин в новой поездке чрезвычайно расширил круг своих личных общений с мастерами размеренной речи.

Недалеко от Казбека он встретил поезд иранского принца Хосрев-Мирзы, посланного в Петербург с извинениями за убийство Грибоедова и всей русской миссии. Принца сопровождал знаменитый поэт и ученый Фазиль-хан. Пушкин просил представить его персидскому писателю и был очарован простотой его обращения и «умной учтивостью» его беседы. Сохранились наброски его стихотворного посвящения Фазиль-хану, в котором русский поэт несколько по-восточному благословляет день и час, когда судьба его соединила в горах Кавказа с собратом по искусству, и благословляет новый путь тегеранского лирика «на север наш суровый, где кратко царствует весна, но где Гафиза и Саади знакомы имена...». Среди этих неотделанных черновиков блещет великолепная строфа:

Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след в своих стихах,
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.

В Тифлисе Пушкин познакомился с крупнейшими поэтами современной Грузии — Александром Чавчавадзе (тестем Грибоедова) и Григорием Орбелиани. Это были знатоки русской поэзии; они способствовали знакомству странствующего поэта с народным творчеством своей родины.

В честь Пушкина был устроен праздник с музыкой. пением, танцами. В загородном винограднике за Курою были собраны «песенники, танцовщицы, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии, — сообщал впоследствии устроитель этого празднества. — Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песнь, и Ахало, и Алаверды, и Якшиол...». Пел имеретинский импровизатор под аккомпанемент волынки. Национальное искусство еще ярче выступало на фоне сменявшего временами грузинских музыкантов европейского оркестра, игравшего марш из «Белой дамы» Боальдье.

«Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений. Как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предавался ребячьей веселости!»

«Голос песен грузинских приятен», — записал Пушкин в своем «Путешествии», а один из романсов, прозвучавших на этом вечере, он перевел и поместил в своей книге. Это «Весенняя песнь» поэта Дмитрия Туманишвили, расцвеченная восточными орнаментальными образами и красивым строфическим припевом: «От тебя ожидаю жизни!» Можно поверить мемуаристу, что под утро, взволнованный этим богатством красочного искусства Грузии и горячими приветствиями тифлисских друзей, венчавших поэта живыми цветами, Пушкин сказал им: «Я не помню дня, когда был веселее нынешнего...»

Дальнейшее путешествие дало новые встречи уже с азербайджанскими поэтами: в Кахетии Пушкин познакомился с Мирза-Джан Мадатовым, автором анакреонтических песен; в штабе Паскевича ему представили одного из крупных писателей Азербайджана Абас-Кули-Ага Бакиханова, сына изгнанного бакинского хана. Он хорошо владел восточными и западными языками — персидским и французским. Эти встречи не прошли бесследно. Личность и творчество Пушкина были горячо восприняты азербайджанской

поэзией, через несколько лет раскрывшей свою любовь и поклонение убитому русскому певцу элегическою поэмою молодого Мирзы Фатали Ахундова.

2

В эти летние месяцы 1829 года сбылась давнишняя мечта Пушкина увидеть войну и даже принять в ней участие.

Его лицейские мечтания о военной деятельности, его стремление броситься в борьбу Греции с Турцией, его прошение о поступлении в действующую армию в 1828 году — все это свидетельствовало о прочной склонности поэта лично и непосредственно оборонять родину, служить ее историческим задачам, бороться за ее независимость. Интерес к идее «вечного мира» аббата Сен-Пьера никогда не угашал в нем влечения к военной деятельности, возбужденного «грозой двенадцатого года» и окрепшего в среде царскосельских гусар и кишиневских штабных. Один из них, полковник Липранди, умный и зоркий наблюдатель, категорически утверждал, что Пушкин с его «готовностью на все опасности» был бы выдающимся военным и прославился бы на этом поприще, как и на своем поэтическом.

Пушкину предстояло увидеть настоящую, «большую» войну. Как раз в июне 1829 года начинала развертываться сложная, трудная и весьма ответственная кампания. С весны новое расположение турецких войск довольно отчетливо раскрывало намеченный неприятелем план генерального летнего наступления на русскую армию. Из Арзрума, центра военных сил Турции и ставки сераскира, решено было произвести одновременное наступление по всей линии русского фронта, то есть на Гурию, Карс, Ахалцых и Баязет. Русский Кавказский корпус, сравнительно немногочисленный, находился под серьезной угрозой. Необходимо было предупредить намерение турецкого главнокомандующего и сохранить за собой инициативу наступления, угрожая таким важным неприятельским пунктам, как Арзрум и Трапезунд.

В середине мая Паскевич выступил из Тифлиса в поход, а в начале июня уже находился в окрестностях Карса. Здесь, у самой подошвы Саганлугского хребта, на берегу Карс-чая, при разоренном селении Котанлы, Пушкин нагнал русский отряд утром 13 июня, за несколько часов до его выступления на Арзрум.

Так начинался военный поход творца «Полтавы».

В пятом часу дня корпус двинулся на «древний Тавр». Небольшой отряд с целью демонстрации был направлен влево на главный турецкий авангард. Колонной командовал генерал Бурцов, видный член Союза благоденствия, приобщивший лицеистов Пущина, Кюхельбекера и Вальховского к своей вольнолюбивой «артели». С тех пор он отбыл тюремное заключение в 1826 году и был переведен на Кавказ, где его выдающиеся военные дарования вскоре доставили ему генеральский чин. Это был один из талантливейших командиров Кавказского корпуса, которому Паскевич неизменно поручал самые ответственные задания. Имя его было знакомо Пушкину со школьной скамьи.

Но поэт примкнул теперь не к Бурцову, а к другу горячеводских и гурзуфских дней — Николаю Раевскому, начальнику нижегородских драгун. «Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку», — вспоминал впоследствии поэт (в этой же части служил и его брат Лев Сергеевич). Полк находился в резерве — друзья неторопливо вслед за главными колоннами двигались по горным дорогам, ведя дружескую беседу после долгой разлуки.

Хотя Николай Раевский считался «прикосновенным» к делу 14 декабря, но в корпусе Паскевича он командовал в решительных сражениях всей кавалерией. Пушкин был рад, что к военному делу его приобщит этот умный друг, кому он посвятил «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье».

К восьми часам вечера войска расположились привалом в лощине, прикрытой холмами от неприятельских разъездов. Здесь, у бивачных огней, Пушкин был представлен Паскевичу.

Это был один из известнейших современных пол-

ководцев. Мнения о нем, правда, расходились, он имел многочисленных недоброжелателей и критиков, но несомненным фактом оставались его удачные военные операции, которые нельзя объяснить только случайностью и счастьем. Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом был отличным организатором походов. Даже весьма мало расположенный к Паскевичу Денис Давыдов, не пощадивший красок для изображения его недостатков (самонадеянность, тщеславие, самовластие и пр.), считал своим долгом «отдать полную справедливость его примерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанным во многих случаях, и вполне замечательной заботливости его о нижних чинах».

К желанию Пушкина совершить поход в рядах его войск Паскевич отнесся с полным сочувствием. Еще в мае он получил от Бенкендорфа извещение, что Пушкин «по высочайшему его императорского величества повелению состоит под секретным надзором», каковой надлежит сохранить над ним и «по прибытию его в Грузию». Соответственное извещение и было сделано Паскевичем тифлисскому военному губернатору. Лично же командир кавказских войск стремился выказать Пушкину свое внимание. «Он был весел и принял меня ласково», — писал поэт об их первой беседе.

В штабе главнокомандующего в ночь на 14 июня Пушкин увидел своего лицейского товарища Вальховского, «запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мной, как старый товарищ», — вспоминал впоследствии Пушкин.

В штабе Паскевича поэт встретился и с братом своего лучшего друга — декабристом Михаилом Пущиным, только что вернувшимся с рекогносцировки неприятельских позиций.

«Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их? — обратился к нему новоприбывший. — Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках...»

Михаил Пущин мог пообещать поэту самую скорую встречу с неприятелем. Только что законченное им обследование лагерного расположения турок на высоте Милли-Дюз побуждало к неотложному выступлению.

Ранним утром 14 июня отряд двинулся дальше и вскоре расположился на левом берегу речки Инжа-Су, уже на поверхности Саганлугского хребта, в восьми верстах от неприступного лагеря знаменитого турецкого полководца трехбунчужного Гагки-паши.

После полудня большая партия куртинцев и делибашей * атаковала передовую цепь казаков. Это и была «перестрелка за холмами», описанная Пушкиным. Поэт вскочил на лошадь и бросился в свой первый бой. Раевский сейчас же отрядил майора Семичева сопровождать Пушкина и удерживать его воинственные порывы. Выехав из ущелья, поэт увидел на склоне горы синюю казачью шеренгу, выгнутую дугой, а на вершине хребта — гарцующих турецких всадников в высоких чалмах и пунцовых доломанах:

На холме пред казаками
Вьется красный делибаш

Турки поразили поэта дерзостью своего наездничества. Увлеченный картиной сражения, он схватил пику одного из убитых казаков и — в своей круглой шляпе и бурке — бросился на неприятельских всадников. Майор Семичев почти насильно вывел его из передовой цепи. Вокруг происходили удалые стычки и молниеносные смертельные встречи; одну из них Пушкин запечатлел в неподражаемых по своей динамичности стихах:

Мчатся, сшиблись в общем крике
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы

Поистине прав был Гоголь, сказав, что слог Пушкина «летит быстрее самой битвы».

---

* Куртинцы — отборные части турецкой конницы: делибаши — особые отряды удальцов-головорезов в пятьдесят человек.

Паскевич решил разрезать растянутую неприятельскую линию и опрокинуть разделенные части противника. Маневр удался. Раздвоенная беспрерывным артиллерийским огнем турецкая конница метнулась в противоположные стороны. «Картечь хватила в самую середину толпы», — описал это военное зрелище Пушкин. Немедленно же в обоих направлениях были посланы сильные части для преследования.

Но в это время на скате горы появились густые колонны турецкой пехоты и кавалерии: сам сераскир арзрумский во главе своего тридцатитысячного корпуса спешил на помощь Гагки-паше. В шесть часов вечера русские войска двинулись на турок тремя колоннами, из которых одной, состоявшей из кавалерии, командовал Николай Раевский. Произошел один из самых решительных боев всей Арзрумской кампании — сражение при селении Каинлы. Войска сераскира были разбиты и к ночи опрокинуты за Саганлугские горы.

«На другой день, — писал Пушкин, — в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня *. «Не утомил ли вас вчерашний день?» — «Немного, пожалуй, граф». — «Огорчен за вас, ибо нам предстоит переход, чтоб подойти к паше, а затем и преследовать неприятеля десятка на три верст».

В девятом часу утра корпус уже находился против Милли-Дюза, у лагеря «первого сановника по сераскире». Обрывистые берега речки Ханы-Су и глубокие скалистые овраги делали его неприступным. Но после безрезультатных переговоров о сдаче Паскевич повел пятью колоннами войска на неприятеля. Поражение сераскира предопределило исход нового наступления. Турки бросились бежать врассыпную. Гагки-паша со своим штабом сдался в плен. Путь на Арзрум был открыт.

В эти дни решительного сражения Пушкин разъезжал по горным вершинам, наблюдая отдельные мо-

* Дальнейший разговор у Пушкина по-французски.

менты боя: марш Бурцова на левый фланг, артиллерийскую подготовку Муравьева, налет турецкой конницы, контратаку татарских полков. Пушкину удается спасти раненого турка, которого хотели прикончить штыками; он наблюдает агонию татарского бека, рядом с которым неутешно рыдает его любимец.

«Лошадь моя... остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет осьмнадцать: бледное девическое лицо не было обезображено; чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом...»

Это было новое ощущение войны, первое подлинное представление о ней. Не парадная героика, а действительная битва, беспорядочная и нестройная, тяжелая и оскорбительная, — «война в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти» (так через двадцать пять лет сформулирует Лев Толстой). Главы «Путешествия в Арзрум», где дана глубоко правдивая картина боя во всей его неприкрашенной трагической сущности, — первый опыт новейшей батальной живописи, утвержденной в мировой литературе «Войной и миром».

8

21 июня Паскевич вступил в арзрумский пашалык, а 23 июня, в девять часов вечера, занял древнейшую крепость Турецкой Армении, воздвигнутую римлянами, — Гассан-Кале, передовой оплот горной столицы Анатолии. 27 июня, в день Полтавской победы, русские войска вступили в Арзрум. В плен сдались сам сераскир и трое его пашей — трехбунчужный Осман-паша и двухбунчужные Абут-Абдулла-паша и Ахмет-паша. Один из них вскоре встретил Пушкина пленительным восточным приветствием:

«Благословен час, когда мы встречаем поэта».

Пушкин был тронут и восхищен этим лестным приветствием. Он живо обрисовал этого восточного оратора в своих путевых записках и воспел стихами его «многодорожный» город:

В нас ум владеет плотью дикой,
А покорен Корану ум,
И потому пророк великий
Хранит, как око, свой Арзрум.

Плоские зеленые кровли, извилистые и тесные улицы, высокие минареты, шумная толпа армян — все это было ново, неожиданно и заманчиво по своей «чужеземности». Пока в завоеванном городе учреждалось областное правление с военным губернатором, русские войска расположились лагерем на северо-востоке от города, в долине Евфрата.

Именно здесь, в «лагере при г. Арзруме», как он официально назывался, или в «лагере при Евфрате», как назвал его Пушкин, он обратил внимание на татарского юношу Фахрат-бека, входившего в состав мусульманских частей русской армии. «Сардар» Паскевич, как его называли в этих полках, усиленно вербовал новобранцев в каждой завоеванной области. Под Арзрумом в его войска входили и регулярные части из тюрок, курдов, армян, греков, жителей Карабаха и других провинций. Пушкин, видимо, пожалел юного рекрута из татарского отряда, обреченного на кровавую борьбу с единоверцами. 5 июля было написано стихотворное приветствие молодому беку «Не пленяйся бранной славой...». Восточный колорит образов здесь сочетается с проникновенным преклонением поэта перед юным и прекрасным существом, захваченным трагическими событиями:

Знаю: смерть тебя не встретит;
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!

Это один из лучших фрагментов в «ориенталиях» Пушкина.

От турецких пленных и арзрумских турок Пушкин мог слышать подробные рассказы о потрясшем весь Восток недавнем кровавом событии — разгроме Махмудом II восставших янычар. Эти старинные телохранители и вершители династических судеб Турции решили теперь фанатически защищать древний строй

Оттоманской империи от «западнических» реформ султана. Вскоре Пушкин напишет одно из своих превосходнейших исторических стихотворений — «Стамбул гяуры нынче славят», в котором изобразит невиданную резню 1826 года, истребившую полновластную гвардию янычар в Константинополе, Смирне, Румелии, Сирии, Алеппо и Арзруме. Замысел задуманной Пушкиным повести о казни стрельцов, противодействовавших преобразованиям Петра, получил теперь своеобразное воплощение в этом зачине суровой восточной поэмы, где правоверный Арзрум противостоит вероломному Стамбулу. «Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум, — сообщает Пушкин в своем «Путешествии», — войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество...» Этот драматический мотив смертельной розни двух политических сил и лег в основу великолепного фрагмента пушкинской поэмы о противоборствующих течениях мусульманского мира:

Стамбул отрекся от пророка,
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил...
...Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум,
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум...

Эта борьба двух мировоззрений и двух воинских укладов и подняла толпу палачей от «Рущука до самой Смирны». Пушкин ввел с небольшими изменениями это стихотворение в пятую главу «Путешествия в Арзрум» под видом огрывка из одной янычарской поэмы. Невозможно было сильнее и ярче выразить политическую трагедию, раздиравшую в те годы обреченный ислам.

В лагерях поэт не переставал работать: его постоянно видели с тетрадями и записными книжками. Помимо лирики и дорожного дневника, он занят замыслами новых поэм. Слагается сюжетный вариант к раннему «Кавказскому пленнику»: русская деву-

шка-казачка спасает пленника-черкеса. Еще сильнее увлекает тема столкновения суровых горных нравов с проповедью миссионеров; увлекает образ «черкеса-христианина», отвергающего неумолимый родовой обычай кровавой мести. Психологический конфликт от столкновения двух этических систем вызвал замечательные диалоги Гасуба-старика и юного Тазита. Младший сын горного узденя отказывается стать «могучим мстителем обид». На такой драматической внутренней антитезе строилась новая поэма.

Она давала широкий простор для воплощения новых путевых впечатлений Пушкина. Действие «Тазита» происходит в Кабарде, на берегу Терека, «вблизи развалин Татартуба», в виду Казбека и Дарьяльского ущелья:

Где был ты, сын? — В ущелье скал,
Где прорван каменистый берег,
И путь открыт на Дариял.
—Что делал там? — Я слушал Терек.

Это уже не «закубанские равнины», а дикий, суровый, неприступный Кавказ, раскрывшийся Пушкину на крутых тропах Военно-Грузинской дороги, где он узнал быт, обряды, нравы и предания горных саклей. Верховые игры молодых чеченцев, похороны Гасубова сына (описанные по личным наблюдениям автора над осетинским погребением в одном из аулов Кап-Коя), погребальные и венчальные обычаи «адехов», величественный пейзаж — все это воплощено в отрывке поэмы о юноше-адыгейце Тазите, изгнанном из патриархальной среды своих соплеменников и гибнущем на войне.

В поэме чувствуется приток новых слов в поэтический лексикон Пушкина, восприятие целого ряда речений кавказских народностей, придающих живописность и звучность описаниям. Прелестны по своей мелодичности отдельные образы, например черкесской девушки у водопада:

И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла.

Стих «Гасуба» являет высшие образцы пушкинского сочетания воздушности и энергии. Неоконченная

повесть строится на глубокой проблематике враждующих мировоззрений и в этом смысле возвещает кавказские поэмы Лермонтова.

4

Пушкина привлекали и русские на Кавказе — военные, ссыльные декабристы, представители его поколения, участвующие в гибельной войне, как Раевский, Вальховский, Пущин, Бурцов, блестящий писатель Александр Бестужев (с которым Пушкин мечтал встретиться на Кавказе), прапорщик Молчанов, осужденный за хранение отрывка из пушкинского «Андрея Шенье», историк донского казачества, близкий к Рылееву и Бестужеву В. Д. Сухоруков, «умный и любезный» собеседник Пушкина в арзрумском походе, известный декабрист-историк А. А. Корнилович, публикации которого по русской старине высоко ценил Пушкин, и многие другие (Захар Чернышев, Н. Н. Семичев, А. С. Гангеблов, П. П. Коновницын). Некоторых из них поэт уже не застал на Кавказе, с другими не мог свидеться, но личные встречи достаточно обрисовали перед ним тип нового русского молодого человека, новый этап в развитии его поколения. «Евгений Онегин», который представлял собою творческий дневник автора, готов был обогатиться новой главой — кавказской, военной. В лагерных палатках Пушкин рассказывает своему брату и молодому Юзефовичу (адъютанту Николая Раевского), что «Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Замысел этот еще будет занимать Пушкина и получит вскоре свое частичное осуществление.

7 июля Паскевич перешел из «лагеря при Евфрате» в Арзрум и занял дворец сераскира. Он пригласил Пушкина поселиться в том же дворце. Считаясь с интересами творца «Бахчисарайского фонтана», он устроил ему посещение гарема Османа-паши, где поэт впервые увидел одалисок, лишь по рассказам описанных им в его крымской поэме.

Древний город с его пестрым населением продол-

жал свою обычную жизнь. Пушкин оценил высокую организованность русской армии, «тишину мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата»; «во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен».

Взятие горной столицы Анатолии Пушкин считал огромным событием международной политики: этой победой Россия решала и судьбу Греции, издавна рвущейся к свободе. Поэт напишет вскоре по поводу Адрианопольского мира, возродившего независимую Элладу:

Опять увенчаны мы славой.
Опять кичливы; враг сражен:
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Стамбуле мир провозглашен.

Благодаря этому миру, писал в 1832 году Пушкин, «Греция оживала, могущественная помощь Севера возвращала ей независимость и самобытность». Взятие Арзрума русской армией приобретало значение великого освободительного акта мировой истории.

Три недели пробыл Пушкин в лагере и городе, наблюдал его оживленную восточную жизнь. 14 июля Пушкин узнал, что в Арзруме чума. Разговоры о медицинских осмотрах, сожжении вещей, карбункулах и опухолях производили удручающее впечатление. Начинала сказываться «добавочная» опасность восточной войны — риск ужасной заразы при оккупации неприятельской территории. Так, в 1799 году французская армия заразилась чумою в Сирии при взятии Яффы; одним из высших проявлений мужества Бонапарта было посещение чумного госпиталя, где он жал руки больным, стремясь внушить им бодрость и веру в исцеление.

Этот ли образ вспомнился Пушкину, непосредственное ли чувство пренебрежения опасностью овладело им, но 15 июля он посетил с лекарем лагерь зачумленных. Это мрачное место вспомнилось ему через год, когда он изображал Наполеона в Яффе: «Одров

я вижу длинный строй. Лежит на каждом труп живой, Клейменный мощною Чумою, Царицею болезней...» Герой сражения,

> Нахмурясь, ходит меж одрами
> И хладно руку жмет Чуме,
> И в погибающем уме
> Рождает бодрость...

Пушкин осмотрел одного больного, выведенного из палатки, и «обещал несчастному скорое выздоровление».

19 июля Пушкин пришел проститься с Паскевичем и застал его «в сильном огорчении»: храбрец Бурцов был убит близ селения Харт, в пятнадцати верстах от Байбурта, который незадолго до того был им взят вместе с соседним медным заводом. Это был путь в Трапезунд, который по плану кампании подлежал взятию после Арзрума. Бурцов погиб, пробиваясь к Черному морю, что представляло стратегическую необходимость для русского корпуса в Турции.

Потеряв своего начальника, отряд отступил. Это была, по словам Пушкина, «первая неудача» турецкой войны, опасная для всего нашего малочисленного войска. При вести об этих событиях среди арзрумского населения вспыхнуло возбуждение: в народе распространялись воззвания к всеобщему ополчению и «священной войне», шли слухи о концентрации крупных турецких сил на правом фланге Паскевича и о предстоящем вмешательстве Англии и Франции в пользу Турции. Неподалеку от театра войны, на озере Ван, действительно находились в то время английские дипломатические агенты.

«Итак, война возобновлялась! — вспоминал этот переломный момент Пушкин. — Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию...»

1 августа Пушкин уже был в Тифлисе. Он посетил здесь свежую могилу Грибоедова, «перед коей (по свидетельству его спутника) Александр Сергеевич преклонил колена и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы». На

склоне горы св. Давида над извилистым лабиринтом старого Тифлиса, который весь как на ладони расстилался перед Пушкиным, он принес последний поклон трагическому и прекрасному образу поэта-дипломата:

«Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни, — записал автор «Путешествия в Арзрум». — Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна...»

Встреча с телом Грибоедова у Гергерской крепости и посещение его могильного холма вызвали новые раздумья Пушкина о судьбе дарований в царской России («способности человека государственного оставались без употребления, талант поэта был непризнан»). Но в краткой записи нет и следа жалоб, безнадежности, лирических сетований. Это мужественные строки. В них слышится преклонение перед цельной и сильной личностью, способной к углубленному труду и коренной внутренней ломке.

В этом отзыве (записанном, быть может, позже) чувствуется бодрый тон всей летней поездки 1829 года. Она была временным освобождением для Пушкина, новым обогащением его творческих возможностей. Тяжелой поступью приближались тридцатые годы. Путешествие в Арзрум — последняя глава пушкинской молодости.

V

„ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА“

1

По пути из Арзрума Пушкин нашел во Владикавказе последние книжки русских журналов. Ему сейчас же попалась на глаза статья о «Полтаве» в «Вестнике Европы». «В ней всячески бранили меня и мои стихи», — вспоминал впоследствии Пушкин. Статья была подписана: «С Патриарших прудов» — и принадлежала перу Н. И. Надеждина. Автор с большой раз-

вязностью отстаивал свой парадоксальный тезис: «Поэзия Пушкина есть просто пародия».

Поэт-сатирик отразил нападки Надеждина своим обычным оружием — эпиграммой: ряд его знаменитых летучих памфлетов («Мальчишка Фебу гимн поднес», «Надеясь на мое презренье», «Картину раз высматривал сапожник») метит в *Никодима Невеждина,* как назван критик «Вестника Европы» в одной полемической заметке поэта.

Такое состояние журнальной критики вызвало осенью 1829 года объединение пушкинской группы, то есть небольшого круга наиболее культурных писателей эпохи, сочетающих дарования поэтов и ученых, знатоков античной и новейшей литературы. К этому кружку принадлежали Жуковский, Вяземский, Баратынский, Дельвиг, Плетнев, Гнедич. Враждебные журналисты пытались обесценить значение этой плеяды ироническим прозвищем «литературной аристократии» якобы за ее желание «первенствовать». Прозвище это было принято атакуемыми писателями и разъяснено Вяземским как «аристократия талантов». Группе первоклассных поэтов и критиков нужен был свой орган для отражения атак Надеждина и Полевых, а особенно для борьбы с петербургскими «промышленниками пера» и казенными публицистами Булгариным и Гречем. Так возникла «Литературная газета».

«Цель сей газеты знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы Европейской, а в особенности Российской», — сообщала программа нового издания.

Руководителями «Литературной газеты» были Пушкин, Вяземский и журналист Орест Сомов. Редактором был выделен Дельвиг, литературный вкус которого признавался всеми. Жуковский брал на себя обозрение журналов, особые сотрудники были приглашены для отделов естественных наук и «художеств».

Помимо этого основного ядра, в газете печатались Гоголь, Кольцов, Денис Давыдов, Одоевский, Хомяков, Погорельский и другие. В отделе рецензий любо-

пытно отметить среди разнообразных тем отзывы о стихотворениях крестьян Егора Алипанова и Слепушкина.

Иностранная литература изучалась во всех ее выдающихся явлениях. Даже малоизвестные еще на Западе Бальзак, Мериме и Стендаль были представлены в «Литературной газете». Пушкин поместил здесь свою статью о поэзии молодого Сент-Бева (Жозефа Делорма), довольно сочувственно оценив ранние лирические опыты будущего мастера критического портрета.

За недолгий срок своего существования «Литературная газета» отчетливо выразила свою программу. Это была война с бульварным романом, уличной мелодрамой, упадочным «неистовством», низкопоклонной публицистикой, продажной и коммерческой прессой. Это была борьба за высокую художественную культуру, за полноценную литературу, за правду в искусстве, за жизнь в поэзии, за идейность в критике, за самобытное русское творчество в целом. Это был в полном смысле слова орган Пушкина, отражавший его мудрую национальную поэтику и отметивший важную веху в истории русской литературной мысли.

Пушкин заведовал редакцией газеты в январе 1830 года.

Он ставил перед новым изданием большие задачи и стремился вывести его из узкого круга профессиональных интересов. Правильно считая, что журналистика — важное государственное дело, что из рядов сотрудников печати должны выходить политические деятели, он настойчиво стремился ввести в «Литературную газету» запретный отдел публицистики. Он настаивал на том, что в печатном органе критику необходимо сочетать с политикой, художественный материал сопровождать международной хроникой современности. Пушкин-журналист как бы подтверждает обычную позицию Пушкина-поэта, откликающегося на все крупнейшие события общественной жизни и отвергающего замкнутое, самодовлеющее и отрешенное искусство.

В противовес грубой полемике, личным выпадам,

перебранке, вызываемой коммерческой конкуренцией петербургских журнальных предпринимателей, «Литературная газета» стремилась создать подлинную художественную критику. Беглые заметки Пушкина о журналах и писателях считались в литературном мире событиями. По поводу его отзыва о переводе «Илиады» Гнедич писал: «Это лучше царских перстней».

Деятели пушкинской партии, отмечал через три десятилетия Чернышевский, «отличались, подобно своему корифею, тонким вкусом, как и вообще походили на него многими прекрасными чертами своего литературного характера». В качестве критиков они сохраняли в своих писаниях «столько же гордого спокойствия и достоинства, сколько сохраняет поэт или ученый». Если это и ограничивало их влияние на массу, то сообщало зато их страницам те черты подлинной культуры, которые дают исследователю все основания «для светлого изображения критической деятельности этого тесного круга».

26 декабря 1829 года были написаны стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных» с замечательной по своей сжатости и выразительности первоначальной строфой:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой —
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной

Последующие строфы дают постепенное развитие этого вступления и заключаются радостным обращением к молодой жизни, приветствием нетленной красоте мира даже «у гробового входа». Трудно назвать во всей мировой лирике, посвященной теме смерти, более оптимистический заключительный аккорд.

7 января 1830 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему путешествие в Европу либо отпустить с особым посольством в Китай.

Планы таких поездок, отчасти связанные в этот момент с неудачами личного романа, неизменно соче-

тались и с культурными интересами поэта. В конце двадцатых годов он знакомится в петербургском обществе с выдающимся знатоком Китая Иакинфом Бичуриным, личностью весьма своеобразной и примечательной. Начальник Пекинской духовной миссии, он был сослан за «равнодушие к религии» на Валаам, а по возвращении в 1826 году из ссылки в Петербург стал переводчиком министерства иностранных дел и научным сотрудником крупнейших журналов. Основатель русского китаеведения, он издал ряд выдающихся исследований о Китае, Монголии, Тибете и Туркестане. Монах-атеист, ставивший Христа не выше Конфуция, привлекал к себе столичных любителей искусств своими драгоценными коллекциями азиатских редкостей и восточных манускриптов. Иакинф Бичурин поднес Пушкину экземпляры своих сочинений «Описание Тибета» и «Сан-Цзы-Цзинь и тресловье» и даже предоставил в его распоряжение свои рукописи, за что Пушкин вскоре выразил ему печатную благодарность в «Истории Пугачева». План поэта отправиться в Китай с ученой экспедицией министерства иностранных дел, в состав которой входил Иакинф Бичурин, был, вероятно, внушен этим замечательным китаеведом. К концу декабря 1829 года относится элегический отрывок о готовности поэта бежать в любые страны:

К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец...

Но «высочайшая воля» наложила свой неизменный запрет на все зарубежные маршруты Пушкина: в Пекин, Венецию или Париж.

16 сентября 1829 года скончался генерал Раевский, сломленный разгромом декабристов; его единоутробный брат Василий Давыдов и зять Волконский были сосланы в Сибирь, другой зять, Михаил Орлов, исключен со службы, любимая дочь Мария Николаевна последовала по каторжному пути за своим мужем. Глядя на ее портрет, умирающий произнес: «Вот самая замечательная женщина, которую мне при-

шлось встретить в жизни!..» Вскоре вдова Раевского обратилась к Пушкину с просьбой отстоять перед высокими инстанциями материальные интересы семьи. Поэт написал прекрасное письмо Бенкендорфу, выражая свою надежду на сочувствие воина «к судьбе вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а смерть столь печальна...».

2

Вокруг «Литературной газеты» разгоралась борьба. Конкурирующий орган «Северный Меркурий» вступил в полемику с изданием Дельвига. Журналы Булгарина и Греча «Сын отечества» и «Северный архив» ожесточенно напали на руководителей новой газеты, выводя их в пародиях и памфлетах под вымышленными, но довольно прозрачными именами.

> Ведь нынче время споров, брани бурной,
> Друг на друга словесники идут, —

писал о журнальных боях 1830 года Пушкин.

Полемика с Николаем Полевым разгорелась по поводу его «Истории русского народа», встретившей отрицательную оценку Пушкина на столбцах «Литературной газеты». Не примыкая к резкой журнальной кампании, направленной против книги Полевого, поэт критиковал его основную теорию о «семейственном феодализме» в истории России. Понимая феодализм как слияние верховной власти с земельной собственностью, Пушкин отрицает его наличие в древней Руси, но признает во времена татарского ига и в «смутное время», когда боярская «аристократия» играла решающую роль в управлении страной. С ее верховным влиянием боролись оба Иоанна и Петр, сумевшие обуздать и сломить это подобие феодализма на Руси. Концепция Пушкина неизмеримо яснее и правильнее шаткого построения Полевого и гораздо ближе к воззрениям нашего времени *.

---

* См. Б. Д. Греков. Исторические воззрения Пушкина. «Исторические записки». Изд. Академии наук СССР, т. I, М., 1937, стр. 9—18.

В ответ на замечания Пушкина Полевой открыл целый поход на «аристократов» из «Литературной газеты». Возник оживленный обмен полемическими статьями между органом Дельвига, обвинявшим Полевого в якобинской демагогии, и «Московским телеграфом», протестовавшим против полемической ставки своих оппонентов на правительственную бдительность.

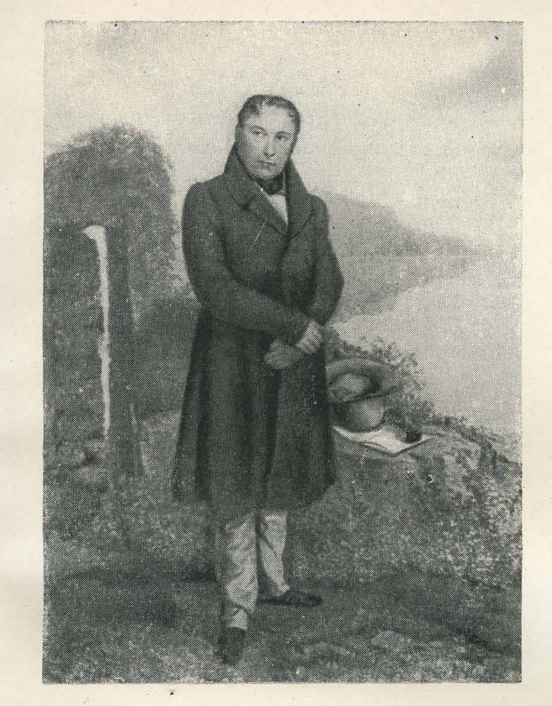
Но гораздо ожесточеннее была борьба «Литературной газеты» с «Северной пчелой», полуофициозным листком, выходившим под редакцией продажного ренегата и полицейского осведомителя Булгарина. Еще Рылеев предсказывал этому ловкому проходимцу: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим».

Отстаивавший всегда «благородную независимость» русской литературы, Пушкин не мог примириться с булгаринскими приемами пресмыкательства перед сильными и ошельмования литераторов перед органами власти. Глубочайшее принципиальное расхождение вождя русской поэзии со «шпионом, переметчиком и клеветником» (каким он до конца считал Булгарина) быстро привело их к столкновению и бурной полемике.

Спор разгорелся по поводу устных заявлений Пушкина о заимствовании Булгариным для его «Дмитрия Самозванца» ряда мест из «Бориса Годунова». С рукописью трагедии сотрудник Бенкендорфа мог ознакомиться в III отделении, где новая драма рецензировалась для Николая I. Когда в «Литературной газете» от 7 марта появился анонимный отзыв о «Дмитрии Самозванце», хотя и без обвинений в плагиате, но с указанием на польский патриотизм автора, Булгарин, ошибочно решив, что статья принадлежит Пушкину, обрушился на него сокрушительным пасквилем.

«Литературная газета» ответила знаменитой статьей о полицейском сыщике Видоке, отъявленном плуте и грязном доносчике.

Булгарин выступил с новым разносом «литературных аристократов»: «Жаль, что Мольер не живет



В. А. Жуковский.



О. Кипренский.
Автопортрет.



П. А. Вяземский.
Художник О. Кипренский
(1835 г.).



А. А. Дельвиг.
Рис. тушью и акварелью
П. Яковлева (1817—1820 гг.).

в наше время! Какая неоцененная черта для комедии «Мещанин во дворянстве»!» Следовал анекдот о поэте, происходящем «от мулатки» и возводящем свое происхождение к «негритянскому принцу», который на самом деле был обыкновенным негром, купленным в старину каким-то шкипером за бутылку рома. На рукописи «Метели» сохранился набросок превосходной эпиграммы:

Говоришь: за бочку рома —
Незавидное добро
Ты дороже, сидя дома,
Продаешь свое перо.

Эта литературная полемика, принимавшая под пером Булгарина характер пасквильного фельетона, имела свои глубокие политические корни. «Северная пчела», пресмыкавшаяся перед николаевским правительством, стремилась обслуживать новую военно-бюрократическую силу, занявшую высшие государственные посты после 1825 года. Орган Дельвига выражал мнения передовой дворянской интеллигенции, выславшей своих лучших представителей на Сенатскую площадь 14 декабря. Единомышленникам декабристов противостояли члены верховного суда над «мятежниками», то есть весь официальный Петербург с его услужливым писцом Булгариным. К этим истокам противоборствующих сил николаевской России и восходила полемика «Литературной газеты» с «Северной пчелой». Корни распри были глубоки, а последствия неисследимы. «Подумай, — писал Пушкин о своем литераторском сословии, — что значит у нас сие дворянство вообще и *в каком отношении находится оно к народу»*. Вопрос ставился поэтом во всем его необъятном охвате: который из двух станов выражает народные чаяния и устремления? Угнетателям масс Пушкин противопоставляет поэтов, мыслителей, революционеров, предвидя по известным стихам того же 1830 года Николая Тургенева:

..в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Эта журнальная борьба раскрывает в Пушкине подлинного мастера полемического жанра. Неподражаемый эпиграмматист сохраняет в своих статьях разящую остроту и убийственную силу своих сатирических ударов. Недаром Белинский признавал полемику Пушкина «верхом совершенства».

Журнальные битвы снова обращают Пушкина к раздумьям о призвании и судьбе поэта. Нападкам критики он мужественно и твердо противопоставляет незыблемое право творящего художника: «Ты сам свой высший суд». В знаменитом сонете 1830 года независимость поэта от предрассудков обывательской среды провозглашается так же, как и его свобода от железного гнета «венчанных солдат». Именно им противопоставлен поэт-мыслитель:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Одиночество — единственное спасение для поэта в среде романовых, бенкендорфов, серафимов, булгариных; но это одиночество творческое, которое рано или поздно сольет мысль поэта с великой народной стихией, волю которой он стремится уловить и выразить в своих созданиях. Это чувство звучит в чудесном наброске начала тридцатых годов:

Пой, в часы дорожной скуки,
На дороге в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой.
Пой «Лучинушка, лучина,
Что же не светло горишь!..»

Глубокое восприятие русского народного искусства сочеталось у Пушкина с живым интересом к великим явлениям мировой культуры. Он с исключительной чуткостью улавливал и с редкой проникновенностью воссоздавал целые эпохи всемирного развития человечества.

В «Литературной газете» Пушкин поместил и свое посвящение Юсупову, впоследствии озаглавленное «К вельможе». Оно вызвало резкие нападки и даже обвинения автора в угодничестве, хотя представляло собой, по позднейшему мнению Белинского, «одно из лучших созданий Пушкина». В классической форме послания XVIII века поэт-историк дает портрет старинного сановника на широком культурном фоне его эпохи. Тонко использованы подлинные черты жизни Юсупова в сочетании с политическими и художественными событиями его времени. Этот собеседник Бомарше, Вольтера и Дидро был посетителем королевского Версаля накануне его крушения. Но шумные забавы французского двора сметает вихрь революции:

Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон...

Этот дар поэта схватывать и сжато формулировать сущность исторических перевалов человечества сказывается и в отрывке 1830 года «В начале жизни», где замечательно передан общий характер эпохи Возрождения с ее жаждой знаний и культом античности и, в частности, с ее тонким искусством садов. Три темы — школа, вилла, мифологические боги — развертывают основной замысел этого вступления в незаконченной поэме, в которой аскетическим тенденциям средневековья противопоставлено восхищение созданиями древнего ваяния.

3

Сложно развертывался в 1829—1830 годах роман Пушкина с Гончаровой. По возвращении из Арзрума поэт, казалось, получил разъяснение, что двусмысленный весенний ответ на его предложение следует понимать как отказ.

Только к весне положение заметно изменилось.

Ободренный приветом из Москвы, поэт срочно выезжает из Петербурга. Не откладывая решительного шага, он уже в начале апреля делает новое

предложение, которое на этот раз было принято. «Наденька подала мне холодную, безответную руку», — отмечает Пушкин этот тревожный момент в автобиографическом очерке «Участь моя решена...».

Сам он, несмотря на увлечение, был полон сомнений: в согласии Натальи Николаевны он склонен был видеть только «свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия». Томила также неопределенность материального состояния, сомнительное политическое положение, гнев правительства за поездку в Арзрум.

Тем не менее в апреле Пушкин извещает родителей и друзей о своем обручении.

В последних числах июля он узнал от Хитрово о внезапном «возмущении» в Париже. Борясь на баррикадах, французский народ в три дня разбил правительственные войска и снова, как в 1793 году, низложил династию. Карл X бежал в Англию. «С престола пал другой Бурбон», — вспоминал через год этот исторический момент Пушкин. Под свежим впечатлением событий он писал из Москвы Хитрово, что они переживают «самую замечательную минуту нашего столетья».

В Москве Пушкина ожидали новые заботы: умирал Василий Львович. Старого поэта даже в тяжелом состоянии не оставляла любовь к поэзии. За месяц до смерти он написал послание в стихах своему племяннику — восхищенный отзыв о его последних творениях и теплое поздравление с обручением:

Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер...
Ты остроумие и вкус его имеешь...

Следует просьба скорее напечатать «Годунова» назло всем парнасским пигмеям. Примечательно и последнее пожелание — отдаться жизненному счастью, но при этом «не забывать муз». Филолог XVIII века сказывается в его последнем завете гениальному поэту: *«Язык обогащай!»* Трогательна французская приписка старого «арзамасца» к его посвящению. «Я хочу, чтоб это послание было до-

стойно такого поэта-чародея, как ты, и одновременно ударяло по глупцам и завистникам». Умирающий староста «Арзамаса» не сдавался. Недаром его «Эпитафия самому себе» гласила:

Он пел Буянова и не любил Шишкова...

Накануне смерти старика Пушкин застал его в забытьи, но с номером «Литературной газеты», в которой лишь недавно было напечатано одно из его последних стихотворений. «Как скучны статьи Катенина», — заметил он племяннику по поводу тяжеловесных «Размышлений и разборов», заполнявших критический отдел дельвигова издания. Так ли, мол, нападала легкая конница «Арзамаса»? Пушкин обессмертил этот последний отзыв старого полемиста в своих письмах: «Каково? вот что значит умереть честным воином le cri de guerre á la bouche» *.

По преданию, сообщенному Анненковым, утром 20 августа Василий Львович еще смог дотащиться до шкафов своей богатейшей библиотеки, отыскал своего любимого Беранже и через некоторое время, тяжело вздохнув, умер над французским песенником.

Пушкин принял на себя устройство похорон, разослал от своего имени траурные извещения, возглавлял литературную группу погребальной процессии, в которой участвовала вся литературная Москва. «С приметной грустью молодой Пушкин шел за гробом своего дяди», — заметил один из участников кортежа. Поэт был привязан к Василию Львовичу гораздо более, чем к своему отцу, и помнил в нем своего первого наставника на путях в лицей, в «Арзамас» и в русскую поэзию. Это был не только ближайший родственник, но и «дядя на Парнасе», один из тех, кто входил в «сладостный союз поэтов». Пушкин всегда живо ощущал эту неразрывную связь всех «питомцев муз и вдохновенья». На кладбище Донского монастыря, где похоронили Василия Львовича, он навестил могилу Сумарокова.

---

* С воинственным кличем на устах.

«Смерть дяди, — писал в те дни Пушкин, — и хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства... На днях отправляюсь я в Нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной». Речь шла о далекой Кистеневке, расположенной близ родового села Болдина и предоставленной Сергеем Львовичем старшему сыну по случаю его женитьбы. 31 августа Пушкин выехал из Москвы, захватив с собой несколько тетрадей, заполненных планами, набросками и строфами.

VI

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

1

Нижегородская вотчина Пушкиных сильно отличалась от родового поместья Ганнибалов. Лукояновский уезд, где находилось село Большое, или Базарное, Болдино, ничем не напоминал опочецкий пейзаж. Ни глубоких озер, ни высоких холмов, ни укрепленных городищ, ни зеркальной Сороти; вместо них

избушек ряд убогой,
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? Где темные леса,
Где речка?..

Если в «Михайловской губе» ощущалась близость старинных западных рубежей — Польши, Литвы, Ливонии, то на границах Симбирской губернии давал себя знать Восток. Вокруг Болдина раскинулись мордовские деревни, а по соседней речке Пьяне тянулись татарские селения (в настоящее время с этой местностью соседствуют Чувашская, Мордовская и Татарская автономные социалистические республики). В XVII веке эти разноплеменные поселки средневолжского плеса поддерживали Степана Разина в его борьбе с правительственными войсками. От Жигулей и Самарской луки сюда шли

сказания и песни поволжской вольницы. Неудивительно, что Пушкин в Болдине с увлечением отдавался своему любимому занятию — собиранию народного творчества.

На первый взгляд просторы безлесной местности понравились Пушкину. Судя по его письмам, «степь да степь» приглянулась ему. По крестьянским преданиям, он ездил верхом в Казаринские кусты и соседние рощи, записывая, «какие местам названия, какие леса, какие травы растут, о чем птицы поют...». Располагал к работе и прочный дедовский дом под деревянной крышей, обнесенный дубовым частоколом.

Но с переменой погоды Пушкин сильно заскучал в своем «печальном замке», где только и можно было наблюдать, что «дождь и снег, и по колени грязь». При въезде в усадьбу зловеще чернели ворота, на которых, по преданию, его самовластный дедушка повесил француза-учителя. Убогая вотчинная контора и сельская церковь дополняли болдинский пейзаж. Здесь наблюдал поэт зарисованный им в «Шалости» сельский жанр: «Без шапки мужичок, под мышкой гроб ребенка», — одна из первых в русской поэзии зарисовок исстрадавшейся и вымирающей крепостной деревни. А дальше, по дороге в Кистенево, раскинулся печальнейший сельский погост, многократно зарисованный Пушкиным в его болдинских записях:

Немые камни и могилы
И деревянные кресты
Однообразны и унылы...

Кладбищенские мысли навевались и последними событиями: с персидской границы по Кавказу и Волге ползла «индийская зараза», или «сарацинский падеж», по образной терминологии поэта. Это была первая в России эпидемия холеры; ее смешивали с чумой (в болдинских письмах Пушкина мор 1830 года называется безразлично обоими этими терминами). Деревни оцеплялись, устанавливались карантины, к околицам приставляли караульных, отводились избы под больницы. Пушкин высмеивал

санитарные приказы министра внутренних дел и произносил крестьянам речи о борьбе с холерой, над которыми сам иронизировал в своих письмах.

Осень выдалась хлопотливая и тревожная. В Болдине Пушкин узнал, что предоставленная ему земля с двумястами крепостных не составляет особого имения, а является частью деревни в пятьсот душ; необходимо было приступить к разделу. Болдинский конторщик составил прошение в сергачский уездный суд. Последовало соответствующее распоряжение земскому суду, и 16 сентября дворянский заседатель ввел Пушкина во владение сельцом Кистеневом, Темяшевом тож, при реке Чеке, впадающей в Пьяну.

Это был старинный опальный поселок. Сюда грозный барин Лев Александрович Пушкин выселял из Болдина крепостных «за самодурство и бунты». В своих необычайных названиях — Самодуровка, Бунтовка — улицы деревни хранили воспоминания о своем прошлом. Крестьяне здесь жили в большой нужде, черно и грязно, в подслеповатых курных избенках.

Став владельцем этой бедной деревеньки, Пушкин был вынужден разбираться в документах вотчинной конторы, выслушивать претензии крепостных на разорившего их бурмистра, читать «смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом», «возиться с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками». Все это раскрыло перед ним особый мир провинциальных повытчиков уездной ябеды, захолустного «крапивного семени». В качестве землевладельца ему приходилось просматривать хозяйственные книги, вникать в оброчные ведомости, сопоставлять размер недоимок и казенного долга, знакомиться с «ревизскими сказками» и тетрадями расхода мирских денег. Документы оказались историческими источниками для полной кистеневской летописи.

Пушкин привез с собой в Болдино второй том «Истории русского народа» Полевого, которая воспринималась им теперь в свете подлинной жизни

одного глухого русского селения. Так возникла «История села Горюхина»», в которой пародия на приемы и методы ученых-историков нисколько не заслоняет живых и подлинных черт быта пушкинской вотчины, где в старину крепостных били «по погоде» или дурному настроению помещика, «забривали в рекруты», сажали «в железы»; с появлением же приказчика-кровососа «в три года Горюхино совершенно обнищало, приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли, ребятишки пошли по миру». Горестный сарказм горюхинской истории, широко развернувший на нескольких страницах картины разнузданного произвола бурмистров и удручающего бесправия разоряемых крестьян, приводил к огромному и безотраднейшему обобщению всей жизни и всего строя крепостной России.

Выход из этого удручающего бесправия намечался в восстании крестьян. Эпилог повести, видимо, заключался в последних пометах плана: «Богатая вольная деревня обеднела от тиранства», «Мирская сходка. Бунт».

Одновременно Пушкин работал и над первой серией своих новелл. В одном из болдинских писем он сообщает, что занялся сочинением «сказочек» (получивших впоследствии общее заглавие «Повестей Белкина»). Материалом для них послужили в большинстве случаев некоторые предания, воспоминания, житейские эпизоды, лично подмеченные или бытовавшие в устной (а подчас и книжной) традиции. Московская вывеска гробового мастера Адриана Прохорова на Никитской, по соседству с домом Гончаровых, навеяла Пушкину фабулу «Гробовщика». Воспоминания о старинном кишиневском приятеле — бесстрашном дуэлисте и боевом офицере полковнике Липранди — легло в основу «Выстрела»*. Разъезды поэта-странника, ожидания и ночевки на почтовых станциях сообщили бытовую оправу «Станционному смотрителю». В «Мете-

* Вопрос о Липранди как прототипе Сильвио разработан в моей статье «Исторический фон «Выстрела» (К истории политических обществ и тайной полиции 20-х годов)». «Новый мир», 1929, V.

ли» и «Барышне-крестьянке» опыт личных наблюдений, видимо, сочетался с некоторыми литературными традициями. В сжатой и прозрачной форме большинство этих повестей вскрывает трагические противоречия человеческих отношений. Проза пушкинских новелл эскизна и легка, как его собственные рисунки пером, как беглые наброски «быстрых» рисовальщиков, которые он так любил за их воздушность и выразительность. Именно так сам он характеризует графические очерки Ленского, чертившего сельские пейзажи «пером и красками слегка...».

Но эти летучие рисунки запечатлевали подчас весьма суровые и горестные явления текущей действительности. Одна из коротких повестей Пушкина отличалась своим глубоким социальным звучанием и оказала сильнейшее воздействие на последующее развитие русского гуманистического реализма. Это был рассказ о смотрителе почтовой станции, страдательном лице старорусской жизни, пребывающем в постоянной зависимости от всех проезжающих «по казенной надобности»: чиновников, военных, фельдъегерей, курьеров, столь легко возвышающих над безответным «регистратором» свои голоса и нагайки. Картина разительного социального неравенства царской России раскрыта во всем своем трагизме в истории старого Самсона Вырина, чья жизнь и счастье мгновенно разбиты вспыхнувшей страстью проезжего гусара к его красавице дочке. Беглый романический эпизод, внесенный Пушкиным в его «Повести Белкина», оказался подлинным новым словом в русской литературе: он возвестил большую и драматическую тему о юной девушке, затерянной где-то в глуши, у большой дороги, со своей несбыточной мечтой о счастье — «Тройку» Некрасова, Катюшу Маслову на станции, «Красавиц» Чехова, «На железной дороге» Блока (в плане рассказа центральной темой является «История дочери»). Непрочен видимый успех Дуни: «Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкой», — горестно размышляет ее покинутый отец. В его лице Пушкин дал неумирающее во-

площение серенькой массы неприметных «мучеников четырнадцатого класса», медленно чахнущих в своих поношенных правительственных вицмундирах среди удручающего произвола дворянской империи. Почти незамеченный критикой тридцатых годов «Станционный смотритель» оказался предвестием целого литературного течения эпохи Белинского, как бы одним из творческих манифестов натуральной школы, возвестившим невиданный рост социально-психологического реализма в классическом русском романе.

2

Отрезанное санитарными кордонами от столиц и губернских городов, Болдино жило слухами и скудными газетными сообщениями. В начале октября Пушкин узнал, что холера дошла до Москвы, а в конце месяца он получил из «зачумленного города» письмо от Гончаровой. Попытки прорваться сквозь заставы и карантины, чтоб разделить с невестой тревоги грозного времени, не удаются поэту, и он вынужден вернуться с размытой дороги «в свою берлогу» и томиться там безвыходностью и неизвестностью.

Но творческая работа продолжалась. Пушкин разрабатывает в Болдине новый драматургический вид, в котором вольные просторы романтического театра сменяются предельной концентрацией действия. Такой жанр коротких и напряженных сцен замечательно отвечал давним стремлениям Пушкина найти сжатое выражение для трагедийного изображения человеческих страстей: зависти, скупости, чувственности, дерзания. Теперь раскрывалась новая лаконическая и выразительная форма для выполнения таких замыслов. Пушкин пробует озаглавить свои психологические диалоги: драматические сцены, драматические очерки, драматические изучения, даже «опыт драматических изучений». Традиция установила за ними название *маленьких трагедий,* по выражению самого Пушкина в письме к Плетневу от 9 декабря 1830 года.

Первая из этих коротких драм, «Скупой рыцарь», была задумана еще в 1824 году в Михайловском.

В процессе длительного созревания замысел поэта получил исключительную мощь выражения. В трех сжатых сценах раскрылась целая историческая эпоха. Она дана в напряженной борьбе власти и бесправия, богатства и нищеты, рыцарства и скупости. Сквозь башню, подвал и дворец показана вся феодальная Франция.

Широкой портретной галереей развернут блестящий и жестокосердный мир властвующей аристократии: владетельный герцог в кованой династической цепи, старый хищник с баронским гербом и ржавыми ключами, граф Делорж в дорогих доспехах венецианских оружейников; странствующий рыцарь Ремон, объезжающий родину Дон-Кихота; и, наконец, с наивным обликом сказочной принцессы нежная Клотильда, воспетая в балладах провансальских труверов.

Как в ослепительной вспышке выступает перед нами весь этот праздный и праздничный мир на великокняжеском турнире, где панцирные всадники ломают копья в присутствии своих прекрасных дам, юных пажей и звонкоголосых герольдов. Мы видим их и за пышным столом сеньора, где, сбросив тяжеловесные латы, они празднуют свои подвиги, «в атласе да в бархате», как на картинах Рубенса.

Но есть и другая Франция. Сквозь речи и думы героев мы прозреваем где-то на окраинах этого ослепительного царства долговую тюрьму и больницу всех скорбящих, мрачное гетто и большую дорогу, игорный притон и трущобу ремесленника. Это мир средневековой отверженности, мир низших сословий и общественных париев—обездоленных горожан, вымирающих мастеровых, замученных крепостных. Вот бедная вдова рыдает под проливным дождем у порога бездушного заимодавца, прижимая к груди трех голодных детей; где-то умирает больной кузнец, покинутый старшинами своего цеха; дворовый крестьянин, одновременно дружинник, челядинец и серв, беспрекословно выполняет все прихоти молодого барона, служа ему оруженосцем, кравчим, каштеляном и конюхом.

Контраст этих двух миров порождает третий, притаившийся и грозный, — мир опасного риска и пре-

ступных помыслов; здесь промышляет ростовщик, готовый участвовать в убийстве; аптекарь, торгующий ядами; бродяга Тибо, способный на кражу и даже на грабеж. Отсюда в мир благоденствующих вползает «окровавленное злодейство».

А между всеми этими кастами и состояниями рвется к жизни молодой Альбер, этот «тигренок», дичок, олень, этот «рыцарь бедный». Но не тот, который имел «одно виденье, непостижное уму». Нет, этот до конца изведал «стыд горькой бедности» и сам погрузился в расчеты. Его подлинный девиз, как и у лесного бродяги: «Давай червонцы!» Он озабочен закладами, выкупом, заемными письмами, доходами наследственного лена. Он знает о грозных противоречиях окружающего его строя—сундуках фламандских богачей и галерах алжирских рабов. Мир расколот надвое денежной силой. Уже не благородное искусство паладина направляет на турнирах удары гарцующего всадника, а ярость разоряемого бедняка, теряющего свое последнее достояние. Безденежье разлагает старинную доблесть и воинскую славу. Это конец XV века. Вырождается древнее рыцарство; его храбрым воинам остаются только проломанные шлемы и «дырявые атласные карманы»...

Вот почему верный вассал трех сюзеренов — старый барон Филипп—копит в своем подземелье несметные дублоны, дукаты и экю. Его монолог о мрачной и всемогущей власти золота, порождающей страшное неравенство, преступления, разбой, голод и унижения, — одно из высших достижений Пушкина-трагика:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных

«Горсть золота» здесь становится воплощением немилосердной феодальной власти, страшным сплавом преступных вожделений и безысходных мук, «тяжеловесным представителем» поруганной добродетели, растленных муз и порабощенного труда. Это целая философия денег, возвещающая из подземной глубины

средневековых подвалов грядущую через пять столетий зловещую мощь капитализма. Трудно назвать в литературе более сильное осуждение государства и права, построенных на власти денег.

Нельзя не согласиться с позднейшим отзывом И. С. Тургенева, что под монологом скупого рыцаря «с гордостью подписался бы Шекспир».

В «Каменном госте» традиционный образ любовного авантюриста приобретает новые черты: не обличение распутника, а раскрытие в нем сильных драматических черт прельщает Пушкина. Его Дон-Жуан — поэт, сочиняющий превосходные романсы Лауре и непринужденно выступающий «импровизатором любовной песни». Он славится своим красноречием («О, Дон-Жуан красноречив, я знаю!») и сразу же увлекает неприступную вдову яркой образностью своих признаний:

...Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой.
Когда сюда, на этот гордый гроб
Пойдете кудри наклонять и плакать...

Интеллектуальный блеск и поэтическая одаренность в нем сочетаются с бесстрашием мысли и дерзкой независимостью поступков. Постигающая его катастрофа не является у Пушкина возмездием за греховность, а только раскрытием трагизма, заложенного в любовной страсти.

Прочитанный некогда на юге биографический эпизод об отравлении Моцарта музыкантом-соперником обращает мысль Пушкина к двойному трагизму судьбы художника: не только борьба с внешними силами, но и гонения в собственном артистическом кругу нередко готовят ему гибель.

Первоначально драма была озаглавлена «Зависть». Композитор Сальери, который, по преданию, на премьере «Дон-Жуана» со свистом «вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью», должен был воплотить этот порок, порождающий столько драм в быту художников. «Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца», — записал несколько позднее Пушкин.

Но в самой драме тема зависти отступила перед другими, более глубокими заданиями. Пушкин в лице двух композиторов воплотил два основных творческих типа — импровизатора и труженика, синтез которых являла его поэзия. Моцарт непосредственный и совершенный художник, Сальери — артист-исследователь, создающий образы искусства на основе точного труда. В его лаборатории анализ, наука, чертеж и формула предшествуют «неге творческой мечты». В его стремлении поставить ремесло подножием искусству и проверять полет вдохновений математикой, в сущности, много ценного и верного. Наука о музыке, о стихе, об архитектуре пошла этим путем. Сальери не самодовольная бездарность, это замечательный мыслитель и теоретик, выдающийся философ искусств, неутомимый искатель совершенной красоты, достичь которой ему не дано. Возродить для нового творческого бытия препарированный им «труп музыки» он не в состоянии, и в этом трагедия его личности и судьбы. Не труд его вина, а бескрылый эксперимент. Ему, неполноценному художнику, недоступны черты гениальной натуры Моцарта: праздничная непосредственность вдохновений, солнечность духа, влюбленность в жизнь, доверие к людям. Сальери же, по его собственному признанию, обиду чувствует глубоко и мало любит жизнь. Вот почему он не в состоянии подняться на светлые вершины искусства и может так легко низвергнуться в провалы преступного замысла.

Наряду с темой о двух художественных типах Пушкин ставит и моральную проблему — о «гении и злодействе». В сознании Сальери-отравителя, принесшего своего гениального друга в жертву «вольному искусству», возникает образ Микеланджело, который ставил творчество выше жизни:

А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Если в плане художественном Пушкин признает «и труд, и вдохновенье» (по его стиху 1822 года), то в плане этическом он всецело на стороне Моцарта

с его светлой мудростью· «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

«Моцарт и Сальери» — не только «лучшая биография» Моцарта, как охарактеризовал пушкинскую трагедию замечательный русский композитор А. К. Лядов, но и вдохновенная философская поэма «о бессмертии гения, творения которого приносят радость и счастье человечеству» *.

Проблеме смерти посвящен «Пир во время чумы», отчасти навеянный последними впечатлениями Пушкина.

Всеобщая тревога перед «индийской заразой», холерные карантины, бегство Макарьевской ярмарки, бросившей свои барыши перед призраком грозного мора, — все эти события сообщили особый личный тон первоначальным вариациям на тему вильсоновской трагедии о чумном городе. Преодоление страха смерти безмерной любовью девушки Мери и вызывающим бесстрашием юноши Вальсингама, запечатленное в бессмертных строфах элегического романса и мощного гимна, придает «Пиру во время чумы» значение одного из величайших созданий Пушкина.

Таковы эти философские диалоги, ставшие глубокими человеческими драмами.

Почти во всех звучит мотив освобожденной мысли. Дерзостный Дон-Жуан в духе нового атеистического бунта глумится над «священной» неприкосновенностью загробного мира. Эта тема с исключительной мощью развернута в гениальной песне председателя чумного пира, преодолевающего силой своей богоборческой мысли страх смерти и ужас перед повальной гибелью. Так, расставаясь с молодостью и вольной жизнью, поэт неизгладимыми по яркости и силе чертами запечатлел свои раздумья о творчестве, любви и смерти в этих диалогических очерках, опытах, маленьких драмах, представляющих собой, по существу, глубочайшие философские трагедии.

---

* Игорь Бэлза Моцарт и Сальери М, 1953, стр 68

3

Несмотря на трудное время, хлопоты и тревоги, Пушкин не теряет своей обычной бодрости, мужественного оптимизма и неизменно свойственного ему спасительного юмора. В оцепленной холерными карантинами унылой деревне созданы такие блестящие и радостные строфы, как «Паж или пятнадцатый год», «Я здесь, Инезилья...», «Пью за здравие Мери...».

Здесь же Пушкин пишет октавами одну из своих лучших комических повестей — «Домик в Коломне», где забавный эпизод сочетается с живой журнальной полемикой и единственным пушкинским «трактатом о стихе». Русская литература еще не знала такой остроумной стихотворной «поэтики», где специальные вопросы метрической формы (упадок четырехстопного ямба, ломка классического александрийского стиха, сложная структура октавы) получали бы такое живое и подчас забавное разрешение. Сам фривольный эпизод напоминал шуточные поэмы XVIII века, но манера повествования обличала особую зоркость художника к бытовым деталям убогих столичных окраин, хорошо знакомых поэту по годам его молодости. Это сообщало лукавой повести ноты глубокого лиризма, особенно в октавах о «гордой графине», скрывавшей под маской блистательного тщеславия тяжелые унижения и страдания своей личной жизни. Это один из превосходнейших психологических портретов Пушкина.

Его стиховое искусство достигает к этому времени высшей зрелости. Недаром в своем «Домике в Коломне» он роняет афоризм:

Блажен, кто крепко словом правит

Лучшие знатоки поэзии не переставали отмечать высокие познания Пушкина в теории стиха. «Он знал очень хорошо технику стихосложения», — писал Катенин. «Вообще он правильнее Байрона и тщательнее и отчетливее в форме», — свидетельствует Мицкевич. Углубленность разработки и богатство стихотворной



Пейзаж со срубленным пнем.
Рис. Пушкина. Чернила.

формы сказываются в различных жанрах и размерах, которыми пользуется Пушкин в 1830 году; он проявляет теперь повышенный интерес к сложной и разнообразной строфике:

> Как весело стихи свои вести
> Под цифрами, в порядке, строй за строем, —

отмечает сам он преимущества четкого строфического построения поэмы перед сплошным потоком четырехстопного ямба. Помимо октав и дантовских терцин, его пленяют теперь вольные сонеты, античные гекзаметры и белые стихи драматических сцен. Во всем этом чувствуется поэт-мастер в полном развитии своих сил, гнущий по своему произволу непокорный материал слова и легко овладевающий труднейшими задачами своего высокого ремесла, чтоб разрешить их с неподражаемой виртуозностью, глубиной и свободой.

Еще в середине июля Пушкин получил анонимное стихотворное приветствие, в котором неизвестный автор выражал уверенность, что личное счастье станет для поэта «источником новых откровений». Автором этого послания был скромный и выдающийся ученый А. И. Гульянов, с которым поэт встречался в салоне

Волконской; Чаадаев в одном из своих писем к Пушкину сообщал, что этот египтолог своими трудами «потряс пирамиды на их основах» (он выступал с критикой учения знаменитого египтолога Шамполиона о иероглифах и трудился над большими исследованиями о происхождении языков и общей грамматики). Это был один из незаметных в биографии Пушкина искренних и горячих его друзей.

Поэт решил ответить на дошедшее до него «ласковое пенье». Написанный в Болдине 26 сентября знаменитый «Ответ анониму» представляет собою наиболее полное выражение пушкинской мысли о личной судьбе писателя в современном обществе:

Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет..
Но счастие поэта
Меж ими не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно.

В Болдине Пушкин работал над пленившим его трудным жанром — надписями в древнем роде, которые сам назвал «анфологическими эпиграммами». Но античная традиция этих коротких, пластических и мудрых записей («Рифма», «Труд», «Царскосельская статуя») заполняется живым и непосредственным, подчас и национальным материалом.

Лаконичная форма таких созерцаний и размышлений послужила Пушкину и для увековечения великого зачинателя поэзии и науки на Руси. Это как бы скульптурный барельеф или выгравированная надпись к портрету Ломоносова. В «Отроке» Пушкин запечатлел свое преклонение перед величайшим представителем русского просвещения, подлинным организатором отечественной культуры. Это был, по мысли Пушкина, всеобъемлющий ум: «историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник». Самобытный сподвижник просвещения, «он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был *первым* нашим университетом». Пушкин це-

нит в гениальном самородке могучего выразителя всенародной одаренности:

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь подвижник Петру *.

Так же назвал Пушкин Ломоносова и в одной из своих статей: «великим сподвижником великого Петра». Явственно звучит мысль о призвании поэта служить своим творчеством народу и государству, пример чего и явил в своей многогранной деятельности «сын холмогорского рыбака».

В Болдине, как на юге и в Михайловском, Пушкин остается поэтом-этнографом: к песням о Разине, к свадебным и похоронным мотивам Псковского края он присоединяет напевные сказания средневолжского бассейна. В Казаринских кустах, на «Поганом конце» Болдина, на Кривулице своего опального сельца, в чащах Лучинника и Осинника он неизменно прислушивается к народному говору, запоминает своеобразные местные приветствия, отмечает особенности горюхинского языка, «исполненного сокращениями и усечениями», записывает крестьянские стихи, изучает кистеневский фольклор, идущий, по его определению, от солдат-писателей и боярских слуг. По-новому звучат для него болдинские песни, столь отличные от псковского творчества: «Приведи-ка, матушка, татарина со скрыпкою, мордвина с волынкою». В песнях упоминались и болдинский плот, и ковыль-трава, белеющая в степях Лукояновского уезда, и бурлаки, уплывающие «вниз по Волге по реке». С грустью, свойственной русской песне, здесь запечатлелись безотрадные черты трудового и домашнего быта крепостных.

Пока Пушкин находился в Болдине, в Петербурге происходили события, готовившие ему новые горести. В «Литературной газете» от 28 октября 1830 года

---

* Два последние слова по беловому автографу. Соч., изд. Академии наук СССР, т. III, вып. 2, стр. 846.

Дельвиг поместил заметку, в которой выражалось сочувствие героям Июльской революции и приветствие освобожденной от Бурбонов Франции: это было четверостишье Казимира Делавиня на памятник жертвам последнего переворота.

Уже через два дня Бенкендорф потребовал сведений «для доклада государю императору, кто именно прислал сии стихи к напечатанию». Дельвиг отвечал, что текст доставлен ему «от неизвестного, как произведение поэзии, имеющее достоинство новости», и что заметка была разрешена к напечатанию цензурой.

Ответ этот взорвал Бенкендорфа. После грубого объяснения с главным редактором «Литературной газеты» он отдал распоряжение о ее закрытии.

Вмешательство влиятельных друзей спасло положение. К Дельвигу явился чиновник III отделения с извещением, что его издание будет продолжаться, но только под редакцией другого лица — Ореста Сомова.

Все это мало успокоило автора «Идиллий» и романсов. Всегда болезненный, он серьезно расхворался, «впал в апатию» и 14 января 1831 года скончался.

«Он был лучший из нас», — писал глубоко огорченный Пушкин 21 января Хитрово. Он предлагает Плетневу и Баратынскому написать совместно с ним биографию покойного поэта и неоднократно вспоминает в стихах своего «милого Дельвига», «доброго Дельвига», друга и советника художников.

4

Из своего болдинского плена Пушкин выбрался в самом конце ноября. По пути ему пришлось еще пробыть четыре дня в Плотавском карантине, где он написал «Мою родословную». Еще в деревне в ответ на булгаринские инсинуации (о «мещанине во дворянстве», о негре, купленном за бутылку рома) Пушкин написал заметку, в которой возмущался «иностранцем», дерзающим «пакостить около гробов наших праотцев».

Но беглая заметка не давала простора для ответа. Пушкин обращается к другому жанру, более свободному, но такому же острому и разящему. Его привлекает сатирическая песенка, задорная, вызывающая, стремительно развертывающая свою тему в нескольких куплетах с бойким ударным припевом.

В таких полемических строфах он дает обзор прихотливых судеб российского дворянства. В нескольких куплетах «Моей родословной» Пушкин изображает два слоя русской аристократии: культурное, но обедневшее потомство «бояр старинных» и всемогущую знать, происходящую от случайных фаворитов императорского периода. Поэт отмечает преимущество своей древней фамилии, служившей русскому государству вместе с Александром Невским и Мининым, перед всеми выскочками последнего столетия, оттеснившими Пушкиных от политической активности и государственного влияния:

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин...

Эта борьба двух течений в дворянстве новой эпохи, выдвинувшей умелых карьеристов на первые правительственные посты и обратившей в ничтожество исторических носителей государственной культуры, выражена в «Моей родословной» с исключительной силой обличения. Пушкин, приняв вызов «Северной пчелы», исходит из мольеровской формулы «мещанин во дворянстве», но в легких стансах иронической песни мощно очерчивает трагические годины России с ее «бранными непогодами» и массовыми казнями. Поразительны по своей предельной сжатости и могучей экспрессии исторические характеристики вроде: «Гнев венчанный — Иван четвертый...» Журнальную полемику о русских дворянских родах Пушкин впервые облекает в острые строфы, приобретающие под его пером энергию и законченность актов исторической драмы.

5 декабря Пушкин возвращается, наконец, в Москву. Строгий художник мог гордиться беспримерной творческой жатвой, собранной им в осеннем Болдине.

Но особенно радовало поэта окончание его долголетнего поэтического труда. В сообщении Плетневу из Москвы от 9 декабря 1830 года о написанном в деревне — на первом месте любимый роман: «Вот что я привез сюда: две последние главы Онегина (8-ю и 9-ю) совсем готовые в печать».

VII

РОМАН В СТИХАХ

1

25 сентября 1830 года был закончен в Болдине «Евгений Онегин», начатый в Кишиневе весною 1823 года. Пушкин определял первоначальный замысел своего романа как «сатирическое описание петербургской жизни молодого русского *в конце 1819 года»*.

Датировка не была случайной. Именно этот год с особенной силой вскрыл противоречия общественных течений и правительственной реакции в России и на Западе. Недаром политический союз передовых деятелей, намеченный Николаем Тургеневым и Федором Глинкой, должен был именоваться «Обществом 19-го года XIX века». Это было время похода на университеты, ревизии Магницкого в Казани, убийства царского агента Коцебу студентом Зандом, возникновения филиала Союза благоденствия — «Зеленой лампы».

В 1819 году Николай Тургенев подает Александру I записку о крепостном состоянии с предложением решительного ограничения помещичьих прав. Это год написания Пушкиным «Деревни» и эпиграммы «Холоп венчанного солдата», год его знакомства с Рылеевым. Именно в этом году вспыхнуло настоящим пожаром чугуевское восстание военных поселенцев.

«В конце 1819 года, — рассказывает Николай Тургенев, — ко мне зашел князь Сергей Трубецкой и без всяких вступлений заявил, что, зная мои взгляды, он считает своим долгом предложить мне всту-

пить в тайное общество, программу которого тут же вручил мне. Это был устав Союза благоденствия. Такое же предложение он сделал, по его словам, одному поэту из моих друзей (В. А. Жуковскому)». Поэт-балладник отказался вступить в общество, Николай Тургенев согласился.

«Стон народа раздается от Петербурга до Камчатки, — записал он в своем дневнике 31 декабря 1819 года. — Итак, с мыслью о тебе, о Россия, мое любезное и несчастное отечество! провожаю я старый и встречаю новый год».

Так расценивало молодое поколение сложившуюся политическую обстановку. 1819 год, когда явно окрепли тайные организации и протестующие голоса стали отчетливее раздаваться в подавленном обществе и даже в подцензурной печати, был как бы предвестием надвигающихся бурь. Это было время подготовки событий 1820 года: испанской и неаполитанской революций, убийства герцога Беррийского, восстания Семеновского полка, ссылки Пушкина на юг. Начало действия «Евгения Онегина» относилось к этой эпохе революционных канунов и освободительных предвестий.

Фон этот еле ощущается в первой главе. Но она недаром должна была носить заглавие «Хандра». Поэт сквозь ироническое изображение своего «пресыщенного» героя, в сущности, с глубоким сочувствием вникает в его безотрадные раздумья об окружающем мире. В «Кавказском пленнике» он дал лишь набросок современного юноши с передовыми воззрениями и охладелой душой. Теперь начинает вырисовываться его портрет во весь рост.

Пушкин закончил первую главу «Евгения Онегина» 22 октября 1823 года и на следующий же день начал вторую, которая писалась легко и быстро. Петербургские впечатления сменились воспоминаниями о летних пребываниях в селе Михайловском. Нравы и обитатели соседнего Тригорского сообщили материал для группового портрета Лариных. Центральной фигурой выступал новый тип молодого поколения — энтузиаст политической свободы и творческого слова.

Пушкин предполагал назвать эту главу «Поэт». В ней намечалась тема трагической судьбы возвышенного лирика с его «восторженной речью» и «вольнолюбивыми мечтами» в этом пустом и поверхностном обществе.

Третья глава, «Барышня», написанная в 1824 году в Одессе и Михайловском, была посвящена героине романа и ее возникающей сердечной драме. В деревне же в 1825—1826 годах создавались центральные главы «Евгения Онегина» — четвертая, пятая и шестая. Портретные этюды первых глав сменяются драматической борьбой: скептик наносит свои смертельные удары Ленскому и сердцу Татьяны («Деревня», «Именины», «Поединок»).

Седьмая глава «Онегина» (озаглавленная в плане «Москва») вырастала медленно (в 1827—1828 годах). Поэт сосредоточенно работал над углублением своих образов. В онегинской библиотеке над страницами Байрона и Бенжамена Констана Татьяна умственно зреет, приучает себя критически относиться к людям, уверенно разбирается даже в самом сложном современном характере. Чутьем любящего сердца она замечательно понимает драму яркой и одаренной личности, обреченной в условиях окружающего быта на бесплодное прозябание.

Для полного раскрытия сущности этого сложного характера Пушкин решил внести в роман дневник своего героя — «Альбом Онегина», полный отточенных афоризмов и безнадежных вопросов:

Так напряженьем воли твердой
Мы страсть безумную смирим,
Беду снесем душою гордой,
Печаль надеждой усладим.
...Но чем утешить
Тоску, безумную тоску?

В Болдине осенью 1830 года Пушкин дописал восьмую и девятую главы «Евгения Онегина» («Странствие» и «Большой свет»). Скитания Онегина по России с ее чудесными пейзажами, ярмарочной суетой и народными песнями обнаруживают оторванность его от жизни родины, сознание непричастности к общему делу, нравственной изоляции и обидной ненужности.

В противовес этому поздняя вспышка его увлечения Татьяной до конца раскрывает в петербургской княгине все ту же пленительную, задумчивую, «прежнюю Таню»; от всех соблазнов блестящего великосветского адюльтера она уходит в личное строгое одиночество, свободное от сделок с совестью и лживой маскировки страстей. Из пестрой сутолоки своего «модного дома» она рвется душой

В деревню, к розам и тюльпанам,
К своим возлюбленным романам,
В прохладу яблонных аллей *.

Ее влечет в бедное жилище, в старый сад, под листву сельского погоста, где покоится хранительница народных поверий и сказаний — воспитавшая ее крепостная крестьянка.

Такова трагическая развязка романа. Герои, призванные к полноценной жизни и счастью, остались в полном одиночестве. Жизнь с ее дарами обошла их. Белинский прекрасно назвал «Евгения Онегина» «поэмой несбывающихся надежд, недостигающих стремлений...». Последняя строфа романа полна безысходной грусти; в ней Пушкин прозрачно говорит о героях своего жертвенного поколения — о декабристах, об одной из их героических спутниц. Меланхолическое изречение Саади: «Иных уж нет, а те далече» — проникается современной политической трагедией и напоминает о кронверке Петропавловской крепости и нерчинских рудниках.

Но такой безотрадный финал противоречил творческой натуре Пушкина. Он хотел для своего героя жизни, подвига, борьбы. В задуманном эпилоге романа Онегин «должен был или погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов», как сообщал поэт летом 1829 года своему брату Льву Сергеевичу и молодому адъютанту Николая Раевского Юзефовичу. В кругу этих друзей Пушкин по пути в Арзрум впервые увидел представителей своего поколения на войне; роман его мог обогатиться новой главой — кавказской, военной, о чем он и рассказывал участникам

* Из черновика «Евгения Онегина».

похода в их лагерной палатке. Но в 1830 году поэт остановился на втором варианте задуманного финала и стал разрабатывать в Болдине десятую главу, в которой нравоописательный роман переходил в политическую хронику современности. Здесь и собрания вольных петербургских кружков типа «Зеленой лампы», в которых «читал свои ноэли Пушкин», и очерк революционного движения на юге — в Тульчине и Каменке, и глубоко сочувственные упоминания имен казненных декабристов — Пестеля и Сергея Муравьева-Апостола. В начальных строфах давалась памфлетическая характеристика Александра I («властитель слабый и лукавый...»). Все это сообщало десятой главе резкий антиправительственный смысл и вызывало необходимость тщательно скрывать такое «крамольное» произведение. 19 октября в Болдине Пушкин сжег рукопись десятой главы (вероятно, к тому времени еще не оконченной), а для себя сохранил лишь шифрованную запись этой «хроники», впервые разобранную и опубликованную пушкинистом П. О. Морозовым в 1910 году.

Так строился «Евгений Онегин», медленно слагаясь в тот высоко ценимый Пушкиным тип проблемного романа, в котором

отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно..

Новейший герой, переживающий на фоне своей антиреволюционной эпохи безысходную драму, — таково было художественное задание автора и так определился творческий метод «Евгения Онегина».

Какое же истолкование получил в этой широкой картине русского общества 1819—1825 годов *современный* человек?

2

Для образов романа в литературе о Пушкине указаны многочисленные прототипы. Мы не станем обращаться к ним. Но нельзя пройти мимо указания поэта в письме к Н. Б. Голицыну в Артек от 10 ноября

1836 года: «Как я завидую прекрасному климату вашего Крыма: письмо ваше пробудило во мне столько разнообразных воспоминаний. Это колыбель моего «Онегина»: и вы, конечно, узнали бы некоторых персонажей» (то есть живые прообразы героев романа). Это, очевидно, указание Пушкина на его крымских друзей 1820 года — Раевских, которых бывший военный и поэт Голицын, несомненно, знал лично.

Неизгладимый в творческой памяти поэта след оставила его пятигорская встреча с Александром Раевским (с «Крымом» в пушкинском письме к Голицыну, конечно, неотрывно связан и летний Кавказ 1820 года). Образ бесстрашного отрицателя поразил Пушкина по своей резкой противоположности его собственным поэтическим порывом, влюбленности в жизнь, устремленности в будущее. Холодный рационалист рядом с восторженным мечтателем составлял поразительный психологический контраст, настоятельно требовавший художественного воплощения в просторном плане поэтического романа с его безбрежной далью и безграничной свободой. Влюбленная девушка с мечтой о жертвенной жизни могла бы глубоко оттенить всю безотрадность современного скептицизма с его эффектной внешней позой и неприглядной внутренней опустошенностью. Весной 1823 года Пушкин и заносит в свои тетради первые наброски к такой широкой картине культурной России его времени, раскрытой в ее характернейших молодых представителях — холодном отрицателе, энтузиасте-романтике и героической девушке.

Так слагался первый русский роман о «современном» герое. Из южных поэм, где уже были даны беглые эскизы такого «сына века», выросла обширная эпическая картина, обрисовавшая во весь рост носителя новейшей, утонченной культуры в его глубоком душевном кризисе. Лирическая новелла о разочарованном скептике превратилась в «собранье пестрых глав», развертывая целую галерею психологических портретов на фоне идейного брожения двадцатых годов. Любовный эпизод из жизни пленника или Алеко становился в «Евгении Онегине» большой обществен-

ной темой, уводящей от личного переживания героя к мироощущению целой эпохи. Недаром сам Пушкин называл в связи с главными образами своего романа имена таких выдающихся современников, как Чаадаев и Рылеев, и дал почувствовать в добровольной жертве Татьяны отражение героической личности Марии Волконской.

Драматична эволюция главного образа. Из салонного мизантропа и праздного эпикурейца он превращается понемногу в носителя глубокого чувства и протестующей мысли. Безразличный вначале ко всему, кроме чувственных наслаждений и эстетических форм быта, весь погруженный в свой «безнадежный эгоизм», Онегин без сожаления и горести произносит суровый приговор своему нравственному бытию: «Не обновлю души моей...»

Но под пеплом его истлевших страстей Пушкин понемногу раскрывает искры подлинного благородства и живых порывов сердца. Стареющий Онегин, по тонкому замечанию Герцена, «молодеет через любовь». Весьма примечательно, что последнее признание Евгения вызвало восхищение Маяковского, который «два дня» ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Одновременно сказывается и отзывчивость героя на бедствия эпохи. Поэт, как известно, решил включить в маршрут странствующего Онегина и военные поселения Аракчеева; но «тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования» (рассказывал со слов Пушкина Катенин). Не может быть сомнения, что эти антиправительственные резкости раздавались от лица самого Онегина (как и в остальных строфах «Путешествия») и что ими определялась новая позиция героя.

Эти живые черты вызвали сочувственное истолкование личности Евгения в передовой русской критике. Белинский признал его «высшей натурой», бес-

смысленно отвергнутой своей глухой эпохой. Это индивидуалист, страдающий от своего одиночества, «эгоист поневоле»: «в душе его жила поэзия».

По Герцену, герой Пушкина — родной брат Чацкого и Печорина. «Онегин — это русский, он возможен только в России: *в ней он нужен* и его встречают на каждом шагу...» Его умный скептицизм — спасительный выход «из гнетущей нас огромной пустоты».

«Онегин не просто светский фат, — писал Добролюбов, — это *человек с большими силами»,* но с недостаточной волей. И, наконец, по Горькому, Евгений Онегин — *«брат Пушкина по духу»* и даже «портрет Пушкина».

Психологическому богатству образа соответствует его выдающееся историческое значение, отмечающее важный этап роста русской общественной мысли в переломный и памятный период от взятия Парижа до 14 декабря.

Скептицизму молодого Евгения Пушкин противопоставляет этический пафос своей героини, связанный с эпохой высокого морального подъема русского общества. В свете биографий знаменитых «русских женщин» мы вернее понимаем, почему мечтательная дикарка Пушкина так любила книги, в которых говорилось о девушках с сильным характером, способных на большое чувство и высшую самоотверженность. Татьяна воспитывала себя на этих возвышенных образах, развивая в себе сознание серьезности стоящих перед нею задач и своей ответственности перед жизнью. Не к развлечениям и наслаждениям устремлялись ее девичьи помыслы, а к призванию женщины и нравственному подвигу.

Жизнь для нее — моральная проблема, которую нужно до конца осмыслить и безошибочно решить. В своем чудесном письме эта семнадцатилетняя мечтательница, быть может, наивно, но серьезно и убежденно формулирует свой идеал чистой жизни: «Была бы верная супруга и добродетельная мать...» В первом же своем любовном признании она неосознанно противопоставляет эгоцентризму героя свой непосредст-

венный альтруизм и пишет не только о своих душевных томлениях, но и о тех бедных людях, которые нуждаются в ее помощи. Не зная ничего о тайных союзах спасения и благоденствия, она простодушно отвечает на их филантропические уставы своей смиренной поддержкой обездоленных, своим стремлением к «добродетельной», то есть общеполезной, жизни. Не обращаясь к политической деятельности, она принадлежит к лучшему слою молодого поколения своей эпохи и по внутреннему строю своей души неотрывна от декабристской интеллигенции. В русской литературе это первая девушка с духовными исканиями, встревоженной мыслью и требовательной совестью.

Непоколебимая моральная стойкость Татьяны далеко выходит за грани семейного быта и своеобразно выражает заветную идею жертвенного поколения, пережившего оборону Москвы и рост декабризма. В простом и благородном облике этой русской женщины ощущаются треволнения ее грозовой эпохи и героические черты ее народа. Этическая сила образа так велика, что сохраняет свое воспитательное воздействие даже в наши дни с их невиданными масштабами и легендарной героикой. И едва ли можно сомневаться в том, что, как бы ни разрослись задания, стоящие перед новыми поколениями нашей родины, «русская душою» пушкинская Татьяна по высоте своих нравственных запросов и силе волевой решимости навсегда останется в ряду любимых национальных образов.

3

Героиня романа называет поэта Ленского своим братом (гл. VII, строфа XIV). Этот ранний романтик действительно близок девушке-мечтательнице, влюбленной в благородные образы Ричардсона и Руссо. Литературные аналогии здесь ярко освещают характеры. Недаром Ленский цитирует Гамлета, как бы раскрывая этим в своей судьбе трагедию возвышенного юноши, растоптанного жестокой ложью жизни.

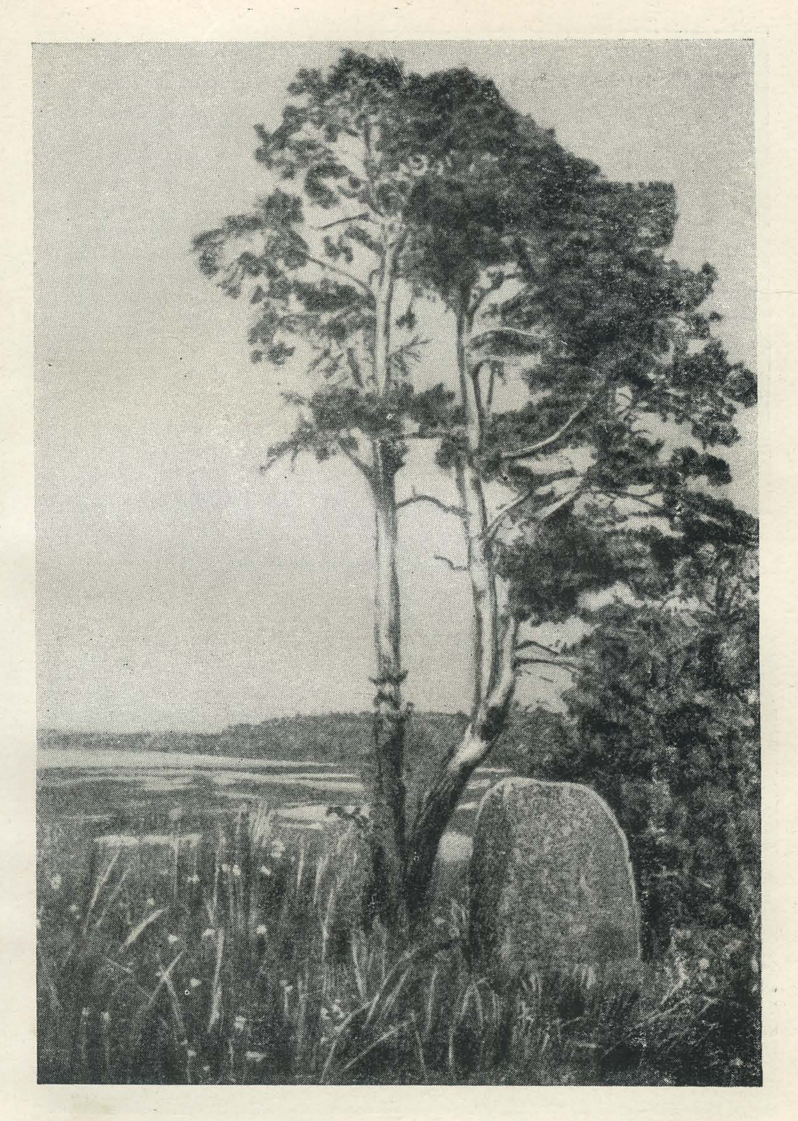
Пушкин с глубокой любовью воссоздавал черты современного поэта, столь чуждого аракчеевской дес-

потии. Лирический портрет вырастал в тип эпохи. Этот пленительный элегик много и мучительно думает о смысле жизни, о целях человеческого существования. Пушкин неоднократно отмечает живую, жадно ищущую, порывистую творческую мысль своего поэта: «волненье бурных дум», «благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых...» Ленский весь в движении, в росте, в исканиях и замыслах.

Из пушкинской характеристики отчетливо выступают три стиля Ленского. Это прежде всего романтическая элегия, заунывная и жалостная («он пел разлуку и печаль...»). Тема грусти и гибели разрабатывалась им в особой словесной манере «темно и вяло», как этого требовала поэтика жанра.

Но чувство жизни и непосредственность переживания просветляли его стиль и сообщали чистоту и прозрачность его образам, что так соответствовало его высокой этической настороженности: «И песнь его была ясна как мысли девы простодушной...» Избегая распаленной эротики, он стремился выразить глубину подлинного чувства, безраздельно овладевшего сердцем.

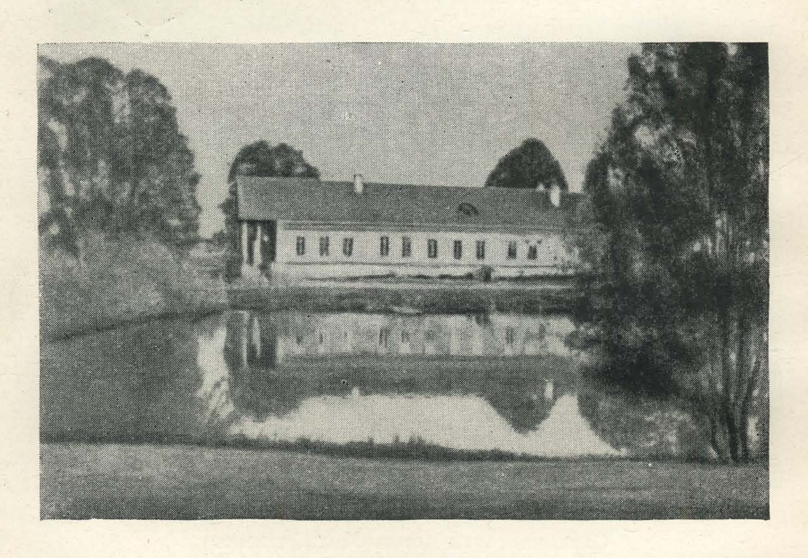
И, наконец, в Ленском вызревал поэт-трибун, социальный лирик, представитель гражданской поэзии. Это был третий, самый зрелый, стиль его. В своем творчестве он не уходил от жизни и современности, от их зол и страданий: «Но чаще гневною сатирой одушевлялся стих его». Этот «ювеналовский» стиль ставит Ленского в прямую связь с обличительной поэзией современных бунтарей. В черновиках романа отмечался не только философский и артистический склад мысли, но и «политический ум» поэта. «Вольнолюбивые мечты», «благо мира», ненависть к «модному свету», темперамент оратора и мятежника, наконец образ праведника в цепях и гибель «смертью смелых» — все это рисует уже не лирического мечтателя, но поэта-гражданина, бурно вырастающего из певца унылых воздыханий в общественного деятеля и революционного борца. Пушкину дорог «строгий Ленский», возвышенный и гордый поэт, цвет декабрист-



Савкина горка (село Михайловское).



Уголок гостиной в Тригорском.



Дом со стороны пруда в Тригорском.

ского поколения Это «юноша, готовый высокий подвиг совершить» (по черновому варианту). Основная тема его мировоззрения звучит как историческая справедливость и освобождение человечества. «Он верил, — сообщает поэт, —

Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит

Эти избранники — вожди человечества, борцы за всеобщее счастье, за грядущий золотой век Смысл выражения «друзья людей» раскрывается нам по аналогии с «Деревней» Пушкина, где уже выступает «друг человечества», термин, связанный с лексикой французской революции («друг народа») Это та поэзия социального гуманизма, которую зачинал в России Радищев и которую поднял на такую недосягаемую высоту его гениальный продолжатель

Ленский, как видим, прошел не только через мечтательный романтизм германского типа, умозрительный и пассивный, он достиг и активного, передового романтизма, которому сочувствовал сам Пушкин и который Гюго так убедительно и смело сравнивал с политической свободой Недаром Мицкевич писал «Ленский — тоже Пушкин в одну из эпох жизни его»

В лирическом некрологе Владимира Ленского имеется и горько-ироническая строфа о возможном разложении такой поэтической натуры в процессе жизни с ее пошлостью и прозой Белинский придавал большое значение этому отрывку и считал обрисованную в нем будничную участь многих «пылких» романтиков наиболее реальной в условиях русской жизни той поры

По-иному истолковал гипотезу Пушкина о Ленском-обывателе Герцен нет, «обыкновенный удел» не мог ожидать этот чистый и возвышенный дар! Ленский — это «жертва русской жизни», это «острое страдание», одна из тех «чистых натур, которые не мо-

гут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде». Пушкин был так потрясен безвременной гибелью этой «искупительной жертвы» своего поколения, что поспешил утешить читателя, «изображая ту пошлую жизнь», которая ожидала бы молодого романтика.

Подлинно творческое истолкование Ленского дал з своей музыкальной интерпретации Чайковский. Истинные поэты сгорают, а не разлагаются.

Вот почему не к Шевыреву и Погодину ведет нить духовной преемственности от Владимира Ленского: он близок к судьбе великих и обреченных русских поэтов своей эпохи: Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Рылеева, с которым сравнил его сам автор. В русской поэзии именно он остается носителем «пламенной смерти» (по слову Гёте). В образе Ленского Пушкин создал бессмертный по красоте и трагизму образ сраженного поэта.

4

Таковы три центральные фигуры пушкинского романа, быть может, самые обаятельные во всей русской литературе прошлого столетия.

Углубленные психологические портреты современников приобретали в этом «собрании пестрых глав» особый поэтический колорит. Продолжая южные поэмы на широком общественном фоне, «Евгений Онегин» длил их задушевный тон признаний и жалоб, личного монолога или сердечной исповеди. Вот почему этот роман нового типа с его широким охватом эпохи строился в основном на испытании героев через любовь. Евгений, Татьяна и Ленский даны в их высшем душевном опыте. Три глубоких признания звучат в романе: письмо Татьяны, предсмертная элегия Ленского и письмо Онегина, познавшего, наконец, могучее чувство и великую скорбь. Именно эти три любовные жалобы сообщают свою взволнованную тональность образам главных героев и всей поэме их жизненных судеб.

Белинский первый отметил широту охвата русской жизни в «Евгении Онегине», где наряду с централь-

ными фигурами изображена и крепостная масса. У гениальных поэтов, пишет критик, крестьянские типы выходят благороднее господ и вельмож: старая Филипьевна «при своей простоте и ограниченности приводит нас в умиление», «и вместе с Татьяною мы вздыхаем над могилою ее бедной няни». Этот глубоко народный образ как бы приоткрывает нам ту великую трудовую Россию, которая выносит на своих многострадальных плечах изощренную культуру высших классов.

В унисон с этими признаниями здесь звучит и поэтическая автобиография Пушкина, развернутая от «садов лицея» до николаевского Петербурга. Это как бы фрагментарные мемуары поэта: обращения к друзьям, воспоминания о сердечных увлечениях, впечатления от искусства, влюбленность в родные пейзажи. В романе как бы раскрывается «искренний журнал» автора, как он сам назвал интимный альбом своего героя. Эти листки признаний и раздумий сберегли и сохранили в новой, своеобразной форме утраченный рассказ поэта о его скитаниях и встречах с выдающимися современниками. Погибший в пламени михайловского камина дневник Пушкина словно ожил в «Евгении Онегине», столь же тесно связанный с исторической современностью, как и сожженные южные тетради.

Такими воспоминаниями и «горестными заметами» Пушкин утверждал в «Евгении Онегине» свой особый стиль лирического реализма, сочетая правдивость изображения с элегичностью его трактовки и верность контуров с их изяществом и поэтичностью. Словно стихотворение Пушкина стало романом, сохраняя всю свою волнующую напевность, глубину чувств и неотразимую правдивость тона.

Так отпечатлелась на полотне Пушкина рабовладельческая и рабская страна — город и деревня, общество и народ. Сосредоточив основное действие романа в обеих столицах и в усадьбах среднерусской полосы, Пушкин понемногу раздвинул свое повествование до отдаленных областей своей родины. Перед нами как бы карта России от Невы до Арагвы и от



Портрет Онегина. Рис. Пушкина. Чернила.

Петербурга до Бахчисарая. Над этим обширным пространством родной земли высятся профили городов и выступает в своих великолепных сооружениях и ансамблях русская архитектура — набережная Невы и Петровский замок, лицейские парки и львы на воротах московских проездов, балконы и башни Белокаменной — «дворцы, сады, монастыри...».

А вокруг безбрежная страна с ее лугами, рощами, холмами и нивами. Пейзажная живопись только начинала развиваться в России, когда Пушкин в «Евгении Онегине» дал целую серию превосходных видов природы, охотно развертывая действие романа под открытым небом. Знаменитые зимние картины («На стеклах легкие узоры, Деревья в зимнем серебре») или этюды ранней осени («Природа трепетна, бледна, Как жертва пышно убрана...») чередуются с разнообразными зарисовками, воссоздающими со всей отчетливостью возвышенности Тригорского, узкую лен-

ту Сороти, зеркальные озера Псковской области и надгробную плиту у ручья в тени двух сосен, отбрасывающих свою сквозную тень на имя убитого поэта. Это особый одушевленный ландшафт Пушкина, неразрывно связанный с тревогами его любимых героев. Кусты сирени и аллея к озеру в окрестностях Михайловского навсегда увековечены сердечным волнением влюбленной Тани.

Но более всего привлекает Пушкина духовная жизнь его родины. Он вспоминает поэтов, с которыми встречался на жизненном пути, драматургов, пленявших его в юные годы, знаменитых артисток драмы и балета. Художественная культура страны так же дорога поэту, как и чарующая красота ее бескрайных просторов.

В «Евгении Онегине» сказался глубокий интерес Пушкина к передовому общественному движению его времени. К концу романа автор хотел полностью раскрыть политический подъем лучших представителей своего поколения в их стремлении преодолеть «аракчеевщину» высшими началами разумного и свободного строя. Следы этого замысла ощущаются и во всем романе — декабристском по своему основному идейному звучанию.

Жанр пушкинского романа в стихах отличался сложностью и новизной. Он слагался постепенно, исходя из малых видов, но в процессе работы открывая русской литературе дальние пути и глубокие формы. В 1828 году Пушкина прельщает новый род шутливой поэмы, то есть легкой и забавной повести, столь ценимой им с ранних лет. В наброске предисловия к первой главе «Евгения Онегина» он сообщает, что его фрагмент «напоминает «Беппо», шуточное произведение мрачного Байрона».

Но по своему содержанию воссозданный Пушкиным быт петербургского юноши нисколько не напоминает венецианский фривольный анекдот, рассказанный Байроном. Только установленный здесь английским поэтом новый тон юмористического разговора и

обрисованный им новый тип беспечного героя отвечают в основном повествовательной манере, отметившей и первую главу «Онегина». Сам Байрон писал, что в его игривой повести есть «политика и драма», то есть современная действительность, сатирически разоблаченная. Это был важный шаг знаменитого романтика к реалистическому методу. Ему соответствовал и новый общественный тип, впервые обрисованный теперь автором «Корсара». От своих демонических героев он переходит здесь к зарисовке фата и мота, блестящего «денди» (как называет своего графа поэт в LX строфе «Беппо»). Это один из представителей современного общества: театрал, танцор, острослов, галломан, женский угодник и «модный франт» — таков новый герой, разработанный тем сатирическим методом, который Пушкин приветствовал в «мрачном Байроне». Это были, по выражению творца «Онегина», «сатира и цинизм» — другими словами *реализм* по термину, в то время еще неизвестному.

Новый стиль мировой поэзии всегда зорко учитывался Пушкиным. Но в его разработке поэт шел своим путем. Так неожиданный тон «шутливого» Байрона превратился под его пером в живую и острую хронику русской современности, исполненную «холодных наблюдений» и скрытой печали.

Но шутливая венецианская поэма была подготовкой к «Дон-Жуану», произведению «безгранично гениальному», по выражению Гёте. Байрон выковал в нем новый могучий жанр — роман в стихах, неисчерпаемый по своим возможностям, богатству тематики, разнообразию мотивов, стиховых интонаций и разговорных стилей. Пушкин с обычной зоркостью высоко расценивает этот новаторский вид эпопеи и смело приступает к его разработке: намеченное и начатое весною 1823 года произведение «не роман, а роман в стихах, — дьявольская разница. Вроде Дон-Жуана», — сообщает он вскоре Вяземскому.

Это определение поэта было принято и передовой критикой. «Форма романов вроде «Онегина», — писал Белинский, — создана Байроном». Пушкин не

имел возможности явить в тогдашнем русском романе тот беспощадный суд над историей и современностью, который так полновластно вершил творец «Дон-Жуана» и «Беппо». Его гордому мятежу не могло быть места в поэме «о России для России». Но манера рассказа, смесь прозаических и поэтических элементов, отступления и присутствие автора в своем творении — «все это есть дело Байрона».

Всеобъемлющему характеру «Евгения Онегина» чрезвычайно способствовала тонкая и мудрая стиховая система поэмы. Замкнутые и расчисленные строфы, полные внутренней динамики и предельно завершенные, вбирающие жизнь во всех контрастах и выражающие ее с абсолютной точностью и гармонией, — такой совершенный инструмент поэтического слова придал роману цельность неразрывного цикла небольших внутренне связанных и строго оформленных стихотворений. Органическая связь этой законченной формы с образами и фабулой «Евгения Онегина» создала художественное целое исключительной монолитности и законченности.

Так, «шуточное описание нравов» выросло в широкую картину целого общества на поворотном этапе его развития. От сатиры на современного скептика, на дворянскую Москву и великосветский Петербург Пушкин шел в своем романе к внутренней драме героя и эпохи.

Вот почему роман тревожных исторических отзвуков и глубоких лирических признаний вошел в русскую жизнь и оказал неотразимое влияние на последующую литературу. «Евгений Онегин» дал верный творческий метод будущим изобразителям культурной России в ее характерных идеологических представителях. «Герой нашего времени» и «Рудин», «Обломов» и «Анна Каренина» продолжают в новых условиях проблематику Евгения и Татьяны. Запечатленные бессмертными пушкинскими ямбами, эти первые образы героя с богатым интеллектом и девушки с героической душою вызвали к жизни целую плеяду знаменитых типов великого русского романа, завоевавшего мир.

VIII

ПОЭТ-МАСТЕР

1

К этому времени окончательно сложился в уверенную систему рабочий метод поэта. В творческой лаборатории Пушкина все отличалось крайней простотой средств и предельной энергией действия. Он любил ясно видеть свою «натуру» и собирать на месте впечатления для своих зарисовок. Вот почему он так широко ввел «дорогу» в свою поэтику. Его южные поэмы писались на Кавказе, в Крыму, Бессарабии; «Борис Годунов» — среди древних памятников Псковщины; главы «Евгения Онегина» — в столицах, деревне, Одессе; «История села Горюхина» — в Болдине; «Медный всадник» — в Петербурге; «Капитанская дочка» — в результате объезда автором Поволжья и оренбургских степей.

В основу творческой работы ложились пристальные изучения этнографии, народной поэзии, пейзажа и быта, исторических и литературных памятников, живых преданий и устных свидетельств. Национальные песни юга, бунтарский и бытовой фольклор, летописи и военные реляции — все это щедро служило воображению и художественному слову. В тридцатые годы этот обширный материал дополнялся рукописным наследием прошлого — подлинными государственными актами, следственными протоколами, перепиской знаменитых деятелей, записями старинных канцелярий — особой немой и немолчной жизнью запыленных архивов, стерегущих тайны и трагедии прошлого. Сам Пушкин указывал в тридцатых годах на этот новый документальный принцип создания романического образа:

> Вот почему, архивы роя,
> Я разбирал в досужий час
> Всю родословную героя,
> О ком затеял свой рассказ.

Именно так, на фоне недавнего прошлого, запечатленного в плотных пачках официальных записей, со-

здавались характеры Гринева, Швабрина, капитана Миронова и самого Пугачева.

От показаний жизни и свидетельств источников Пушкин обращался к составлению планов своего будущего создания. Он любил их краткими, четкими, динамичными. Обычно в немногих терминах намечаются линия действия, ход событий, движение фабулы. Устанавливаются лишь главнейшие вехи рассказа, но с предельной выразительностью. Несколько слов почти алгебраически выражают сложную драму в ее полном развитии и завершении. Десятком резких черт спланирован весь «Кавказский пленник»: «Аул. Пленник. Любовь. Бештау. Черкесы. Пиры. Песни. Воспоминания. Тайна. Набег. Ночь. Побег». Так же лаконична программа второй южной поэмы: «Гарем. Мария. Гирей и Зарема. Монах. Зарема и Мария. Ревность. Смерть Марии и Заремы. Бахчисарайский фонтан». Таковы же планы «Цыган», «Гавриилиады», «Дубровского», «Капитанской дочки». Дается как бы кривая сюжетного развития в ее основных и главных изломах. В сжатой формуле концентрируется целый мир страстей, преступлений, подвигов, страданий и смерти. Трудно представить себе больший лаконизм при высшем трагизме. Недаром Пушкин выразил свое размышление об этой подготовительной стадии творческого труда в знаменитой записи: «единый план Ада есть уже плод высокого гения».

Создание величайшего поэта средневековья не случайно названо Пушкиным. Он горячо любил и превосходно знал всю мировую поэзию. Он высоко ценил «Скорби» Овидия, хроники Шекспира, эпиграммы Вольтера, поэмы Байрона. Он дал свои вариации на «Божественную комедию» и «Фауста». Он создал бессмертное двустишье об «Илиаде». Великие поэмы, эпос и драмы всех времен и народов находились в его мастерской, как слепки с античных статуй в студии художника. Поэтическое наследие веков и наций было по праву принято гениальным русским поэтом. Признавая великое значение классических образцов, он стремился достигнуть в своем искусстве их испытанного веками совершенства. И в процессе упорного тру-

да, окрыленный своими светлыми вдохновениями, он достигал этой цели и нередко легко и радостно поднимался над ней на новую высоту.

«Есть высшая смелость. Смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью», — писал Пушкин в 1827 году; таковы, по его мнению, величественные шедевры мировой поэзии. И в этом именно сказался основной конструктивный закон поэм, трагедий, романов Пушкина. Высшему подъему его творческой мысли всегда соответствовали просторы плана и смелость замысла.

Но это не давалось даром. Кабинет писателя был превращен в библиотеку. Собрание книг на шести языках по литературе, филологии, истории и государствоведению служило поэту в его творческой работе. Пушкин в своем стремлении к законченности и гармонии не знал предельной черты. Его рукописи, испещренные бесчисленными дополнениями и вариантами, представляющие подчас сплошную сетку перечеркнутых строк, непререкаемо свидетельствуют о беспримерной воле поэта-мастера воплотить представший ему образ во всей его силе, чистоте и стройности.

Начальный автограф поэмы о Тазите представляет собой ряд зачеркнутых стихов, от которых сохранилось лишь несколько слов. Их сменяют первые наброски, написанные необычным для пушкинских поэм размером — хореем («Не для тайного совета, не для битвы до рассвета, не для встречи кунака...»). Эти черновики приобретают понемногу энергию и краски, видоизменяются в своей оркестровке и выливаются, наконец, в превосходную, подлинно пушкинскую строфу, полную движения и драматизма:

Не для бесед и ликований,
Не для кровавых совещаний,
Не для расспросов кунака,
Не для разбойничьей потехи
Так рано съехались адехи
На двор Гасуба старика.

Сразу достигнут тот глубокий внутренний ход ритмической волны, который своим нарастающим подъемом и внезапным падением как бы отражает всю на-

стороженность и опасность этого смертельно напряженного быта горцев («В нежданной встрече сын Гасуба рукой завистника убит...»). Первая же стиховая фраза «Тазита» уже возвещает своей интонацией ведущую трагическую тему всей поэмы.

Но такие победы требовали всего человека и захватывали всю жизнь. Сам Пушкин свидетельствовал в 1825 году, что поэзия — это исключительная страсть, поглощающая без остатка все наблюдения, все усилия и все впечатления человека. С обычной сдержанностью и стоицизмом он не произнес ни одной жалобы на тяжелые испытания, боль и муки, выпадающие на долю поэта. Но его младший современник, Некрасов, сохранил волнующее предание о страдальческом возгласе Пушкина над расчеркнутыми цензурой гранками его поэмы: «Это кровь моя проливается...»

2

Так работал Пушкин в тридцатые годы. Он углублялся как лирик и вырастал как мыслитель, историк и ученый. Над разработкой отдельных характеров в творчестве его этой поры заметно преобладают темы социального порядка, мотивы борьбы, политические драмы русского прошлого.

В своей библиотеке он прилежно собирает крупнейших современных историков и социологов. Здесь был представлен автор «Истории завоевания Англии норманнами» Огюстен Тьерри, который, по свидетельству Пушкина, сделал его «ужасным политиком». Это был сторонник эпической истории, возрождавшей ушедшие века художественной трактовкой археологии и хартий. Исторические труды Тьерри представляли значительный интерес и по своему идейному направлению: он был родоначальником идей классовой борьбы в научной истории Франции, отстаивал права угнетенных национальностей и видел моральную задачу историка в возбуждении сострадания к обездоленным и униженным. Долгое время он был личным секретарем и виднейшим сотрудником великого социального мыслителя Франции Сен-Симона.

В библиотеке Пушкина имелись основные труды по сен-симонизму: коллективное исследование «Доктрина Сен-Симона», в которой излагались перспективы социального будущего и освещалась выдающаяся роль поэта в создании новых общественных отношений. Другая книга из библиотеки Пушкина — «Сенсимоновская религия» — была преимущественно посвящена роли художника и значению изящных искусств в жизни новых обществ. В экземпляре этой книги, сохранившейся в пушкинской библиотеке, ряд мест отчеркнут карандашом.

Но все эти новейшие методы и жанры европейской историографии не в состоянии отвести Пушкина от особого «литературно-исторического» пути, намеченного им еще в годы молодости. Своей задачей в этой области он ставил монографическую разработку жизни отдельных крупных деятелей. Уже в кишиневские годы его привлекают «люди с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом», представляющие богатый материал для драматического изображения и увлекательного повествования. Его и позже неизменно занимают в истории

> тени великанов:
> Завоеватель скандинав,
> Законодатель Ярослав
> С четою грозных Иоаннов

Только сильные личности с сюжетными биографиями привлекают внимание Пушкина-историка: Степан Разин, Ермолов, Ганнибал, Петр, Пугачев, Суворов. Биографическая хроника должна, по его мысли, развернуть в быстрой и точной композиции фактическую линию жизни героя, одновременно являясь введением к творческому воссозданию его личности в романе или поэме. По свидетельству современника, Пушкин както, «коснувшись Петра Великого, говорил, что, кроме дееписания о нем, создаст и художественное в память его произведение». Так подходил он и к личности Пугачева, привлекавшего его еще в начале двадцатых годов. История оставалась лабораторией художника. Путь биографа вел к историческому роману.

В начале тридцатых годов Пушкин написал свою знаменитую строфу:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

В этой кровной и нерасторжимой связи с родной землей и ее историческими преданиями — высшее достоинство человека, «залог величия его». Мы знаем, что Пушкин не мыслил великой поэзии без великого патриотизма.

Со своим ранним учителем и вдохновителем его юной вольнолюбивости Чаадаевым Пушкин решительно разошелся накануне смерти, отвергнув его скептическое толкование русской истории. И автор «Философического письма» признал себя побежденным в этом историческом диспуте. «Было бы непростительной ошибкой, — писал вскоре Чаадаев, — сомневаться хотя бы мгновение в судьбах нации, из недр которой вышли такие организации, как мощная натура Петра Великого, всеобъемлющий разум Ломоносова и чарующий гений Пушкина». Так, в ответ на беззаветную любовь к родине современная Россия уже признавала гениального поэта одним из самых бесспорных проявлений своего исторического величия.

3

Для воплощения своих любимых национальных образов поэт рано выковал верное оружие. Оно никогда не изменяло ему. Уже в ранние годы, уже в лицейских стихотворениях, где еще идет борьба разных художественных стилей, решительно сказывается основной творческий метод Пушкина — реализм, соответствующий философскому принципу его материалистических воззрений. Живой интерес к окружающей общественной среде и зарисовка ее характерных типов, обращение к большим политическим темам эпохи — военным и революционным, глубокое убеждение, что сущность великой поэзии — судьбы родины, и, наконец, предельная конкретность и жизненность по-

этического изображения — вот метод и стиль Пушкина, вот его смелое новаторское задание и гигантское творческое осуществление. Порывом своего гения, исполненного стремления к правде, к жизни, к будущему, он утвердил могучий реализм всей последующей русской литературы.

Во имя этого высшего задания он решительно отверг все утонченное, упадочное, надуманное, изощренное, ведущее к обману чувств и лжи искусства. Весьма ценно свидетельство Сергея Львовича Пушкина о литературных беседах с сыном в последние годы его жизни: «Все, что казалось ему изысканным, противоречащим истине и природе, как в наших писателях, так равно и в иностранных, находило в нем критика строгого и неумолимого». Так выработался могучий метод великого художника — его лирический и трагический реализм. Так создавался самый передовой и плодотворный стиль русской и мировой литературы XIX века. В глубокой правдивости своего обновляющего искусства Пушкин явился инициатором мощного художественного движения, которому принадлежало будущее.

Глубоко воспринявший мысль и творчество своего народа, Пушкин выразил с новой силой традиции национального творчества. Многовековая культура страны, воплощенная в «Русской Правде» Ярослава Мудрого и в гениальном «Слове о полку Игореве», в псковских звонницах и в посланиях Ивана Грозного, в Софийском хронографе и в изображениях «убиенного» Димитрия, в петровских верфях и в научных приборах Ломоносова, получила свое высшее выражение и как бы обобщалась в творчестве Пушкина. С каким увлечением писал он о «всей неизъяснимой прелести древней летописи»! Из глубочайших истоков национальной мысли поднялась его поэзия, отметив недосягаемую ступень в развитии русского слова и предопределив весь дальнейший ход художественного роста России. В этом смысле Пушкин — сердце национальной культуры. К нему устремлены все ее животворные токи, от него берут начало глубочайшие течения последующего русского искусства.

С ним неразрывно связаны Гоголь и Лев Толстой, Глинка и Мусоргский, Репин и Суриков. Пушкин вдохновил Перова на «Суд Пугачева», Мясоедова на «Бегство Григория Отрепьева», Серова на образ Петра.

Для всеобъемлющего отражения в своих созданиях «мнения народного» творец «Бориса Годунова» погружался в крестьянскую массу, вслушивался в ее голоса, вникал в ее сказания, помыслы и заветные устремления. Подлинный фон биографии Пушкина — это не редакции и салоны, это лес и степь, это северная деревня, это михайловские сосны и озера, это гавань и табор, это болдинские рощи и бердская слобода. Хороводы сельца Захарова и гомон святогорских ярмарок, предания вольного казачества на Дону и украинские «думы» в старой Каменке, молдавский фольклор «в степях зеленых Буджака» и удалые россказни черноморских матросов, заунывная «Лучинушка» над зимним трактом и монашеские прибаутки Опочецкого уезда, бурлацкие стоны над Волгой и песни пугачевских ветеранов над Яиком — таковы были глубокие истоки национального своеобразия, неотразимой жизненной правды, протестующей силы и глубокой народности поэзии Пушкина.

Из этих глубин возникали его ослепительные видения московской смуты и петровской «преображенной России», крестьянской войны XVIII века и протекающей «декабристской», или «пушкинской», современности. Из таких образов и событий, говоров и мотивов, из этой живой и волнующей легенды выступал во всей своей мощи подлинный творец и двигатель истории, подчас еще безмолвствующий и все же уже действующий вершитель судеб родной земли — русский народ во всей его мощи и одаренности. Таков и был подлинный герой исторической эпопеи Пушкина на всем ее протяжении — от его юношеского песнопения об освобождении Киева до его монументального исторического портрета Пугачева, который и завершил своим эпическим образом творческий путь народного певца.

4

Для полного, глубокого и верного выражения больших идей, которыми жила его родина, Пушкин обновил и преобразовал свой богатейший родной язык, не знавший у его предшественников такого сочетания энергии, напевности и мощи. Если уже Карамзин привил литературной речи изящный говор культурного слоя, Батюшков — пластическую образность, а Крылов — всю самобытность просторечья, Пушкин мощным усилием гения синтезировал их опыт и своими общепризнанными и всеми любимыми созданиями утвердил и распространил свой новый, точный, благозвучный, выразительный и подлинно народный слог, сохраняющий в историческом и торжественном жанре древние живописные славянизмы. Великому поэту нужен был весь язык народа, но в новых сочетаниях его основных начал. И он сумел безошибочно открыть законы верных пропорций и живого синтеза разнородных речений — ярмарки, гостиной, редакций и клироса, чтоб из этих крестьянских, интеллигентских, книжных и церковных элементов выплавить несравненный по изобразительной и звуковой силе язык «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Капитанской дочки».

Так просто и в то же время проникновенно и мощно оркестровал стихию родной речи гениальный поэт, чуткий ко всем ее звучаниям и отзывчивый на все ее голоса. «Создать язык — создать море», — писал великий мастер русской прозы Тургенев. Это свыше сил человека. Но организовать драгоценное достояние народного слова, слагавшегося веками, придать ему новое направление, чистейшую тональность, выверенную, то есть повышенную, силу и осмысленную, то есть высшую, красоту — подвиг неизмеримой трудности, осуществимый только для великого национального поэта. Таким мощным организатором русского языка и явился Пушкин, по праву получивший почетнейшее звание создателя родного слова. Как могучий виртуоз, он извлек из живых струн народной речи звуки новые для своих песен и для

более глубокого, чистого, верного и мужественного выражения мыслей и чувств всего своего народа. К себе мог применить великий языкотворец стихи из своих «Подражаний Корану»:

Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Пушкин не переставал бороться за рост, созревание и новую выразительность родной речи. Он всегда признавал «наш богатый и прекрасный» язык наиболее художественным из всех европейских. Отсюда его безграничная любовь к своему родному слову, как к живому и прекрасному существу, достойному самого благоговейного поклонения и преданности. «Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное», — свидетельствует его друг Вяземский.

За двадцатилетие своей литературной деятельности Пушкин установил новые законы речевого строя, сохраняющие и ныне свою жизненность и силу. Ленин говорил, что словарь «настоящего русского языка» будет «словарем слов, употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького». Речь великого поэта бессмертна, и она продолжает жить и звучать в устах его освобожденного народа.

Пересоздание русского языка, осуществленное творческим актом Пушкина, было необычайно обширно и плодотворно. Для мыслителей и ученых он стремился выработать национальный «метафизический язык», то есть научную и философскую прозу; для общественных деятелей — новый публицистический стиль; для поэтов, романистов и драматургов — четкую, благозвучную, бодрую и увлекательную речь, которая и становилась всеобщим говором его народа.

Пушкин обогащал русский язык в эпоху небывалого подъема и оживления национальной освободительной мысли, когда замыслы и планы декабристов ставили неотложные задачи по созданию революционной терминологии и выработки общепонятных формул для выражения новейших политических идей.

Борьба поэта за грядущую эру «пленительного счастья» необычайно оплодотворяла его речевое творчество, обновляя интонации его стиха, переосмысливая привычные термины, создавая неожиданные словесные сочетания и вводя новые речения для выражения государственных понятий современности. Прав был, несомненно, Николай Тургенев, глубоко и тонко отметивший, что в пушкинскую эпоху «наш богатый и красивый язык, носивший на себе отпечаток дурного общественного строя, облагораживался идеями истины, свободы и человеческого достоинства».

Свои жизненные впечатления, раздумья и чувства великий мастер слова облек в обновленный русский стих, сочетавший впервые в его творчестве прозрачность и легкость поэтического слова с драматизмом и выразительной силой. Чутко прислушиваясь к новым мелодическим размерам Жуковского и Батюшкова, Пушкин довел напевность и изобразительность своей речи до предельной чистоты и законченности. Недаром он так ценил в стихотворном созвучии «блеск и энергию», так стремился к «гармонической точности». Белинский обронил драгоценное свидетельство о том, каким событием русской жизни оказались впервые зазвучавшие в ней стихи Пушкина: «Я помню это время, счастливое время, когда в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон, носились по воздуху эти звуки, подобные шуму волн или журчанью ручья». Под пером Пушкина русский стих достиг небывалой гибкости и силы, получив высшую выразительность и стройность в обширнейшем репертуаре новых лирических жанров и строф. С исключительным разнообразием и высоким мастерством он разрабатывал все роды и виды поэзии. Неутомимый словесный труд в не меньшей степени, чем его творческий гений, сделал Пушкина великим учителем всех последующих поэтов: он оставил им бесчисленные образцы лирических жанров, размеров, строф — сонета, баллады, античных дистихов, гекзаметров, октав, терцин, вольных ямбов, русских народных стихов,

александрийских двустиший. Это целая академия поэтического искусства, к которой никогда не перестанут обращаться русские стихотворцы. Сущность поэтики Пушкина с предельной сжатостью выразилась в двух строках «Евгения Онегина»:

Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

Поэзия Пушкина являет пример высшего равновесия этих неизменных начал каждого великого искусства, сочетая мысль и эмоцию художника в совершенной, поистине «волшебной» форме.

5

Каким же был этот труженик-мастер в жизни?

Весною 1827 года поэт и искусствовед Дельвиг, занятый устройством передвижной выставки русских художников для Франции, Англии и Италии, заказал Оресту Кипренскому портрет своего лучшего друга. В мае—июне в Петербурге Пушкин позировал знаменитому художнику. Вдохновенный мастер кисти создал один из шедевров русской портретной живописи. Он дал глубокую и проникновенную характеристику гениального поэта, изобразив его в спокойной и благородной позе, с небрежно накинутым пледом на одно плечо, с ясновидящим и мудрым взглядом, у бронзовой статуэтки музы, играющей на лире. Чистота и возвышенность мысли, озаряющей лицо мыслителя-творца, неподражаемы по воздушности, изяществу и лиризму трактовки. Несмотря на некоторую идеализацию, художник сумел сохранить всю живую подлинность натуры. «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит», — писал Пушкин в своем посвящении Кипренскому.

Вскоре портрет появился на выставке Академии художеств. «Вот поэт Пушкин, — отмечал в своем дневнике 2 сентября 1827 года А. В. Никитенко. — Видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания». Отец поэта

считал лучшим изображением Пушкина портрет Кипренского, гравированный Уткиным (слегка снявшим идеализацию). Для последующих поколений наилучшим остается восприятие и истолкование Пушкина замечательным портретистом, увековечившим своей кистью «питомца чистых муз».

По возвращении Пушкина из ссылки его друг Соболевский обратился к лучшему портретисту Москвы Тропинину с просьбой написать поэта не в условной, парадной позе знаменитого деятеля, а частным человеком, в домашнем халате, растрепанным, с заветным перстнем на большом пальце правой руки. Заказ был выполнен в январе—феврале 1827 года в мастерской живописца на Ленивке. Вскоре «Московский телеграф» признал поразительное сходство портрета с подлинником, «хотя нам кажется, — добавлял Н. А Полевой, — что художник не мог совершенно схватить быстрого взгляда и живого выражения поэта».

Оба знаменитых портрета изображают Пушкина в расцвете его жизненных и творческих сил, в эпоху между ссылкой и женитьбой, между «Борисом Годуновым» и «Полтавой», в год «Ариона», «Во глубине сибирских руд», «Пока не требует поэта», седьмой главы «Евгения Онегина», «Арапа Петра Великого». Перед нами мужественный и деятельный художник, познавший жизнь и весь охваченный своими замыслами и видениями.

Таким и был Пушкин. Не очень высокого роста, но пропорционально сложенный, он производил впечатление стройного, мускулистого человека, созданного для борьбы и работы. «Этому много способствовала гимнастика, которою он забавлялся иногда с терпеливостью атлета, — сообщает один из его друзей. — Как бы долго и скоро он ни шел, он дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии». Он любил верховую езду, фехтование, стрельбу в цель, дальние прогулки. Неправильные черты лица его так озарялись воодушев-

лением разговора или чтением стихов или даже невысказанными раздумьями, что казались подчас прекрасными. Облик его был неправилен, отмечает кишиневский наблюдатель, «но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось спросить: что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу?» Вдохновение настолько преображало его внешность, что во время чтения «Бориса Годунова» в 1826 году у Веневитиновых он показался некоторым слушателям красавцем. В минуты же веселого расположения он был обворожителен. Жуковский никогда не мог забыть его «живой, ребяческий, веселый смех». В феврале 1837 года Софье Карамзиной все слышится «звонкий серебристый смех Пушкина». Случайные собеседники Александра Сергеевича, как его кавказский знакомый М. А. Юзефович, восхищались его «великолепными большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное».

Сохранилось живое свидетельство и о впечатлении, какое Пушкин производил на «уездных барышень». В то время как Ксенофонт Полевой нашел Пушкина в 1828 году «по наружности истощенным и увядшим», с резкими морщинами на лице, скромная поповна Катя Смирнова, с которой поэт познакомился в семье тверских Вульфов, выносит совершенно иное впечатление: «Пушкин был очень красив: рот у него был прелестный, с тонко и красиво очерченными губами, и чудесные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание... Танцует, ходит как-то по-особому, как-то особенно легко, как будто летает; весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках...» Это один из лучших мемуарных портретов Пушкина, простодушно зарисованный его сельской знакомой 1828 года.

Эта внешность порывистого, впечатлительного, увлекающегося, но решительного и энергичного человека замечательно отражала основные черты его

характера. Сам Пушкин называл себя «беспечным, влюбчивым», «любящим шум и толпу», но рожденным для тишины и сосредоточенного уединения:

В глуши звончее голос лирный,
Живее творческие сны .

Превыше всего он ценил «часы трудов свободно вдохновенных». Прирожденный филолог, он любил собирать ценности народной речи, вникать в ее богатейшие звучания, по-новому осмысливать ее могучие ритмы и творчески толковать ее древние обороты и речения. Вдохновенный лирик, он нередко преображался в настоящего исследователя, поражавшего своими познаниями даже цеховых ученых. Египтолог Гульянов и классик Мальцов не могли надивиться сведениям Пушкина в труднейших проблемах языковедения. Историк поэзии Шевырев считал автора «Цыган» несравненным знатоком теории русского стихосложения; археограф Коркунов признал в 1837 году утрату «светлых объяснений» поэта к «Слову о полку Игореве» невознаградимым бедствием для русской науки.

Пушкин знал родную литературу, как ни один из профессоров его времени. Внимательным слушателем посещал он в тридцатые годы университетские аудитории Петербурга и Москвы, но его настоящее место в них было на кафедре. Его отзывы о русских писателях XVIII века и критические замечания о плеяде своих современников составили золотой фонд национального литературоведения. Именно такая многосторонняя эрудиция вела к вершинам поэтического искусства и открывала безграничные перспективы художнику. Упорный труд был одним из главных источников его морального обаяния. По свидетельству близких к поэту лиц, В. Г. Белинский определял Пушкина как «существо любящее, симпатичное, готовое от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человеком». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски кроткого, мягкого и нежного».

Именно таким рисуют Пушкина и биографические источники: непоколебимая стойкость в творческом труде, страстность и прямота в общественных отношениях, глубокое сочувствие всему благородному и одаренному и, наконец, светлая благожелательность к людям труда и мысли, тем более пленительная при его бурном темпераменте, что она постоянно воспитывалась его сознанием и волей, — таков Пушкин по его письмам, дневникам, впечатлениям современников, по истории его дружб, увлечений, борьбы, вдохновений и деятельности. От такого характера на всю поэзию Пушкина ложится особый отсвет очищающей и проясняющей думы. Не к Плетневу, а к нему самому следует отнести его прозрачные строки о высших свойствах

> души прекрасной,
> Святой исполненной мечты,
> Поэзии живой и ясной,
> Высоких дум и простоты

Это невольный автопортрет. Недаром Пушкин так любил образ пламени в хрустале светильника — это лучшее воплощение и его поэтического стиля и его человеческой личности.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

НА ПЕРЕПУТЬЕ

1

Пушкин уезжал в Болдино, рассорившись с матерью Гончаровой и предоставив полную свободу ее дочери. В деревне он получал письма от отца с сообщениями о расстройстве помолвки, а по возвращении в Москву «нашел тещу озлобленную» и, видимо, готовую окончательно разорвать с ним. Но на этот раз ему удается закладом своего нижегородского имения быстро уладить все недоразумения, и в начале декабря 1830 года он уже помолвлен с Натальей Николаевной.

Поэт расставался с вольной холостой жизнью не без сожаления и предстоящий семейный быт встречал с некоторой озабоченностью (о чем свидетельствует его известное письмо к Н. И. Кривцову: «Я женюсь без упоения, без ребяческого очарования...»). Тем не менее легенда о его безнадежном

настроении в момент женитьбы нуждается в пересмотре. Пушкин, якобы рыдающий у цыганок накануне свадьбы и смертельно бледнеющий перед алтарем от зловещих предвестий, — вся эта анекдотическая мелодрама едва ли заслуживает доверия. По свидетельству Гоголя, «Пушкин никогда не плакал».

Суровый славянин, я слез не проливал,—

правдиво сказал о себе сам поэт.

18 февраля 1831 года на свадьбе «все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша», сообщают очевидцы. О несомненной бодрости духа свидетельствует и то, что, вернувшись с венчания, Пушкин много говорил о любимом им народном творчестве. «С жадностью слушал я, — вспоминал впоследствии П. П. Вяземский, — высказываемое Пушкиным своим друзьям мнение о прелести и значении богатырских сказок и звучности народного русского стиха...»

Но есть еще более достоверные свидетельства — это письма самого Пушкина в первые месяцы 1831 года. В них поэт говорит о своем полном счастье — ощущении столь новом для него. Он словно применяет к себе взволнованные строки из «Каменного гостя» о душевном обновлении героя большим чувством: «Мне кажется, я весь переродился...»

Пушкин, несомненно, ощущал ответственность за взятые на себя моральные и материальные обязательства. Его мог тревожить вопрос о будущей свободе его творческого труда, вступающего в новые, более сложные условия. Но все эти тревоги ограничивались обычными соображениями о деловой и трудовой стороне жизни. Никаких трагических предчувствий, предвестий и предзнаменований Пушкин в 1831 году не знал и ни перед кем не выказывал своего мрачного отчаяния по поводу брака с любимой девушкой.

1831 год — один из немногих счастливых периодов в жизни Пушкина.

Но этой личной успокоенности поэта мало соответствовали события политического мира.

2

Тридцатые годы открывались циклом революций. Вслед за низложением Бурбонов во Франции разразилась осенью 1830 года борьба за независимость Бельгии от Нидерландов. 17 ноября Польша подняла знамя восстания и ринулась с оружием в руках на защиту своих национальных прав.

Вспыхнула настоящая война. 25 января 1831 года варшавский сейм провозгласил низложение Николая I, и русская армия одиннадцатью колоннами перешла границы царства Польского.

У Пушкина уже в молодости сложилось мнение о взаимоотношениях России и Польши. Оно соответствовало воззрениям тогдашних патриотических кругов русского общества — в том числе и многих будущих декабристов — о необходимости противодействовать полонофильской политике Александра I, решившего присоединить к царству Польскому ряд западных областей империи. Против этой меры выступил в 1817 году Михаил Орлов, составивший особую записку на имя царя, а в 1819 году — Карамзин, предостерегавший Александра I от дальнейших уступок.

В духе таких воззрений Пушкин расценивал и вспыхнувший международный конфликт. Его волновало отношение к польским событиям всей Западной Европы, особенно же Франции, резко выступавшей в лице своих политических ораторов и писателей против России. В конце февраля огромная демонстрация развернулась у здания русского посольства в Париже с криками: «Да здравствует Польша! Война России!»

Такие же лозунги заполняли страницы всех парижских газет и журналов. Известные публицисты Арман Каррель и Ламеннэ в своих органах вели страстную полонофильскую пропаганду. В феврале Беранже и Казимир Делавинь выступили на торжественной мессе в память Костюшки с воинствующими антирусскими строфами. Аналогичные мотивы раздавались в журналистике Англии и «молодой

Германии», где на ту же тему и в том же духе высказывался Берне.

Все это глубоко волнует Пушкина. Он читает иностранные газеты и журналы, беседует с московским историком Погодиным о судьбах славянства, откликается в своих письмах на важнейшие события русско-польской войны. Переезд в середине мая в Петербург заметно повышает интенсивность его реакции на ход современной политики.

3

Пушкины поселились на лето в Царском Селе. Поэт очутился «в кругу милых воспоминаний». Лишь недавно он запечатлел в блестящих строфах свои «любимые сады», которые по-прежнему

Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Но сам он поселился в скромном деревянном доме вдовы придворного камердинера Анны Китаевой, на углу Колпинской и Кузьминской улиц. Это было новенькое строение с ампирными колоннами на балконе и с мезонином, где Пушкин устроил свой кабинет: большой круглый стол, диван, книги на полках. А поблизости — парк, знакомый и воспетый уже в отрочестве; сюда теперь поэт отправлялся по вечерам с женою бродить вдоль озера.

Но эта «тихая и веселая жизнь, будто в глуши деревенской», нарушалась тягостными событиями современной истории. С первых же дней пребывания в лицейском городке Пушкин посещает политические салоны летней резиденции, где отставные военные и престарелые придворные оживленно обсуждают последние события. «Здешние залы очень замечательны, — сообщает Пушкин 1 июня Вяземскому. — Свобода толков меня изумила...»

Пушкин разделяет эти оппозиционные мнения. Затянувшаяся кампания, угроза всеевропейской вой-

ны, резкие выступления всей французской печати против России вызывают в сознании поэта мысль о великой национальной опасности. «Теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году», — заявляет он одному из царскосельских жителей.

Следует думать, что в эти дни — в конце мая или начале июня 1831 года — под влиянием резкой критики действий главного командования в полувоенном обществе Царского Села Пушкин написал стихотворение «Перед гробницею святой», в котором прославляется вождь народных ополчений — «маститый страж страны державной, смиритель всех ее врагов...». В этот критический момент, когда польская кампания угрожала запылать мировым пожаром, Пушкин обращается к образу великого военачальника 1812 года. Поэт писал (несколько позже) о праве главнокомандующего действовать смело, решительно и жертвенно, «ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!».

Родственная мысль слышится и в обращении Пушкина к тени великого полководца:

В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал и спас

Энергия и законченность этих исторических афоризмов имеет немного аналогий даже в поэзии Пушкина. Лаконизм последнего стиха при его огромной насыщенности мировыми событиями может считаться образцом краткой и мощной «спартанской» речи. Образ Кутузова, монументально изваянный пушкинским стихом, выступает гигантской тенью на фоне могучего здания Воронихина, словно вдохновляя русскую армию 1831 года славными преданиями Отечественной войны.

Под впечатлением политических событий, угрожающих новою войною с Францией, Пушкин пишет небольшую повесть о 1812 годе. В ответ на появив-

шийся роман Загоскина «Рославлев», где тема отечества трактовалась в духе официальной народности, Пушкин изображает искреннюю и глубокую любовь к родине в сердце русской девушки. Его Полина глубоко возмущена окружающей ее пустотой и растленной дворянской средой. Этому «гадкому обществу» она, как Чацкий, противопоставляет «наш добрый простой народ», которому и хочет служить в годину общего бедствия. «Стыдись! — бросает она своей светской подруге, — разве женщины не имеют отечества? Разве кровь русская для нас чужда?..» Умная и смелая девушка напряженно следит по карте за линией фронта и создает отважный план проникнуть во французский лагерь и собственноручно заколоть Наполеона. Это первая активная героиня русской литературы.

18 июля в Царское из Петербурга переехал двор, изгнанный оттуда холерой. Для Пушкина это обозначало прежде всего возобновление дружбы с Жуковским. Поэты решили устроить стихотворный турнир: состязание в написании русских сказок. На основе своих прежних записей, преимущественно со слов Арины Родионовны, Пушкин разработал чудесную «Сказку о царе Салтане», расцвеченную всеми красками узорной росписи теремов. За год перед тем, на основе антицерковных мотивов русского фольклора, была написана «Сказка о попе и о работнике его Балде». Как ни удачны волшебные фантазии Жуковского о спящей царевне и о царе Берендее, победителем состязания остался, несомненно, Пушкин.

По утрам поэт читал свои сказки умной и культурной девушке, названной им в известном шутливом посвящении «черноокою Росетти». Пушкин ценил красавицу фрейлину за умение сохранять независимость ума и простоту характера «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора».

Во время одной из прогулок по парку Пушкин встретился с юным дерптским студентом, графом Владимиром Соллогубом, которого знал по салонам Карамзиных и Жуковского. Юноша сообщил ему об

одном начинающем писателе, только входившем в известность. В Павловске у тетки своей, княгини Васильчиковой, воспитанник Дерпта познакомился с молодым педагогом и литератором, принявшим на себя тяжелую миссию давать уроки его слабоумному кузену. Соллогуб застал учителя с учеником за странным занятием: наставник, указывая на изображения разных домашних животных, блеял и мычал, стараясь усиленным звукоподражанием оживить «мутную понятливость» своего питомца.

«Мне грустно было глядеть на подобную сцену; на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслышав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей его по имени: Николай Васильевич Гоголь».

Но через несколько дней Соллогуб, проходя по коридору, услышал в одной из комнат выразительное чтение. Он решил войти и увидел перед собой молчаливую аудиторию из бедных девушек, компаньонок, приживалок своей тетки, которым Гоголь читал про украинскую ночь. Тонкость интонаций, юмор и лиричность передачи были неподражаемы.

«Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора.. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен, — мне хотелось взять его за руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место».

Бывая в Царском, Соллогуб хлопочет за Гоголя у Карамзиных, у Жуковского, рассказывает о нем Пушкину, который только мельком видел молодого беллетриста в Петербурге, но уже слышал о нем хвалебные отзывы друзей. Поэт выразил желание ближе узнать автора «Вечеров».

Вскоре наладились общие встречи и чтения. Пушкин внимательно всматривался в болезненного и застенчивого провинциала «с неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе (по свидетельству Соллогуба) и быстро перебегавши-

ми по его оригинальному остроносому лицу в то время, как серые маленькие глаза его добродушно улыбались и он встряхивал падавшими ему на лоб волосами».

Украинские повести пасечника Рудого Панька уже были сданы в набор. Вскоре (в августе 1831 года) Пушкин писал о них: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился». Следует известный рассказ о том, как «наборщики помирали со смеху», набирая «Вечера».

4

Уединенная творческая жизнь Пушкина продолжалась недолго. При дворе сразу обратили внимание на пребывание в Царском Селе знаменитого поэта с красавицей женой.

Вскоре происходит официальное сближение. После нескольких встреч с «высочайшими особами» в парке Наталья Николаевна, по свидетельству Ольги Сергеевны Павлищевой, «была представлена императрице, которая от нее в восхищении». Это впечатление Александры Федоровны вполне разделялось и ее супругом.

Николай I впервые увидел семнадцатилетнюю Наташу Гончарову на одном из балов в московском благородном собрании 12 марта 1830 года. Он оценил ее расцветающую красоту и сохранил в памяти чарующий образ наивной и застенчивой девушки, какою изобразил невесту Пушкина на известной акварели Карл Брюллов. В ответ на полученное вскоре от поэта прошение о разрешении жениться Бенкендорф сообщал ему заключение царя, который «изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно столь

достойной и привлекательной, как m elle Гончарова» Недовольство царя еле скрыто «высочайшим» назиданием

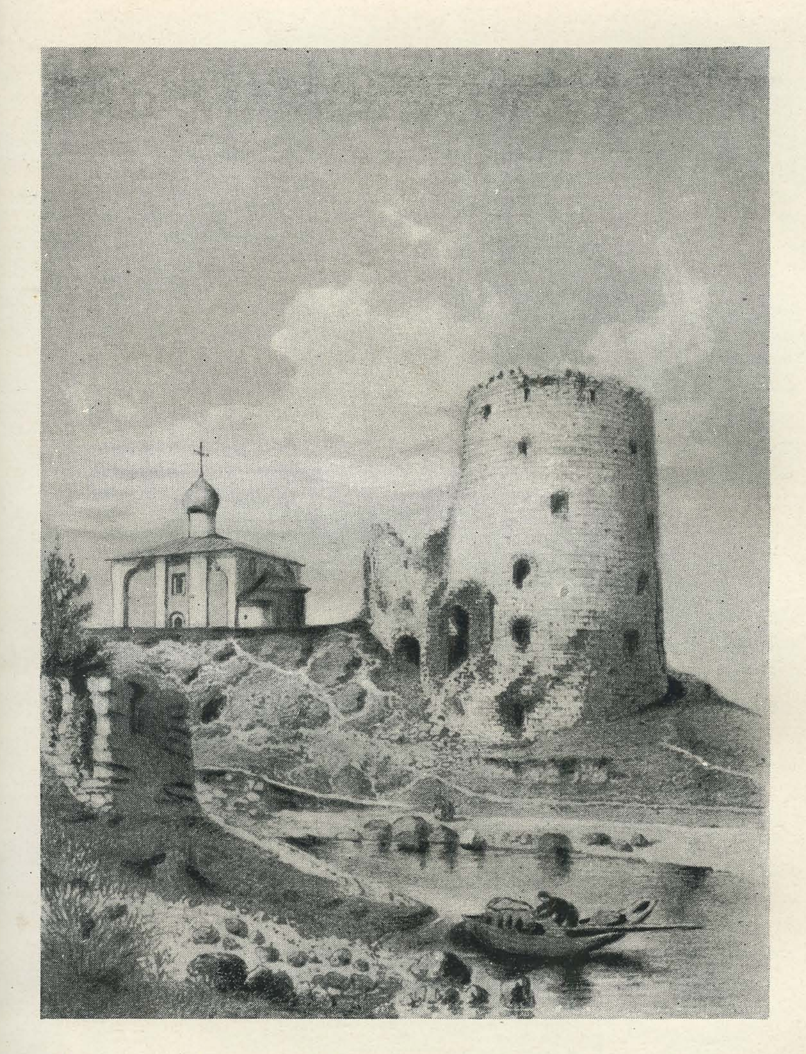
Летом 1831 года происходит новое привлечение поэта к государственной службе Ему разрешено изучать секретные правительственные документы для написания истории Петра I, что влечет за собой и зачисление поэта в министерство иностранных дел, при котором находился государственный архив Начальником Пушкина снова становится Нессельроде

В середине лета наметился перелом в ходе польской войны Назначенный на пост главнокомандующего завоеватель Арзрума Паскевич завершает кампанию взятием Варшавы Отступление польской армии вызывает в европейской прессе новый взрыв угроз по адресу России

Беранже выпускает брошюру, посвященную президенту польского комитета знаменитому Лафайету, с двумя политическими стихотворениями «Понятовский» и «Скорее на помощь!» Казимир Делавинь печатает «Варшавянку», в которой прославляет поляков вспоминает Кремль, говорит о пространствах «От Альп до Табора, от Эбра до Понта Эвксинского» Некоторые из этих образов и формул находят полемический отзвук в стихотворном ответе Пушкина «Клеветникам России», написанном 2 августа 1831 года

Здесь широко развернута мысль, выраженная незадолго перед тем в письме Пушкина к Вяземскому «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским» Текст знаменитого стихотворения свидетельствует, что оно направлено не против отважно сражавшихся поляков, а против политиков и публицистов Франции Главный аргумент поэта — поражение Франции в 1812 году, «пылающая Москва», мертвецы великой армии «в снегах России»

Развязка приближалась 4 сентября внук знаменитого Суворова прибыл в Царское Село курьером от Паскевича с известием о падении Варшавы, оно



Церковь св. Косьмы и Дамиана и Гремячая башня в Пскове.

Письмо
Татьяны къ Онѣгину

Я къ вамъ пишу — чего жъ боле,
Что [illegible] еще сказать?
Теперь я знаю въ вашей воле
Меня презреньемъ наказать.
Но вы къ моей печальной доле
Хоть каплю жалости храня
Вы не оставите меня —
Сначала
Повѣрьте: я молчать хотела
[illegible] моего стыда
Вы не узнали бъ никогда
[illegible]
Когда бъ надежду я имѣла
Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ

Автограф А. С. Пушкина к «Евгению Онегину».

произошло 26 августа, в день Бородинского сражения. Это означало конец войны. В стихотворении «Бородинская годовщина» Пушкин снова вспоминает старинный исторический спор:

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?

Следует отметить, что Пушкин в своей стихотворной публицистике 1831 года не выражает ненависти к польскому народу и даже особо отмечает в своих строфах, что падший в борьбе не услышит от него «песни обиды». Свойственное поэту чувство историзма удержало его в нужных границах, и так называемая «антипольская трилогия» Пушкина не носит следов его вражды к Польше как нации.

В октябре Пушкины переехали в Петербург. В жизни поэта начался новый период, который, осложняя понемногу его взаимоотношения с окружающим миром и разрушая его планы спокойной жизненной обстановки и творческой работы, неуклонно вел к катастрофе. Но первые годы семейной жизни, несмотря на ряд забот и трудностей, не были лишены для Пушкина личных радостей и углубленного труда.

5

Летом 1833 года Пушкин получил неожиданный и необычный подарок. Александр Тургенев прислал ему из Рима маленькую мраморную вазу, найденную при раскопках в Тускулуме. На письменном столе поэта, среди рукописей и книг, белела тысячелетняя реликвия исчезнувшей цивилизации, словно возрождая своими очертаниями формы и дух античного мира.

Она замечательно соответствовала последним творческим заданиям Пушкина Еще в начале года он написал ряд «подражаний древним» — род вольных переводов из Ксенофана Колофонского, Иона Хиосского, Афенея:

Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров
Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил...

По свидетельству позднейших исследователей, эти опыты Пушкина более верны духу Греции, чем такие же стихотворения Гёте, и совершеннее их в метрическом отношении. До конца своей жизни Пушкин не перестанет обращаться к классическим преданиям и среди других работ отливать в совершенные гекзаметры и дистихи свои впечатления от искусства и жизни.

Но антологические произведения начала тридцатых годов сопутствовали другим темам и образам, уходящим всеми корнями в современность.

Первые годы семейной жизни Пушкина отмечены творческими исканиями и подготовительной работой к большим и сложным замыслам, получающим свое воплощение лишь в конце 1833 года. Художественные задания и исторические разыскания тесно переплетаются с разрешением больших социальных проблем. В поэте все более ощущается исследователь, историк, публицист, ученый-путешественник.

К началу тридцатых годов относятся его «Песни западных славян».

В ряде стихотворений этот цикл представляет собою вольную передачу известных опытов Проспера Мериме, стремившегося воссоздать «местный колорит» придунайских народностей («Гузла, или антология иллирийских стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Кроатии и Герцеговине»). Но Пушкин пользовался и другими источниками. Вообще темы героической борьбы за национальную независимость проходят основным мотивом через цикл его славянских песен и придают ему подлинный исторический драматизм. Во всех балладах ощущается исконная близость поэта к языку, характеру, сказаниям, стиховому складу родственных балканских народностей, и это сообщает особую жизненность этнографической экзотике «Гузлы». Романтические опыты Мериме зазвучали на русском языке в стихах Пушкина как подлинный эпос славянских народов.

Одной из этих песен, о Яныше-Королевиче, близка драма Пушкина «Русалка». В своей разработке легенды о девушке-утопленнице Пушкин развернул тему старинной песни в подлинную народную трагедию. В немногих сценах мощно обрисованы главные характеры и раскрыт неумолимый ход их жизненных судеб. Классическая сцена прощания князя с дочерью мельника — одна из самых сильных страниц Пушкина по глубине и проникновенности психологической драмы. Бред сумасшедшего старика — вероятно, высшее достижение Пушкина в изображении безумия. В «Русалке» народ заговорил о своих личных страданиях и интимных потрясениях с непередаваемой силой и лиризмом. Богатая народными мотивами и речениями, эта драма-сказка поражает хрустальной чистотой своего стихотворного диалога и мелодичностью своих песенных слов. Новые творческие планы и замыслы отвели Пушкина от завершения этого глубокого и яркого создания. Но сохранившийся фрагмент получил общенародное признание и вызвал к жизни в творчестве младшего современника поэта композитора Даргомыжского один из первых и лучших образцов русской национальной оперы.

В эти годы строительства семьи, архивной и библиотечной работы Пушкин продолжал в самой жизни черпать материалы для своих произведений. Его московский друг П. В. Нащокин — игрок и кутила, всегда вращавшийся в среде колоритных типов старой разгульной Москвы, был поклонником Бальзака и сам обладал даром увлекательного и живого рассказа. Из бесед с ним Пушкин извлек тему для большого романа.

Нащокин знал одного мелкого белорусского дворянина, некоего Островского, которого богатый и влиятельный сосед лишил имения путем ловкой судебной волокиты. Обездоленный владелец стал во главе своих крестьян для мести государственным чиновникам и всем своим обидчикам. Поверенный Нащокина, чиновник опекунского совета, достал Пушкину документ судебного дела о «неправильном владении» имением, принадлежавшим другому лицу. Этот материал уго-

ловной хроники Пушкин решил разработать в романической форме. Вернувшись из Москвы, он приступает к работе над романом «Дубровский».

Вещь чрезвычайно удалась сюжетно. Обращаясь к жанру «разбойничьего» романа, Пушкин мастерски разрешил сложную композиционную проблему. Все изложение строится на борьбе, то есть на самом увлекательном принципе повествования. Судебная тяжба, чиновничий произвол, организация крепостных в отряд социальных мстителей, участие в этих событиях молодого гвардейца, ставшего атаманом своих людей и под видом француза-гувернера проникающего в дом обидчика, где он влюбляется в его дочь и грабит его гостей, — все это полно движения, неожиданных и увлекательных конфликтов и беспрерывно держит в напряжении внимание читателя.

Но авантюрность фабулы нисколько не снижает обычной для Пушкина глубокой жизненности и яркой правды изображения. С портретной выразительностью выписаны разнообразные типы екатерининской России, словно выхваченные романистом из самой действительности. Всесильный генерал-аншеф Троекуров с его связями при дворе и широкой жизнью, малообразованный, но отличавшийся «необыкновенной силой физических способностей», напоминает знаменитого Алексея Орлова, о котором сохранился ряд записей Пушкина. Троекуровский быт отмечен чертами жизни видных псковских самодуров, имевших крепостные гаремы и державших в страхе и раболепии уездных чиновников.

По непосредственным наблюдениям описана группа губернских приказных: заседатель Шабашкин, исправник, земские судьи. С такими подьячими Пушкин познакомился, когда входил во владение Кистеневкой (так называется и поместье Дубровских).

Пушкин дает резкий сатирический очерк этим растленным и самовластным вершителям народных судеб в старорусской глуши. В противовес презренному «крапивному семени» вводится в роман ряд фигур из народа, обрисованных с большим теплом и сочувствием. Крестьянский мир с его честностью и

стойкостью составляет в «Дубровском» резкий моральный контраст отвратительному сообществу самодуров-помещиков и повытчиков-кровососов. Пушкин художественно воплощает здесь свое давнишнее мнение о чиновниках-казнокрадах, преступном барстве и единственном почтенном классе в России—землепашцах. Всевластному феодалу и его угодливой судебной и полицейской агентуре здесь противопоставлены живые и человечные образы крепостной деревни, гневно восстающей на своих притеснителей. Таковы и Антон-кучер, и Гриша, и Митя, и особенно Архип-кузнец, с риском для жизни спасающий кошку из пылающего дома, но беспощадно мстящий за обиды и гнет бесчинствующей чиновной ватаге. Здесь и няня Владимира Дубровского, характерно названная Ориной, пишущая своему любимцу письмо, почти буквально воспроизводящее послания к Пушкину его любимой Родионовны. Социальный разрез повести раскрывает поместную Русь во всех ее пластах и наслоениях от вельможного магната до дворового мальчишки, обнажая острейшие противоречия в самых недрах рабовладельческой империи. В процессе своего развития «Дубровский» из «разбойничьего» романа вырос в замечательную реалистическую картину крепостной России с ее душевладельцами, меценатами, канцеляристами и такими живыми народными образами, как Архип-кузнец.

Крупнейший социально-психологический интерес представляет и главный герой романа Владимир Дубровский, «бедный дворянин», тяжело обиженный всесильным вельможей и государственной властью и восстающий на них с оружием в руках во главе своих крестьян. В какой-то степени он выражает протест самого Пушкина, который в кишиневской ссылке дерзко бросал в лицо крупным чиновникам и военным требования повесить всех дворян, уничтожить позорный деспотизм душевладельцев и дать свободу и права единому почтенному классу — земледельцам. Образ дворянина, идущего в народ для борьбы с помещичьим государством, и был открытием того нового героя, который до конца будет занимать творче-

ское внимание поэта. Гвардеец Владимир Дубровский, возглавляющий своих крепостных для борьбы с Троекуровыми и Шабашкиными, приводит Пушкина к воссозданию еще более сложного исторического типа — к образу офицера-пугачевца.

II

ПО СЛЕДАМ ПУГАЧЕВА

1

Когда Пушкин заканчивал роман о мятежном дворянине Дубровском, до него дошли устные рассказы об офицере XVIII века Шванвиче, который перешел из правительственной команды на сторону Пугачева и служил ему «со всеусердием».

Такая историческая фигура чрезвычайно заостряла волновавшую в то время Пушкина тему о классовом отступничестве молодого барича в пользу подвластной ему крепостной массы. Гвардеец, участвующий в народной революции, выступал как совершенно новый романический герой. В правительственном сообщении 1775 года о наказании Пугачева и его сообщников имелась сентенция о подпоручике Шванвиче, которого предлагалось, «лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу», за то, что он, «будучи в толпе злодейской, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти».

31 января 1833 года Пушкин набрасывает план исторического романа из эпохи Пугачева с главным героем, сосланным за буйство в дальний гарнизон: «Степная крепость — подступает Пугачев — Шванвич предает ему крепость... делается сообщником Пугачева» и пр.

Через несколько дней, 7 февраля, Пушкин обращается к военному министру Чернышеву с просьбой предоставить ему следственное дело о Пугачеве. Обилие материалов и выдающийся интерес их заставляют Пушкина отложить работу над романом для написания исторической монографии о Пугачеве,

в которой могли бы быть использованы главнейшие документы о нем. «Я думал некогда написать исторический роман, относящийся к временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал историю пугачевщины».

Драматические донесения увлекли поэта. В два-три месяца, весной 1833 года, он успевает изучить основные рукописные источники и набрасывает первую редакцию «Истории Пугачева».

Но от архивов военного министерства его влечет к самой жизни — к живым свидетельствам современников, к непосредственному осмотру арены действия «пугачевщины», где он мог бы проверить «мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою».

Такие живые свидетели пугачевского восстания нашлись прежде всего в окружающей литературной среде. В архивных документах об обороне Яицкого городка неоднократно упоминалось имя капитана Андрея Крылова. Это был отец знаменитого баснописца. Мальчик находился в то время с матерью в Оренбурге и запомнил обстрел города ядрами, голод, угрозы повешения, детские игры в бунт и казни. Сведения эти пригодились Пушкину и частично вошли в его «историю».

Другой писатель — Дмитриев — был в молодости свидетелем казни Пугачева. Поэт получил от него «яркую и живую страницу», которую и включил целиком в свое изложение.

Но необходимо было услышать на местах голос народа о памятных событиях, объездить Поволжье и Приуралье, осмотреть города и крепости, конкретно и воочию изучить обстановку и условия великой социальной войны XVIII века.

2

17 августа 1833 года Пушкин выехал из Петербурга и через имение Гончаровых Ярополец и Москву прибыл 2 сентября в Нижний Новгород — первое

историческое место его маршрута и крайнюю грань разлива пугачевского восстания. Здесь пробыл он два дня и был любезно принят нижегородским губернатором Бутурлиным, решившим, что поэт разъезжает по губернии с правительственным поручением тайной ревизии. Так возник замысел веселой комедии о растерянной провинциальной администрации, введенный вскоре Гоголем в мировой репертуар. На самом же деле Пушкин не только не выполнял в своей поездке обязанностей ревизора, но находился сам под секретным надзором.

В ночь с 5 на 6 сентября Пушкин приехал в Казань, где пробыл до 8-го. Он неожиданно застал здесь Баратынского, с которым провел день. Автор «Эды» познакомил его с местным старожилом — доктором медицины Карлом Фуксом, нумизматом, этнографом и лучшим знатоком казанской истории древностей. «Ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны, здесь описанных», — писал Пушкин в «Истории Пугачева».

Старая татарская столица представляла первостепенный интерес для ученого путешественника. Утром 7 сентября Пушкин съездил по Сибирскому тракту за десять верст от города к Троицкой мельнице, где стоял на берегу Казанки лагерь Пугачева; поэт объездил Арское поле, по которому пугачевцы со своей артиллерией двигались на главную батарею Казани, осмотрел кремль, где жители спасались от пожаров. Особенный интерес представлял «Соколов кабак» в Суконной слободе, через которую мятежники прорвались в город.

«Пушкин здесь так близко, как никогда, подошел к рабочему классу, в то время немногочисленному, лишь нарождавшемуся в России и чрезвычайно далекому от обычных интересов поэта, знавшего главным образом крестьянские круги народа. Хотя мы располагаем сравнительно незначительными данными, все же можем сказать, что Пушкину в этом случае предстояло испытать меру своего сочувствия люду в его борьбе за свободу и что это испытание он вы-

держал с честью, достойною его проницательного ума и благородного сердца» *.

Вернувшись из объезда города и окрестностей, Пушкин вносил в свои дорожные тетради первые наблюдения над историческими местами. Он писал здесь как бы с натуры седьмую — «казанскую» — главу своей монографии.

К вечеру доктор Фукс повез Пушкина к себе в «Забулачье», то есть в часть города, расположенную за протоком Булаком, на границе русской и татарской Казани. В этом полуазиатском квартале Фукс поместил свою ценную библиотеку, собрание рукописей, коллекцию восточных монет с редчайшими золотоордынскими экземплярами.

Это был не только научный кабинет, но и первый литературный салон Казани. Фукс был женат на писательнице Александре Андреевне Апехтиной, принимавшей у себя виднейших деятелей местной культуры. Разносторонний ученый направил интересы своей жены, писавшей до того лишь стихи, водевили и сказки, к изучению истории и этнографии края. Все это представляло интерес для путешественника.

После чая доктор Фукс повез Пушкина к «патриарху казанского купечества» Леонтию Крупенникову, глубокому старику, попавшему юношей в плен к Пугачеву.

18 сентября вечером поэт был у конечной цели своих странствий — в Оренбурге. Здесь у него нашлись знакомые: губернатор Перовский и состоявший при нем чиновником особых поручений военный врач и писатель Даль, автор сказок «Казака Луганского». Он интересовался устной крестьянской поэзией, чрезвычайно обогатил свой язык постоянными беседами по службе с матросами и солдатами и стал понемногу разрабатывать эти накопленные богатства русской речи. В конце 1832 года в Петербурге он издал под псевдонимом казака Луганского первый «пяток» своих «складок».

Это был интереснейший опыт даровитого филоло-

* Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. Л., 1929.

га над современным русским языком, которому «открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке...».

Первая книга Даля с ее особой шутливой интонацией и затейливой расцветкой имела шумный успех и даже обратила на себя излишнее внимание правительства. По доносу Булгарина книга была изъята из продажи, а ее автор арестован; только заступничество Жуковского освободило его из заточения.

Запрещенная книга вызвала живейший интерес Пушкина: поэт высоко оценил опыты Даля и много беседовал с ним о сказочном слоге, о будущем развитии родной речи, о «слиянии простонародного наречья с книжным».

Поэт считал, что только в устном творчестве язык достигает подлинного русского раздолья: «Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

С Далем снова велись оживленные литературные беседы. Пушкин «подарил» ему сказочный сюжет «О Георгии храбром и сером волке» и сам увлекся устными сокровищами этого страстного собирателя народной поэзии. С увлечением рассказывал поэт-историк Далю и о своем намерении дать творческое воплощение личности Петра I: «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина... — но постигаю его чувством!» Пушкин выражал надежду, что со временем он «что-нибудь сделает из этого золота». Но замысел уже совершенно созрел в творческом сознании художника, и монументальная статуя героя вскоре была отлита в «Медном всаднике».

Главной целью странствующего писателя был осмотр казачьего села Берды, столицы Пугачева, где его еще могли помнить старики.

Даль повез Пушкина в историческую станицу и показал сохранившиеся следы осады Оренбурга — Георгиевскую колокольню, на которую Пугачев поднимал пушку, остатки земляных работ между Орски-

ми и Сакмарскими воротами, Зауральскую рощу, откуда пугачевцы пытались по льду ворваться в крепость. Он сообщил ему и о бердинских старухах, которые помнят «золотые палаты» Пугачева, то есть обитую медною латунью избу.

Одну из таких древних казачек, «которая знала, видела и помнила Пугачева», разыскали в станице, и Пушкин провел с нею целое утро. Звали ее Бунтова, родом она была из Нижне-Озерной крепости.

На расспросы, помнит ли она Пугачева, отвечала *: «Да, батюшка, нечего греха таить, моя вина».

«Какая же это вина, старушка, что ты знала Пугачева?» — «Знала, батюшка, знала; как теперь на него гляжу: мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода окладистая, ростом не больно высок и не мал... Как же! Хорошо знала и присягала ему вместе с другими. Бывало, он сидит, на колени положит платок, на платок руку; по сторонам сидят его енаралы: один держит серебряный топор, того и гляди, что голову срубит, другой — серебряный меч, супротив виселица; а около мы на коленах присягаем; присягнем да поочередно, перекрестившись, руку у него поцелуем, а меж тем на виселицу-то беспрестанно вздергивают».

Старуха рассказала Пушкину о расстреле Харловой и ее брата ** и спела ему несколько песен о Пугачеве, «как он воевал и как вешал».

Старуха рассказала Пушкину и глубоко трогательную легенду про плач матери Степана Разина (эпизод этот вошел в «Историю Пугачева», но толь-

---

* Последующая запись разговора сделана не Пушкиным, а другими посетителями Бердской слободы

** По рассказу Пушкина, красавица Харлова была женой коменданта Нижне-Озерной крепости и дочерью начальника Татищевой крепости полковника Елагина. Когда ее муж и родители погибли при осаде, она согласилась стать наложницей Пугачева для спасения своего семилетнего брата. Но вскоре по требованию восставших оба они были расстреляны. Имя Харловой упоминается и в «Капитанской дочке»: Швабрин убеждает Марию Ивановну выйти за него замуж, угрожая в противном случае отвести ее в лагерь Пугачева, где ее ждет участь Лизаветы Харловой.

ко приуроченный к событиям XVIII века). Это была величественная трагедия материнства, созданная народным воображением.

«В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая:

«Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?»

И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп...»

Это была тема для сильной народной песни, для эпилога поэмы о Степане Разине. Но Пушкин мог только — и то не без труда — спасти это дивное трагическое сказание, отнеся его в примечания к своей истории (из основного текста оно было удалено Николаем I).

Таковы были последние следы одного неосуществленного замысла — эпопеи о вожде крестьянского восстания XVII века, задуманной на просторах казачьих станиц еще в 1820 году начинающим поэтом.

На прощание Пушкин показал седой сказительнице портрет Натальи Николаевны.

«Вот она будет твои песни петь», — сказал он старой казачке, подарив ей червонец.

В конце сентября Пушкин выехал в Болдино, где пробыл около шести недель.

3

Проведенное здесь время оказалось, как и в 1830 году, необычайно плодотворным. В Болдине были написаны две сказки: «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне». Здесь же было создано одно из величайших произведений Пушкина — «Медный всадник». В Болдине он переработал в поэму «Анджело» шекспировскую драму «Мера за меру», снова развернув здесь близкую ему тему верховного помилования, быть может связанную с его постоянной думой о смягчении участи сосланных декабристов. В Болдине же, вероятно, была написана и «Пиковая дама», вскоре появившаяся в печати.

Одной из главных работ Пушкина в нижегородской глуши была обработка собранных материалов по пугачевщине. Они были включены в черновую рукопись, которая и получила окончательную отделку. «История Пугачева» — первый ученый труд Пушкина и единственный, доведенный им до окончания.

Исторический стиль Пушкина отмечен своеобразными чертами, характерными для всей его прозы. Его основное требование для прозаического жанра «мыслей и мыслей», при полном отказе от «украшений», отвело его от картинной или ораторской манеры Карамзина. Живописность минувшей эпохи он относит в поэму, например в «Полтаву», историческое же изложение строит прагматически — на фактах и документах. Образному и лирическому повествованию противопоставляется история, логически протокольная. В письме к И. И. Дмитриеву Пушкин отмечает, что в «Истории Пугачева» он «старался только об одном ясном изложении происшествий», что же касается до «анекдотов, черт местности и пр.», то автор намеренно «все это отбросил в примечания». В основу изучения и воссоздания прошлого кладется биография, а литературное построение наиболее приближается к жанру классической трагедии: центральный герой ведет все повествование и целиком сосредоточивает на себе внимание читателя; события его жизни развертываются как акты единой и цельной драмы. Быт, портреты, интимная жизнь, гипотезы исключаются. Рассказать сложную и бурную судьбу с наибольшей простотой, сжатостью и стремительностью — таково задание историка.

Отсюда приближение у Пушкина рассказа о народном восстании к жанру точной военной истории XVIII века. Изображение пугачевского движения напоминает описание войны. Пушкин изучает в основном смену сражений, состав войск, характер осадных операций, «театр беспорядков».

Подчиненный верховной цензуре самого царя, первый биограф Пугачева проявил подлинную смелость и независимость, изобразив его мощным народно-историческим деятелем, выдающимся стратегом, «поко-

лебавшим государство от Сибири до Москвы и от Кубани до муромских лесов». Это сильный народный боец, способный также героически оборонять родину от иноплеменного нашествия. В годину Отечественной войны он наносил бы с партизанскими отрядами сокрушительные удары французской армии (как писал Пушкин в своем послании поэту-партизану Денису Давыдову):

В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой

Масштабы образа придают значение, силу и глубину всему его жизнеописанию. Необычайность выдающейся личной судьбы раскрывает во всей глубине драматизм политических конфликтов и государственной борьбы. История предводителя восставших казаков, крестьян, уральских горнорабочих, восточных племен Поволжья развертывается в народную трагедию, изложенную с бесстрастной точностью чертежа или отчета. Такова «История Пугачева». Бытовой колорит и психологический драматизм эпохи получают свое воплощение в другом произведении — в историческом романе о взятии Белогорской крепости.

Неудивительно, что Николай I сделал на рукописи «Истории Пугачева» ряд критических заметок, прежде всего изменив заглавие (на том основании, что «преступник, как Пугачев, не имеет истории») и возражая против таких характеристик Пушкина, как «славный мятежник» или «бедный колодник».

III

СЕВЕРНЫЕ ПОЭМЫ

1

От тяжелой николаевской современности Пушкин обращается к «векам старинной нашей славы», которую он так знал и ценил в ее государственных подвигах и героических фигурах. Его особенно привлекает эпоха Петра. «Герой Полтавы» при всей сложности своего характера все же носил в себе черты

мощного разрушителя старых порядков, деятельность которого поэт определял как «революцию», а личность сравнивал со Степаном Разиным, Робеспьером и Пугачевым. Две поэмы о Петре — главные этапы роста его эпоса на рубеже двадцатых и тридцатых годов.

«Он хотел быть русским историческим поэтом, — писал Чернышевский. — «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», отчасти «Капитанская дочка» были созданы не только художническою потребностью, но и желанием выразить свое *определенное созерцание явлений русской истории»*.

В 1828 году Пушкин приступает к разработке исторической поэмы в романтическом стиле: к этому времени относятся первые наброски «Полтавы».

Образ Мазепы дан Пушкиным в новом освещении. Не принимая идеализации гетмана, свойственной некоторым украинским и польским деятелям, Пушкин горячо спорит на эту тему с Мицкевичем и решительно отвергает концепцию Рылеева, который изобразил в 1824 году этого тщеславного политика в виде народного героя и отважного предводителя в «борьбе свободы с самовластием». Пушкин возражал против тенденции изобразителей Мазепы сделать из него «нового Богдана Хмельницкого».

Изменнику России, «мятежному гетману» Пушкин противопоставляет подлинного строителя новой государственности — Петра. Это соответствовало преклонению декабристских кругов перед личностью реформатора. «Мы прославляем патриотизм Брута, — писал Николай Тургенев, — но молчим о патриотизме Петра, также принесшего своего сына в жертву отечеству».

Такая оценка вполне соответствовала представлению Пушкина. Он обратился к поэме для прославления «героя Полтавы», уже очерченного в первых главах романа о Ганнибале.

Вся эта историческая быль раскрывает поразительный психологический случай, захвативший поэта: «история обольщенной дочери и казненного отца» — вот что легло в сюжетную основу новой поэмы.

Чудовищный аморализм Мазепы, поразивший Пушкина еще в «Войнаровском» Рылеева, приобретал значение гибельного предательства в плане государственной деятельности «малороссийского владыки»: пользуясь безграничным доверием Петра, он вел переговоры о наступательном союзе со всеми врагами Москвы — Польшей, Швецией, Турцией, донским казачеством, Запорожской Сечью. Исключительные масштабы демонического характера сочетались с трагизмом политических событий эпохи, получивших свое грозовое разрешение лишь в полтавской встрече Петра и Карла. «Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, — вот что увлекло меня», — писал Пушкин о возникновении «Полтавы».

Исходя из этих данных, поэт и открывает новый композиционный закон эпопеи: великие исторические события развертываются на фоне семейной драмы и воспринимаются сквозь интимные переживания героев. Глухое брожение Украины, казнь Искры и Кочубея, дерзкая агрессия Карла с помощью его тайного союзника — все это переплетается с обстоятельствами необычайного романа юной Марии с престарелым гетманом.

Историческая тема для своего воплощения требовала у Пушкина любовной фабулы. Художественную историю он строил на развертывании похождения двух влюбленных в условиях бурной политической эпохи. Так подошел он и к теме полтавского боя. Обольщение гетманом дочери Кочубея представилось Пушкину «разительной чертой» и «страшным обстоятельством». От семейной драмы композиция поэмы ведет к политическим конфликтам: от сватовства Мазепы, отказа родителей и похищения Марии к мести оскорбленного отца, доносу на «гетмана-злодея», пытке и казни Искры и Кочубея. Смутный бендерский замысел исторической поэмы начал теперь слагаться в романическую композицию. Владея нитью сюжета, Пушкин в октябре 1828 года приступил к своей «петриаде». Через две-три недели «Полтава» была написана.

Но лирическая тема, столь глубоко разработанная в южных поэмах и в «Онегине», не получила здесь господствующего развития. Личные судьбы героев призваны только связать и объединить исторические образы и картины для придания им необходимой композиционной цельности и естественного движения. Перефразируя известный афоризм, можно было бы сказать, что роман Марии и Мазепы является для Пушкина тем гвоздем, на который он вешает свою историческую баталию. Весь смысл и ценность сюжета для него — в петровской эпохе, в политической борьбе Швеции, Украины и России, в образах Петра, Карла, Мазепы — в Полтаве, Бендерах и будущем Петербурге «Медного всадника», уже прозреваемом в эпилоге поэмы 1828 года.

Пушкин в «Полтаве» прежде всего поэт-историк. Драматизм и живописность даны здесь в конфликте государств, армий, наций. Героем поэмы является не Мазепа и Мария, даже не Петр и не Полтава как плацдарм для исторического боя, а целая эпоха великих преобразований:

> та смутная пора,
> Когда Россия молодая,
> В бореньях силы напрягая,
> Мужала с гением Петра.

В этом центральный замысел и патетика поэмы. Пушкин, как исторический живописец, в ней необычайно вырастает сравнительно с «Русланом и Людмилой». Это крупный этап на пути эволюции поэта от его ранних поэм к созданиям тридцатых годов. Гений Пушкина-историка также «мужал» и вырастал из пленявшей его еще недавно формы лирической поэмы. Поэт словно торопится отойти от романической фабулы, чтобы полным голосом заговорить там, где в сюжет его вступает история, подлинная вдохновительница его замысла.

Стих его сразу достигает необыкновенной энергии и выразительности, как только большая государственная тема, оттесняя любовную фабулу, начинает вести его поэму:

Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.

Фигуры исторических деятелей писаны смелой и сочной кистью. Таковы Карл XII, Мазепа, Кочубей, Палей, Орлик, обрисованные в их характерных и крупных исторических чертах. Над всеми господствует монументальная фигура Петра. Он дан последовательно — в утро сражения, в полдень перед боем и вечером в шатре. Три сжатые зарисовки незабываемыми чертами фиксируют во весь рост историческую фигуру. Изображение намеренно выдержано в стиле придворного портрета XVIII века с его торжественностью, героичностью, хвалебностью и апофеозом («как будто некий бог, в лучах нестерпимой для взоров смертного славы, проходит перед нами, окруженный громами и молниями», — пишет Белинский). Но замечательный мастер исторической живописи сквозь все атрибуты парадного стиля дает ощущение живой фигуры, дышащей энергией и силой.

В сравнении с романом об Ибрагиме и стансами 1826 года, где был обрисован строитель Петербурга и просветитель России, в «Полтаве» Петр раскрыт совершенно по-новому: это военный гений, преобразователь русской армии, руководитель генерального сражения и организатор величайшей победы. Впервые поэт изображает своего героя в гигантской борьбе с темными силами, пытающимися растоптать воздвигаемое им новое государство. На фоне величественных событий Северной войны зловещими и мрачными тенями выступают «враги России и Петра». Поэт неопровержимо показывает, как в своих тщеславных притязаниях Карл XII и Мазепа бесповоротно осуждены историей.

С замечательным лаконизмом Пушкин отмечает обреченность шведского завоевателя: «Отважный Карл скользил над бездной: он шел на

древнюю Москву...» Это поистине бессмертная историческая формула: идти на Москву — значит скользить над бездной! Сам Пушкин тут же называет провал аналогичной попытки через столетие, «в дни наши», то есть в 1812 году, как бы предсказывая такое же бесславное крушение всем будущим поползновениям на сердце его родины.

Безнадежными оказываются самые хитрые и решительные маневры шведского короля. Встретив сопротивление и стремясь нанести непредвиденный удар, он сворачивает со Смоленской дороги на юг: «Незапно Карл поворотил и перенес войну в Украйну...» Но и эта гигантская стратегическая диверсия не спасет его от неминуемой гибели — на новом театре войны его ждет вооруженный русский народ, руководимый своим вождем: «Твой близок день, ты вал Полтавы вдали завидел наконец. .» Жребий брошен, и участь решена. Шведского полководца, гордящегося своей победой под Нарвой в 1700 году, встретит через девять лет новая русская армия, преобразованная Петром в образцовое войско:

И злобясь видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков

При виде регулярной петровской армии понимает свою политическую ошибку и Мазепа — «изменник русского царя», переметнувшийся на сторону военного счастливца Карла в расчетах на украинскую корону. Но задуманный гетманом план гражданской войны, «вольности кровавой», междоусобицы и смуты сорван: украинский народ не пошел на предательское восстание. Рушатся и расчеты на достижение верховной власти с помощью чужих военных успехов. Накануне боя, при виде неотразимой системы полтавских редутов и незыблемого русского фронта, Мазепа убеждается в неминуемом крахе своих расчетов, ему ясно и легкомыслие «воинственного бродяги», который давнишним своим успехом мерит новые, невиданные

силы «Петра-титана» (как назовет его вскоре Пушкин). В кучке мятежных казаков, подавленный своими мрачными предчувствиями, этот ренегат, не имеющий отчизны, наблюдает величайшую битву за родину и ее государственную будущность.

С поразительной исторической достоверностью и художественной мощью изображен в поэме полтавский бой. Знаменитое сражение началось на рассвете («Горит восток зарею новой») и открылось стремительной атакой шведов на русские передовые позиции, отвечавшие вихревым огнем («Сквозь огнь окопов рвутся шведы...»). За линией редутов артиллерийский бой наносит непоправимые удары наступающей армии и приводит в замешательство ее отборные части; генерал Розен отступает со своей расстроенной колонной, Меньшиков окружает полк Шлипенбаха:

Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.

К десяти часам утра сражение переходит в решающую фазу. На отряды противника, достигшие основных укреплений русского лагеря, Петр организует контрнаступление («Раздался звучный глас Петра...»). Армии сошлись на расстояние ружейного выстрела и открыли сильнейший огонь. Гибельным хаосом закипает беспримерная всеобщая схватка стрелков и всадников под непрекращающийся грохот орудий: «Гром пушек, ржанье, топот, стон. И смерть и ад со всех сторон». Но воля к победе защитников родной земли берет верх. К одиннадцати часам русская конница решает исход боя, охватывая фланги шведской армии и обращая ее в бегство («Еще напор — и враг бежит. И следом конница пустилась...»). Под натиском преследующей кавалерии шведы бегут к Днепру. Полтавский бой закончен («Пирует Петр...»).

В описании Пушкина одинаково поражают историческая достоверность батальной картины и ее грозная мощь. Непреклонный строитель нового госу-

дарства показан и его неотразимым защитником. Гениальный полководец, создатель грандиозного военного плана, вдохновитель и руководитель войска в решающий момент боя, Петр одерживает победу огромных политических и культурных последствий. Как указывал Пушкин, «успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы...».

Так развязывается запутанный узел национальных судеб и государственных соревнований. Историческое дело Петра торжествует над личными помыслами и темными расчетами его врагов. Авантюризму Карла и козням Мазепы противопоставлен в поэме Пушкина гениальный замысел обороны родины, осуществленный вооруженной нацией в бессмертном подвиге Полтавской победы. В напряженном и беспощадном споре за историческое преобладание побеждает русский народ, ставший великой армией. Над темным омутом интриг и вожделений высится в эпилоге поэмы «огромный памятник» герою Полтавы. Так, на знаменитом петербургском монументе Петра, столь волновавшем мысль и воображение поэта, извивающийся змей растоптан скачущим конем венчанного лаврами триумфатора, неудержимо несущегося вперед с повелительным жестом и всеозирающим взором.

В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Героическая поэма Пушкина, прославляя вождя, славит и народ, непоколебимо смыкавший в жесточайшей битве «над падшим строем свежий строй» и героически отстоявший родную землю от иноземного нашествия.

Обращаясь к теме петровской эпохи, Пушкин замечательно выдерживает ее в стиле искусства того времени с его декоративной торжественностью и победной орнаментикой.

Старинные литераторы отмечали в своих записках, что в XVIII веке поэзия тянулась за живописью и Державин увлекался передачей в поэзии картин и

красок. Сражение со шведами в «Полтаве» отчасти выдержано в традиции старинных баталистов. И в соответствии с этим, порывая с элегическим стилем романтической поэмы, Пушкин обращается к хвалебным одам на взятие крепостей или прославление победоносных полководцев, намеренно вводя в свои описания ломоносовские изречения. Все это служит историческому реализму Пушкина и дает поразительное ощущение эпохи в ее конкретных проявлениях и формах.

2

Образ Петра продолжал увлекать Пушкина и в 1833 году. В Оренбурге он с увлечением говорил Далю о своем намерении изобразить «этого исполина». Поэт долго и мучительно разрешал для себя проблему этого сложного и противоречивого характера, поражавшего его своей новаторской мощью. Двойственность героя отмечена в записи Пушкина (1835): «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Эти резкие контрасты реформаторских замыслов с личными чертами «своевольства и варварства» Пушкин решил «внести в историю Петра, обдумав»; но в поэме, к которой вскоре обратили его изученные материалы, необходимо было дать художественное обобщение героя и сохранить за ним монументальную целостность и монолитность. Вот почему, приступая в 1833 году к «Медному всаднику», Пушкин строит исторический образ не на раскрытии противоречий, а лишь на могучей творческой энергии петровского характера. В поэме о Петре «самовластный помещик» решительно преодолен носителем государственной мудрости, творящим для будущего.

Понимание его личности связывается теперь у Пушкина с новой концепцией великих политических переворотов. В отличие от его раннего преклонения

перед образами одиноких самоотверженных и обреченных героев, как Занд, Лувель или Риэго, он считает теперь, что подлинный творец будущего — это герой, выражающий «творящий дух истории», мощно поворачивающий колесо времени, отважно ведущий за собой труд и мысль своего поколения. Петр, поднявший Россию на дыбы, — спаситель России, хотя бы он и спасал ее «уздой железной». В этом его значение борца с темными силами и великого реформатора своей родины. Недаром в тридцатые годы Пушкин сближает имена Петра I, Разина и Пугачева, понимая их как разные типы русского революционного действия; Петр для него теперь «воплощенная революция». Не во всем сочувствуя этой революционности Петра, Пушкин преклоняется перед се силой и действием. «Петр Великий один — целая всемирная история», — пишет он в 1836 году Чаадаеву.

Эту основную идею «Медного всадника» верно отметил его первый критик Белинский: «Эта поэма — апофеоза Петра Великого, самая смелая, какая могла только прийти в голову поэту, вполне достойному быть певцом великого преобразователя».

Другой герой поэмы — Евгений, которому суждено вступить в борьбу с «мощным властелином судьбы», раскрывается автором как человек слабый и совершенно не подготовленный к трудному акту политического протеста. Он беден и лишен дарований, ему не хватает «ума и денег», то есть основных двигателей окружающего общества. Все пути к успехам и широкой деятельности для него закрыты: это не носитель новаторских идей, как Петр, не мыслитель, не строитель, не борец. Евгений показан вначале как маленький человек, для которого вопросы личного благополучия и семейного устройства важнее огромных жизненных заданий государства и великих целей национального роста. Петербургу Петра, ограждающему отечество от врагов и призывающему к себе все флаги мировой торговли, он противопоставляет только «свою Парашу». Созданный для сладостных мечтаний и домашней идиллии, он не понимает зако-

нов политической борьбы. Пути истории и великие задачи государственных строителей вне его кругозора.

Но пережитая Евгением катастрофа преображает его. Из глубины личного страдания возникает философское осознание мировых порядков:

. Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

Одновременно зарождается критическая мысль (об основании Петербурга) и растет смелый протест против «строителя чудотворного». Новое, глубокое восприятие жизни приводит пассивного созерцателя к титанической схватке с «державцем полумира». Но первое же ответное движение медного исполина обращает его в бегство и бросает в безумие.

Так созревает общефилософская идея Пушкина. Теперь, в отличие от периода создания стихотворения «Кинжал», поэт осуждает все одиночные, не связанные с народом и, значит, безнадежные политические выступления. Книга Радищева, убийства Коцебу и герцога Беррийского, военные заговоры в Испании, Неаполе, Португалии, Петербурге, Варшаве — все это слагается в единое представление о «неравной борьбе», о мужестве отчаянном и безрассудном, обрекающем на гибель общее великое дело. В своих письмах и записях 1828 года Пушкин говорит о «безумных» замыслах, о «несчастных» участниках восстания, о «ничтожности» их средств, о «необъятной силе» их противника. В 1830 году в статье о записках Самсона Пушкин говорит о «безумце Лувеле».

Такие определения уже подготовляют концепцию и терминологию «Медного всадника». Но в отличие от реакционной Европы двадцатых годов в центре пушкинской поэмы — великий герой государственного зодчества. Трагизм раскрывающейся здесь борьбы в том, что против могучей передовой силы истории выступает обреченный на гибель одинокий бунтарь, убежденный в своей правоте и отстаивающий свое представление о справедливости и мудрости.

Такой образ привлекал внимание Пушкина; перво-



Конь на скале (памятник Фальконета).
Рис Пушкина. Чернила.

начально поэт даже предполагал связать судьбу Евгения с личностью его предков, которые в эпоху Петра мужественно выступали против «построения С.-Петербурга» и участвовали в стрелецком бунте. Как раз в эпоху написания «Медного всадника» составляются планы повести о московском восстании 1682 года, где выводится и «полковник стрелецкий», очевидно известный Циклер, казненный 4 марта 1698 года вместе с Федором Матвеевичем Пушкиным («С Петром мой пращур не поладил и был за то повешен им...»). В первоначальной редакции «Медного всадника» — в рукописи «Родословной моего героя» — судьба Езерских при Петре изображалась в тех же тонах:

Один из них был четвертован
За бунт стрелецкий

Сбоку приписано: «За связь с Циклером».

В других вариантах: «За староверцев и стрельцов», «За связь с царевною», «За Софью»...

Традицию этого предка и должен был продолжать герой поэмы. Новый враг Петра изображен в «Медном всаднике» обнищалым потомком исторических родов, блиставших некогда «под пером Карамзина», то есть в средневековой Руси, но ныне совершенно забытых.

С ростом замысла тема реакционного сопротивления отступила перед более глубокой философско-политической проблемой, широко и обобщенно раскрывающей трагедию человека с его частным миром, безжалостно растоптанного неумолимым ходом истории, воплощенной в образе непреклонного и стремительного медного всадника.

Нет сомнения, что в этом осмысливании исторического пути Пушкиным глубоко была пережита и драма современного ему передового поколения, сраженного в безнадежной борьбе. От «буйного стрельца», хорошо знакомого поэту по родословным преданиям, он обращается к новейшим «пустынным сеятелям свободы», с которыми был так близко связан личными отношениями.

Как одиноких борцов эпохи своей молодости, Пушкин жалеет и своего Евгения; но в 1833 году он уже не усматривает в его жесте «урок царям». Как и в 1821 году, он глубоко сочувствует своему «мученику», но если в то время могила Карла Занда представлялась ему вечной угрозой «преступной силе», теперь его раздавленный мятежник гибнет бесславно, без отзвука и ответа, не имея даже надгробья, похороненный «ради бога» на пустынном острове чужими и безвестными руками.

Ему противопоставлен образ героя, увековеченного в бронзе, победоносно осуществившего свой революционный замысел и воздвигнувшего на берегах европейского моря цитадель новой российской государственности. Слабосильному мятежнику, кончившему безумием, противостоит государственный зодчий, полный «великих дум»; ветхому домишке, заброшенному наводнением на пустынный остров, — тор-

жественный Петербург с его «дворцами и башнями»; угрозе Евгения: «Ужо тебе!..» — пролог поэмы:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

Никогда еще Пушкин не выражал с такой неотразимой энергией свое преклонение перед Петром-преобразователем, выражающим поступательный ход исторического процесса. Беспримерное величие поэмы в ее огромном замысле — изобразить революцию как строительство государства.

Стих «петербургской повести» остался в русской поэзии непревзойденным по мощи своих ритмов и пластической энергии выражения. Даже бред помешанного принимает в этой поэме скульптурные очертания монументального ваяния:

И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне

В «Медном всаднике» свою мысль о Петре Пушкин, как Фальконет, высекает резцом и отливает в бронзе.

IV

„В ЗЛАТОМ КРУГУ ВЕЛЬМОЖ"

1

В воскресенье 25 марта 1834 года Пушкин был приглашен на обед к члену государственного совета Сперанскому, в ведении которого находилась та типография, куда поступала для печати «История Пугачева». За столом говорили об александровской эпохе.

«Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага», — сказал государственному деятелю поэт.

Сперанский ценил Пушкина и рад был его приветствию. Еще в момент появления «Руслана и Люд-

милы» ссыльный министр писал из Тобольска о юном поэте: «Он имеет замашку и крылья гения». Теперь знаменитый законовед мог обстоятельно обосновать свое восхищение талантом Пушкина, не только поэта, но и прозаика, ученого, биографа. «Пишите историю своего времени», — закончил он свою лестную реплику поэту.

Это был один из заветных замыслов самого Пушкина. «Должно описывать современные происшествия, — говорил он в 1827 году Вульфу, — теперь уже можно писать и о царствовании Николая, и о 14 декабря».

С 1834 года Пушкин был поставлен в новые условия для наблюдения за текущей государственностью. «Пожалованный» 31 декабря 1833 года в камер-юнкеры («что довольно неприлично моим летам», — записал Пушкин в своем дневнике), поэт решил воспользоваться своим приближением ко двору для правдивых и острых зарисовок его представителей.

Сопровождая жену на балы в Аничков дворец, к Шуваловым, Уваровым, Салтыковым, Трубецким, Фикельмонам, Пушкин мог собрать богатейшие материалы для сатирических изображений правительственного Петербурга. Получив возможность постоянно наблюдать Николая I, поэт заносит в свой дневник и в свои письма ряд заметок, свидетельствующих о своем «возвращении к оппозиции» (как открыто заявил он Вульфу). Он осуждает царя за огромные суммы, цинически и бессмысленно расточаемые придворным фаворитам в годину народного голода; он критикует назначение на высшие посты людей с сомнительной репутацией, произвольные нарушения главой правительства общих порядков судопроизводства и правил приема в гвардию, его деспотические запреты русским проживать за границей, его бесцеремонное вмешательство в семейные дела своих подданных. «Что ни говори, мудрено быть самодержавным».

Пушкин клеймит царя и за его распущенность. Поэту ясны особые виды державного волокиты на его красавицу жену. «Двору хотелось, чтоб N. N. танцовала в Аничкове», — отмечает он в своем дневни-

ке, применяя термин «двор» в качестве синонима императора. Сейчас же после назначения Пушкина камер-юнкером, в январе 1834 года, Николай I приступает к открытому ухаживанию за Натальей Николаевной. «На бале у Бобринских император танцовал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее», — сообщает Надежда Осиповна Пушкина своей дочери 26 января 1834 года. Николай I начинает изображать из себя поклонника, кавалера и «рыцаря» Натальи Николаевны.

В письмах поэта к жене явственно звучит его ревнивая тревога («не кокетничай с царем» и пр.). Если Александр I был заклеймен Пушкиным в эпиграммах, Николай I получил заслуженное клеймо в дневниках и письмах поэта.

Таковы же впечатления Пушкина от одного из первых сподвижников Николая I, его вице-канцлера Нессельроде. Это был сухой и бездарный чиновник, приверженец Меттерниха в международных делах, получивший меткое прозвище «австрийского министра русских иностранных дел».

В течение почти всего двадцатилетия своей общественной жизни Пушкин был по службе связан с этим бесталанным царским наемником по руководству внешней политикой, угождавшим превыше всего реакционной Европе, презиравшим Россию, ненавидевшим всякое проявление независимой мысли. Именно ему приходилось делать доклады Александру I о Пушкине и весьма серьезно влиять своими заключениями на печальную судьбу опального поэта. Это был враг, тщательно законспирированный, далекий и недосягаемый, безукоризненный в непосредственных отношениях, крепко забронированный от недовольства своего подчиненного расположением государей, громким титулом, огромным состоянием, международной известностью и высшими знаками политических отличий. Это расстояние делало его почти неуязвимым для поэта и предоставляло влиятельному министру неограниченные возможности в скрытой борьбе правительственной партии с фрондирующим «сочинителем».

Но Пушкин прекрасно понимал характер Нессельроде и заклеймил его мимоходом в своем дневнике. Вице-канцлер славился своим непомерным корыстолюбием. 14 декабря 1833 года поэт записал: «Кочубей и Нессельроде получили по 200.000 на прокормление своих голодных крестьян, — эти четыреста тысяч останутся в их карманах.. В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубея будут балы — (что также есть способ льстить двору)».

Своими заветнейшими помыслами великий писатель неразрывно связан с этими голодающими крестьянами. В бальных залах и на дворцовых приемах, среди нарядной и суетной толпы он постоянно ощущает свою глубокую связь с бесправной и подавленной массой. Шумные празднества великосветского и придворного Петербурга не перестают вызывать в его сознании образ исстрадавшегося и погибающего народа. Перечисляя балы в честь совершеннолетия наследника, Пушкин отмечает: «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?..»

Неудивительно, что «высший» правительственный круг питал такую непреодолимую неприязнь к автору «Вольности». Но особенную вражду к Пушкину испытывала жена вице-канцлера, одна из виднейших представительниц общеевропейской монархической партии и руководительница первого политического салона в николаевском Петербурге. По определению ее поклонника, французского роялиста Фаллу, это была женщина «упрямая и жестокая». Она представляла в Петербурге воинствующую контрреволюцию, свившую себе гнездо в Сен-Жерменском предместье Парижа и в салоне Меттернихов в Вене. Живя во Франции в эпоху Реставрации, она вращается исключительно в среде «ультрароялистов». «Все, что я здесь вижу и слышу, — пишет она своему мужу из Парижа, — внушает мне величайшее отвращение к слову «свобода»; «если бы я была русским императором, я не отказывалась бы от клички «деспот».

В последней фразе слышится активный политик, каким в действительности и была М. Д. Нессельроде.

В европейском обществе она неофициально представляла русское министерство иностранных дел, возглавляемое ее сановным супругом. Политическая деятельность, всецело направленная на службу реакции, была ее призванием. Живя в Париже, она встречается в салонах с Талейраном, Шатобрианом и будущим Луи-Филиппом, но предпочитает знаменитым гостиным палату депутатов, где слушает известных ораторов, чрезвычайно интересуясь проблемой парламентского красноречия. Она, несомненно, отличалась умом и широким политическим опытом.

Непримиримая вражда графини Нессельроде ко всякому «либерализму» определила характер ее взаимоотношений с первым историком Пугачева. В противовес всевозможным анекдотическим преданиям о причинах их взаимной ненависти следует считать, что Пушкин ненавидел вице-канцлершу как представительницу «олигархического ареопага», как оплот всеевропейской реакции, как политического врага.

Одну из представительниц этой знати Пушкин изобразил в своей лучшей новелле. Это была самая знатная придворная дама — гофмейстерина Наталья Петровна Голицына, возглавлявшая в XVIII веке русскую феодальную аристократию. Этой «усатой княгине» было за девяносто, она помнила шесть царствований, дружила с Екатериной и представлялась Марии-Антуанетте. После французской революции она решила создать в Петербурге новый оплот европейскому дворянству. Она считалась родоначальницей и главой российского легитимизма. Царь являлся к ней в день ее именин на поклон. Ей представляли иностранных послов, как высочайшим особам.

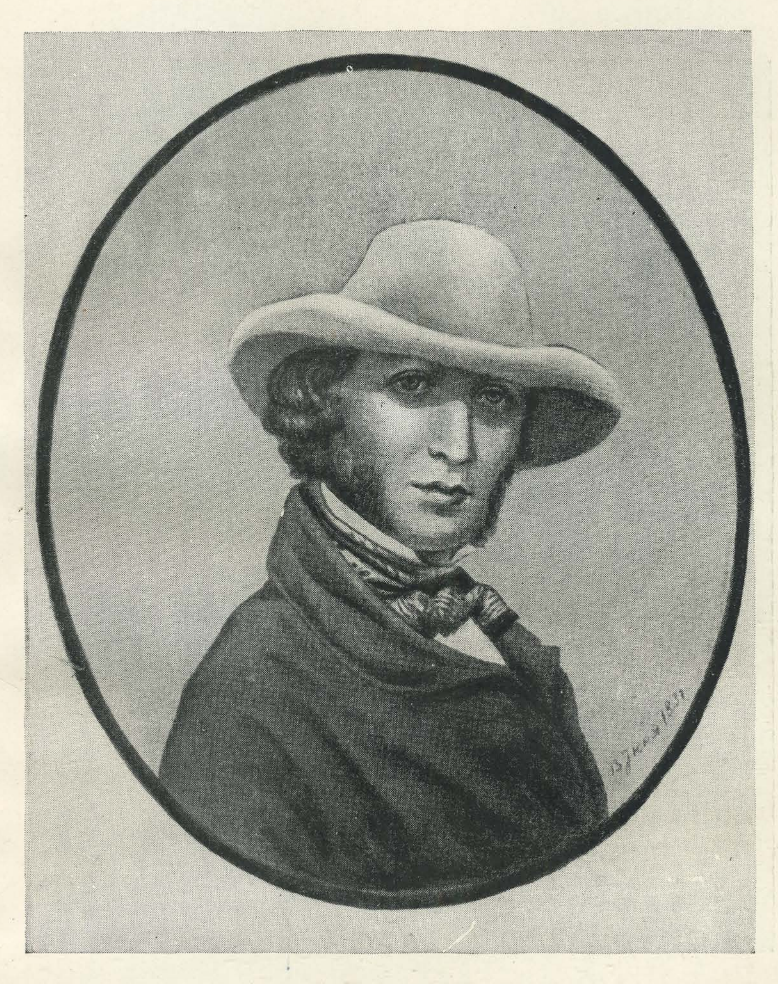
Внук Голицыной рассказал Пушкину, как однажды после крупного проигрыша он пришел к своей бабке просить денег. Скупая старуха отказала ему, но зато сообщила три верные карты, названные ей когда-то в Париже знаменитым авантюристом Сен-Жерменом.

Пушкин сразу почувствовал в этом эпизоде ядро замечательного рассказа с увлекательными бытовыми контрастами дореволюционного Парижа и современного Петербурга, с заманчивой темой денег, азарта, проигрыша, с характерной фигурой старой графини в центре сюжета. В мартовской книжке «Библиотеки для чтения» 1834 года появилась «Пиковая дама» — одна из самых совершенных новелл мировой литературы. Кумир петербургской знати, княгиня Голицына изображена здесь деспотической и взбалмошной старухой, заедающей жизнь своей воспитанницы Проигравшегося князя Пушкин заменил в своей повести бедным инженером, всецело захваченным мыслью о выходе из нужды с помощью крупного выигрыша. Благополучный исход «голицынского» эпизода заменяется в повести трагическим срывом плана и безумием героя. Сжатость рассказа, острая четкость композиционной линии, смелость и новизна центрального героя при быстрой смене событий, ведущих к неминуемой катастрофе, — все это развертывает на нескольких страницах драму одаренного бедняка, требующего себе места под солнцем, и раскрывает новый образ бестрепетного завоевателя с решимостью и маской Бонапарта.

Повесть оценили в самых разнообразных кругах — в первый момент даже в игорных домах и великосветских гостиных. «Моя *Пиковая дама* в большой моде, — записал в своем дневнике Пушкин. — Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной (Голицыной) и, кажется, не сердятся ..»

Но понемногу повесть завоевала признание в иных кругах и стала образцом для классиков европейской новеллы. Такие тонкие мастера жанра, как Проспер Мериме и Анри де Ренье, учились искусству сжатого трагического рассказа по «Пиковой даме».

Несоответствие всероссийской славы поэта с полученным камер-юнкерским званием, разительный



А. С. Пушкин.
С акварели 1831 года неизвестного художника.



Н. Н. Пушкина-Ланская.
С портрета Макарова.

контраст его «народного имени» с казенной театральщиной придворного этикета — все это, естественно, становилось предметом широких толков. В петербургских гостиных стали распространять сатирический рисунок: поэт подносит к устам и как бы целует атрибут придворного звания — ключ камергера. Смысл политической карикатуры ясен: вольнолюбивый поэт лелеет мечту о высших придворных почестях.

Об этом же твердили и словесные памфлеты, распространявшиеся в свете «На сей случай вышел мерзкий пасквиль, — сообщал Н. М Смирнов, — в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателем, малодушен, и он, дороживший своей славой, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности».

Все эти выпады совершенно не соответствовали подлинному умонастроению Пушкина. Готовивший в то время ряд больших трудов художественного и ученого значения, поэт мечтал совершенно отойти от двора, оставить «свинский Петербург», бежать в деревню, в уединение, в работу В 1836 году он роняет в одной статье знаменательную формулу: «талант, принужденный к добровольному остракизму» Письма его этого периода полны тоски по деревенской жизни и отвращением к быту императорской столицы.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит

25 июня 1834 года поэт предпринимает решительный шаг: он подает прошение об отставке. Но сухой ответ Бенкендорфа, запрет царя посещать архивы и сокрушительная отповедь Жуковского заставляют Пушкина взять обратно свое заявление. Придворную цепь не удалось ни порвать, ни хотя бы удлинить.

В конце 1834 года отношения Пушкина с одним из представителей этого круга резко обострились. Когда вышла в свет «История пугачевского бунта» (так Николай I переименовал пушкинскую «Историю Пугачева»), министр народного просвещения С. С. Уваров, автор знаменитой формулы о синтезе самодержавия,

православия и крепостничества, поторопился объявить книгу Пушкина зажигательной и опасной.

«Уваров большой подлец, — отмечает Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 года. — Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении... Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках... — Он крал дрова и до сих пор на нем есть счеты — (у него 11.000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу...»

Свое мнение об Уварове, с такой четкостью занесенное в дневник, Пушкин вскоре отлил в убийственные строки стихотворного памфлета. Случай представился осенью 1835 года.

Уваров находился в близком свойстве с Д. Н. Шереметевым, одним из богатейших людей в России. В 1835 году «богач младой» заболел скарлатиной — болезнью, с которой тогдашняя медицина не умела бороться. И вот, опасаясь незаконных действий со стороны других наследников, неразборчивый в средствах Уваров прибегает к официальным мерам охраны шереметевского имущества.

Но, вопреки предсказаниям врачей, Шереметев выздоровел. Пушкин решил заклеймить сатирическими стихами жалкое положение, в которое поставил себя видный член императорского правительства. В сентябрьской книжке «Московского наблюдателя» за 1835 год появилось за полной подписью Пушкина стихотворение «На выздоровление Лукулла».

Из шести строф этого «подражания латинскому» только две центральные относятся к Уварову. Но их совершенно достаточно мастеру лаконической эпиграммы, чтобы неизгладимо заклеймить беззастенчивого стяжателя. С исключительной сатирической и художественной силой дан Пушкиным образ алчного хищника на подлинных материалах уваровской карьеры:

А между тем наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.

Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану няньчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах благо есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»

Эта ода-памфлет оказалась, по существу, возвратом к тем политическим стихам, которые доставили Пушкину раннюю славу и долголетнее изгнание. Сатира на Уварова, как и эпиграмма на его нежного друга Дондукова-Корсакова, вице-президента Академии наук, непосредственно примыкала к его ранним стихотворным обличениям министров и царя. Снова один из виднейших представителей верховной власти подпал под сокрушительные удары пушкинской сатиры.

Искуснейший интриган Уваров не мог, конечно, оставить подобную атаку без отражения и возмездия. Совершенно очевидно, что ему принадлежала закулисная инициатива строгих выговоров, полученных Пушкиным по высочайшему повелению от Бенкендорфа. Но этим, разумеется, не могла насытиться мстительность министра. Глухие свидетельства современников явственно указывают на его весьма активную роль и в последующем опорочении поэта перед лицом всего Петербурга.

Пушкин снова — и не в последний раз — мог сказать об окружающей его среде:

Я слышу вкруг меня жужанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шопот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.

Летом 1835 года поэт добивается четырехмесячного отпуска и уезжает в Михайловское. Здесь было написано стихотворение «Вновь я посетил...», в ко-

тором размышления о жизни и смерти прозвучали с особенной глубиной и просветленностью. В краткой форме, с ее простым перечнем фактов, уже ощущается глубокая «сердечная дума» поэта: непрерывная смена всех явлений действительности, торжествующие всходы молодых порослей над всем отживающим и уходящим, вечное обновление природы и человечества — вот неотразимый «общий закон», с такой поразительной ясностью и мудростью сформулированный в этих лирических размышлениях. Есть смысл в безостановочном круговороте жизни. Пусть «бедной няни» уже нет в опальном домике села Михайловского, но около устарелых корней трех пограничных сосен «теперь младая роща разрослась». Непоколебимая вера в будущий могучий рост новой жизни господствует над грустными помыслами об ограниченности и быстротечности каждого отдельного существования. Неиссякающей бодростью звучат знаменитые стихи:

Здравствуй, племя,
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего

В январе 1834 года в гостинице Демута в номере Николая Раевского в присутствии бывшего декабриста генерала П. Х. Граббе Пушкин много говорил об Отечественной войне и народных движениях в России. «Он занят был в то время историей Пугачева и Стеньки Разина, последним, казалось мне, более, — записал в 1836 году этот собеседник поэта. — Он принес даже с собой брошюрку на французском языке, переведенную с английского и изданную в те времена одним капитаном Английской службы, который по взятии Разиным Астрахани представлялся к нему и потом был очевидцем казни его...» Это, несомненно, перевод анонимного английского «отчета» о разинском восстании, напечатанного в 1672 году (издание имелось в библиотеке Воронцова). «В этом обращении разбойника к Волге

много дикой поэзии, — продолжает мемуарист, — и, переложенное в пушкинские стихи, оно могло бы быть очень занимательно». Речь у Раевского, очевидно, шла о творческой разработке Пушкиным материалов разинской легенды. Интересно свидетельство Граббе о повышенном интересе Пушкина к Степану Разину в 1834 году, когда поэт только что закончил «Историю Пугачева».

Снова возникает и мысль о декабризме как теме для художественного произведения. В романе, задуманном в 1835 году, Пушкин хотел развернуть широкую картину русского общества конца царствования Александра I — театры, салоны, игорные дома, литературные кружки, политические объединения, правительственный Петербург. Здесь должны были фигурировать Кочубей и Мордвинов, Грибоедов и Шаховской. В планах особо названо «общество умных», то есть будущих декабристов: «Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc». Под этими прочими, судя по десятой главе «Онегина», Пушкин подразумевал Лунина, Якушкина, Николая Тургенева. В их кругу должен вращаться герой романа Пелымов (в котором, по указанию Анненкова, Пушкин хотел изобразить своего друга Нащокина — человека беспутной жизни, но чистой души).

План романа 1835 года — последний опыт изображения раннего декабризма, уже намечавшийся в стихотворных зарисовках юного Пушкина, мелькавший в его письмах из Каменки, осуществленный в кишиневском дневнике и с ним погибший, затем очерченный в плане повести о прапорщике Черниговского полка и, наконец, запечатлённый в кристаллических онегинских строфах, драгоценные обломки которых внушают нам такую грусть об утрате этой единственной цельной хроники Пушкина о героическом авангарде его поколения.

Таким же сочувствием передовым устремлениям истории веет и от других замыслов Пушкина этой поры. В его неоконченной пьесе 1834—1835 годов, озаглавленной издателями «Сцены из рыцарских

времен», которую Чернышевский поставил «не ниже «Бориса Годунова», а быть может и выше», сын старого суконщика, представитель молодого сословия горожан, смельчак и поэт, поднимает крестьян на феодальных рыцарей. Друг суконщика, представитель передовой научной мысли Бертольд Шварц, который «не видит границ творчеству человеческому», занимается своими изобретениями, призванными также сокрушить феодальный строй. Пьеса полна раздумий Пушкина о бессмысленности дворцовой жизни, об «обреченности рыцарского сословия», о могучих силах эпохи в лице поэта-миннезингера Франца и ученых Бертольда Шварца и доктора Фауста. Снова звучит любимый лейтмотив Пушкина-затворника: «Вот наш домик... Зачем было мне оставлять его для гордого замка? Здесь я был хозяином, а там — слуга...» С глубоким сочувствием к бунтующим вассалам изображена картина крестьянского восстания и ужас сраженных феодалов: «Это бунт — подлый народ бьет рыцарей...» Поэта Франца спасает от виселицы его гениальная баллада о «рыцаре бедном». Согласно плану пьеса заканчивалась полным поражением обитателей замков, разгромленных силами новой, всепобеждающей мысли.

«Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. Восстание крестьян, возбужденное молодым поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь (воплощенная посредственность) убит пулею. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

К этому неизменному и верному своему оружию обращается и Пушкин. Всем «воплощенным посредственностям» и «златым вельможам» российского двора он противопоставляет печатный станок. В начале 1836 года поэт становится редактором журнала. От пустоты и пошлости великосветского Петербурга он уходит в сосредоточенный труд над своим «Современником».

V

„СОВРЕМЕННИК“

1

У Жуковского по субботам собирались литературные друзья. Здесь как-то Вяземский прочел вслух письмо к нему Александра Тургенева из Парижа о крупнейших культурных и политических событиях дня. Пушкин был в восхищении: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения», — все это увлекло его. Таково же было впечатление других гостей: Крылова, Одоевского, Плетнева. По свидетельству Вяземского, все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток».

В пушкинском кружке ценили тип английского «трехмесячника» и французского «исторического ежегодника», то есть компактных изданий с редкой периодичностью, дающих исчерпывающие обзоры культурной и политической жизни Европы. В 1809 году Вальтер Скотт основал «Quarterly Review» (то есть обозрение наук, искусств и политики, выходившее четырьмя книжками в год). Новый тип журнала имел необычайный успех благодаря участию в нем крупнейших литературных, научных и политических сил Англии.

31 декабря 1835 года Пушкин направляет Бенкендорфу заявление о своем намерении выпустить в 1836 году четыре тома литературных статей «наподобие английских трехмесячных Review».

Через две недели последовало разрешение литературного журнала без политического отдела. Пушкин приступил к подготовке «квартального обозрения» при ближайшем участии Гоголя, Вяземского, Одоевского, Жуковского, Баратынского, Языкова.

11 апреля 1836 года вышел первый выпуск «Современника». По блестящему качеству литературных материалов он стоял на исключительной высоте не только среди тогдашней периодики, но и всей рус-

ской журналистики. В этой книжке-сокровищнице находились: «Скупой рыцарь», «Пир Петра Первого», «Путешествие в Арзрум», «Покров, упитанный язвительною кровью» и критическая статья Пушкина о Георгии Кониском; три вещи Гоголя: «Коляска», «Утро делового человека» и статья его «О движении журнальной литературы», получившая значение программного выступления «Современника» против застоя российской периодики тридцатых годов во имя новой, «живой, свежей, чуткой» публицистики.

Так вырабатывался новый тип русского журнала. Поэт стремится придать своему «Современнику» характерные черты больших органов современной культуры. Некоторые образцы таких иностранных изданий имелись в его библиотеке. Он знал и ценил обозрения универсального типа, посвященные «литературе, искусствам, художественным ремеслам, агрономии, географии, коммерции, политической экономии, финансам, юриспруденции и проч.». Особенное внимание уделялось в такой периодике жанру путешествий, здесь же широко освещались вопросы представительного строя, организации фабричного труда, новых рынков, мореплавания.

С первых же своих книжек «Современник» выдвигает мемуарный жанр как живой отдел исторических источников. В тридцатые годы Пушкин не раз убеждал даровитых русских людей писать свои воспоминания. В Москве в 1836 году он собственноручно начинает записки самобытного таланта, актера из крепостных М. С. Щепкина; из этих начальных строк Пушкина выросла впоследствии живая и волнующая книга о жизненном и творческом пути великого артиста.

Особенно интересуют Пушкина воспоминания военных деятелей, записи «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой, дневник Дениса Давыдова — «Прогулка за Балканом». Систематически разрабатывается отдел научных статей на актуальные темы (например, о «парижском математическом ежегоднике»). Незадолго до смерти Пушкин предлагал

П. Б. Козловскому дать ему сообщение по животрепещущему вопросу о паровых машинах.

Пушкин имел в виду и в дальнейшем развивать документальный отдел своего журнала, основанный на истории, критике, мемуарах, путешествиях, открытиях, изобретениях; он хотел дать образцы народного творчества — русские песни, сказки, пословицы — и напомнить незаслуженно забытых старинных авторов.

Но прежде всего «Современник» был журналом великого поэта. Здесь появились некоторые из известнейших стихотворений самого редактора и таких его современников, как Тютчев и Кольцов.

В «Пире Петра Первого» Пушкин снова проявляет себя замечательным мастером исторической гравюры. Праздничная картина «Петербурга-городка» дает ощущение всей петровской эпохи. В ритме стиха, бодром и радостном, как бы звучит гул оркестров эскадры, флотских хоров и приветственных салютов. Это бьется самый пульс времени, когда мощное строительство новой культуры сочеталось с военными триумфами:

И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром...

Великолепные описательные строфы невидимо ведут к большой политической теме — «милости» («Нет! он с подданным мирится...»). Смысл стихотворения, напоминавшего о судьбе декабристов, раскрывается из заметки Пушкина к его историческому труду: «Петр простил многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбой праздновал с ними свое примирение».

В четвертой книжке «Современника» было напечатано стихотворение «Полководец», вызвавшее восхищение Белинского («одно из величайших созданий гениального Пушкина»). Оно сохраняет до сих пор значение проникновенной защиты выдающегося исторического деятеля, не признанного и глубоко оскорбленного современниками.

Интересны источники стихотворения. В очередном томе словаря Плюшара была дана хвалебная оценка

Барклая, сочетавшего «с глубокими познаниями военного искусства храбрость и необыкновенное хладнокровие в делах с неприятелем»; «но *несправедливость современников часто бывает уделом людей великих:* не многие испытали на себе эту истину в такой степени, как Барклай де Толли. В тяжком 1812 году, когда он, следуя искусно соображенному плану, отступал без потери перед многочисленными полчищами неприятельскими, готовя им верную гибель, многие, весьма многие, не понимая цели его действий, обвиняли его в бедствиях отечества. Только внутреннее убеждение в правоте своих поступков поддерживало тогда Барклая де Толли» *.

Статья эта вызвала глубокий отзвук Пушкина. Размышления поэта о трагической роли героя в отсталом и мелочном обществе в сочетании с новыми сведениями о замечательном военном деятеле, оклеветанном современниками, выросли под пером поэта в исторический портрет исключительной выразительности и драматизма. В том же 1836 году Пушкин писал: «Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самом себе, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом».

Таким и стремится изобразить его Пушкин в своем историческом портрете. В стихотворении дана выразительнейшая словесная транспозиция изображения Барклая в знаменитой военной галерее Зимнего дворца. В парадном портрете фельдмаршала с его золотым шитьем, орденами и плюмажем Пушкин читает великую грусть и горькую думу. «За ним — военный стан...» Это русская стоянка под Парижем, штурмом которого руководил в 1814 году Барклай. «Кругом — густая мгла...» Одиночество,

---

* Словарь Плюшара, IV, 359. К этому тому приложен список подписчиков на словарь, среди которых на странице 31 значится: «Его высокобл. А. С. Пушкин».

отречение и мужественная стойкость перед смертельным оскорблением. Такова нравственная характеристика героя, пронизанная размышлениями Пушкина о трагической роли выдающегося деятеля, «над кем ругается слепой и буйный век». Непонятый и осужденный современниками, главнокомандующий вынужден «в полковых рядах сокрыться одиноко».

Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти...

В литературе о Пушкине не раз указывалось, что в «Полководце» слышится голос поэта о его собственной судьбе среди враждебной великосветской черни, тайно уже подготовлявшей последнюю трагедию его жизни.

2

1836 год, столь продуктивный в литературной деятельности Пушкина, — год «Капитанской дочки» и «Современника» — дал ряд высоких достижений и в области лирики. Новый тон слышится теперь в стихах Пушкина: признания и жалобу сменяет раздумье. Над элегиком господствует поэт-мыслитель. Характерна запись в одном из его прозаических отрывков тридцатых годов: «Он любил игру мыслей, как и гармонию слов, охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла». Поздняя пушкинская лирика замечательно соответствует этой характеристике.

5 июля написано «Из Пиндемонте», где «буржуазной демократии» с ее парламентскими прениями о государственном бюджете и видимостью «свободы печати» под угрозой всевозможных штрафов и заточений противопоставляются «иные права», «иная свобода»: великий принцип независимости поэта от палат и придворных «ливрей» во имя его вольных скитаний, творческого созерцания природы и жизни для искусства.

Тогда же написана «Мирская власть» с горячим протестом против «грозных часовых», стоящих

«с ружьем и в кивере» перед распятием для охраны его от черни:

И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ.

Здесь резко выражены социальные запросы поэта в последний год жизни, когда мысль его все решительнее обращается к народу, его жизни, его судьбе, его запросам и будущему. Как и в молодости, Пушкин перед концом своего поприща придает огромное значение сатирической силе поэзии. Он приветствует писателя, который в одной своей речи «представляет песню во всегдашнем борении с господствующей силою».

Утверждения новой общественной эстетики слышатся и в его последнем стихотворении о своем творческом призвании. Памятник поэта не одинок, не пустынен, не удален от больших дорог человеческой жизни: «К нему не зарастет народная тропа». Поэт дорог разноплеменным массам, близок толпам, «любезен народу», не отдельным гениям, не одиноким мечтателям, не избранникам духа, нет — степным кочевникам, бедным северным племенам, темным, убогим, отверженным, загнанным историей и цивилизацией, отброшенным в темноту, в нужду и безвестность. К этим иноязычным народностям, в бескрайные восточные степи с их кибитками и шатрами или к бесплодным северным скалам, несет он слова, напоминающие среди борьбы, гнета и тьмы настоящего о великой цели будущего, облегчающие судьбы поверженных и гонимых, призывающие «милость к падшим».

Трудно переоценить или преувеличить этот глубоко социальный характер пушкинского завещания — именно им определяется смысл всего бессмертного стихотворения. И недаром в первом наброске этого поэтического исповедания Пушкин назвал писателя, который всегда был для него выразителем освободительного и революционного устремления русской мысли:

...Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

Вторая книжка «Современника» со статьей Пушкина о российской и французской академиях, критикой Вяземского на «Ревизора», записками Дуровой и «Урожаем» Кольцова прошла через цензуру в июне. Готовился осенний выпуск с повестью Гоголя «Нос», с обширным вкладом самого Пушкина — рядом его статей, отрывков из «Рославлева», «Родословной моего героя». В эту же книжку Пушкин включил «Стихотворения, присланные из Германии» Ф. Т., то есть ряд стихов еще безвестного Тютчева, которым суждено было стать знаменитыми образцами русской поэзии; между ними находились «Весенние воды», «Цицерон», «Фонтан», «Silentium», «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Не то, что мните вы природа...», «Как океан объемлет шар земной...» и ряд других лирических шедевров.

Несколько позже Плетнев вспоминал о том «изумлении и восторге», с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, «исполненных глубины мысли, яркости красок, новости и силы языка».

Напечатанная в этом же выпуске «Современника» статья Пушкина «Джон Теннер» представляла собою обзор записок цивилизованного американца, прожившего тридцать лет среди индейцев. Занимавшая некогда Пушкина романтическая тема о культурном герое в среде горных черкесов или кочующих цыган приобретала теперь черты политического реализма: конституция Соединенных Штатов, быт «нового народа», противоречия комфорта и наживы с идеями просвещения и народоправства, «рабство негров посреди образованности и свободы», «бесчеловечье Американского конгресса» к индейским племенам, ложь показной демократии, раскрывшейся «в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве», — эти острые вопросы новейшего социального строя поставлены Пушкиным с поразительным чутьем действительности, с его неизменным протестом против лицемерного деспотизма, порабощающего массы: «со стороны избирателей алчность и зависть, со стороны управляющих робость

и подобострастие». Такой замечательный очерк Американских Соединенных Штатов Пушкин дает в 1836 году, как бы предвещая за много десятилетий гневные характеристики новейшей Америки в статьях Горького и в стихах Маяковского.

Этим страницам соответствуют и многократные высказывания Пушкина о социальном строе и завоевательной политике Англии. В своем «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин упоминает «жалобы английских фабричных работников», от которых «волоса встанут дыбом от ужаса». Он стремится показать своему читателю, сколько крови и слез скрывают мировые фирмы британских негоциантов: «сукна господина Смита» или «иголки господина Джаксона». Поэт глубоко осознал трагическую сущность этого мира, разорванного непримиримой борьбой: «Какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность!..» Он пишет о разрушителях машин и массовых восстаниях безработных и возмущается бесчеловечностью колониальной политики Великобритании: «тиранством в Индии», где длилась второе столетие кровавая эпопея борьбы англо-индийской империи с туземным населением. Колонизаторская и капиталистическая Англия неизгладимо заклеймена в этих трепещущих гневом страницах великого гуманиста.

Одновременно происходит и некоторый пересмотр приемов и методов политической активности. Сложившаяся обстановка нового царствования отменяла ряд положений 1817 или 1821 года. Убежденный в том, что только «глупец один не изменяется», Пушкин стремился уловить развитие исторической мысли и опыт новой эпохи, чтобы на реальной почве строить свои государственные воззрения, неизменно сохраняя при этом верность основным устремлениям своей «декабристской» молодости. Возникшая еще на юге мысль о бесполезности «неравной борьбы» укрепляется теперь непреложной силою новых событий и фактов.

В двух статьях о Радищеве (1833—1835 и 1836) Пушкин исходит из убеждения, что борцы-одиночки

бессильны свалить кумир самодержавия. Не отдельные лица и даже не отряды повстанцев приведут Россию к гражданскому благоденствию, а весь народ в целом, все «отечество свободы просвещенной» (по ранней формуле Пушкина). Радищев, декабристы, Евгений в «Медном всаднике» благородно и безрассудно обрекли себя на героическую гибель. Всякая же борьба должна практически исходить из реальных шансов на победу. Необходимо поэтому в корне изменить возвышенную, но бесплодную тактику революции, уже потерпевшую на деле непоправимые поражения.

В статьях о Радищеве основное прогрессивное миросозерцание Пушкина выдерживает до конца испытание от столкновения с обратными течениями «жестокого века». Сколько бы поэт ни осуждал старинного публициста за химеричность его социальных планов, он преклоняется перед ним как перед благородной личностью и подлинным народным заступником. Возражая против ряда положений автора «Путешествия», Пушкин открыто высказывает свое подлинное уважение к этому мужественному писателю «с духом необыкновенным», «с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью». Замечательно, что единственное имя, которое Пушкин высекает на цоколе своего символического памятника, — это имя Радищева.

В «Современнике» получает свое окончательное развитие деятельность Пушкина-критика, начатая еще в середине двадцатых годов случайными заметками и принявшая систематический характер в «Литературной газете». В плане критики Пушкин испробовал самые разнообразные жанры — от литературного портрета, фельетона и рецензии до литературного письма, диалога, драматической сцены. Эти тонко разработанные формы свидетельствуют, что и в критике Пушкин выступал как мастер-художник. Несмотря на необходимость непрерывно бороться с журнальными противниками и полемически обороняться от нападок, Пушкин признавал подлинной задачей этого жанра раскрытие творческих ценно-

стей, сочувственную характеристику дарований «Хотите ли быть знакомым с художеством? — спрашивает Пушкин в одной из своих критических статей — Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях»

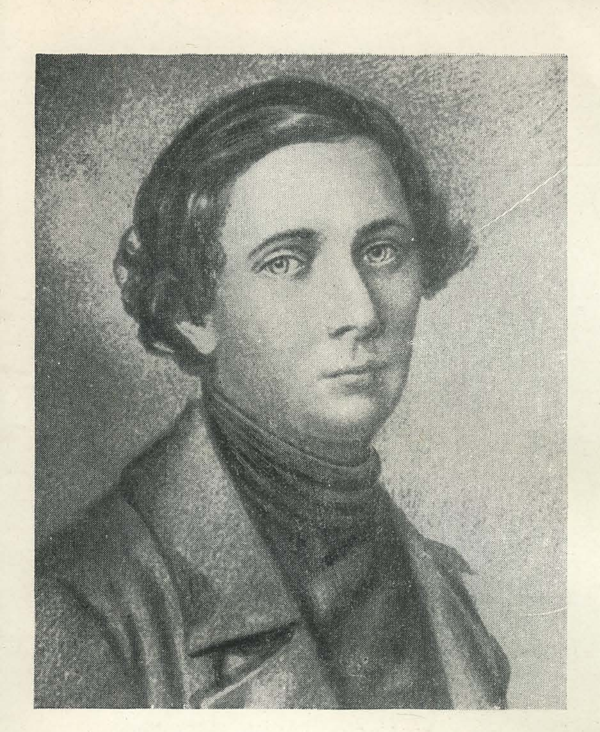
И сам он подавал такой пример своей творческой критикой, остроумной, глубокой, блестящей, полной озаряющих идей и незабываемых афоризмов

Статьи и заметки о Гоголе, Баратынском, Дельвиге, Бестужеве, о классицизме и романтизме, о Байроне и Вальтере Скотте приближали Пушкина к историческим изучениям поэзии и к вопросам литературной эстетики Сохранились его обзоры и наброски, носящие выраженный «литературоведческий», то есть историко литературный и теоретический характер Размышления Пушкина об эпохах и направлениях устного и письменного творчества, о великих памятниках художественного слова, о русских песнях и «Слове о полку Игореве», о современных и классических писателях, о знаменитых литературных битвах, о языке и стихе представляют исключительную ценность и предвосхищают высокие достижения позднейших филологов На первый план в этих пушкинских изучениях выступает вопрос «о народности в литературе», как называлась его известная статья 1826 года, выдвигавшая проблему «особенной физиономии» каждого народа, которая и «отражается в зеркале поэзии»

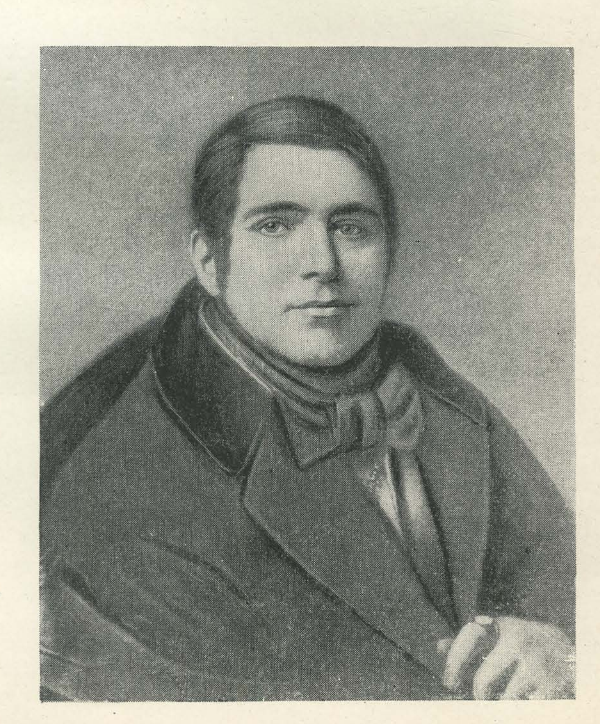
Пушкин первый принципиально обосновал критику как творчество, призывая поэтов и романистов к печатному высказыванию своих раздумий о литературе

Одновременно он выдвигает новые силы — представителей тогда еще совершенно безвестных в России национальных литератур В первой же книжке «Современника» был напечатан рассказ Султана Казы Гирея «Долина Ажитугай» «Вот явление, неожиданное в нашей литературе, — писал Пушкин, — сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей Черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно »

О первых книжках «Современника» дал отзыв



В. И. Даль.



П. А. Плетнев.



Могила Пушкина в Святогорском монастыре (Пушкинские Горы).

в московской «Молве» молодой критик Белинский. Он признал новый журнал «явлением важным и любопытным» как по знаменитому имени его издателя, так и по оригинальности помещенных в нем статей, но при этом ставил вопрос о возможности широкого нравственного влияния нового издания на публику

Эти обстоятельные разборы, видимо, заинтересовали Пушкина, который и до этого знал их автора по его страстным статьям, возбуждавшим такое негодование Погодина и Шевырева Редактор «Современника» высоко оценил критическое дарование молодого сотрудника «Молвы». В Москве поэт собирался лично увидеться и переговорить с Белинским, намереваясь привлечь его к сотрудничеству в своем журнале Пушкин ценил «независимость мнений и остроумие» Белинского, обличающие «талант, подающий большую надежду» Он желал ему углубления знаний и предсказывал будущность «критика весьма замечательного» В литературной биографии гениального поэта примечательным фактом остается этот пристальный интерес его к молодому писателю разночинцу, который был призван установить в России подлинную философию литературы и проложить верный путь великим революционно-демократическим критикам середины столетия

«Белинский будет счастлив работать в «Современнике», — сообщал Пушкину Нащокин, но разгром «Телескопа» помешал этому плану *

Пушкин принимает у себя на даче видного парижского журналиста Леве-Веймара. Поэт перевел для французского литератора одиннадцать русских народных песен, преимущественно исторических и «разбойницко казацких» Две из них относятся непосредственно к Степану Разину

Характерно, что для своего перевода Пушкин выбрал наиболее «величальные» песни о предводителе донских казаков — предания о его смелости,

* Ю Г Оксман «Переписка Белинского», «Литературное наследство», том 56, стр 234, том 58, стр 295

славе и мученической гибели; последняя песня представляет собою характерный тип «плача», или «причета»: «Помутился славной тихой Дон, помешался весь казачий круг; атамана больше нет у нас, нет Степана Тимофеевича...» Так уже за полгода до смерти Пушкин снова творчески приобщается к песенному циклу о Степане Разине, на этот раз стремясь ввести сказания о своем любимом народном герое в мировой оборот.

Получивший этот ценный дар литератор-француз высоко оценил труд Пушкина и его личность. «Его беседа на исторические темы доставляла наслаждение слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта»,— отмечает этот наблюдательный политик. От взгляда его не ускользнула и драма Пушкина-писателя. «Я более непопулярен»,— говорил поэт. Обаяние молодой славы миновало, приходилось все глубже уходить в свое творческое одиночество.

3

Печальный колорит этой зимы сгущался и от тяжелой болезни матери поэта. Всю зиму 1835/36 года она медленно агонизировала в маленьком деревянном доме на углу Шестилавочной и Графского переулка, где поселились теперь совсем обедневшие старики Пушкины. Поэт постоянно бывал у них. Надежда Осиповна словно возмещала теперь своему первенцу недостаток нежности к нему в его детстве. Когда 29 марта 1836 года мать скончалась, Пушкин был, видимо, сильно огорчен этой потерей. Он уехал вслед за телом в Михайловское, где решено было похоронить умершую рядом с могилами ее родителей, у самых стен Святогорского монастыря.

Место это нравилось Пушкину. Вокруг холмы Тригорского, михайловские рощи, стены древних сооружений эпохи Грозного, плиты с именами Ганнибалов. Пушкин говорил вскоре Нащокину, что подыскал ему в деревне «могилку сухую, песчаную», где сам ляжет рядом с ним. Впечатление это отразится вскоре в стихотворении «Когда за городом, за-

думчив, я брожу...». Общему виду убогого загородного погоста с мавзолеями купцов и чиновников здесь противопоставляется деревенское кладбище, «где дремлют мертвые в торжественном покое...».

В апреле 1836 года Пушкин навсегда оставил Михайловское, где им было написано столько бессмертных страниц.

В начале октября он переехал с каменноостровской дачи в Петербург на новую квартиру, в большой дом Волконской на набережной Мойки, у Певческого моста. Кабинет поэта выходил в просторный двор, замыкавшийся старинной постройкой эпохи Анны Иоанновны — «конюшнями Бирона». Здесь Пушкин написал ряд статей и заметок для «Современника», послесловие к «Капитанской дочке», последнюю «лицейскую годовщину». Отсюда же он послал Чаадаеву свое ответное «философическое письмо», в котором отметил глубокое различие их исторических воззрений на Россию. Пессимистической концепции Чаадаева он противопоставляет сильные личности русского исторического прошлого: это Олег и Святослав, «оба Ивана» и особенно «Петр Великий», который один — «целая всемирная история». Но Пушкин соглашается с другом своей молодости в том, что общественная жизнь в николаевской империи безотрадна и беспросветна: «Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циническое презрение к мысли, к человеческому достоинству поистине приводит в отчаяние».

В день написания этого письма, 19 октября 1836 года, у лицеиста Яковлева праздновали двадцатипятилетие лицея. Собралось одиннадцать человек, в том числе поэт Илличевский, Модест Корф и Константин Данзас. За обедом провозглашали заздравные тосты, читали письма изгнанника Кюхельбекера, пели лицейские песни. Пушкин, согласно протоколу собрания, начал читать стихи на двадцатипятилетие лицея, но всех стихов не припомнил. Известная легенда о его рыдании, якобы прервавшем декламацию, остается только «трогательным

анекдотом» (по выражению Анненкова). Он характерен для дружественной оценки безотрадного настроения поэта осенью 1836 года, но мало вяжется с неизменной сдержанностью и замкнутостью Пушкина в обществе. Можно поверить А. П. Керн, которая писала: «Он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века». Яковлев, описавший празднование годовщины в письме к Вальховскому, ни словом не помянул о таком драматическом моменте, как плач Пушкина среди чтения стихов. Да и весь эпизод этот не может усилить той безнадежной печали, которой проникнуто стихотворение «Была пора...». Уход молодости, спад жизненной энергии, неумолимый закон разложения прекрасной юношеской цельности в жестоком ходе действительности, особенно в эпоху напряженной борьбы, когда «кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари», — все это выражено с такой глубиной и ясностью, что раскрывает в нескольких строфах трагизм истории и драму личной судьбы. Слезы Пушкина не могли бы взволновать нас сильнее его последних стихов.

VI
ПОВЕСТЬ О КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЕ

1

1 ноября 1836 года Пушкин читал у Вяземского свой новый роман «Капитанская дочка». «Много интереса, движения и простоты», — сообщал на другой день Александру Тургеневу Вяземский. Сын его, Павел Петрович, в то время шестнадцатилетний юноша, никогда не мог забыть того «неизгладимого впечатления», какое произвела на него «Капитанская дочка» в чтении самого автора.

Это было действительно крупнейшее литературное событие.

Следуя установившимся правилам своей художественной прозы, Пушкин стремился к углубленному раскрытию родной старины в сжатых и четких зари-

совках. Принцип предельного лаконизма и высшей выразительности лег в основу «Капитанской дочки».

Трудно было бы назвать другой исторический роман с такой предельной экономией композиционных средств и большей эмоциональной насыщенностью. В «Капитанской дочке» интимно-исторический рассказ сочетается с русской политической хроникой и дает широкую картину эпохи в ее домашних нравах и государственном быту: вымышленные образы, герои фамильных записок, неизвестные представители провинциальных семейств соприкасаются с такими фигурами, как Пугачев, Екатерина II, оренбургский губернатор Рейнсдорп, пугачевцы Хлопуша и Белобородов (по планам в состав персонажей вводились еще Орлов и Дидро).

Мастерски взят основной тон повествования, с первых же строк увлекающий читателя. Пушкин высоко ценил умение раскрывать прошлое без малейшей торжественности — «домашним образом». Именно к этому он стремился в своем изображении русского XVIII века, ставя себе задачей показать его не на высоких подмостках классической трагедии или официальной истории, а сквозь черты патриархальной семейственности с ее теплотой и наивностью. Отсюда ряд исполненных прелестного юмора черт старинного быта (гувернера Бопре выписывают из Москвы «вместе с годовым запасом вина и прованского масла») и благодушно-комических сцен в гостиной Гриневых и в столовой Мироновых (где офицеров берет под арест комендантша с помощью Палашки, относящей шпаги в чулан). Жанровые изображения «внутренних помещений» с деталями русских лубочных картинок здесь предшествуют широкому историческому полотну. Медовое варенье Авдотьи Васильевны и мотки оренбургской шерсти Василисы Егоровны подчеркивают тот характер «семейственных записок», на который неоднократно указывает читателю автор. В этом духе выдержано и спокойное заглавие повести, заимствованное из офицерского романса (приведенного в тексте) и нисколько не возвещающее основную трагическую те-

му и грозный рост развертывающихся событий. Эта же нота звучит и в эпилоге («потомство их благоденствует в Симбирской губернии...»).

Из такого идиллического обрамления фамильной группы бурно выступает картина крестьянской революции XVIII века. Отдельные эпизоды — приступ, мятежная слобода, плавучая виселица, казнь Пугачева — дают в немногих резких фрагментах ощущение политического события в его грандиозном целом. Пушкин снова проявляет себя замечательным историческим портретистом, с исключительной экспрессией и сжатостью рисующим героев прошлого. Незабываемый внешний облик Пугачева выступает в двух-трех штрихах: «Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза». Поседелая грива и полинялый мундир времен Анны Иоанновны дают полное представление о наружности генерала Рейнсдорпа. Та же выразительность в портретах Хлопуши, изувеченного башкирца, Екатерины, та же характерная сжатость в «жанровом» изображении яицкого войска и кочевых наездников. Пейзаж здесь намеренно снижен и упрощен: «печальные пустыни, пересеченные холмами», крутой берег Яика, киргизские степи, овраги Бердской слободы, «бедные мордовские и чувашские деревушки». Точные этнографические описания воссоздают скудные черты унылой и бедной природы восточных окраин России.

Тщательное изучение материала и темы сообщает исключительную убедительность главным характеристикам, несмотря даже на критическое отношение Пушкина к крестьянской революции.

В оценке этих огромных движений русской исторической жизни он прошел целый путь. Мы видели, как уже в 1820 году он интересовался образами Степана Разина и Пугачева. Но и под конец жизни поэт не мог в этом вопросе преодолеть в себе до конца писателя-дворянина и решительно подняться над воззрениями своего класса на пугачевщину как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Переживший глубочайший кризис своих социальных воззрений Лев

Толстой, уже ставший «зеркалом русской революции», не принял в девяностых годах этого положения. «И совсем это неверно, что русский бунт бессмысленный, — возражал Пушкину Л. Н. Толстой. — Если разобраться как следует, то поводом всякого крестьянского бунта всегда окажутся очень разумные и справедливые требования».

Но и Пушкин, как великий художник, должен был, по известному положению Ленина, отразить в своих произведениях «некоторые хотя бы из существенных сторон революции». И великий поэт выполнил это задание, воссоздав образы вождей крестьянской революции с такой творческой силой и восхищением художника, что совершенно опроверг этим свое абстрактное размышление о характере русского бунта.

Это помогло романисту дать верную и глубоко сочувственную характеристику самого Пугачева: перед нами одаренный, смелый, умный и великодушный вождь народного движения; личность его вызывает в Гриневе сильнейшее влечение и «пламенное желание» спасти его. Чувствуется, что поэт сжился в своих долголетних раздумьях с этим мощным народным образом, к изучению которого он обратился еще в годы своей ссылки и о котором тогда уже творчески мыслил (еще в декабре 1826 года он говорил М. Н. Волконской, что задумал сочинение о Пугачеве). Долгий труд вызвал прочную симпатию к герою. Невозможно переоценить то глубокое сочувствие, с каким написан Пушкиным великолепный исторический портрет предводителя народной вольницы, обреченного дворянской Россией на смертную казнь, церковную анафему и моральное ошельмование.

С таким же мастерством обрисован представитель другого слоя старой России — капитан Миронов. Незаметный и чуть смешной в обычном быту, он вырастает перед лицом военной опасности в героя долга и присяги: он выполняет свои обязанности не только честно и беззаветно, но умело и искусно. Все комические черты образа сразу отпадают, когда

на валу осажденной крепости перед нами выступает во весь рост старый вояка, ясно понимающий стоящую перед ним задачу и безошибочно разрешающий ее. «Докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!..» Он проявляет подлинный героизм в критический момент сражения, когда идет на вылазку и верную смерть во главе гарнизона, готового бросить ружья. Пушкин в его лице воздает высокую хвалу тем скромным армейцам, которые, по замечательной характеристике В. О. Ключевского, «не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века» и вместе с русскими солдатами самоотверженно вынесли на своих плечах дорогие лавры знаменитых полководцев.

Так же достоверно и живо изображены в романе и ближайшие помощники Пугачева с горнозаводского Урала — сын крепостного рабочего Белобородов и многократный участник восстаний XVIII века Иван Тимофеевич Соколов, прозванный Хлопушей, сумевший организовать революционные отряды из молотовых мастеров, кузнецов и слесарей с демидовских рудников. Это были руководители пугачевского движения в южноуральской рабочей массе.

К общей бытовой картине «пугачевщины», воссозданной Пушкиным, позднейшие научные разыскания ничего не прибавили, как и не исправили в ней ни одной черты. Труд исследователя, восполненный гением художника, установил навсегда основные очертания этой бурной эпохи и центральные типы ее ведущих деятелей.

2

В образах молодых офицеров, вовлеченных ходом событий в крестьянскую революцию — Гринева и Швабрина, — Пушкин стремится разрешить издавна привлекавшую его проблему деклассированного и мятежного дворянина — декабриста Якубовича, Дубровского и, наконец, ряда исторических лиц, замешанных в пугачевском движении, — Шванвича, Башарина, Буланина, исторического подпоручика Гринева. Если в художественных образах и романи-

ческом действии «Капитанской дочки» эта сложная проблема не нашла окончательного разрешения и четкой формулы, то поставлена она здесь с замечательной широтой и проведена с глубоким жизненным драматизмом.

Сама история выдвинула характерного героя для социологических выводов поэта. В 1833—1834 годах внимание Пушкина привлек тот повеса и дебошир середины XVIII века, лейб-кампанец Александр Шванвич, который в трактирной драке разрубил палашом щеку Александру Орлову (об этом имеется запись Пушкина). Этот сорвиголова был отцом тому поручику Михаилу Шванвичу, который из правительственных войск перешел на сторону Пугачева и был осужден в 1774 году верховным судом.

Личность этого дворянина-пугачевца чрезвычайно заинтересовала поэта. Взятый в плен пугачевским отрядом под Оренбургом осенью 1773 года, Михаил Шванвич встретил неожиданную милость со стороны вождя восстания. Видя, что на поручике «кафтан худ», Пугачев подарил ему шубу «на мерлущатом лапчатом меху» и оставил с собою ужинать. «Служи мне верой и правдой, — сказал он ему под конец вечера, — и я тебя не покину».

Вскоре Шванвич был произведен в атаманы. Но после тяжелого поражения Пугачева под Татищевой крепостью в марте 1774 года он оставил опустелую Берду и явился к оренбургскому губернатору Рейнсдорпу. По сентенции верховного суда, Михаил Шванвич был лишен чинов и дворянства, подвергнут ошельмованию преломлением шпаги над головой и сослан в Сибирь.

Следственное дело о Пугачеве, с которым Пушкин начал знакомиться в 1833 году, открывало ему возможность конкретно поставить на этих материалах о Шванвиче интересную социально-политическую проблему. Он действительно сопоставил этого гренадерского поручика с теми гвардейцами, которые добровольно предались Пугачеву как «истинному своему государю». «Так поступила бы вся гвардия, если бы только могла», — заявил один из таких

пугачевских волонтеров. Фраза эта привлекла особенное внимание Пушкина. Он относил Шванвича к родовитому дворянству, к «хорошим фамилиям», хотя и без достаточного основания. Но на образе бунтующего офицера-аристократа — вероятно, не без аналогии с героями 14 декабря — Пушкин, видимо, хотел обосновать свои заветные раздумья о близости лучших русских людей не к императорскому трону, а к народной массе.

Историческая сложность проблемы, невозможность высказаться до конца на такую запретную тему в печати, наконец, и неясность психологической мотивировки подлинных действий подпоручика Шванвича, ставшего пугачевским атаманом (из политического сочувствия? из страха за свою жизнь?), — все это привело Пушкина к очень тонкому композиционному приему раздвоения единого исторического лица на два противоположных характера честного поручика Гринева, который питает искреннюю симпатию к смелой и великодушной личности Пугачева, но не меняет своего знамени, и беспринципного Швабрина, готового на все во имя карьеры и личных интересов.

Постоянная дума поэта о расслоении российского дворянства на благоденствующих Орловых и униженных Пушкиных определяла и позиции главных героев «Капитанской дочки». Отставка в 1762 году старика Гринева, служившего при Минихе, соответствует хронике рода Пушкиных, как и общая оппозиция к авантюристам и фаворитам эпохи императриц. В этом разрезе молодые поручики Белогорской крепости — Гринев и Швабрин — являют два типа русского дворянства· преуспевающий и приниженный, беспринципный и морально стойкий, «гвардию» и «армию» (как возвещает эпиграф к первой главе). У Гриневых незначительное поместье и бедное симбирское дворянство в прошлом, Швабрин — петербуржец, человек «хорошей фамилии и имеет состояние». Недоросля Петрушу обучают стремянный Савельич и парикмахер Бопре, его будущего соперника — профессор элоквенции и при-

дворный поэт Тредьяковский. Гриневу милы простодушные мещанские романсы, Швабрин распевает арии французских опер. Но Гринев остается верен присяге и непоколебим в своем отказе служить мнимому Петру III; бывший же гвардеец служит только успеху и переходит с мгновенной поспешностью на сторону победившего Пугачева. «Проворен, нечего сказать!» — заключает о нем попадья.

Таково новое противопоставление Пушкиных Орловым. Благородные и просвещенные Гриневы, способные оставить потомству увлекательные мемуары, обречены силою исторических судеб на материальную деградацию. Небольшое симбирское поместье елизаветинского премьер-майора в третьем поколении принадлежит уже «десятерым помещикам». Это последний иронический штрих, внесенный Пушкиным в столь волновавшую его картину упадка старинных исторических родов. На их долю еще остается преданность старых дядек («Савельич — чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести», — писал Пушкину Одоевский в конце 1836 года), их еще предпочитает ловким гвардейцам скромная Мария Ивановна. Блестящую галерею пушкинских героинь завершает эта солдатская внучка и капитанская дочка, отражая в своем глубоко народном облике живые черты привлекательных и смиренных девушек, которых Пушкин не раз встречал в глухих углах российской провинции.

Для раскрытия подлинно народных истоков изображаемых событий и придания им соответственного освещения Пушкин обращается к излюбленному своему материалу — русскому народному творчеству. Он вводит в эпиграфы и в тексты романа отрывки из солдатских и свадебных песен, сентиментальные романсы, калмыцкую сказку и, наконец, бурлацкую хоровую в знаменитой сцене, где зловеще звучит «простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице».

Могучий образ Пугачева, изваянный Пушкиным, как и воссозданный им дух разинских песен, вносит

весьма существенный корректив в представления об умеренных политических воззрениях Пушкина, который якобы в качестве барина-крепостника видел в лице Пугачева только своего классового врага. Было бы ошибочно сводить неизбежные противоречия пушкинских государственных убеждений к реакционным и антинародным выводам. Политические высказывания гениального поэта необходимо выправлять по его творческим образам. Только при этом условии все программное, теоретическое, классово обусловленное и социально ограниченное получит верное освещение и раскроет подлинные перспективы мысли великого национального писателя.

Совершенно несомненно, что, несмотря на все колебания Пушкина в окончательной оценке «русского бунта», он в основном склонялся к признанию силы и величия восставших масс. Он открыто сочувствовал их борьбе с приказным и помещичьим государством и не переставал поэтизировать крестьянских вождей, сумевших потрясти самодержавный строй «от Кубани до Муромских лесов». Характерно, что до Пушкина в литературе о Разине и Пугачеве знали только приемы ошельмования и посрамления великих мятежников. Голос Пушкина был первым признанием силы и героизма этих народных вождей. Как известно, через полстолетия после написания «Капитанской дочки» Чайковский вынужден был отказаться от намерения писать на эту тему оперу, ибо невозможно было, по его словам, вывести на императорскую сцену того героического и пленительного Пугачева, какого создал в свое время Пушкин. Высоко ценя на всем протяжении своего творчества неустрашимых борцов с гнетом самовластья, великой поэт с 1820 по 1837 год оставался верен этим мощным историческим образам восставшего народа. В своем творчестве он бурно перерастал условные границы, положенные его дворянским самосознанием, воспитанием и общественной средой, и, как великий художник, уже предвещал передовые позиции будущих поколений.

Рано изверившись в своем классе и не считая российское дворянство способным перестроить на разумных началах его многострадальную родину, Пушкин все пристальнее всматривается в массовые движения закрепощенной Руси. Рядом с Алеко, Онегиным, Дубровским вырастает центральный герой помыслов и творений национального поэта — русский народ в его протесте, восстании и борьбе. Только этот могучий двигатель исторического процесса раскрывал великому писателю путь к торжеству свободы, справедливости и разума. Вот почему Пушкин навсегда связал свое бессмертное имя с именами первых вождей народной вольницы — Пугачева и Степана Разина.

VII

НОЯБРЬСКАЯ ДРАМА

1

Пушкин заканчивал «Капитанскую дочку» среди глубоких забот и тяжелых треволнений. Скрыто и неприметно росла и развертывалась последняя жизненная драма поэта.

Обязанный вращаться с 1834 года в придворном кругу, Пушкин встречается здесь с голландским посланником Геккерном, который слыл остроумнейшим из петербургских дипломатов и аморальнейшим из людей.

В своих записках Нессельроде, начинавший дипломатическую деятельность в Голландии, называет среди виднейших представителей нидерландской аристократии и род Геккернов. Они принадлежали к консервативной партии «оранжистов» — сторонников Оранской династии, относившихся с презрением и ненавистью к народной партии республиканцев.

Посланник был известен своими извращенными инстинктами и распутной жизнью, требовавшей постоянных трат. Недостаток в наследственных рентах и крупных окладах «больших» послов рано заставил

его обратиться к одной из традиционно-национальных добродетелей — к торговле. Сохранившиеся в архивах внешней политики документы красноречиво повествуют о широких деловых оборотах нидерландского посланника и о его выдающейся коммерческой сноровке, переходившей подчас в настоящую контрабанду.

С 1834 года Геккерн стал появляться в обществе с молодым красавцем французом Жоржем Дантесом, преданным сторонником Бурбонов. Он эмигрировал из Франции после Июльской революции и искал по свету фортуны. Его испытанный легитимизм обеспечил ему блестящую карьеру в Петербурге.

«В 1834 году император Николай собрал однажды офицеров кавалергардского полка, — сообщает один из очевидцев этой сцены, — и, подведя к ним за руку юношу, сказал: «Вот ваш товарищ! Примите его в свою семью, он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу». Это и был Дантес...»

Такая рекомендация обеспечила безвестному роялисту выдающееся положение в придворном Петербурге, хотя чрезвычайный способ его производства в офицеры вызвал некоторое возбуждение в войсках. «Барон Дантес и маркиз де-Пина, два шуана, — будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет», — отметил Пушкин в своем дневнике 26 января 1834 года.

Блестящий кавалергард начинает бывать в петербургских салонах, где встречается с Пушкиными и увлекается Натальей Николаевной. Осенью 1835 года его светское поклонение знаменитой красавице перерастает в страсть и вскоре вызывает ответное чувство. «Он смутил ее», — говорил Пушкин своим друзьям, а в момент развязки писал Геккерну о том «волнении, какое она, быть может, испытывала перед этой великой и возвышенной страстью». Многочисленные враги независимого «сочинителя» стремятся использовать создавшуюся ситуацию и очернить имя первого поэта России оскорбительной

сплетней. «Жизнь таит в себе горечь, от которой она становится отвратительной, — писал Пушкин уже в конце 1835 года Осиповой, — а общество — это мерзкая куча грязи».

На одном из зимних балов 1836 года состоялось «между двумя ритурнелями кадрили» решительное объяснение между Пушкиной и Дантесом. Мы узнаем об этом из опубликованных недавно писем Жоржа Геккерна к голландскому посланнику, находившемуся в то время в заграничном отпуске.

Как оказывается, Наталья Николаевна заявила Дантесу: «Я люблю вас, как еще в жизни не любила, но никогда не просите у меня ничего, кроме моего сердца, ибо все прочее не принадлежит мне и я могу быть счастливой, только выполняя мой долг, — пожалейте же меня и продолжайте любить меня всегда так же, как любите теперь, и мое чувство будет вам наградой».

Письмо это, впервые опубликованное лишь через сто десять лет после смерти Пушкина, несомненно, звучит, как запоздалое оправдание Натальи Николаевны: оно раскрывает в ней способность жертвовать своим чувством во имя высших моральных требований. Эта «кружевная душа», как называли ее салонные острословы, на самом деле глубоко понимала долг верности великому человеку, с которым соединила ее судьба.

Но рост светских толков вокруг «семейной истории» Пушкина все более задевает впечатлительного поэта. В момент написания Дантесом своих конфиденциальных писем к Геккерну, то есть к концу бального сезона 1836 года, великосветский Петербург усиленно занят его необычайным романом. 5 февраля на балу у посланника Обеих Сицилий князя ди-Бутера все гости обратили внимание на неумеренные ухаживания «молодого кавалергарда» за женою поэта. Ход событий задолго до конца намечал неизбежную трагическую развязку.

С новой силой сказывается потребность поэта «бежать из Петербурга». Двор, царь, III отделение, цензура, церковь, министерства нерасторжимым

кольцом сомкнулись вокруг рабочего стола писателя, на котором не переставали расти рукописи о Вольтере, Радищеве, Пугачеве, вызывающие столько настороженности и вражды в официальных кругах. Тяжелым стоном звучит уже в 1834 году одно из поздних посвящений Пушкина его жене: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит!..» Лейтмотив долголетних переживаний поэта начинает звучать здесь глубоким страданием:

Давно, усталый раб, замыслил я побег...

Но осуществить его было нелегко. Пушкин был скован сложными отношениями с кредиторами и ростовщиками, своим придворным званием, государственной службой, великосветским бытом, «вниманием» Бенкендорфа и «ласками» Николая. Эта цепь оказалась нерасторжимой.

Личные огорчения усугубляются ростом материальных трудностей.

Пушкин в своей житейской обстановке был настоящим стоиком; комната его была рабочей мастерской: никаких ненужных украшений — простой рабочий стол, скромные книжные полки. Но после женитьбы, поселившись в Петербурге, он оказался вынужденным поддерживать в своем быту принятую в высшем дворянском кругу «роскошь». Он снимал квартиру в десять комнат, с конюшней, каретным сараем, сеновалом, винным погребом. Семью обслуживал многолюдный штат прислуги, не меньше чем в двадцать душ. Необходимо было постоянно делать займы и искать средств.

Несоответствие петербургского бюджета Пушкиных с фактической цифрой их доходов неуклонно вело семью к денежной катастрофе. В своих письмах Пушкин со всей трезвостью расценивает свое материальное положение, указывая на необходимость отъезда из Петербурга, чтобы прекратить несоразмерные расходы, которые готовят ему в будущем нищету и отчаяние. Запутанность дел вызвала в 1836 году небывалый наплыв бесчисленных счетов

от мебельщиков, портных, каретников, книгопродавцев, из модных лавок, английского магазина и пр.

С начала 1836 года Пушкину приходится обращаться к ростовщикам: 1 февраля закладывается белая турецкая шаль Натальи Николаевны за 1 250 рублей, 13 марта — брегет и кофейник, что свидетельствует уже об остром дефиците. «Деньги! Деньги! нужно их до зареза», — писал Пушкин 27 мая Нащокину. В таких тяжелых условиях создавался «Современник» и заканчивалась «Капитанская дочка».

Глубокая грусть охватывает поэта. Все чаще возникает воспоминание об ушедшем друге Дельвиге — ощущение, выраженное еще в стихах 1831 года («И мнится, очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый...»).

В конце марта Пушкин посещает мастерскую скульптора Орловского, бывшего крепостного, ставшего учеником Торвальдсена. Поэт осматривает его собрание статуй и любуется мощными фигурами современных полководцев, вызывающих его сжатую и выразительную характеристику:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.

В этом собрании изваянных богов и героев его охватывает тоска по исчезнувшему другу:

...меж тем в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю. со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Все лето 1836 года Пушкины прожили на Каменном острове, в модном дачном месте на Черной речке. Поблизости, в Новой деревне, стояли лагерем кавалергарды. В помещении Минеральных вод устраивались балы, в каменноостровском театре шли французские спектакли. Наталья Николаевна и сестры Гончаровы были окружены привычным петербургским обществом. Дантес продолжал первенствовать в летних развлечениях и своей преданностью красавице Пушкиной занимать внимание праздных сплетников и настороженных врагов поэта.

17 сентября 1836 года на вечере у Карамзиных собралось много друзей, «так что мы могли открыть настоящий бал (сообщает в письме к брату дочь историка Софья Николаевна), и всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцовал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий...»

Такие отношения длятся всю осень 1836 года. Целое общество молчаливо присутствует при этом «холодном» поединке, не понимая серьезности создавшейся ситуации и не переставая иронизировать над этой «сентиментальной комедией», «таинственной драмой», «сим романом à la Бальзак».

В каменной пустыне Петербурга, среди сплотившихся и тщательно замаскированных врагов только неутомимый творческий труд еще поддерживал Пушкина. Он заканчивал «Капитанскую дочку» и подготовлял к печати новые выпуски своего журнала. Предстоял выход четвертого тома «Современника». Незаметно и без шума Пушкин строил большое культурное дело и находил некоторую отраду от житейских невзгод в сочувствии его планам друзей-писателей и просвещенного круга русского общества.

4 ноября 1836 года этот углубленный труд поэта-редактора был грубо прерван подлым ударом из-за угла. Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. В тот же день несколько знакомых передали ему полученные ими в двойных

конвертах такие же гнусные дипломы на имя Пушкина.

> Вновь сердцу моему наносит хладный свет
> Неотразимые обиды...

Но это оскорбление, нанесенное не только ему, но и его жене, необходимо было во что бы то ни стало отразить. Ему сразу стали ясны намеки, расшифрованные его биографами лишь через девяносто лет: скрытое указание на благосклонное внимание к его жене Николая I, заключенное в наименовании «достопочтенного гроссмейстера ордена Д. Л. Нарышкина», то есть мужа известной любовницы Александра I.

О такой безошибочной расшифровке поэтом политических намеков пасквиля свидетельствует письмо, написанное им через день после получения дипломов, 6 ноября 1836 года, министру финансов Канкрину. В нем Пушкин заявляет о своем твердом решении вернуть царю «сполна и немедленно» полученные от него сорок пять тысяч. При этом он просит министра не доводить дела до сведения Николая, который может простить ему весь его долг, что поставило бы Пушкина «в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости...».

Через несколько дней Пушкин поделился со школьными друзьями — Яковлевым и Матюшкиным — своими последними неприятностями. Он показал им полученную анонимку: «Посмотрите, какая мерзость...»

Яковлев, около пяти лет управлявший типографией императорской канцелярии и разбиравшийся в сортах бумаги, тщательно рассмотрел подметный пасквиль, написанный на добротном и плотном листке без водяных знаков, и дал заключение: «Бумага иностранной выделки, а по высокой пошлине, наложенной на такой сорт, она должна принадлежать какому-нибудь посольству».

Вывод этот был целым откровением для Пушкина. Экспертиза Яковлева сыграла огромную роль в развитии событий. Опираясь на нее, Пушкин сде-

Вольтер



Вольтер. Рис. Пушкина. Чернила.

лал все неизбежные умозаключения: анонимный пасквиль исходил из голландского посольства, автор его — барон Геккерн. Этого мнения поэта уже ничто не могло поколебать. «Вид бумаги» фигурирует первым аргументом в официальном обвинении Пушкина нидерландского представителя.

Поведение Геккерна в развитии романа его любимца могло только подкрепить возникшие подозрения. Готовый доставить любыми средствами счастье своему Жоржу, старый интриган всячески заманивает Наталью Николаевну «на скользкий путь, искусно находя случаи нашептывать ей о безумной

любви сына, способного в порыве отчаяния наложить на себя руки...» (так сообщает в своих воспоминаниях дочь Н. Н. Пушкиной от ее второго брака — А. П. Арапова, несомненно, со слов своей матери). Возмущенная этой дерзостью, Наталья Николаевна сообщила о ней своему мужу. Отсюда гневное письмо Пушкина посланнику с обвинениями в «отеческом сводничестве» Дантесу. С осени 1836 года поэт охвачен ненавистью к голландскому посланнику, пытавшемуся разрушить его семейную жизнь и опозорить его перед целым светом. «Жажда мести» (как скажет вскоре в своем знаменитом стихотворении Лермонтов) — вот что захватило «невольника чести» в последние месяцы его жизни и ускорило смертельную развязку.

«Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою», — записал Я. П. Полонский со слов брата поэта Льва Сергеевича. Он не мог допустить, как сам писал в предсмертном письме к Геккерну, чтоб имя его жены сочеталось светской молвой с чьим-либо другим именем. Восстановить задетую честь мужа можно было, по тогдашним дворянским представлениям, лишь дуэлью. Пушкин послал вызов Дантесу.

Повод для поединка оказался недостаточным. В тесном кругу заинтересованных лиц решено было добиться отказа Пушкина от дуэли. Старый Геккерн, Жуковский, Загряжская, наконец, и приглашенный в секунданты Соллогуб напрягают все усилия для предотвращения кровавой встречи. Дантес заявляет, что его ухаживания относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре Екатерине, действительно без памяти влюбленной в него и даже, по слухам, ставшей с начала осени 1836 года его невестой. Под давлением окружающих поэт соглашается, наконец, взять обратно свой вызов.

Но он сохраняет непоколебимое решение до конца отстаивать незапятнанность своего имени перед всей страной. «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то о невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, это мнение того низшего класса, в наши дни единственного

подлинно русского, который осудил бы жену Пушкина» *.

Поэт считал себя обязанным реагировать на полученное оскорбление. Главным виновником всего происшедшего он считал дипломата Геккерна. Поскольку конфликт с Дантесом был внешне ликвидирован, Пушкин решает получить сатисфакцию от его приемного отца. Около 20 ноября он пишет Геккерну резкое письмо. Главная сила удара заключалась в оскорблении посланника как государственного деятеля, как «представителя коронованной главы», заклейменного прозвищем развратной старухи.

Но прежде чем нанести эту эпистолярную пощечину, Пушкин решает испробовать другой путь: обесчестить голландского посланника в глазах правительства, при котором он аккредитован. 21 ноября он сообщает Бенкендорфу историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью. «Тем временем, — заключал он, — я удостоверился, что анонимное письмо исходило от г. Геккерна, о чем полагаю своим долгом довести до сведения правительства и общества».

Столь важное обвинение члена дипломатического корпуса вызвало спешные меры со стороны Бенкендорфа, и уже через день, 23 ноября, Пушкин имел аудиенцию у царя.

Это был второй прием Пушкина Николаем I. С памятной беседы в сентябре 1826 года прошло десять лет. За это время царь неуклонно придерживался в своем отношении к поэту однажды принятой тактики — всячески длить его заточение и поддерживать полную скованность под видом предоставления ему гражданской свободы и даже царских милостей. Как «первый дворянин» своей страны, как глава легитимизма и предводитель политической реакции, он всемерно разделял ненависть петербургской аристократии к вольнодумному сочинителю, насильственно прикрепленному к враждебной ему среде. Госуда-

* Из сообщения нидерландского поверенного в делах Геверса министру иностранных дел Ферстольку от 20 апреля (2 мая) 1837 года.

рево око — III отделение — твердо считало Пушкина «великим либералом», ненавистником всякой власти. «Осыпанный благодеяниями государя, он до самого конца жизни не изменился в своих правилах, — констатировал вскоре один жандармский документ, — а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных». Отзыв, не лишенный проницательности, но весьма недвусмысленно свидетельствующий об отношении царской власти к поэту.

В беседе 23 ноября Пушкин, вне всякого сомнения, повторил свои обвинения. Он подчеркнул оскорбительность безыменных писем для его собственной и для жены его чести и настаивал на своем убеждении, что автором их является голландский посланник. Такое разоблачение, чреватое чрезвычайным скандалом в щекотливой сфере международных отношений, вызвало, конечно, пристальное внимание Николая I и, вероятно, побудило его к вмешательству. Нужно предполагать, что он взял на себя расследование дела и, в случае подтверждения подозрений Пушкина, обещал дать ему в каком-то виде удовлетворение, пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без «высочайшей» санкции. Об этом можно судить по тому, что после беседы в Зимнем дворце Пушкин был вынужден на время отказаться от намеченного им плана борьбы с Геккерном, и написанное письмо, пылавшее такой страстью и гневом, осталось неотправленным.

2

В эти тревожные месяцы Пушкина ожидала радость встречи со старинным другом — Александром Тургеневым. Он вернулся в Петербург 25 ноября «из Парижа через Симбирск» и 27-го присутствовал на премьере «Ивана Сусанина».

«Я был вчера на открытии театра, — писал 28 ноября Тургенев своему брату Николаю, — ставили новую русскую оперу «Семейство Сусаниных» композитора Глинки, и все было превосходно: постановка, костюмы, публика, музыка и балеты. Двор

присутствовал почти в полном составе. Ложи были украшены нарядными женщинами. Я нашел Жуковского в добром здоровье... Вяземский менее грустен. Пушкин озабочен одним семейным делом...»

Но эта мучительная озабоченность не мешала все же поэту живо интересоваться художественными событиями и продолжать обычную для него творческую жизнь. Личная драма не в состоянии была поколебать внутренний строй гениальной натуры. Разговор Пушкина в то время поражал замечательными прозрениями и высокой образностью. Встречавшаяся с ним в конце 1836 года графиня де Сиркур (урожденная А. С. Хлюстина) писала через год Жуковскому: «Его дар угадывать, что он только мысленно мог себе представить, так же поразил меня, как и то поэтическое направление, какое бессознательно принимала обо всем его мысль; разговор его обнаруживал ту зрелость, которую я не находила даже в его лучших стихах; я покинула его, предсказывая ему безграничное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца...»

В эти последние недели своей жизни Пушкин отдается культурным впечатлениям, интенсивно живет художественной современностью. Выдающееся событие — нарождение русской национальной оперы — привлекает его пристальное внимание. Он подробно беседует с бароном Розеном, автором либретто «Ивана Сусанина», о драматической стороне композиции и даже берет у него текст оперы для детального изучения и анализа. Пушкин ценил «думу» Рылеева о Сусанине и ее основную патриотическую тему:

Кто Русской по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!

Он беседует с Глинкой о его новом замысле оперы на сюжет «Руслана и Людмилы» и говорит композитору о своем желании многое переработать в своей юношеской поэме.

Пушкин посещает в университете лекции о русской литературе, восхищая своим присутствием студентов и профессора. Плетнев поднялся на кафедру

«в воодушевленном состоянии», по свидетельству одного слушателя. «В дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавою головою, огненными глазами и желтоватым нервным лицом». Пушкин сел на заднюю скамью и внимательно прослушал лекцию. В заключение, говоря о будущности русской литературы, Плетнев назвал Пушкина. «Возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя». Петербургское студенчество гордилось великим поэтом и было в восхищении от личного знакомства с ним.

Осенью 1836 года Пушкин посещает выставки в Академии художеств. Здесь его внимание привлекли статуи скульпторов Пименова и Логановского, изобразивших — вместо традиционного античного дискобола — русских юношей, играющих в свои национальные игры — свайку и бабки. «Слава Богу! наконец и скульптура в России явилась народная!» — заметил Пушкин сопровождавшему его президенту Академии Оленину. И, отойдя в сторону, поэт записал в духе своей «Царскосельской статуи» два четверостишья о «русской удалой игре» — последняя дань великого поэта мастерам отечественного искусства.

Встречи с Александром Тургеневым уводят Пушкина от безотрадной современности в мир исторических знаний. «Он как-то особенно полюбил меня, — сообщал вскоре Тургенев о поэте, — а я находил в нем сокровище таланта, наблюдения и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные...» Пушкину был дорог этот старый друг его семьи, которого он знал с малых лет. Они посещают вместе театр, Академию наук, общих друзей, поднимают и решают в своих беседах интереснейшие проблемы общекультурного значения. Пушкин даже собирался поместить в «Современнике» 1837 года «глубоко занимательную» статью «Труды Александра Тургенева в Римских и Парижских архивах».

15 декабря Тургенев до полуночи засиделся у Пушкина. Обсуждали «Слово о полку Игореве»;

поэт «в словах песнотворца» чувствовал тот «дух древности», который неопровержимо утверждал в его глазах подлинность памятника.

Вступивший в литературу в самом разгаре битв за обновляющийся русский язык, Пушкин остается до конца его организатором и хранителем. «Есть у нас свой язык; смелее — обычаи, история песни, сказки», — писал поэт в годы своей южной ссылки. Незадолго до смерти он высказывает тревогу за дальнейшую судьбу родной речи: «Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется». Восхищаясь богатством «прекрасного нашего языка», Пушкин признавал, что извлек из него небывалую силу и перековал поэтическое слово: «Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо».

Тургенев заинтересовался новыми стихами своего друга. Пушкин раскрыл тетрадь и прочел одно из своих последних произведений — «Памятник». Слушателю запомнилась строфа:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

* * *

Новый год Тургенев встречал вместе с Пушкиным у общих друзей Вяземских. Здесь собрались Карамзины, Мещерские, Строгановы, Пушкины, сестры Гончаровы, Жорж Геккерн. Графиня Строганова была та самая Наталья Кочубей, которой поэт увлекался в беспечные лицейские годы, — его «первая любовь», напоминавшая о прекрасной заре жизни, о робких встречах у синего мраморного обелиска в честь Кагульской победы; этот памятник был им воспет некогда в его царскосельских «Воспоминаниях» и недавно снова бегло очерчен в «Капитанской дочке».

На этот раз Пушкин мало беседовал с вдохновительницей своих ранних элегий и поздних онегинских строф. Он был озабочен и грустен... «Вот наступает

новый год, — писал Пушкин в конце декабря своему отцу, — дай бог, чтобы он был для нас счастливее предыдущего». Еще не миновал годовой траур по скончавшейся матери. «Семейная история», о которой говорил весь город, становилась непереносимо мучительной. Чтобы рассеять мрачность друга, внимательный и чуткий Тургенев читал письмо, только что полученное из Парижа от брата Николая; это напоминало первую петербургскую молодость, «Арзамас», «Вольность», «Деревню», «Зеленую лампу». Но личная драма омрачала все и придавала воспоминаниям неизбывную горечь. С Пушкиным чокались, старались рассеять его задумчивость, желали счастливого года.

Ему оставалось жить меньше месяца.

VIII

СМЕРТЬ ПОЭТА

1

«Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? — писал Пушкин за два-три года до смерти. — Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда».

После французской революции такое новое соотношение сил чрезвычайно тревожило «аристократов породы и богатства» во всей Европе. Оно вызывало их беспрестанную борьбу с представителями передовой литературы. Одной из причин падения Карла X были изданные им ордонансы о печати. В январе 1837 года российское крыло легитимизма выступило против высшего представителя русской мысли, поэтического таланта и печатного слова. Это выступление было подготовлено длительными попытками медленно деморализовать противника, обессилить его личными огорчениями и нравственно изнурить постоян-

ным раздражением его взыскательного самолюбия. Вызванная этим глубокая интимная драма подготовила исход акта политической мести.

Друзья Пушкина с тревогой следили за ростом его семейного конфликта. Внучка Кутузова, Дарья Федоровна Фикельмон, высоко ценившая поэта, записала в самый день его смерти свои впечатления о разыгравшейся трагедии: «Все мы видели, как росла и ширилась эта гибельная гроза. То ли тщеславье госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце — она во всяком случае не могла больше отталкивать или сдерживать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую осторожность благоразумного человека, нарушая все светские приличья, выказывал на глазах всего общества проявления такого восхищения, которое было совершенно недопустимо по отношению к замужней женщине — она бледнела и трепетала под его взглядами, было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека, который доведет ее до крайности...»

Все это произвело полный психологический переворот в семейной жизни поэта. Уж не Наталья Николаевна вспоминала «измен печальные предания» и корила мужа его прошлыми увлечениями — Пушкин чувствовал необходимость стать ее «поверенным» и по возможности руководителем в той драме чувства, которую переживала молодая женщина. В обществе продолжались встречи, обращавшие на себя всеобщее внимание неприкрытой нежностью обоих участников этого громкого романа. Любовная драма Натальи Николаевны только углубилась после ноябрьской интриги, в результате которой любимый ею человек становился мужем ее родной сестры. Об этом свидетельствуют воспоминания некоторых членов семьи Пушкина, рисующие картину их чрезвычайно осложнившихся взаимоотношений зимой 1836/37 года.

«Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в чаду, выслу-

шала официальное предложение, переданное ей тетушкой (Е. И. Загряжской), не боясь поверить выпавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра (Н. Н. Пушкина) открыть ей глаза, поверяя все хитросплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений. На все доводы она твердила одно: «Сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно оно покорит его сердце». Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна, в свою очередь, не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить!» — запальчиво бросила она ей в лицо».

Такова была сложная и мучительная психологическая борьба в доме Пушкина, еле прикрытая внешне праздничными приготовлениями к свадьбе; вид квартиры, напоминавшей модную и бельевую лавку (по выражению самого поэта), приводил его «в неистовство». В начале января ему показали широкий золотой браслет с тремя одинаковыми сердоликами и гравированной надписью: «В знак вечной привязанности от Александрины и Натальи». Это изделие петербургского ювелира возвещало переезд Екатерины Николаевны из квартиры Пушкиных в голландское посольство, где она в качестве баронессы Геккерн становилась хозяйкой нидерландской миссии.

10 января 1837 года Екатерину Гончарову обвенчали с Дантесом. Наталья Николаевна присутствовала на венчании, но уехала сейчас же после службы. Дом Пушкиных оставался закрытым для молодых Геккернов (Дантес, официально усыновленный голландским посланником в мае 1836 года, носил с этого времени его фамилию).

«Но они встречались в свете, — рассказывала впоследствии средняя из сестер Гончаровых — Александра Николаевна, — и там Жорж продолжал демон-

стративно восхищаться своей новой невесткой: он мало говорил о ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Пушкин не принял этого положения вещей, ибо характер его не допускал этого, и он воспользовался представившимся случаем, чтоб вспыхнуть и написать старому Геккерну известное письмо, которое могло быть смыто только кровью».

С этим знаменитым письмом, одной из самых сильных и поразительных страниц эпистолярного наследия Пушкина, Александра Николаевна познакомилась перед самой его отправкой. Пушкин в то время не имел от нее тайн. Некоторое утешение от всех тяжелых переживаний этой зимы он неизменно находил в обществе своей младшей свояченицы. Это была та бледная девушка, которая задолго до свадьбы поэта знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Пушкин рано оценил отношение новой родственницы и заметно выделил ее своей симпатией из общей, довольно чуждой ему гончаровской семьи. Еще летом 1834 года, упоминая в письме к жене ее сестер, он называет Александру Николаевну «моя любимица». Когда с осени этого года сестры Гончаровы поселились в доме Пушкиных, обнаружились новые привлекательные черты ее характера: она не проявила особой склонности к придворной и великосветской жизни, не стремилась стать фрейлиной, была равнодушна к нарядам и отдалась почти всецело заботам о своих маленьких племянниках. Это усилило расположение к ней поэта и укрепило их близость: по свидетельству Вяземских, «Пушкин подружился с нею...». С. Н. Карамзина утверждает, что он был «серьезно влюблен в Александрину...».

В ряду женских обликов пушкинской биографии Александра Николаевна Гончарова заслуживает, быть может, самого почтительного упоминания. Ее любовь к поэту была по-настоящему жизненной и дейст-

венной. Она не ждала от любимого человека мадригалов или посвящений, но старалась всячески облегчить ему жизнь. Именно с ней Пушкин совещался о тайных своих горестях и притом в самую трагическую пору. Она всячески облегчала материальные затруднения своего шурина, предоставляя в его распоряжение свои деньги и ценности. Именно она сумела внести много тепла и участия в бурные переживания 1837 года, которые причинили и ей столько тяжелых страданий. Можно представить себе состояние несчастной девушки, когда, читая пушкинское письмо, она поняла, что поединок неотвратим. Не ее слабым девическим рукам было удержать стихийный ход событий.

2

Пушкин мучительно переживал свою семейную трагедию. Его тревожила, по свидетельству В. А. Соллогуба, влюбленность царя в Наталью Николаевну. В обществе ходили глухие слухи о невозможности для такой ослепительной красавицы избежать обычной участи каждой миловидной фрейлины Зимнего дворца: «из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти». На эту тему поэт, по свидетельству самого Николая I, имел с ним краткий и смелый разговор за три дня до своей дуэли.

«Одному богу известно, — продолжает Соллогуб, — что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом».

25 января Пушкин получил новое безыменное письмо. В нем сообщалось о тайном свидании Дантеса с Натальей Николаевной. Поэт показал письмо жене, которая тут же объяснила ему смысл анонимного извещения: Жорж Геккерн потребовал у нее свиданья под угрозой самоубийства для переговора о важнейшем семейном деле. Он заверял честью, что ничем не оскорбит ее достоинства. Свидание состоялось на квартире их общей знакомой Идалии Полетики в ка-

валергардских казармах. Оно оказалось хитростью влюбленного человека. Наталья Николаевна, тотчас же прервав беседу, «твердо заявила Геккерну, что останется навек глуха к его мольбам...».

Такое объяснение было принято Пушкиным с внешним спокойствием. Он оставил на этот раз жену без обычных гневных вспышек, но со словами: «Всему этому надо положить конец».

В тот же день Пушкин написал предельно резкое письмо Геккерну, воспользовавшись ноябрьским черновиком и попутно бросив ряд оскорблений по адресу приемного сына посланника. Перед вечером к Пушкину явился атташе французского посольства д'Аршиак с вызовом от Дантеса. В тот же вечер на балу у графини Разумовской Пушкин предлагал секретарю английского посольства Медженису быть его секундантом. Это было последнее появление поэта в петербургском свете: по словам Карамзиной, «он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил...».

В среду 27 января 1837 года среди переговоров и переписки о предстоящем поединке, в непрерывных заботах о секунданте, о пистолетах, об условиях дуэли Пушкин, как всегда, провел утро за литературной работой. В последний раз сидел он за своим письменным столом, опускал перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра, подходил к своим длинным книжным полкам за нужным томом.

Дуэльные события неумолимым ходом уже врывались в литературные занятия. Секундант Дантеса настойчивыми записками требовал подчинения дуэльному кодексу, то есть безотлагательного совещания свидетелей.

Но с обычной закономерностью своей творческой воли, быть может еще более проясненной мыслью о смертельной опасности, Пушкин спокойно и уверенно продолжал свою текущую кабинетную работу.

Он читал, выбирал материалы для «Современника», вел письменные переговоры с новым сотрудником. «После чаю много писал», — отмечено в заметках Жуковского. В номере «Северной пчелы» от 27 января

была напечатана статья «Жизнь Петра Великого в новой своей столице». Если Пушкин успел прочесть это сообщение о смутных событиях 1706 года на Волге, Дону и Яике, оно явилось последним изученным им источником к истории Петра Великого.

Нужно было закончить и одно дело по «Современнику». Писательница Ишимова согласилась перевести для его журнала сцены английского поэта Барри Корнуоля.

Отмечая 27 января пьесы, особенно близкие ему, Пушкин выделил пять «драматических изучений», среди них опыты о ревности и мщении — «Амелию Уентуорт» и «Людовико Сфорца».

Пушкин завертывает книгу в плотную серую бумагу, надписывает адрес и быстро набрасывает сопроводительную записку. Это его знаменитое последнее письмо к Александре Осиповне Ишимовой:

«...Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашем, переведите их как умеете — уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать».

Такова последняя запись Пушкина. Уходя из жизни, он посылает безвестному младшему товарищу по их общему делу — служению русской литературе — свою озаряющую похвалу, бодрящую ласку и прощальный привет.

Писать более было некогда. Предстояло спешно сговориться с Данзасом, отправиться во французское посольство к д'Аршиаку, послать за пистолетами к оружейнику Куракину, условиться о месте и часе встречи, переодеться, как для вечернего выхода, в свежее белье и до наступления сумерек обменяться огнем с противником. Сколько дел, и как мало времени!

Редактор «Современника» отодвинул книги, положил перо и отошел от письменного стола.

Последний литературный день поэта Пушкина был окончен. Двадцатилетний творческий труд его обрывался навсегда.

Это было в среду 27 января 1837 года в одиннадцать часов утра.

3

Последние совещания о своей дуэли Пушкин имел с лицейским товарищем Данзасом, который никогда не был его другом. Когда в 1820 году Пушкин был близок к самоубийству, рядом с ним были такие друзья, как Чаадаев и Николай Раевский. Он мог с ними обсудить вопрос о жизни и смерти. Теперь ему пришлось обратиться к школьному соученику, внутренне совершенно чуждому. Пушкин один только раз упомянул имя Данзаса в лицейских годовщинах и лишь для того, чтобы отметить, что он был «последним» в их классе. Последним он оказался и в рядах друзей. Он не пытался, как в свое время Липранди, Соболевский, Нащокин, Жуковский и Соллогуб, расстроить поединок или по крайней мере смягчить его условия. Вместе с д'Аршиаком он занялся организацией дуэли á outrance, то есть до смертельного исхода. Расстояние между барьерами всего десять шагов, что само по себе делало смерть почти неминуемой. Но ее неизбежность гарантировал жестокий четвертый пункт составленных секундантами правил: в случае безрезультатности первого обмена выстрелами дуэль возобновлялась, «как бы в первый раз», на тех же беспощадных условиях.

Приведем неизвестный рассказ о дуэли Пушкина из крупнейшего европейского журнала сороковых годов. Это вообще первое печатное описание знаменитого поединка, о котором в николаевской России запрещено было писать *:

«Все это происходило в январе. Снег, затверделый от мороза, сверкал вдалеке за городом под холодными лучами зловеще багрового солнца. Двое саней, сопровождаемые каретой, одновременно выехали из города и остановились за Новой Деревней, отстоящей в трех-четырех километрах от Петербурга. Оба противника вошли в небольшую березовую рощу. Их секундан-

* Даем перевод этого отрывка, опуская или выправляя некоторые неточности. Полный текст опубликован нами в издании «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», IV—V. М.—Л., 1939, стр. 417—434. Автор статьи — лектор французского языка в Петербургском университете Шарль де Сен-Жюльен.

ты — оба весьма достойные люди — выбрали площадку среди просеки, образованной деревьями... Пушкин наблюдал за их действиями нетерпеливым и пасмурным взглядом. Как только печальные приготовления были закончены, соперники стали друг против друга. Предоставленные им на продвижение пять шагов были также отмерены, и два плаща отмечали границы расстояния, которые им запрещено было переступать. Был подан знак. Г. Дантес сделал несколько шагов, медленно поднял свое оружие, и в тот же миг раздался выстрел. Пушкин упал; его противник бросился к нему. «Стой!» — крикнул раненый, пытаясь приподняться. И, опираясь одной рукой о снежный наст, он повторил этот возглас, сопроводив его резким выражением: «Я еще могу выстрелить и имею на это право». Г. Дантес вернулся на свое место, приблизившиеся было секунданты отошли в сторону. Поэт, перенеся с трудом тяжесть своего корпуса на левую руку, стал долго целиться. Но, вдруг заметив, что его оружие покрыто снегом, он потребовал другое. Его желание было немедленно выполнено. Несчастный невероятно страдал, но его воля господствовала над физической болью. Он взял другой пистолет, взглянул на него и выстрелил. Г. Дантес пошатнулся и, в свою очередь, упал. Поэт испустил ликующий крик: «Он убит!..» Но эта радость длилась недолго. Г. Дантес приподнялся; он был ранен в плечо; рана не представляла никакой опасности. Пушкин потерял сознание. Его перенесли в карету, и все с грустью направились в город».

Непростительная беспечность Данзаса начала сказываться в полной мере с первого же момента мучительного и грозного ранения Пушкина: ни врача, ни кареты для спокойной доставки тяжелораненого, ни хотя бы бинта и тампона для первой помощи (такая забота входила в круг обязанностей секунданта). Данзасу пришлось пойти на компромисс, не свободный от некоторого унижения, и, скрыв это обстоятельство от Пушкина, принять «любезность» его противников, предложивших карету Геккерна для перевозки истекающего кровью поэта.

На обратном пути он почувствовал сильные боли и сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу».

Эти простые слова раскрывают всю глубину трагизма, пережитого под конец жизни Пушкиным.

Уже совсем стемнело, когда они подкатили к дому на Мойке. Быстрый, стремительный Пушкин, любивший взлетать одним духом по лестницам, впервые не мог шевельнуться Данзас вызвал его камердинера. Старый, поседевший Никита, некогда сопровождавший Пушкина в прогулках по Москве, деливший с ним невзгоды южной ссылки, взял его в охапку, как ребенка, и понес по ступеням. Час назад на окровавленном снегу, перед врагами, раненый сохранял неприступную замкнутость и спокойствие. Но в старом Никите было нечто родное, сердечное, почти материнское; от него можно было желать и ждать участия. И Пушкин обратился к нему за последним словом утешения: «Грустно тебе нести меня?..» И Никита, как мать больного ребенка, покрепче обнял его, осторожно пронес по передней и бережно опустил в кабинете среди книжных полок на диван, с которого Пушкину уже не суждено было подняться.

Началось медленное умирание поэта, длившееся почти двое суток. «Что вы думаете о моей ране?» — спросил раненый доктора Шольца, первого из врачей, привезенных к нему. «Не могу скрывать, она опасная». — «Скажите мне, смертельная?» — «Считаю долгом не скрывать и того». — «Благодарю вас, вы поступили, как честный человек; мне нужно устроить семейные дела». И, окинув взглядом свои книжные полки, Пушкин в последний раз обратился к верным спутникам своего труда: «Прощайте, друзья!» Приехавший вскоре лейб-хирург Арендт подтвердил безнадежность положения.

Пушкин поручил Жуковскому передать Николаю I свою просьбу о прощении за нарушение данного им слова не прибегать к новым решительным шагам без совещания с царем. Вскоре друг-поэт привез ответ-

ную записку с прощением и обещанием обеспечить осиротелую семью.

После нестерпимо мучительной ночи Пушкин утром 28 января простился с женою и детьми, пожал руки Жуковскому, Вяземскому, Виельгорскому, пожелал проститься с Карамзиной. Он просил выхлопотать прощение Данзасу. Чувство невыносимой тоски, обычное при воспалении брюшины, не проходило. Все лечение сводилось почти исключительно к холодным компрессам и опиуму.

Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта (помимо Шольца и Арендта, здесь были также профессора И. В. Буяльский и Х. Х. Саломон, врачи К. К. Задлер, И. Т. Спасский и В. И. Даль; двое последних дежурили почти неотлучно). Доктора, по мнению современных специалистов, должны были воздержаться в беседах с Пушкиным от смертельного прогноза, обеспечить ему максимальный покой, не устраивать процессии прощающихся друзей, оберегать от лишних волнений *.

Из этого отзыва следует, впрочем, выделить Даля. Врач-писатель, обожавший Пушкина, он сумел внести в ледяную безнадежность этой медленной агонии немного тепла и надежды. Был момент, когда сам умирающий поддался его бодрящему воодушевлению. Приехав к постели раненого 28 января в два часа дня (как только он узнал о событии), Даль застал здесь «страх ожидания смерти» на всех лицах и смущенную беспомощность знаменитых врачей: «Арендт и Спасский пожимали плечами...» Появление увлекательного «сказочника», повестями которого Пушкин так восхи-

* Приведем мнение историка русской хирургии А. М. Заблудовского: «Лечение Пушкина велось правильно, но общее обслуживание больного оказалось неудовлетворительным (отсутствие сиделки, присутствие посторонних и пр.). Предотвратить смерть было невозможно, но можно было облегчить страдания умирающего. В наши дни операция и переливание крови могут в таких случаях привести к спасению, хотя и в настоящее время рана, подобная пушкинской, весьма тяжела и нередко приводит к смерти» (А. М. Заблудовский. Русская хирургия первой половины XIX века. «Новый хирургический архив», 1937, т. XXXIX, кн. 1, стр. 19—24).

щался в 1832 году, с которым провел он неразлучно несколько незабываемых дней в Оренбурге, искренне порадовало умирающего. Он улыбнулся приехавшему, пожал ему руку, заговорил с ним впервые на «ты» (то есть «побратался» с ним накануне смерти). Свои последние часы Пушкин был с ним «поваллив и послушен, как ребенок», и выполнял беспрекословно все его просьбы и предписания.

Когда к вечеру, после пиявок, поставленных Далем, пульс больного стал ровнее, реже и мягче, врач-писатель решился опровергнуть единодушный смертный приговор прочих медиков: он осторожно «провозгласил надежду». Этим он доставил последнюю радость Пушкину. На его твердое заявление «мы за тебя надеемся, право, надеемся» поэт крепко пожал ему руку и ответил без возражения: «Ну, спасибо!..» Даль, несомненно, облегчил физическое и душевное состояние умирающего Пушкина. Ночь проходила без мучительных приступов, больной до самой зари не отпускал руки Даля. В пять часов утра Жуковский уехал к себе «почти с надеждою».

Но через два часа, вернувшись на Мойку, он услышал категорический прогноз Арендта: «Пушкин не переживет дня». Пульс катастрофически падал, руки начинали холодеть. В полдень консилиум врачей признал состояние Пушкина совершенно безнадежным. Жуковский написал последний бюллетень для посетителей, наполнявших приемную: «Больной находится в весьма опасном положении». В третьем часу Даль позвал Жуковского, Вяземского, Виельгорского: «Отходит!» Пушкин еще протянул руку товарищу, прося в полубреду поднять его «да выше, выше!» над книгами, над полками: «Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Затем лицо его прояснилось, сознание вернулось, он тихо произнес: «Кончена жизнь». Действительно, конечности стыли по плечи, по колени, дыхание замедлялось и стихало...

Освобождение от всех испытаний и мук, выпавших на долю величайшего гения мировой поэзии, наступило 29 января 1837 года незадолго до трех часов пополудни.

4

Смерть Пушкина не разоружила его врагов. Преданный по распоряжению Николая I военному суду на другой же день после дуэли, Пушкин и после смерти оставался подсудимым чрезвычайного трибунала. Только приговор 17 марта прекратил рассмотрение «преступного поступка камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккерном наказанию» (то есть, по букве закона, смертной казни).

Полиция предпринимала энергичные меры для срыва общественного поклонения поэту в связи с его трагической смертью. Лучшие представители литературных и научных кругов, учащейся молодежи, широких слоев учительства, среднего офицерства, мелких служащих, то есть той формирующейся «интеллигенции», которая чтила память о декабристах (а через десять лет объединится в кружках Петрашевского и Спешнева), переживали смерть Пушкина как тяжелый удар и крупнейшее политическое событие. К телу поэта двинулись широкие толпы «простонародья», о чем сохранилось замечательное свидетельство дочери Карамзина: «Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта». Так уже в момент смерти Пушкина его оплакивала городская беднота, словно представляя перед гробом сраженного писателя всю огромную бесправную массу русского народа.

О возбуждении провожавших тело Пушкина записала в своей памятной книжке племянница декабриста С. Г. Волконского А. П. Дурново (с которой Пушкин встречался в 1824 году в Одессе): «На похоронах Пушкина раздавались возгласы: «Где этот иностранец, которого мы готовы растерзать?..»

Боязнь политических демонстраций вызвала распоряжение властей о переносе тела поэта в Конюшенную церковь (вместо адмиралтейской, где было назначено отпевание) и приказе об отправке гроба ночью в Святогорский монастырь для погребения. Одновременно Уваров предпринял ряд энергичных шагов для усми-

рения возбужденного общественного мнения. Чиновники выносили выговоры авторам хвалебных некрологов и рассылали распоряжения по цензурному ведомству о соблюдении «надлежащей умеренности» в оценках умершего поэта.

«Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, — сообщил Вяземский в марте 1837 года своим парижским корреспондентам, — с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению». Накануне похорон Никитенко записал в свой дневник: «Уваров и мертвому Пушкину не может простить. Объявленный в афишах для бенефиса Каратыгина «Скупой рыцарь» снят с постановки. Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма ..»

Исключением из этого предписанного свыше заговора молчания оказалась далекая Одесса: обе издававшиеся здесь газеты на русском и французском языках поместили единственные в тогдашней печати широкие оценки деятельности Пушкина, написанные умно, независимо и с неподдельной скорбью. В них оплакивался «певец в высшей степени народный, одинаково понимавший и сокровеннейшие тайны русского мира и общие черты жизни человечества».

Борьбу с убитым поэтом продолжала и церковь. Инициатор процесса о «Гавриилиаде», петербургский митрополит Серафим воспротивился отдать ему погребальные почести. Тело Пушкина запрещено было вынести для отпевания в Исаакиевский собор и выполнить торжественное служение под тем предлогом, что смерть от раны на поединке следует приравнивать к самоубийству.

Обер-прокурор святейшего синода Протасов сообщает псковскому архиепископу Нафанаилу, на которого возлагалась ответственность за погребальную церемонию, «чтобы при сем случае не было никакого особенного заявления, никакой встречи, словом, никакой церемонии».

Из всех современников наилучшую оценку петербургской трагедии дал сын историка Андрей Карамзин. Узнав в Париже о смерти Пушкина, он писал своей матери: «Поздравьте от меня петербургское

общество, маменька, оно сработало славное дело. Пошлыми сплетнями, низкой завистью к гению и красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке, поздравьте его, оно стоит того. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря, на востоке темно... То, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать!), меня ни мало не удивило: оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву — и это должно быть так, это в порядке вещей. Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма, желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь пускали по билетам только la haute societé *. Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал к ней? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, — его гению стало душно, он замолк...

Mèconnu et deprecié il a Vegeté sur ce sol arride et il est tombé victime de la médisance et de la calomnie **. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше».

Так определял социальную среду, окружавшую поэта в момент его смерти, близкий по воззрениям наблюдатель, во многом выражая собственные ощущения Пушкина перед обществом, ставшим его палачом.

5

«4 февраля, в первом часу утра или ночи, я отправился за гробом Пушкина в Псков, — записал в своем дневнике Тургенев. — Перед гробом и мною скакал жандармский капитан». На санных дрогах с телом поэта находился дядька умершего, Никита Козлов, пожелавший проводить его до могилы; он был глубоко опечален. «Не думал я, чтобы мне, старику, пришлось отвозить тело Александра Сергеевича. Я на руках его нашивал...» В Пскове губернатор прочел Тургеневу

* Высшее общество
** Непризнанный и обесцененный, он прозябал на этой бесплодной почве и пал жертвою злословья и клеветы.

только что полученное «высочайшее» распоряжение воспретить при следовании тела Пушкина «всякое особенное изъявление, всякую встречу». Этим объясняется и необычайная, поистине фельдъегерская, быстрота переезда: в 35 — 40 часов от Петербурга до Тригорского; мертвого Пушкина мчали вскачь и без передышки, как важнейшего государственного преступника, лошадей загоняли — Тургеневу пришлось заплатить «за упадшую под гробом лошадь».

Прасковья Александровна, не перестававшая до конца думать о «своем дорогом Александре», должна была в последний раз позаботиться о нем. Ровно месяц тому назад, 6 января, она получила письмо поэта: «Испытываю сильнейшее желание навестить этой зимой Тригорское». Желание печально исполнилось. Ей оставалось только распорядиться о доставке тела в Святые Горы вместе с крестьянами, которых отрядили копать могилу.

Рано утром 6 февраля в монастырь приехали из Тригорского Тургенев с Никитой Козловым и две дочери Осиповой — восемнадцатилетняя Мария, с которой поэт приготовлял в прежние годы французские уроки, и самая младшая, тринадцатилетняя Екатерина. Сама Прасковья Александровна была больна, все прочие члены ее семьи были в разъезде. Жандармский капитан Ракеев представлял петербургскую власть, архимандрит Геннадий — государственную церковь. От местной полиции присутствовал сельский заседатель Петров, представлявший земского опочецкого исправника (который сам счел неудобным явиться на эти «крамольные» похороны), и от исправника города Острова — повытчик земского суда Филиппович.

В стороне, обнажив головы, стояли крестьяне Тригорского и Михайловского, потрудившиеся над рытьем могилы, пока еще временной; земля так промерзла, что пришлось пробивать ломом лед и засыпать гроб снегом до весенней оттепели.

Такова была горсточка людей, провожавшая Пушкина в могилу: почти никого из столичных властей, но зато верный «Савельич» — Никита Козлов, сопровождавший его по жизненным дорогам от ко-

лыбели на Немецкой улице до Святогорского погоста; старый друг, определявший его в лицей, хлопотавший за него в годы ссылки, посылавший ему из чужих краев античные вазы и современную хронику Парижа; две девушки из Тригорского, для которых со временем этот снеговой холм будет связан с бессмертными стихами: «Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых...»; и, наконец, несколько псковских крепостных, словно посланных к могиле убитого поэта тем подневольным народом, который своими сказаниями обогатил его творчество и навсегда принимал теперь в свою память имя Пушкина, чтоб донести его до далекой, но неизбежной эпохи своего освобождения.

IX

НАСЛЕДИЕ ПУШКИНА

1

А вокруг уже поднималось «племя младое, незнакомое..». Над раскрытым гробом Пушкина Россия услышала голос нового гениального лирика — Лермонтова, словно продолжавшего заветы погибшего поэта в своих разящих стихах и смелом вызове палачам «свободы, гения и славы». Телу Пушкина пришел поклониться студент-филолог Петербургского университета Иван Тургенев. «Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога», — вспоминал он впоследствии. Младший чиновник департамента внешней торговли И. А. Гончаров, услышав на службе о смерти поэта, вышел из канцелярии и разрыдался: «Я не мог понять, чтоб тот, перед кем я склонял мысленно колена, лежал бездыханным..» В далеком Мюнхене молодой служащий русского посольства Тютчев, чьи стихи Пушкин перед смертью напечатал в своем «Современнике», писал свое знаменитое обращение к убитому поэту: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет...» Другой начинающий лирик, также уже представленный

в стихотворном отделе пушкинского журнала, воронежский песенник Кольцов выразил в двух словах впечатление русских поэтов от постигшей их утраты: «Прострелено солнце!..»

Мысль и слово Пушкина уже владели целым литературным поколением и невидимо формировали его. Через десять-пятнадцать лет эти юноши и подростки выступят могучими строителями великой русской реалистической литературы, воспринимающей у Пушкина глубокую правду его живописи, безошибочную верность его рисунка, неотразимую подлинность образов, высокую социальную чуткость замыслов, широту и смелость композиций.

Представители старшего поколения уже утверждали эту великую пушкинскую традицию русской литературы. Гоголь в сороковые годы продолжает свою работу над замыслом, подаренным ему Пушкиным, — над «Мертвыми душами». Белинский, уже оцененный редактором «Современника» и намеченный им в сотрудники своего журнала, дает первую полную и цельную монографию о творчестве Пушкина; ряд положений этой замечательной книги ляжет в основу всей позднейшей критической мысли и отразится на отзывах о Пушкине крупнейших представителей демократической критики шестидесятых годов — Чернышевского и Добролюбова.

Реалистический роман, утвердивший мировое значение русской литературы, восходил своими основными художественными методами к «Евгению Онегину» и «Капитанской дочке». Тургенев, высоко ценя глубокую психологическую правдивость романических героев Пушкина, дает в своем творчестве ряд самобытных вариаций типа умного и культурного русского человека, обреченного эпохой на бездействие и прозябание. Незадолго до смерти в речи 1880 года он произнес хвалу «великолепному русскому художнику», свойства поэзии которого «совпадают со свойствами, сущностью нашего народа».

Глубокое своеобразие художественной системы Льва Толстого не освободило его от воспитательного воздействия Пушкина. Толстой вдохновляется

«Цыганами» в своей кавказской повести «Казаки», а в «Войне и мире» принимает композиционный закон «Капитанской дочки» — перерастание семейной хроники в историческую трагедию эпохи. В построении «Анны Карениной» он ориентируется на прозаические отрывки к «Египетским ночам». «Пушкин — наш учитель, — говорил он от имени всех русских писателей, — чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого».

Гончаров навсегда запомнил Пушкина в аудитории Московского университета, когда поэт горячо отстаивал подлинность «Слова о полку Игореве» в дискуссии с Давыдовым и Каченовским. В своих романах о русской жизни студент-словесник, слышавший Пушкина, замечательно воспринял прозрачность и точность его рисунка, отражающего с зеркальной отчетливостью картины природы, быта, черты современных характеров.

Блестящий мастер публицистической и мемуарной прозы, Герцен высоко ценил Пушкина за его «инстинктивную веру в будущность России». Он отметил здоровый и полнокровный реализм великого поэта и безысходный трагизм его жизни в эпоху, когда «ужасная, черная судьба» выпадала на долю всякого, кто смел «поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром».

На протяжении всей своей деятельности Достоевский считал своим учителем Пушкина. В своей первой повести он воздает хвалу автору «Станционного смотрителя», а последнее его произведение — знаменитая речь на открытии московского памятника поэту — стремится раскрыть его творчество для будущих поколений русских людей. «Не было бы Пушкина — не было бы и последовавших за ним талантов», —таково было убеждение Достоевского, выраженное незадолго до смерти.

Великий русский сатирик Салтыков признавал Пушкина «величайшим из русских художников». Поэт, вероятно, был близок ему как создатель в русской поэзии «пламенной сатиры». Пушкин, беспощадно хлеставший «Ювеналовым бичом» царей и

министров, является несомненным родоначальником последующих классиков этого жанра. «Историю одного города» обычно сближают с «Историей села Горюхина». Эпиграммы Пушкина на представителей династии возвещают знаменитые маски щедринских градоправителей. Салтыков, как памфлетист Романовых, продолжал путь, начатый Пушкиным.

2

Школа поэта неизменно ощущается у великих представителей русского художественного слова второй половины XIX века. Ближайший наследник основоположников русского романа Чехов считал, что «Тамань» Лермонтова и «Капитанская дочка» прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой. И в своих рассказах-элегиях он замечательно показал, как русская проза, насыщенная насквозь лирическим восприятием мира, может звучать пушкинским стихом, не обращаясь к искусственным приемам метрики и оставаясь до конца художественной прозой.

В другом жанре исторические хроники Островского и трилогия Алексея Толстого воскрешают традиции «Бориса Годунова».

Певец «печали и гнева» Некрасов считал, что его революционное мировоззрение слагалось под влиянием пушкинских политических стихотворений:

Хотите знать, что я читал? Есть ода
У Пушкина, названье ей: «Свобода».

В черновиках своего любимого создания «Кому на Руси жить хорошо» он связывает с именем великого поэта предсказание о будущем грамотном и просвещенном русском народе:

..Крестьянин купит Пушкина,
Белинского и Гоголя —
На кровный купит грош.
То люди именитые,
Заступники народные,
Друзья твои, мужик!

Следующее поэтическое поколение — на рубеже двух столетий — уже не только учится у Пушкина,

но углубленно изучает его. Валерий Брюсов дал ряд творческих вариаций на темы «Египетских ночей», «Медного всадника», набросков комедии об «Игроке». Александр Блок разрабатывал в своей лирике мотивы «Медного всадника». Его последнее стихотворение было посвящено пушкинскому дому и образу поэта, который предстает на повороте эпох как великий стимул бодрости духа и новых устремлений русской поэтической культуры:

Пушкин! тайную свободу
Пели мы вослед тебе!

Первый классик пролетарской литературы Горький навсегда запомнил впечатление от своего раннего знакомства с Пушкиным: «Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни».

Пушкиным отмечена веха в развитии крупнейшего представителя советской поэзии Маяковского. Бунтовавший в молодости против классических авторитетов, он на диспуте в Малом театре 26 мая 1924 года говорил об «обаянии» письма Онегина: «Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и первую формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли».

Господство бессмертных традиций Пушкина в поэзии всех народностей Советского Союза с исключительной силой сказалось в столетнюю годовщину смерти поэта. Крупнейшие писатели национальных республик выражали в стихах и прозе свою неразрывную связь с вождем русской поэзии.

«Красоту пушкинского стиха я впервые ощутил в раннем детстве, — сообщал поэт Армении Аветик Исаакян, — с тех пор солнце русской поэзии своим чистым немеркнущим светом всегда озаряет мне мир искусства». «Пушкин издавна близок украинским по-

этам, — писал Максим Рыльский, — и не только как автор «Полтавы», а *весь* Пушкин, во всем его необъятном величии». «Ни Байрон, ни Гёте, ни Гомер, ни Данте, ни Фирдоуси, ни Хафиз не пользуются в Азербайджане такой всенародной любовью, как Александр Сергеевич Пушкин», — свидетельствует Самед Вургун. «Голос твой помнит земля Руставели», — обращается к творцу «На холмах Грузии» Ал. Абашели. «Под благотворным пушкинским влиянием росла и развивалась белорусская литература», — заявил Максим Танк.

Поэты наши научились пенью
У Пушкина, и любят латыши
Его стихов пленительных кипенье,
И ширь ума, и мощь его души, —

говорит о своей «встрече» с русским гением поэт Латвии Янис Плаудия. «И живут в просторах Татарстана звуки песен, созданных тобой», — обращается к великому певцу России Ахмед Ерикеев. Такое же ценное свидетельство дает в своих стихах Халиджан Бекходжин:

Слыхал я, как пели с волненьем глубоким
В колхозных аулах, в счастливом краю
Жигиты степей для подруг чернооких
Посланье Татьяны, как песню свою.

И как бы завершая эту многоголосую и единодушную хвалу, певец Башкирии Сайфи Кудаш слагает Пушкину свои взволнованные строфы:

Он, вестник грядущего мира,
Писал, что за вольное слово
Был вырван язык у башкира,
Повстанца времен Пугачева.
Мы, правнуки этого деда,
Погибшего в тяжких увечьях,
Читаем и славим поэта
На всех языках и наречьях...

Ашуги и акыны, кобзари и домбристы, импровизаторы народных песен и мастера ритмического слова славят великого новатора образов и звуков, провозвестника эры справедливости и свободы, загоревшейся, наконец, над его безбрежной и многонациональной родиной.

3

Могучий двигатель творческой культуры, Пушкин щедро оплодотворил и всю область родного искусства — музыку и театр, живопись и скульптуру, хореографию и кино.

Великие композиторы стали гениальными истолкователями Пушкина. От Глинки и Даргомыжского, через Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и Рахманинова русская опера выросла, окрепла и получила мировое признание на образах и темах Пушкина. В наши дни «Станционный смотритель» В. Крюкова, «Граф Нулин» М. Коваля, «Пир во время чумы» А. Гольденвейзера, «Барышня-крестьянка» Бирюкова длят эту славную традицию. Уже при жизни поэта было написано до семидесяти песен на слова его стихотворений — Алябьевым Верстовским, Титовым, Геништою и многими другими В последующих поколениях Балакирев, Бородин, Рубинштейн, Кюи, Лядов, Танеев, Глазунов, Аренский, Гречанинов, Метнер, помимо названных мастеров оперы, не переставали разрабатывать знаменитые сердечные признания и «вакхальны припевы». Их дело с честью продолжает целая плеяда советских композиторов: Хренников, Книппер, Василенко, Шапорин...

Одновременно творчество Пушкина обогащало искусство русского танца, которое поэт так любил за его глубокую одухотворенность. От ценимого им балетмейстера Дидло до советского композитора и ученого Б. В. Асафьева балетная сцена сумела пластически истолковать волшебные сказки Пушкина и «Руслана и Людмилу», первые южные поэмы и «Барышню-крестьянку». На сюжет «Цыган» написан балет С. Василенко, «Медного всадника» — Р. М. Глиэром, «Сказки о попе и о работнике его Балде» — М. Чулаки.

Русский драматический театр в своих лучших представителях не переставал воплощать великие образы Пушкина. Гениальный трагический поэт дал бесценный материал для актеров-трагиков. Уже его современники — Каратыгин и Мочалов — влеклись к слож-

ным и глубоким героям пушкинской драматургии. Позже пламенная Ермолова и простонародная Стрепетова раскрыли весь трагизм образа дочери мельника в «Русалке». Комиссаржевская воплотила Мери в «Пире во время чумы», Качалов создал великолепного Дон-Жуана, Остужев — потрясающего Скупого рыцаря. Но и артисты характерного стиля — Щепкин, игравший старого барона, Пров Садовский, воплощавший Лепорелло, Самойлов в роли Самозванца, Давыдов — Вальсингам, Варламов — беглый монах, Москвин — Григорий Отрепьев (и станционный смотритель на экране) — создали ряд первоклассных сценических образов. Русский актер нашел в драматургии Пушкина высшую школу трагедии и ритмического слова. Целую галерею пушкинских образов создал Шаляпин. В столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина советский театр выдвинул новых сильных исполнителей его драматических образов: Н. К. Симонова и М. Ф. Ленина (Борис Годунов), Б. А. Бабочкина (Самозванец), Е. Н. Гоголеву (Марина Мнишек), И. Н. Берсенева (Дон-Жуан), С. В. Гиацинтову (Донна Анна).

Остановимся на некоторых из этих сценических воплощений.

Театр Пушкина определил репертуар и сформировал сценический метод великого артиста-психолога Шаляпина. Огромный образ мельника из «Русалки» получал в его трактовке поистине шекспировские масштабы. Недаром критика сближала этого обезумевшего старца, потерявшего дочь, с королем Лиром в исполнении Сальвини и Поссарта. Тот же величественный дух реял и над шаляпинским Борисом Годуновым. Верный замыслу Пушкина и осуществлению Мусоргского, певец стремился представить исторического героя трагически-обаятельным, каким он является в ряде сцен «народной музыкальной драмы». Увлеченный историческими характерами, Шаляпин создавал здесь и незабываемые типы мудреца Пимена и расстриги-монаха Варлаама. «Мусоргский, — разъяснял свое понимание великий актер-певец, — с несравненным искусством и густотой передал бездон-

ную тоску этого бродяги... Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись, а если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумывать этакое разгульно-пьяное, будто бы смешное». Он запевает веселые слова, но «это не песня, а тайное рыдание». В «Руслане и Людмиле» Шаляпин создал шедевр монументального юмора — сатирический тип трусливого воина Фарлафа. В сотрудничестве с Врубелем, Серовым и Рахманиновым он раскрыл зловещую фигуру Сальери во всем трагизме внутренней борьбы его эстетических и нравственных идей. Восхищение Моцартом неожиданно вызывало жестокий приговор творцу несравненной музыки, чье недосягаемое совершенство как бы отменяло в глазах его соперника труд всех современных композиторов. Такое истолкование поднимало на подлинную трагическую высоту проблематику знаменитого монолога:

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Шаляпин увековечил и сложный характер Алеко в опере молодого Рахманинова и дал одну из самых своеобразных сценических трактовок Евгения Онегина. Какая обширная и драгоценная галерея пушкинских образов! Корифей оперного театра вырос на бессмертных замыслах величайшего национального поэта и дал им неумирающее воплощение.

Мастером пушкинского образа на сцене был и В. И. Качалов. Его Дон-Жуан по глубине замысла и тонкости исполнения относится к выдающимся явлениям русского театра. Превосходно исполнявший с эстрады монолог Вальсингама из «Пира во время чумы», артист-мыслитель исходил в толковании севильского обольстителя из дерзкого вызова судьбе, звучащего в заключительных строфах бесстрашного гимна:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы..

По словам Качалова, он хотел дать не того Дон-Жуана, который избрал источником наслаждения женщин, но того, «которому превыше всего дерзать, важнее всего преступить запрет, посчитаться силой с кем-то, кто выше земли».

Отсюда необычайная сила дерзания в эпизоде приглашения мраморного Командора на ужин к его вдове и мужественная встреча каменного мстителя («Все кончено. Дрожишь ты, Дон-Жуан». — «Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу». — «Дай руку». — «Вот она»). Пусть тяжело пожатие каменной десницы, но герой гибнет с именем Донны Анны на устах. Он до конца бравирует смертельной опасностью и отстаивает свое право на безграничную страсть и мятежную мысль.

Станиславский признал качаловского Дон-Жуана лучшим образом пушкинского спектакля. Сам артист заявил, что он стремился к новому истолкованию героя «через осуществление прежде всего легкости и красоты стиля этой пушкинской вещи». Такое задание ему блестяще удалось.

И, наконец, событием сценической «пушкинианы» был уже на советской сцене «Скупой рыцарь» в исполнении А. А. Остужева. Артист романтического стиля и героического репертуара отказался от традиционного сближения старого барона с Шейлоком и Гарпагоном и, сохраняя суровую мрачность персонажа феодальной эпохи, сообщил ему черты рыцарства средних веков и властолюбия времен возникающего Ренессанса. Черты гордого индивидуализма этого скупца в металлических перчатках имеются в тексте маленькой трагедии:

Что не подвластно мне? Как некий демон
Отселе миром править я могу .
. Мне все послушно, я же — ничему,
Я выше всех желаний, я спокоен,
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья ..

Артист раскрывал во весь рост, как на старинном дворцовом портрете, фигуру «верного храброго рыцаря», как называет его герцог. При этом исполнитель не придавал своему мелодическому голосу старческих интонаций и выражал по-молодому обуявшую его страсть. Ростовщика заслонял фанатик, маньяк, безумец, не лишенный мужественной стойкости души и непоколебимой преданности своей идее. Смелым воплощением этой энергии и железной воли, господствующей над всеми пороками и вожделениями, Остужев внес новый тон в историю трагедийного театра.

Творчество Пушкина дало богатейший материал для русских художников. Ни один из представителей отечественной литературы не получил такого широкого и полноценного отражения в живописи и графике, как величайший из ее поэтов. Пушкина иллюстрировали Федотов, Брюллов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, Врубель, Бенуа, Билибин, Кардовский, а в Октябрьскую эпоху — Кустодиев, Добужинский, Митрохин, Куприянов, Кравченко, Конашевич, Рудаков, Кузьмин, Хижинский, Савицкий и многие другие. На пушкинские темы работали Соколов-Скаля, А. Герасимов, Шмаринов, Манизер. Ряд рисунков и гравюр к «Медному всаднику», «Евгению Онегину», «Пиковой даме», «Египетским ночам» представляют собой шедевры изобразительного искусства. Наконец Пушкин вдохновлял таких мастеров декорационной живописи, как Головин, Юон, Коровин, Симов, Фаворский, Рабинович, Дмитриев, Чупятов, Федоровский и ряд других. Мир Пушкина по-новому возник в больших и ярких сценических картинах.

Ценитель русской скульптуры, отразивший в своем стихе статуи Пименова, Логановского, Орловского, Пушкин стал героем и двигателем отечественного ваяния. Уже современники поэта — Витали, Гальберг, Тербеньев — дали его первые бюсты и статуэтки. Несколько позже всеобщее признание получили московский памятник поэту, воздвигнутый Опекушиным, и «Пушкин-лицеист» Баха. Изящен и выразителен бронзовый Пушкин П. Трубецкого. В советское

время лепные изображения великого поэта дали Суворов, Королев, Домогацкий.

Грустен и светел вхожу, ваятель, в твою мастерскую.
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе, —

кажется, слышится этот приветственный дистих Пушкина перед замечательным собранием его изображений в русской скульптуре.

Массовое искусство экрана показало миллионному зрителю «Руслана и Людмилу», «Евгения Онегина», «Сказку о царе Салтане», «Станционного смотрителя», «Путешествие в Арзрум», «Дубровского» и «Капитанскую дочку».

Но шире всего отразили поэзию Пушкина бесчисленные и безыменные мастера кустарного творчества. «Всему миру известные народные живописцы села Палех покрыли тончайшими лаками новые шкатулки, блюда, лари и подносы, воспроизведя в чудесных миниатюрах мотивы из поэм и сказок Пушкина. Прославленные вышивальщицы Украины приготовили ткани и аппликации на пушкинские темы. Уральские литейщики отлили из чугуна монументальные иллюстрации к творениям своего поэта. Холмогорские резчики по кости выточили из мамонтовых клыков трубки и брошки с изображением героев Пушкина. Гранильщики из Гусь-Хрустального воплотили в стекло и хрусталь сцену дуэли поэта. Московские игрушечных дел мастера создали из дерева и кости царя Дадона, золотого петушка и бабу Бабариху. Ленинградские мастера изготовили для кукольного театра марионетки Дон-Жуана и Донны Анны. Вологодские мастерицы соткали единственные в своем роде кружева, в тонкой паутине которых, как в изморози зимнего окна, выступают изображения бессмертного пролога к «Руслану и Людмиле» *.

Таким великим инициатором национального искусства во всех его отраслях был Пушкин. На его обра-

* В А Мануйлов Пушкин и наше время. Л, 1949, стр 37—38

зах и драмах лучшие мастера русского пластического и тонального творчества наряду с поэтами и романистами нашей страны возвестили миру о неисчерпаемых творческих возможностях своего народа. Прав был в своем метком суждении Гончаров: «Пушкин — родоначальник русского искусства, как Ломоносов — отец науки в России».

4

Белинский первый широко поставил вопрос о мировом значении Пушкина. Это, по его определению, «не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков».

Пушкин рано вошел в мировую литературу. Первые переводы его творений появились — на немецком и французском языках — в 1823 году, а уже в 1827 Гёте передал Жуковскому свое перо в дар автору «Сцены из Фауста». Еще при жизни Пушкина появились в иностранных сборниках или путевых книгах отзывы о молодом русском поэте, совмещающем блестящий талант художника с благородной независимостью характера. Эти верно схваченные черты творческого облика Пушкина легли в основу его восприятия передовой западноевропейской критикой, а за ней и прогрессивными читателями всего мира. Вольнолюбивый поэт-мыслитель, достигший высшего мастерства слова, — таков Пушкин в известных оценках Мицкевича, Проспера Мериме, Маркса и Энгельса. Основоположники научного социализма учились русскому языку по «Евгению Онегину», восхищаясь художественным и идейным новаторством знаменитого романа. В 1899 году Эмиль Золя приветствовал русских писателей с вековым юбилеем «отца современной русской литературы, универсального человека, превосходного поэта, подлинного друга свободы и прогресса». В 1937 году Ромен Роллан присоединился «всем сердцем» к чествованию Пушкина со словами: «Я желаю, чтоб росла его слава». Наконец в 1949 году согласным хором прозвучали в Москве приветственные речи зарубежных прогрессивных деятелей культуры, объединившихся в своем преклонении перед мировым поэ-

том. «Пушкин, хранимый своим народом-гигантом, сверкает для всех народов», — сказал чилийский поэт Пабло Неруда. Известный китайский писатель Эми Сяо сообщил, что «памятник Пушкину гордо высится над рекой Хуан-Пу, в Шанхае, окончательно освобожденном китайской Народно-освободительной армией». «Пушкин принадлежит всему человечеству», — заявил негритянский певец Поль Робсон. Старейший пролетарский писатель Дании Мартин Андерсен-Нексе уподобил Пушкина древнему скальду, который шел перед войском и песнью воодушевлял на борьбу.

Слух о поэте не только прошел «по всей Руси великой», но и отозвался во всех передовых странах мира. Пушкин был первым писателем, обосновавшим своим творчеством будущий тезис Ленина о всемирном значении русской литературы.

Короткая и трагическая жизнь Пушкина отметила еще невиданный перевал в истории мысли и слова его родины. По-новому зазвучал русский язык, не знавший у предшественников Пушкина такого сочетания воздушности и энергии, напевности и мощи. Небывалой гибкости и силы достиг русский стих, получивший под его пером высшую выразительность и стройность в обширнейшем репертуаре новых лирических жанров и строф. Впервые в России поэзия стала политической трибуной, грозящей «неправедной власти» и ограждающей своим огненным словом бесправных и «падших». Живой и впечатлительный ко всем проявлениям современности, поэт оставил в своих записях картину целого общества, приведенного в движение идеями французской революции и непримиримо разъединенного декабрьским вихрем. Как художник-мыслитель, он искал в прошлом истоков протекавшей на его глазах политической драмы и не переставал развертывать на страницах своих произведений предания русского былого в его победоносной борьбе и героических образах. Но, как подлинно великий поэт, он отстаивал в истории те ценности будущего, за которые борются народные массы.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. С. ПУШКИНА

Полное собрание сочинений. Изд. Академии наук СССР, т. I—XVI. М. — Л., 1937—1949.

Полное собрание сочинений. Изд. Академии наук СССР, т. I — X М. — Л, 1949.

Полное собрание сочинений. Под ред. М. А. Цявловского. Изд. «Academia, т. I — VI. М. — Л., 1936—1938.

Полное собрание сочинений. Под ред. Демьяна Бедного, А. В. Луначарского, П. Н Сакулина, В. И. Соловьева, М. А. Цявловского и П. Е. Щеголева. Госиздат, т. I — VI. М. — Л., 1931—1933.

«Пушкин». Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауз — Ефрон, т. I — VI. Спб, 1907 — 1915.

2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПУШКИНЕ (КНИГИ)

К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. М. — Л, 1938.

М. Горький. О Пушкине. Под ред. С. Д. Балухатого. М. — Л., 1937.

А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М., 1957.

Н. В. Гоголь. Несколько слов о Пушкине. «Борис Годунов». В чем же наконец существо русской поэзии? В книге: Н. В. Гоголь. Собрание сочинений, т. VI. М., 1941.

В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. В книге: В Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. VII. М., 1955

Н. Г. Чернышевский Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения. Спб., 1956. В книге Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1939—1953.

Н. А. Добролюбов. Сочинения Пушкина. В книге: Н. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. I. М. — Л., 1934.

Д. Писарев. Пушкин и Белинский. В книге: Д. Писарев. Сочинения, т. III. М., 1956.

П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1873.

Его же. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874.
А. Григорьев. Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина. В книге: А. Григорьев. Сочинения, т. I. Спб., 1876.
Ф. М. Достоевский. Пушкин. Очерк. В книге: Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений, т. X. М., 1958.
И. С. Тургенев. Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве. В книге: И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. XI. М., 1956.
Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Спб., 1899.
Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Спб., 1899.
А. С. Пушкин в южно-славянских литературах. Сборник под ред. И. В. Ягича. Спб., 1901.
Е. Ф. Будде. Опыт грамматики языка Пушкина, ч. 1, вып I — III. Спб., 1901—1904.
В. Сиповский. Пушкин. Жизнь и творчество. Спб., 1907.
Д. Н. Овсянико-Куликовский. Пушкин. Спб., 1909.
Я. К. Грот. Пушкинский лицей (1811—1817). Спб., 1911.
Д. Кобеко. Имп. Царскосельский лицей, наставники и питомцы, 1811—1843. Спб, 1911.
Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею, т. I—III. Спб., 1912—1913.
П. Е. Щеголев. Пушкин. Очерки. Спб., 1913.
Его же. Дуэль и смерть Пушкина. М. — Л., 1928.
Его же. Пушкин и мужики. М., 1928.
Его же. Пушкин. М. — Л., 1931.
П. Бартенев. Пушкин в южной России. М., 1914.
Его же. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей в 1851—1860 годах. М., 1925.
П. Н. Сакулин. Пушкин и Радищев. М., 1920.
В. М. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Л., 1924.
Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925.
Его же. Пушкин. Л., 1939.
Н. О. Лернер. Проза Пушкина. Л. — М., 1923.
Его же. Рассказы о Пушкине. Л., 1929.
Его же. Пушкинологические этюды. «Звенья», V. М., 1935.
Пушкин Очерк жизни и творчества. Л. — М., 1924 (составили Б. Л. Модзалевский и Н. В. Измайлов).
В. Вересаев. Пушкин в жизни, т. I—II. М., 1936.
Его же. Спутники Пушкина, т. I — II. М., 1937.
В. Брюсов. Мой Пушкин. М. — Л., 1929.
Ю. Тынянов Архаисты и новаторы. Л., 1929.
Д. Благой. Социология творчества Пушкина. М., 1931.
Его же. Творческий путь Пушкина. М. — Л., 1950.
Его же. Мастерство Пушкина М., 1955.
Ю. Г. Оксман. «Капитанская дочка» и «История Пугачева». Соч. Пушкина. М. — Л., 1936, IV.

С. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931.
Б. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. М. — Л., 1947.
Его же. А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. М. — Л., 1949.
Его же. Пушкин и его эпоха. М., 1958.
Н. Л. Бродский. Комментарии к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 1957.
Его же. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937.
В. Виноградов. Язык Пушкина. М. — Л., 1935.
Его же. Стиль Пушкина. М., 1941.
Конст. Симонов. А. С. Пушкин. Доклад на торжественном заседании в Большом театре СССР 6 июня 1949 г. М., 1949.
В Кирпотин. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936.
И. А. Новиков. Пушкин. Жизнь и творчество. Детгиз, М., 1949.
В. В. Ермилов. Наш Пушкин. М. — Л., 1949.
С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина. М., 1953.
И. Эйгес. Музыка в жизни и творчестве Пушкина. М., 1937.
А. Цейтлин. Мастерство Пушкина. М., 1938.
И. Сергиевский. Пушкин. М., 1950.
Н. К. Гудзий. Пушкин. Киев, 1949.
К. Чуковский. Пушкин и Некрасов. М., 1949.
Б. Городецкий. Драматургия Пушкина. М. — Л., 1953.
И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. М., 1955.
И. Андроников. Тагильская находка. М., 1956.
Б. Томашевский. Пушкин, т. I. М. — Л., 1956.
Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина. Очерки и этюды. М., 1959.

8. СБОРНИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПУШКИНУ

«Пушкин и его современники». Вып. I — XXXIX. Спб. — Л., 1903—1930.
«Пушкин». Временник пушкинской комиссии, 1—6. М. — Л., 1936—1941.
«Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина». Труды пушкинской сессии Академии наук СССР. М. — Л., 1938.
«Пушкин в мировой литературе». Сборник статей. Л., 1926.
«Литературное наследство». XVI — XVIII. М., 1934.
«Труды 1-й и 2-й Всесоюзных пушкинских конференций». М. — Л., 1952.
«Пушкин» Исследования и материалы. М. — Л., 1953, 1956.
«А. С Пушкин. 1799—1949». Изд-во Академии наук СССР. М. — Л., 1951.

«Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати М. А. Цявловский, Б. Л. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М. — Л., 1935.

«Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М. — Л , 1941.

«Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников» Л., 1936.

«Борис Годунов» А. С. Пушкина». Сборник статей. Л., 1936.

«Пушкин-критик». Ред. Н. В. Богословского. М. — Л., 1934.

«Пушкин в русской критике». Ред. В. Дорофеева и Г. Черемина. М., 1950.

4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ПУШКИНУ

В И. Межов. Puschkiniana. Спб., 1886.

В. В. Каллаш. Puschkiniana. Вып. I—II. Киев, 1902—1903.

Н. О. Лернер. А. С. Пушкин. Труды и дни. Спб., 1910.

М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина, т. 1. М , 1951.

Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. «Пушкин и его современники». Вып IX —Х. Спб., 1910.

Н. Синявский и М. Цявловский. Пушкин в печати. 1814—1837. М., 1914.

К. П. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет (1837—1938). М., 1938.

А. Г. Фомин. Puschkiniana. 1900—1910. Л., 1929; то же, 1911—1917. М. — Л., 1937.

«Путеводитель по Пушкину». Под редакцией П. Н. Сакулина, П. Е. Щеголева, Б. В. Томашевского, М. А Цявловского и Д. П. Якубовича. М. — Л., 1931.

Н. В Лапшина, И. К. Романович и Б. И. Ярхо. Метрический справочник к стихотворениям Пушкина. М. — Л., 1934.

Б. Л Модзалевский и Б. В. Томашевский. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. М. — Л., 1937.

П. Берков и Н. Лавров Библиография произведений Пушкина М. — Л., 1949.

«Словарь языка Пушкина». т. I. М., 1956; т. II. М. – Л., 1958.

Леонид Петрович Гроссман родился в 1888 году в Одессе, где окончил университет в 1911 году. Вскоре стал в нем преподавать историю литературы и печатать в журналах статьи о Достоевском, Тютчеве, Чехове и других писателях.

С 1921 года работает в Москве, продолжая изучение и преподавание литературы. Выпустил книги о Пушкине, Тургеневе, Достоевском, Лескове, Сухово-Кобылине, исследование о Бальзаке в России, сборники критических статей: «От Пушкина до Блока», «Борьба за стиль», «Цех пера», «Три современника», написал биографические романы «Записки д'Аршиака», «Рулетенбург», «Бархатный диктатор». Ряд работ посвятил изучению театра («Пушкин в театральных креслах», «Театр Тургенева», «Театр Сухово-Кобылина»). Опубликовал статьи о Горьком, Ромене Роллане, Анри Барбюсе, «Маяковский и Луи Арагон» и ряд других.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая

Гроссман Леонид Петрович

ПУШКИН

Редактор *Ю Коротков*
Художник *А Зыков*
Худож редактор *А Степанова*
Техн редактор *Г Голубкова*

А03361 Подп к печ 16/II 1960 г
Бум 84×108 1/32 Печ л 16 5 (27 06)
+13 вкл Уч изд л 26 14
Тираж 75 000 экз Зак 2493
Цена 10 р 05 к

Типография «Красное знамя»
изд ва «Молодая гвардия
Москва А 55, Сущевская, 21

10 р. 05 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ